05+8
И 681

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

9
1970

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Иностранная литература

Издательство «Известия
Москва

9

СЕНТЯБРЬ
1970

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕТР КАРААНГОВ — Сок диких ягод *(Стихи)* 3

МИШЕЛЬ БЮТОР — Изменение *(Роман. Окончание.* Послесловие Т. Мотылевой) 8

ФЕЛИКС ПОЛЛАК, РОБЕРТ ДЖОЗЕФ ЗИГМУНД ЭВЕЛИН ГОРН — Нет — войне во Вьетнаме *(Стихи)* 103

ЧЖАН ТЯНЬ-И — Записки из мира духов *(Повесть.* Послесловие Н. Федоренко) 105

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР, АЛЬБЕР КАМЮ — Реквием по монахине *(Пьеса.* Послесловие П. Палиевского) 177

Литературное наследие

АМАДО НЕРВО (К столетию со дня рождения) 219

Критика

В. ДНЕПРОВ — Революционная мораль Брехта 222

Публицистика

МАЙК МАКГРЕЙДИ — Голубь во Вьетнаме 240

Изобразительное искусство за рубежом

З. ПЫШНОВСКАЯ — Вернер Клемке 254

Наши гости

Н. ВАГАПОВА — Эстетическая позиция писателя — его творчество 257

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Л. Долгошева — В спорах рождается... Д. Урнов — Какова она, литературная жизнь? 259

Среди книг

Издано в СССР

И. Бочкарева — Зимой сорок пятого... ◆ Инна Тынянова — Исторический роман о современности. ◆ Маргарита Алигер — В тени деревьев 267

Издано за рубежом

А. Опульский — Они принадлежат народу ◆ Т. Воронкина — Четверть века в памяти писателя 273

Из месяца в месяц (Хроника) 277

Авторы этого номера 288

На обложке: фрагмент картины вьетнамского художника ЛЕ ВИНЯ «Подвиг Бе Ван Зана»

ПЕТР КАРААНГОВ

Сок диких ягод

■

Перевод с болгарского ***ВАЛЕНТИНА КОРЧАГИНА***

Беласица[1]

Зори ли твои красятся? —
кудри по кручам что пламя!
Небо к тебе,
Беласица,
белыми льнет облаками.
Кормишь ты грудью потоки,
звон их плывет сквозь чащи,
Струма-река
твои ноги
моет волною горчащей...

Сын твой, тобой осчастливленный,
боль исцелю здесь любую!
Как ты ни взрыта ливнями,
корень глубинный твой
чую.
Солнечность в гроздьях — прежняя
деды, сады — все, как было.
Бусиной
белоснежною
с четок упасть ты забыла.

Даль позвала... Я уехал...
Но не сочти виноватым:
слышалось мне
твое эхо
и за хребтом тридевятым!
К сердцу ручьи твои ластятся,
ты — как воскресшее детство...
Детям
тебя, Беласица,
я завещаю в наследство.

[1] Беласица — горный хребет на юге Болгарии.

Поэт

«Слыхали? Обитает в нашем городе
тот выдумщик, владелец всяких тайн,
алхимик тот, который сотворяет
то бури алые, то осени зеленые...
Под крышей его дома, говорят,
невиданные распевают птахи,
а сам он будто бы над окнами
развесить в виде флагов ухитрился
все странствованья странные свои!»

Слух шел из уст в уста... И горожане
решили наконец к тому кудеснику
сходить, взглянуть, как он живет, что ест
и чем для волшебства располагает.

Оделись понаряднее, попраздничней —
и двинулись. Был день как раз воскресный

Мужчины — добродушные, спокойные —
шли впереди неторопливым шагом.
За ними, в босоножках новых,— женщины,
чьи лица разрумянились от страха
и любопытства. На руках
кто малышей держал, а кто пальтишки
детей постарше — мальчиков причесанных,
большие пальцы заложивших
за проймы отутюженных штанов,
и девочек, несущих банты яркие
на желтых стебельках косичек...

Вот медленно они пересекли
железную дорогу на окраине —
и за высокими веселыми кустами
увидели обыкновенный дом.

В распахнутые двери заглянули.
Хозяина там не было. Ушел...
Дощатый пол был выскоблен усердно,
на нем стояла лавка деревянная —
она служила, видимо, постелью.
На спинке стула грубоватого
висела чистая рубашка.
И был там стол дубовый. И на нем —
хлеб, соль да скляночка какая-то
с чернилами из сока диких ягод,
а рядом — белое примолкшее перо.

Обратный счет

К нулю, из завтрашнего во вчерашнее,
несутся числа...
Счет ведется вспять...
Средневековые соборы, башни
вот-вот развалятся. Не устоять.

И затрясутся горы, льды роняя,
и станет хрупкой твердь, как кость виска,
а наша разница с тобою
возрастная
рассыплется, как мостик из песка.

Назад, к нулю! К преддверию начала!..
Однако это значит,
что в пути
поляну юности, где музыка звучала,
я вновь могу с друзьями перейти.

Мы в сборе. Все мы юны. Впрочем, все ли?..
Ловлю усмешки грустные... Увы...
Да-да, друзья мои,
вы старились, лысели —
и все-таки, как сон, прекрасны вы.
Вы,
физики,
врачи,
строители,
путейцы,
с которыми дружу со школьных лет!
Я не перестаю надеяться,
что дружбе той
дорог обратных нет,
что не растает, не лишится смысла
живая цепь земных рабочих дней
и что напрасно
скачут эти числа,
тревожно цокая в груди моей!..

Им, цифрам, что? Их лишь направь обратно —
готовы мчаться, взяв слепой разгон,
к нулю,
к костру, который был бы безвозвратно
их возвращением испепелен.
Взрыв! —
и летим за цифрами назад мы:
мозг,
чувство,
хлорофилл,
молекулы воды,
а дальше — лишь разрозненные атомы
глухонемой, развенчанной звезды...

Товарищи мои!
Я знаю:
вы остановите обратный этот счет!
Шумит рекою жизнь — зеленая, земная,
и вспять она не потечет.

Осенние аэродромы

«Скорей бы в путь! Скорей бы старт!..»
Меня всегда, а осенью в особенности,
охватывают аэродромы
каким-то первобытным волненьем.

Деликатные прожектора у входа
хмурят брови, предостерегая.

Алюминиевые махины
насмешливо серебрятся
в неоспоримом своем превосходстве —
и, словно доисторические кузнечики,
разворачиваются на бетоне для прыжка.

Но вот между ними,
улыбкой ветер навзничь опрокидывая,
возникает Икар.

И где-то в бездне южного неба
загорается надеждой
мерцающая Проксима Центавра...

А в лесах окрестных
белочки огненные
шишки шелушат,
грызут орехи...
Ах, если бы стрекот полевой,
по-осеннему отчаянный,
заполнил сейчас ушные наши раковины
до краев!
Чтоб вокруг — только волны трав,
да плывущие по ним куропатки,
да клочья заячьей шерстки на кустах,
да облака над Витошей,
да тишь над облаками...

Проползают автоцистерны с горючим,
и в свете их фар
нам трудно узнать друг друга,
как на негативном изображении.

И я думаю вот о чем:
завтрашнее утро
смоет ночные неверные тени:
подлинность наших лиц, наших чувств
будет полностью восстановлена,
и улетучится атавистичная тоска
по старым городам,
где под небесами дождливыми
росли,
как грибы,
колокольни.

«Скорей бы в путь! Скорей бы старт!..»
Взлетаем
И капает тяжелый расплавленный воск
со сверкающего оперенья.

Зимнее воскресенье

Краски!
Мелодии!
Стихотворенья!

Мало мне разве? — понять не могу...
Время влюбленности, краткое время,
ты ль, затерявшись в снегу,
льешься упрямо
отзвуком лета
в тонкий просвет между явью и сном?
Зря. Ведь друг другу — я понял это —
мы уж себя не вернем.
Стало быть, в зимних полупотемках
чем-то иным
пригвожден я к тоске.
...Вспомнилась утлая комнатенка
в тихом моем городке:
гладь гимназических вод рассекая,
мчалась она,
вся продута насквозь...
Площадь единственная городская.
Ну и народу же там собралось
в полдень воскресный!..

Ах, вот оно, вот оно —
то, чем сумею тоску объяснить!
Сразу распутана,
сразу размотана
давняя, прочная нить.
Люди!
Родные мои сограждане!
Жители городка моего!
Я виноват, что строчкой не каждою
смог оправдать
такое родство.
Только одним и горжусь я, не скрою:
вас
из моих не вычеркнуть дней!
Вот и тоскует сердце порою
по сердцевине своей.
Вновь меня скоро кликнет дорога...
Вновь одолею подъем крутой...
Пусть вы судить меня станете строго,
встретив
на площади той,—
не оборву эту связь живую!
Верьте,
что в зимний пасмурный час
счастлив не тем я, что сам существую,—
счастлив думой о вас.

МИШЕЛЬ БЮТОР

Изменение

РОМАН

Перевод с французского С. ТАРХАНОВОЙ и Ю. ЯХНИНОЙ

Часть вторая

IV

Ты все еще дрожишь от холодной сырости, которая пронизала тебя, как только ты вышел из вагона; на нем, теперь ты сам в этом убедился,— снаружи, под коридорным окном за твоей спиной, подвешена металлическая дощечка, где и в самом деле указано, что поезд следует через Дижон, Модан, Турин, Геную, Рим, Неаполь и Мессину в Сиракузы; это, по-видимому, и есть конечная цель свадебного путешествия молодоженов, которые сейчас опустили стекло окна напротив тебя и, высунувшись наружу, увидели рельсы и другой поезд, который вдалеке медленно сдвинулся с места под дождем, усиливающимся с каждой минутой.

Новобрачный поднял голову, брызги дождя сверкают в его сухих волосах того же цвета, что дерево стола в гостиной твоей квартиры в доме номер пятнадцать на площади Пантеона; а его жена отряхивает локоны, окунув пальцы в их светлый, точно ноябрьское солнце, костер,— совсем как Сесиль, когда та поправляет иссиня-черные змейки кос, или как Анриетта много лет назад, когда она еще была молодой.

Священник снова вынул требник из папки, валявшейся на сиденье, как если бы он намеренно бросил ее сюда, рядом с романом, который ты оставил в знак того, что твое место занято, а теперь, взяв с сиденья, кладешь на полку, хотя ни слова в нем не прочитал, а лишь быстро перелистал его, проведя большим пальцем по обрезу, подобно тому, как школьником ты перелистывал книжечку с движущимися картинками, но теперь уже не для того, чтобы посмотреть, как скачут фигурки, а просто желая услышать, сквозь грохот поезда и вокзальный гул, легкое, похожее на шум дождя шуршание бумаги.

Он по-прежнему невозмутимо сидит в углу, и складки на его черной сутане теперь неподвижно застыли, словно на каком-нибудь изваянии из окаменевшей лавы,— сидит, отвернувшись от мокнущих под дождем рельсов и проводов, от этого, вероятно, слишком привычного для него, унылого пейзажа, просунув указательный палец под красный обрез страниц, и когда ты садился на свое место, его взгляд неожиданно встретился с твоим взглядом, но он глядит не на тебя, а на того, кто занял место преподавателя, который только что сошел с поезда, на человека, появившегося в купе в то время, когда ты выходил из вагона и, стоя снаружи, рассматривал металлическую планку с обозначением

Окончание. Начало в № 8.

маршрута,— человека, еще не успевшего снять светло-серое пальто, лишь слегка намокшее под дождем, итальянца, судя по всему, не только потому, что он достал из кармана номер «Стампы», но прежде всего потому, что на нем остроносые ботинки из черной и белой кожи, покоящиеся на отопительном мате, который, словно мозаичная река, выложен ромбовидными волнами.

Подняв оконное стекло, молодожены вновь садятся на свои места.

Входит женщина, вся в черном, суетливая, низкорослая, с ранними морщинами на лице, в шляпе, отделанной тюлем и приколотой большими булавками с круглой головкой на конце,— входит, держа в одной руке плетеный соломенный чемодан и кошелку, а другой ведя мальчика лет десяти, который в свою очередь тащит корзину, накрытую платком помидорного цвета; они опускаются на сиденье между священником и тобой, и у женщины вырывается долгий вздох облегчения.

Голос, искаженный репродукторами, заключает свое сообщение: «...Шамбери, Модан, Италия. Пассажиров просят занять свои места. Поезд отправляется»; ты слышишь глухое щелканье последней двери, захлопнутой второпях,— поезд трогается.

На белой коже ботинок, стоящих на отопительном мате, круглыми, бросающимися в глаза пятнами лежит грязь: наверно, человек не захватил с собой другой обуви, когда уезжал из Италии прекрасным солнечным днем, быть может, как и ты, в минувшее воскресенье.

Появляется в белой фуражке и куртке официант из вагона-ресторана, раздающий голубые талоны на обед в двенадцать часов, в первую смену, которую выбирают молодожены, и розовые — на обед во вторую, после часа дня, которая больше устраивает тебя, как, впрочем, и итальянца,— он, видимо, твой ровесник, но наверняка беднее тебя, и, возможно, он агент какой-нибудь дижонской фирмы и торгует горчицей и вином «Кло-Вужо».

Шарф, который он так и не снял с шеи, в точности того же синего, кобальтового цвета, что и его сумка, лежащая в багажной сетке, на том месте, где недавно еще был темно-рыжий, весь в чернильных пятнах портфель, из которого преподаватель доставал книги в черной коленкоровой обложке, вероятно взятые им в факультетской библиотеке.

Интересно, какие дорожные принадлежности везет он с собой? Уж конечно, электрическую бритву, к которой тебе так и не удалось привыкнуть, потом — по меньшей мере одну пижаму, несколько элегантных рубашек, какие умеют шить только в Италии, кожаные домашние туфли в шелковом футляре, какие выставлены в витринах магазинов на Корсо, ну и, конечно, папки с делами, бумаги, машинописные тексты на разноцветных листках, проекты и сметы, письма и счета.

Женщина в черном, та, что села рядом со священником (вдвоем они составили странную черную пару, контрастирующую со светлой парой молодоженов) и, наверно, сойдет на ближайшей станции, приподняла платок на корзине, стоящей между ней и мальчуганом слева от тебя, который (он похож на Тома, каким тот был несколько лет назад) уже нетерпеливо болтает ногами, то и дело ударяя одной о другую.

Поезд миновал станцию Жеврей-Шамбертен. В коридоре мелькнула белая куртка официанта, переходящего из одного купе в другое; а за окном прохода, снова усеянным крупными дождевыми каплями, медленно, нехотя сползающими по стеклу пучками косых неровных линий, то отклоняющихся в сторону, то сливающихся, отъезжает призрачный молочный фургон, удаляясь от колеи посреди неясных пятен, темнеющих на мутном коричневом фоне пейзажа.

В понедельник вечером, выйдя из дворца Фарнезе, Сесиль поищет тебя глазами и увидит, что ты стоишь у одного из продолговатых фонта-

нов, прислушиваясь к шуму падающих струй и глядя, как она во мраке идет к тебе через площадь, почти совсем пустынную — в этот час на Кампо-деи-Фьори [1] уже не будет ни одного торговца,— и только добравшись до памятника Виктору-Эммануилу, вы вновь окунетесь в сверканье и суету большого города, с его троллейбусами и неоновыми рекламами; но так как в вашем распоряжении до ужина останется еще целый час, то, возможно, вы не пойдете этой слишком уж привычной дорогой, а будете долго, не спеша, петляя, бродить по узеньким темным улочкам, и ты обнимешь Сесиль за талию или за плечи,— так же обнявшись, вероятно, будут бродить здесь молодожены из твоего купе, если только они едут в Рим, так же они станут прогуливаться и в Сиракузах, если держат путь в этот город, и так же гуляют каждый вечер юные любовники Рима; вы будете бродить по улицам Рима, окунаясь в густую толпу влюбленных, словно в животворный ручей, и пойдете вдоль Тибра, временами прислоняясь к его парапету, глядя, как мерцают отсветы далеко внизу на черной воде, а с танцулек на поплавках будут доноситься приглушенные прохладным ветром звуки дешевой музыки; так вы дойдете до моста Святого ангела, и его статуи с их необыкновенной чистотой линий, застывшие в мучительных позах, ослепительно-белые при дневном свете, покажутся вам странными, плотными чернильными пятнами; затем, уже другими глухими улочками, вы снова выйдете к сердцу вашего Рима — площади Навона с ее сверкающим фонтаном Бернини и расположитесь, если не на террасе, где в этот час уже слишком прохладно и откуда, по всей вероятности, уже будут убраны столики, то, во всяком случае, как можно ближе к окошку в ресторане «Тре Скалини», и, заказав самого лучшего «Орвьето», ты подробно расскажешь Сесиль, как ты провел вторую половину дня, прежде всего для того, чтобы она окончательно уверилась, что ты приехал в Рим только ради нее, хотя весь этот день вы были разлучены, а отнюдь не воспользовался поездкой, навязанной тебе фирмой «Скабелли», потому что для этой новой жизни, которую вы собираетесь начать вдвоем, совершенно необходимо, чтобы в начале ее не было не только лжи, но даже тени лжи; и, во-вторых, для того, чтобы в последний раз поговорить с ней о Риме — в Риме.

Ведь теперь она должна будет уехать, как только вы оба примете решение, установите сроки и она выполнит необходимые формальности,— может быть, уже в понедельник вечером, самое позднее — через две-три недели, и если, что вполне возможно, это будет в дни твоей очередной командировки в Рим, тогда ты, вероятно, в последний раз застанешь в этом городе Сесиль и у тебя будет такое ощущение, словно она уже его покинула, потому что она захочет еще раз взглянуть на все, что ей и так хорошо знакомо, чтобы прочнее закрепить в памяти римские впечатления, но уже не пытаясь их углубить.

Отныне из вас двоих римлянином будешь ты, и тебе хотелось бы, чтобы она, прежде чем уедет из Рима, передала тебе бóльшую часть своих знаний, пока их не поглотили парижские будни; более того: тебе хотелось бы, чтобы она потратила эти последние дни своей жизни в Риме, немногие дни до отъезда (пусть сделает небольшую передышку после того, как покончит со службой в посольстве), на знакомство со всем, что нравится тебе и чего она не видела ни разу,— прежде всего со всем наиболее любопытным, что есть среди множества экспонатов Ватиканского музея, куда она до сих пор отказывалась идти не только из-за своего отвращения к католической церкви вообще (это еще не причина), но и потому, что в Ватикане она со времени вашей встречи не без основания усматривает — сколько бы ты ее ни убеждал, что свободен от предрассудков,— воплощение всего, что мешает тебе порвать с Анриеттой, что воз-

[1] Цветочный рынок *(итал.)*.

браняет тебе начать новую жизнь, прогнав унылую тень старика, в которого ты медленно превращаешься.

Теперь, этим решением, этой поездкой, предпринятой ради нее одной, ты докажешь ей, что сбросил все цепи, и, следовательно, эти статуи и картины уже не должны казаться ей помехой на пути, ведущем к тебе, преградой, которую надо разрушить, чтобы ты стал свободен, а потому она может и должна их увидеть, хотя папский город, его стражи и посетители наверняка вызовут у нее острое раздражение,— увидеть для того, чтобы еще больше окрепло ваше римское братство, ваш союз, освященный красотами Рима, ибо на его почве взросла ваша любовь, любовь, которой суждено переселиться и расцвести в иных краях, в том самом городе — Париже, который остается вашей неотъемлемой родиной.

По другую сторону прохода, за окном, покрытым узором, сотканным из дождевых капель, мелькает что-то светлое, металлическое, и по тому, как оно приближается и, поравнявшись с поездом, исчезает, ты догадываешься, что это бензоцистерна. От толчка, чуть сильнее обычного, пуговица на рукаве чьего-то пальто ударяется о металлическую перекладину. За окном, залитым брызгами дождя, плывут на фоне пейзажа, похожего на отражение в мутном пруду, темные треугольники крыш и одинокой колокольни.

Когда вы с Сесиль вышли из ресторана «Тре Скалини», где только что пообедали вдвоем, стояла чудесная погода; если бы не разлитая в воздухе свежесть, можно было бы подумать, что сейчас август: фонтан Четырех Рек ослепительно сверкал в лучах солнца.

Она горевала, что ты ее покидаешь, что ей придется одной провести весь остаток дня, долгие часы этого воскресенья, а ты старался ее утешить, доказывая, что тебе непременно нужно быть завтра утром в твоей парижской конторе; нет, ты не можешь послать телеграмму и предупредить, что вернешься на другой день, а потому бесполезно пытаться тебя задерживать, уговаривать, чтобы ты дождался поезда, который отправляется в двадцать три тридцать, того самого, каким ты уедешь в Париж в будущий понедельник.

— А я — я бросила бы все, чтобы уехать с тобой в Париж, чтобы видеть тебя каждый день, хоть каких-нибудь пять минут, хоть украдкой. Впрочем, я понимаю, я ведь всего-навсего твоя римская подруга, и какое же безумие с моей стороны тебя любить, прощать тебе все и верить, когда ты говоришь, будто я для тебя — весь мир, хотя твое поведение убеждает меня в обратном...

Вот почему ты стал ее уверять, что прилагаешь все силы, чтобы подыскать ей работу, что, как только представится возможность, ты увезешь ее отсюда, расстанешься с Анриеттой без лишних слов и вы заживете вместе.

Между тем, если теперь ты и вправду принял решение, вправду, расспросив знакомых, отыскал для Сесиль место, которое хотел найти, если все, что ты ей говорил, теперь и вправду сбылось, то тогда, в ту пору, ты еще ничего не успел предпринять, у тебя были лишь неопределенные намерения, осуществление которых ты откладывал с недели на неделю, от одной поездки до другой.

И она отлично это понимала, глядя на тебя с грустной улыбкой, хотя грусть казалась тебе ничем не оправданной, и, понимая это, Сесиль умолкла и зашагала вместе с тобой к стоянке такси напротив Сант-Андреа-делла-Валле, потому что час уже был поздний, а тебе еще надо было взять чемодан в «Квиринале».

На новом marciapiede [1] вокзала Термини ты сел в вагон первого класса и, заняв место у коридора, по ходу поезда, оставил на сиденье газеты и итальянский детектив, которые купил в большом прозрачном холле, когда часы уже показывали тринадцать тридцать, и, положив на багажную полку чемодан и портфель, снова вышел на перрон, чтобы поцеловать Сесиль, которая снова спросила тебя, добиваясь желаемого ответа (она и вправду добилась его, но тогда ты этого еще не знал, и ты не мог ее утешить и успокоить):

— Так когда же ты вернешься?

И ты повторил ей то, что она и так уже знала, что ты повторял ей раз двадцать за время этой встречи:

— Увы, только в конце декабря.

Это теперь оказалось неправдой; но она, словно предчувствуя то, что произойдет, то, что уже происходит сейчас, вдруг стряхнула с себя печаль, рассмеялась и, когда поезд уже тронулся, крикнула:

— Счастливого пути, не забывай меня!

И ты увидел, как ее фигура, все уменьшаясь, уплывает вдаль.

После ты устроился в своем купе напротив цветной репродукции, на которой воспроизведен фрагмент «Страшного суда» из Сикстинской капеллы — тот, где один из грешников силится закрыть глаза, чтобы не видеть,— репродукции, висевшей над местом, которое так и осталось до самого Парижа незанятым,— и погрузился в чтение посланий Юлиана Отступника.

Солнце уже почти село, когда ты приехал в Пизу, а в Генуе, пока ты ужинал в вагоне-ресторане, шел дождь, и ты смотрел, как на стекле с другой стороны теснятся водяные капли; около часу ночи поезд пересек границу, потом ты погасил свет и благополучно уснул и проснулся лишь часов в пять утра; отдернув справа на окне синюю занавеску, ты увидел огни вокзала, прорезавшие темноту, и когда поезд замедлил ход, прочитал название станции — Турню.

За окном, по-прежнему замутненным дождевыми каплями, ворвавшись в строй опор контактной сети неожиданным, чуть более резким аккордом, поднимается на девяносто градусов раскрашенный шашечками семафор. От толчка посильнее хлопает крышка пепельницы под твоей правой рукой. За окном прохода, изборожденным сетью узеньких ручейков, похожих на траектории неторопливых робких частиц в камере Вильсона, крытый грузовик вздымает грязные брызги, проезжая среди желтых придорожных луж.

На этот раз тебе не придется ни возвращаться в отель «Квиринале», ни торопиться после обеда, коль скоро ты проведешь вечер в доме номер пятьдесят шесть на улице Монте-делла-Фарина, в той самой комнате, которую скоро покинет Сесиль и где, следовательно, тебе суждено побывать еще не более двух-трех раз.

Предметом вашей беседы станет устройство вашей будущей жизни, все, что связано с переездом Сесиль в Париж, впрочем, это улажено еще не до конца, вот почему ты предпочтешь отложить разговор на самый последний миг, хотя и можешь уже предложить ей на выбор кое-какие варианты: например, в крайнем случае, на первых порах — комнату для прислуги в доме номер тринадцать на площади Пантеона, хотя тебя и смущает тягостная близость твоего дома; или номер в гости-

[1] Перрон *(итал.)*.

нице — совсем не то, о чем вы мечтали, но сойдет на неделю-другую, затем, с января, квартиру Мартелей, которые собираются уехать на целый год в Соединенные Штаты и, вероятно, согласятся приютить вас на это время, но с которыми придется соблюдать известную осторожность, открыв им лишь часть правды, потому что, хотя на словах они горячо одобрят твое решение, ты не знаешь, как они отнесутся к нему в душе; и, наконец, но только не раньше февраля, квартирку Дюмона, который намеревается переселиться в Марсель, не слишком просторную и комфортабельную, в скверном районе, но за неимением лучшего вы смогли бы более или менее прилично обосноваться в ней.

Вот как обстоят дела, скажешь ты ей, снова столкнувшись с проблемой, обычно встающей перед молодоженами; но не исключено, что через несколько дней появятся новые предложения, ты будешь внимательно следить за газетными объявлениями, и если вдруг подвернется что-нибудь подходящее, ты сразу закрепишь квартиру за собой и даже начнешь в ней ремонт, чтобы к приезду Сесиль все было готово.

Лежа вдвоем в ее постели, под снимками Обелиска и Триумфальной арки, вы станете между ласками толковать, несмотря на неясность с квартирой, о том, какая вам понадобится обстановка и как оборудовать кухню, и, беседуя, вы будете надолго замолкать после каждой фразы, после каждого слова, и скоро, невыносимо скоро, пробьет час, когда надо будет расплачиваться за соседнюю комнату, где ты ни разу не ночевал, где лишь по утрам комкал простыни на постели, и отправляться на вокзал, но не пешком — из-за твоего чемодана, хотя он не такой уж и тяжелый,— а в такси, которого вам, наверно, придется дожидаться довольно долго у Сант-Андреа-делла-Валле или на Ларго Арджентина, потому что в одиннадцатом часу автомобили попадаются гораздо реже.

На залитом светом вокзале, после того как ты войдешь в вагон третьего класса, на котором будет по-итальянски написано «Пиза — Генуя — Турин — Модан — Париж»,— войдешь, чтобы отыскать и занять место вроде того, которое ты занимаешь сейчас, угловое место у коридора по ходу поезда, ты снова выйдешь на перрон к Сесиль, которая, может быть, вновь повторит свой прежний вопрос:

— Так когда же ты вернешься?

Однако это будет сказано совсем иным тоном и с совершенно иной целью, и ты ответишь ей в этот вечер, счастливый для вас, несмотря на разлуку, так же, как ты ответил в минувшее воскресенье:

— Увы, только в конце декабря!

Но ты произнесешь эти слова совсем по-другому, смеясь, уверенный в близости вашего счастья, в том, что отныне вы всегда будете вместе, забыв об обидах и ничего не стыдясь.

До последней минуты ты останешься с ней, обнимая ее и целуя, потому что на этот раз, в эту позднюю пору, перед отправлением этого не очень удобного поезда тебе не придется опасаться, что какой-нибудь влиятельный представитель фирмы «Скабелли», даже если бы в силу невероятной случайности он оказался в двух шагах от тебя, сможет тебя узнать; ты вскочишь на подножку только тогда, когда раздастся свисток, и, опустив в каком-нибудь окне стекло, увидишь, как бежит по перрону Сесиль и все машет и машет тебе, запыхавшись и раскрасневшись от бега и волнения, и ее фигура, все уменьшаясь, уплывет вдаль, и поезд выйдет из-под свода вокзала,— и только тогда ты расположишься на ночлег, мучительный и неудобный, но не сразу погрузишься в чтение, потому что ты весь будешь настолько полон ею, что лица всех твоих дорожных спутников станут смотреть на тебя ее глазами, улыбаться ее улыбкою, как и лица всех тех людей, которые будут дожи-

даться других поездов на перронах ближайших станций: Рим-Тускола-на, Рим-Остьенсе, Рим-Трастевере.

Потом кто-нибудь попросит, чтобы погасили свет.

Сквозь оконное стекло, уже чуть менее замутненное каплями стихающего дождя, ты видишь автомобиль, похожий на твой собственный, черный, весь забрызганный грязью, с порхающими по стеклу щеточками,— черный автомобиль, который вскоре удаляется от железной дороги и исчезает за каким-то амбаром, среди виноградников по другую сторону коридора, где сейчас появился, позванивая в колокольчик, официант вагона-ресторана. Поезд проходит станцию Фонтен-Меркюрей.

Молодожены встрепенулись, но муж, видимо более опытный путешественник, чем жена, заявил, что время еще есть, что они вполне могут подождать, пока официант с колокольчиком не пойдет обратно.

Ты взглянул на свои часы; на них одиннадцать пятьдесят три, значит, до Шалона осталось четыре минуты, и больше часа — до твоего обеда.

Слева от тебя мальчуган грызет шоколадку, которая начала таять и пачкает ему пальцы, поэтому женщина в черном — на которую через какие-нибудь несколько лет станет похожа Анриетта, разве что будет выглядеть немного элегантнее в темно-сером костюме, чуть более светлом, чуть более веселом, чем это черное платье,— поэтому женщина, вынув из сумки платок, вытирает ручонку мальчугана, выговаривая ему за неопрятность, затем достает из корзины пачку печенья, разрывает серебряную упаковку и сует печенье ребенку, который может приходиться ей и сыном, и внуком, и племянником или еще кем-нибудь в этом роде, а тот роняет куски на подрагивающий отопительный мат.

Оторвав взгляд от требника и подавив зевоту, священник кладет левую руку на ребро окна и постукивает пальцем по металлической пластинке, на которой написано: «Высовываться наружу опасно»; затем, потеревшись плечами о спинку сиденья, усаживается поглубже и распрямляет спину; затем опять погружается в чтение требника — уже в виду первых домов Шалона.

Человек, который захватил твое место, возвращается в купе, набрасывает свой черный плащ, покачиваясь между сиденьями, точно хмельной, потом теряет равновесие, но в последний миг, уцепившись за твое плечо, все же удерживается на ногах.

Теперь все замерло, и наступила тишина, на фоне которой лишь изредка раздаются крики, скрежет и шорохи; на окнах больше не вздрагивают дождевые капли и новые не ложатся на стекло.

Коммивояжер ловко снимает с багажной полки свой рыжеватый, с металлическими уголками чемодан из картона под кожу, в котором, вероятно, носит свои образцы — только что́ это: щетки? консервы? хозяйственные товары?

Как правило, торговые агенты так далеко не ездят: они путешествуют короткими перегонами из города в город и сами живут по соседству с подведомственным им районом. Никому из твоих провинциальных агентов не приходится предпринимать по заданию фирмы «Скабелли» столь дальние путешествия; они даже не наведываются в Париж по делам, к ним выезжают твои инспекторы, а этот человек определенно не похож на инспектора. Возможно, он служит в каком-нибудь из этих мелких и скверно организованных предприятий, которые наугад пытаются сбыть товар сплошь и рядом довольно низкого качества, а может быть, он был в отпуску (неподходящее для этого время!) или же ездил повидаться с родными, а может быть, и с женщиной — но с ка-

кой женщиной и где, в каком подозрительном квартале, в каких меблированных комнатах?

А в этом пакете, завернутом в газету,— возможно, в нем съестное, какие-нибудь остатки вчерашних лакомств, но нельзя же весь день таскать его с собой и с ним заходить к клиентам, хотя в камере хранения его не примут, а впрочем, может, и примут; кроме того, возможно, в этом городе у него есть друзья, возможно, он сам живет здесь с женой и детьми (да, на пальце у него кольцо, как у тебя, как у новобрачного, которого он загородил от тебя, как у итальянца, сидящего напротив), живет с женой, воображая, будто очень ловко ее обманывает, но она-то отлично знает, зачем он ездит в Париж, и хоть чаще всего выслушивает его вранье, ни слова не говоря в ответ, чтобы только не было шума, но изредка все же вспыхивает и облегчает душу.

В дверях появился другой мужчина того же пошиба, что и коммивояжер, чуть постарше, с почти таким же чемоданом, с еще более красным лицом и располневшей фигурой, и первый кричит ему, что сейчас придет,— наверно, это и есть знакомый, которого он обнаружил в соседнем купе, куда и перекочевал, освободив твое любимое место.

Сидящий рядом с тобой мальчуган отрывает зубами куски разрезанной пополам булки, из которой вылезает наружу ломтик ветчины.

Входит молоденький солдат в промокшей шинели цвета спелого сена, застенчиво кладет наверх деревянный сундучок, в котором лежат его вещи, и усаживается рядом с итальянцем.

Раздается переливчатый звук свистка, ты видишь, как отплывают назад столбы и скамейки на перроне, возобновляется шум, покачивание вагона. Вокзала уже не видно. У переезда дожидаются машины. Мелькают последние дома Шалона.

Начинается шествие пассажиров без пальто, с голубыми талонами в руках, пассажиров, которые спешат к обеду в эту трапезную на колесах, и снова проходит по вагонам официант с колокольчиком.

Первой поднимается с места молодая женщина; положив на сиденье путеводитель по Италии, она поправляет волосы перед зеркалом и, приведя в порядок прическу, выходит из купе вместе с мужем.

Вдова достает из своей корзины кусок швейцарского сыра, нарезает его тонкими ломтиками; священник, захлопнув свой требник, прячет его в папку.

Поезд проходит станцию Варенн-ле-Гран. В коридоре видна удаляющаяся спина официанта в белой куртке и фуражке. За окном, снова покрывающимся каплями дождя, выбегают из школы ученики.

В купе было еще два пассажира, мужчина и женщина, которые спали с открытым ртом, а под колпаком плафона сторожила их сон маленькая синяя лампочка; ты встал, отворил дверь и вышел в проход, чтобы выкурить итальянскую сигарету. За окном все было черно после Турню; вагонные стекла отбрасывали на откос световые квадраты, скользившие по траве.

Тебе приснилась Сесиль, но сон был не из приятных: перед тобой возникло, словно для того, чтобы тебя помучить, ее лицо с выражением недоверия и укора — лицо, которое поразило тебя, когда ты прощался с ней на перроне вокзала Термини.

Между тем разве не из-за этого вечного укора, который сквозит в каждом слове, в каждом движении Анриетты, ты так спешишь расстаться с ней? Неужели отныне тебя ждет то же самое в Риме? Неужели ты больше не найдешь там вдохновения, тебе больше нельзя будет насладиться покоем, вновь обретая молодость в незамутненном потоке светлой, новой любви? Может быть, старость уже подбирается к тебе с

новой стороны, там, где ты мнил себя неприступным? И не значит ли это, что отныне ты обречен метаться между двумя укорами, двумя обидами, двумя обвинениями в малодушии? Неужели ты дашь разрастись этой бреши, грозящей разрушить великолепный дворец счастья, который в течение двух лет рос и упрочался у тебя на глазах, с каждой твоей поездкой становясь все прекрасней? И неужели ты допустишь, чтобы и на другом лице, словно лишай, поселилось неверие и подозрительность, из-за которых ты возненавидел ту, другую, неужели ты позволишь этому недугу разрастись только потому, что не осмеливаешься смести его одним резким, спасительным ударом?

И если ты так долго не решался удалить огромную злокачественную опухоль, которая накрыла черты Анриетты чудовищной маской, особенно плотной возле уголков рта, почти лишившей Анриетту способности изъясняться по-человечески (любое слово, сказанное ею, доносится словно из-за стены, с каждым днем становящейся все толще, словно с другого конца пустыни, где с каждым днем все грознее ощетиниваются колючки), сделавшей ее губы под твоими поцелуями — она принимает их исключительно по привычке — ледяными и жесткими, как камень; маской, особенно плотной у глаз и как бы затянувшей их уродливым рубцом; если ты так долго не решался ее сорвать, то лишь из страха перед кровавой раной, которую ты обнажишь, словно хирург, взрезающий скальпелем кожный покров,— из страха перед застарелым недугом, который сразу откроется всем.

Но эта глубокая рана, гнойная и опасная, может затянуться только после решительной чистки, и если ты по-прежнему будешь медлить, гной уйдет внутрь, а яд расползется дальше, и недуг перекинется на лицо Сесиль...

Уже и без того на него легла тяжелая тень укора, самое время сделать выбор между двумя женщинами, или, точнее, поскольку исход выбора предрешен, самое время перейти к делу, объявить обо всем во всеуслышание: пусть мучается Анриетта, пусть недоумевают дети, ведь нет другого средства излечить ее, детей и вылечиться самому, ведь это единственный шанс сберечь здоровье Сесиль; но как тяжело далось тебе это решение, как дрожал в твоей руке скальпель!

Да о чем уж тут говорить, ты перекладывал бы это решение с недели на неделю, до следующей поездки, если бы в Париже не захлестнули тебя все эти досадные мелочи, вся эта пресная муть; ты стал бы вилять, малодушный, каким считала тебя Анриетта, каким начала считать тебя и Сесиль, каким она теперь больше никогда не будет тебя считать, потому что ты, наконец, сделал решающий шаг; так ты отсрочил бы собственное счастье, вопреки голосу, преследовавшему тебя везде, вопреки мольбе поспешить, вопреки зову о помощи, вопреки этому лицу, которое, как ни хотелось тебе забыть его, все же мучило тебя во сне и мерещилось тебе на убегавшей вдаль траве откоса, испещренной квадратами света, падавшего из вагонных окон, вопреки тревожному воплю сирены, раздававшемуся в твоем сердце, как ни старался ты заглушить его.

Ты пытался успокоить себя тем, что тогда, на перроне, она рассмеялась, но тщетно, потому что теперь ты знал, что, когда наступит срок ближайшей — декабрьской — поездки, ты снова увидишь то же искаженное лицо, только на этот раз выражение его будет более горьким, и при каждом новом прощании смех ее будет звучать все саркастичнее.

Стремясь отдалить, затушевать, выбросить из памяти это искаженное лицо Сесиль, ты начал вглядываться в ночную тьму, где совсем черные пятна — дома и деревья — проносились, словно огромные стада, бегущие по земле; следить за мельканием станций с их огнями, дощечками и часами. Сеннесей, Варенн-ле-Гран, длинные пустые перроны Шалона,

где поезд не останавливался, Фонтен-Меркюрей, Рюлли; затем, утомившись, надеясь, что тебе снова удастся заснуть, ты вернулся в свое купе первого класса и затворил дверь; слегка отодвинув синюю занавеску, закрывавшую окно справа от тебя, ты увидел вокзальные фонари, и поскольку поезд замедлил ход, ты прочитал название станции — Шаньи.

За окном, на которое теперь ложатся еще более мелкие капли дождя, проплыла деревня — судя по всему, Сеннесей. Поднявшись с места, священник достал с багажной сетки свою папку, дернул застежку-молнию, сунул в папку требник и снова сел. На отопительном мате дрожит огрызок печенья — в центре одного из ромбов, между туфлями дамы в черном и сапогами молоденького солдата, который расстегнул шинель, широко раздвинул ноги и, уперев локти в колени, уставился в проход.

Ты очнулся в купе третьего класса, где напротив тебя спала Сесиль, чей сон стерегла синяя лампочка в плафоне, и дремали еще трое пассажиров, вероятно, туристы.

Затем забрезжил рассвет, и ты разглядел на своих часах, что еще нет и пяти; небо совершенно очистилось — его зелень казалась светлее каждый раз, когда твой вагон выскакивал из туннеля.

Между двумя пригорками, по ту сторону прохода, ты заметил холм Венеры, и только ты успел узнать вокзал Тарквинии, как пассажиры, сидевшие у окна, резко подняли головы и стали потягиваться; один из них отстегнул штору — она сама медленно поползла наверх,— и розовеющие лучи осветили и вырвали из мрака лицо Сесиль; она зашевелилась на сиденье, выпрямилась, раскрыла глаза, какое-то время смотрела на тебя, не узнавая, спрашивая себя, гадая, куда же это она попала, и, наконец, улыбнулась тебе.

Тебе вспомнилось усталое лицо Анриетты, когда прошлым утром она лежала в супружеской постели с взлохмаченными, разметавшимися по подушке волосами, а у этой черная коса, которую она не стала расплетать, даже не помялась, лишь ее кольца чуть ослабели от ночной тряски, от трения о спинку скамьи, и теперь эта коса в новом свете зари осеняла ее лоб, ее щеки самой сладострастной, самой щедрой тенью, от чего еще ярче казалась ее шелковистая кожа, ее губы, ее глаза, которые поначалу секунду-другую смотрели неопределенно и мутно, часто моргая, но тут же обрели прежнюю живость и еще нечто новое — некую радостную доверчивость, которой не было в них вчера,— и ты почувствовал, что в этой перемене повинен ты.

— Как? Вы остались здесь?

Проведя рукой по своему колючему подбородку, ты сказал ей, что скоро вернешься, и зашагал по проходу против движения поезда к тому купе первого класса, теперь совсем пустому, куда ты сел в Париже; опустив на сиденье чемодан, ты достал из него нейлоновый мешочек, в котором лежали туалетные принадлежности, и отправился бриться, вслед за чем ты снова прошел вереницу вагонов, где почти всюду уже были подняты шторы и почти все пассажиры пробудились от сна; Сесиль за это время тоже успела умыться, поправить прическу и накрасить губы,— Сесиль, имени которой ты тогда еще не знал.

После станции Рим-Трастевере и реки, станции Рим-Остьенсе с пирамидой Цестия, сверкавшей в лучах утреннего солнца, после того, как промелькнули Рим-Тусколана, Порта-Маджоре и храм Минервы Целительницы, поезд вошел в большой прозрачный вокзал Термини, и здесь ты помог ей сойти на перрон и взял ее вещи; вы вдвоем прошли через весь холл, и ты угостил ее завтраком, разглядывая сквозь огром-

ные стеклянные стены руины терм Диоклетиана, освещенные великолепным молодым солнцем; затем ты настоял, чтобы она села с тобой в такси, и вот таким-то образом ты в первый раз очутился на улице Монте-делла-Фарина у дома номер пятьдесят шесть, в этом почти совсем незнакомом тебе квартале.

Она не сказала тебе своего имени; твое имя было ей неизвестно; вы оба не заговаривали о новой встрече, но когда шофер вез тебя назад по улице Национале в гостиницу, ты уже был уверен, что раньше или позже ты ее отыщешь, что приключение не может завершиться на этом и что тогда вы по всей форме представитесь друг другу, обменяетесь адресами и договоритесь о месте встречи; что скоро эта молодая женщина откроет для тебя не только многоэтажный римский дом, в который она вошла, но и весь этот квартал, всю эту часть Рима, которую до последнего времени ты почти не знал.

Ее лицо весь день стояло перед тобой, что бы ты ни делал — гулял по Риму или беседовал о делах, и всю ночь оно стояло перед тобой во сне, и назавтра, не в силах удержаться, ты стал бродить вокруг улицы Монте-делла-Фарина и даже минуту-другую караулил у дома номер пятьдесят шесть, подобно тому как станешь караулить завтра, надеясь, что она выглянет в какое-нибудь окно, но потом, боясь показаться смешным (тебе давно уже не случалось вести себя так), но больше всего боясь, что она рассердится и смутится, если увидит тебя в такой роли, опасаясь, что она осадит тебя, сочтя наглецом, и ты таким образом все испортишь, все погубишь своим нетерпением, ты решил удалиться, стараясь ее забыть и предоставляя судьбе позаботиться о будущей встрече.

Под сапогом молоденького солдата раскрошился огрызок печенья на отопительном мате. Вынув из кармана кошелек, священник стал подсчитывать свои ресурсы. За окном, на которое теперь уже реже ложатся дождевые капли, подплывает городок с колокольней, и ты отлично знаешь, что эта станция Турню.

Синяя лампочка под колпаком плафона стерегла сон пассажиров. В купе стоял жаркий, тяжелый дух, от которого давило грудь, два других пассажира по-прежнему спали, их головы раскачивались из стороны в сторону, словно плоды под порывами сильного ветра, затем один из них, высокий грузный мужчина, проснулся, встал и, шатаясь, пошел к двери.

Ты старался прогнать из памяти лицо Сесиль, преследовавшее тебя, но тогда тебя стали терзать видения твоей парижской семьи, и ты их тоже пытался прогнать, но тогда приходили мысли о службе, и так ты бился, не зная, как вырваться из этого треугольника.

Хорошо бы опять зажечь свет, чтобы можно было читать или хотя бы разглядывать что-нибудь, но в купе была еще эта скрытая темнотой женщина, о которой ты ничего не знал, не видел ни глаз ее, ни лица, ни волос, ни платья,— женщина, которую ты, возможно, даже заметил вчера вечером, когда она входила в купе, но с тех пор забыл, смутная фигура, забившаяся в угол у окна лицом к движению поезда и отгородившаяся от всех подлокотником, который она опустила,— женщина, чье размеренное хрипловатое дыхание ты не смел потревожить.

Сквозь неплотно задвинутую дверь падал клин желтоватого света, в котором жили своей суетливой жизнью пылинки,— клин, вырывавший из мрака твое правое колено и рисовавший на полу трапецию, вдруг усеченную тенью возвратившегося назад толстяка, который при-

слонился к выдвижной двери, и ты увидел его правую ногу, правый рукав, несвежий манжет рубашки с запонкой из слоновой кости и руку, которую он сунул в карман, чтобы достать сигареты, только «Насионале», а не «Голуаз»; потом, пока ты следил за клубами дыма, которые поднимались кверху, извивались, стараясь проникнуть в купе, и, наконец, стелились полосами, еще один толчок — более резкий — известил тебя о том, что ты прибыл в Дижон.

В тишине, лишь время от времени нарушаемой лязгом сцеплений, случайным перестуком колес, женщина, очнувшись от сна, отстегнула кнопки шторы рядом с собой и приподняла ее на несколько сантиметров; возникла — поскольку на дворе уже светало — узкая серая полоска, постепенно, после того как снова тронулся поезд, расширявшаяся и светлевшая, хотя еще и не вобравшая в себя красок зари.

Скоро в это окно, ничем больше не затененное, ты увидел обложенное тучами небо, а на стекло снова стали ложиться кружочки дождевых капель.

Под колпаком плафона потухла синяя лампа, погасли желтоватые лампы в проходе; одна за другой стали открываться двери, и оттуда выходили пассажиры, тараща глаза, еще подернутые сном; на всех окнах поднимались шторы.

Ты пошел в вагон-ресторан и там проглотил не превосходный, живительный и крепкий итальянский кофе, а какую-то черную бурду в чашке из плотного бледно-голубого фаянса, закусывая ее смешными квадратными сухариками, завернутыми по три штуки в целлофан,— таких ты больше нигде не встречал.

Снаружи, за завесой дождя, проплывал лес Фонтенбло; его деревья еще были покрыты листьями, которые ветер горстями срывал с ветвей, и они медленно опадали, похожие на багровых и желтых летучих мышей,— деревья, за несколько дней растерявшие весь свой наряд, так что на концах их суровых ветвей теперь сохранились лишь редкие дрожащие пятнышки, последние остатки пышного убора, столь щедро рассыпавшегося вокруг, что все лужайки и кусты были усеяны ими, и тебе казалось, будто ты различаешь за высокими стволами деревьев, за молодым подлеском силуэт всадника гигантского роста, в лохмотьях, за спиной которого треплются на ветру, словно языки тусклого пламени, оторвавшиеся от его когда-то великолепного костюма ленты и золотые галуны, и различаешь коня, у которого сквозь полусгнившую плоть, разодранные жилы и дырявую, обвисшую болтающимися клочьями кожу виднеются черные кости, похожие на мокрые обуглившиеся ветви бука, будто ты различаешь силуэт того, кто породил всю эту суету в природе, того самого Великого Ловчего, чей стон, казалось, раздается в твоих ушах: «Ты слышишь меня?»

Затем появились парижские окраины, серые стены, будки стрелочников, сплетения рельсов, пригородные поезда, перроны, вокзальные часы.

По ту сторону окна, на которое все реже ложатся дождевые капли, ты различаешь куда более четко, чем час назад, проступающие под разлившимся в небе светом дома, столбы, землю, людей, выходящих из домов, тележку и маленький итальянский автомобиль на мосту под железной дорогой. Двое молодых людей, уже в пальто, с чемоданами в руках, выходят в коридор. Мимо проплывает станция Сенозан.

Священник вынимает из кошелька билет, потом, пересчитав деньги, кладет кошелек назад в карман сутаны, застегивает черное пальто, обматывает вокруг шеи вязаный шарф, сует под мышку пухлую папку, которую тщетно пытается застегнуть до конца,— а тем временем за его

спиной уже проплывают первые улицы Макона,— затем, ухватившись за металлическую перекладину и высоко поднимая ноги, он проходит мимо дамы в черном, между молоденьким солдатом и мальчуганом, между итальянцем, листающим газету, и тобой и, выбравшись из купе, застывает в неподвижности у окна до полной остановки вагона.

Что он хранит в своей папке, между этими двумя кусками дешевой кожи, кроме требника? Другие книги? Возможно, это учебники, если он и вправду учительствует в коллеже, если он и вправду торопится к обеду, потому что уже в два часа он должен дать урок мальчишкам вроде Анри и Тома, а может быть, его ждут тетради, которые нужно проверить, диктанты, на которых он будет писать красным карандашом: «слабо», «крайне слабо», «плохо», жирно подчеркивая отдельные строчки и ставя на полях восклицательные знаки, стопка контрольных работ, которые надлежит «вернуть с подписью родителей», сочинения на тему: «Ты пишешь письмо своему другу, чтобы рассказать, как ты провел каникулы» (нет, каникулы кончились уже давно, эту тему всегда дают в самом начале учебного года) или: «Вообрази, будто ты — парижский агент итальянской фирмы по продаже пишущих машинок, ты пишешь письмо своему директору в Рим, сообщая, что решил взять отпуск на четыре дня», где будет начертано: «Мысли есть, но нет плана», «Следи за правописанием», «Злоупотребляешь длинными фразами», «Тема не раскрыта», «Твой итальянский директор ни за что не согласится с твоими доводами». Или еще: «Вообрази, будто ты — мосье Леон Дельмон и пишешь письмо своей любовнице Сесиль Дарчелле, в котором сообщаешь, что нашел ей службу в Париже», «Совершенно ясно, что ты никогда не был влюблен»,— ну, что он может знать о любви?

А может быть, как раз его и пожирает любовь, может быть, он мечется между своим желанием, тем раем, который он торопится обрести здесь на земле, и страхом перед разрывом с церковью, который оставил бы его совсем неприкаянным.

«Вообрази, будто ты хочешь разойтись с женой; ты пишешь ей письмо, чтобы изложить суть дела». «Ты недостаточно вошел в образ автора письма», «Вообрази, будто ты священник-иезуит; ты обращаешься с письмом к отцу-провинциалу, сообщая, что ты покидаешь Орден».

Кто-то раскрыл в проходе одно из окон, и через репродуктор довольно отчетливо звучит голос: «...Шамбери, Сен-Жан-де-Морьенн, Сен-Мишель-Валуар, Модан и — Италия. Пассажиров просят занять свои места...»

Эти пассажиры без чемоданов и без пальто, вероятно, возвращаются из вагона-ресторана, пообедав в первую смену, и правда, вот среди них молодожены, которые спешат на свои места, а на перроне проводник захлопывает двери вагона, и поезд трогается, и молодая женщина проходит между багажными сетками, качаясь, как березка на ветру.

Очистив румяное яблоко, выбранное в корзине, вдова разрезает его на четыре дольки, которые — одну за другой — передает мальчугану и, аккуратно сложив очистки на обрывок газетной бумаги, расстеленной у нее на коленях, дожидается, пока мальчик возьмет последнюю дольку, потом комкает бумажку, скатывает в шар и бросает под скамейку, предварительно вытерев о газету лезвие ножа, который она складывает и убирает в сумку, а затем продвигается к окошку, на место, освобожденное священником, и мальчуган тоже отсаживается от тебя и, облизывая пальцы, грызет яблоко, запах которого наполняет все купе.

Мимо проплывает станция Пон-де-Вейль. Молодые люди, стоящие в коридоре, прислонясь к медному поручню у окна, прикуривают друг у друга. На отопительном мате левая нога новобрачного в светло-желтом ботинке на каучуковой подошве почти совсем закрыла пятно точно такого же цвета, оставшееся от раздавленного огрызка печенья.

Спустя месяц, а может быть и больше, после той встречи в поезде, когда ты уже успел почти совсем о ней забыть, как-то раз вечером не то в сентябре, не то в октябре, когда еще было очень тепло и ярко сверкало солнце, ты в одиночестве пообедал в одном из ресторанов на Корсо, попивая вино, очень неважное, несмотря на чудовищную цену, и так как тебе перед этим пришлось утрясать в правлении фирмы «Скабелли» множество весьма запутанных дел, ты в поисках разрядки решил пойти посмотреть какой-то — сейчас ты уже не помнишь какой — французский фильм в кинотеатре на углу улицы Мерулана напротив аудитории Мецената и у окошка кассы встретил Сесиль; она спокойно поздоровалась с тобой, и вы вместе поднялись наверх, поэтому билетерша, решив, что вы пришли вдвоем, посадила вас рядом.

Через несколько минут после начала сеанса плавно раздвинулся потолок, и твой взгляд, оторвавшись от экрана, прилепился к этой расползающейся синей полосе ночного неба, усеянного звездами, среди которых пробирался самолет с красным и зеленым сигнальными огоньками, а в ваше логово между тем проникали струи свежего воздуха.

Выйдя из кино, ты предложил ей выпить чего-нибудь прохладительного, и в такси, которое везло вас на улицу Венето, мимо храма Санта-Мария-Маджоре, по улице Четырех Фонтанов, ты назвал ей свое имя, свой парижский адрес и тот, по которому тебя можно разыскать в Риме; затем, воодушевленный волшебным зрелищем светлой, нарядной толпы, ты пригласил ее завтра отобедать с тобой в ресторане «Тре Скалини».

Вот почему на другое утро, еще прежде чем отправиться в правление фирмы «Скабелли», ты зашел на главный почтамт и послал Анриетте телеграмму, предупреждая, что приедешь в Париж только в понедельник, а потом, что-то около часу дня, сидя за столиком на террасе ресторана, ты увидел, как Сесиль идет к тебе через площадь, где в фонтане Четырех Рек плескались мальчишки, совсем крошечные рядом с изрыгающими струи гигантами, и если бы в ту пору ты уже был знаком с поэзией Кавальканти, ты сказал бы Сесиль, что исходящий от нее свет сотрясает воздух вокруг.

Она села напротив тебя, положив сумку и шляпу на соседний плетеный стул, опустив тонкие руки на ослепительно-белую скатерть, где между вашими рюмками стояла ваза с цветами, мягко колыхавшимися в благодатной тени, которая защищала вас, покрывала и подстрекала,— в тени, падающей от высоких старинных домов и разрубающей то, что когда-то было ареной императорского цирка, на две четко очерченные половины.

Вдвоем вы смотрели, как люди, пересекая грань между солнцем и тенью, продолжали все так же жестикулировать и говорить, как вспыхивали или тускнели краски их нарядов, как ярко выделялись вдруг волосы и складки на черной одежде, как возникали неожиданные отблески, обнаруживая в обыкновенных белых лучах поразительное богатство оттенков.

Вы принялись наперебой расхваливать эту площадь, этот фонтан, эту церковь с ее эллипсообразными колокольнями,— и это был ваш первый разговор о памятниках Рима, прежде всего о памятниках семнадцатого века, и потом, желая показать тебе «прелестные уголки» города, она на этот вечер стала твоим гидом и во время долгой — и очень скоро ставшей интимной — прогулки заставила тебя обойти все церкви Борромини, которых ты еще не видел.

На отопительном мате смятый газетный шар подкатился к ногам итальянца. Молоденький солдат — шинель цвета спелого сена на нем

уже высохла — встает и выходит за дверь. Человек, идущий по коридору в направлении движения поезда, просовывает голову в купе и, убедившись в своей ошибке, удаляется.

Поезд был набит до отказа, а между тем ведь стояла зима, и было это в этих же самых краях, между Маконом и Буром, примерно в это же время дня; отобедав в первую смену и покинув вагон-ресторан, вы стали искать свое купе в вагоне третьего класса. Анриетта твердила, что оно не здесь, а гораздо дальше, и всякий раз оказывалась права, но ты все равно открывал одну за другой все двери (с легкостью — сейчас у тебя уже нет той хватки), подобно вот этому человеку, ты просовывал голову в купе и тут же уходил, убедившись в своей ошибке.

Ты едва не поступил точно так же, когда, наконец, набрел на свое купе, потому что в нем сменились все пассажиры: теперь здесь была семья с четырьмя детьми, которые расселись на обоих сиденьях, аккуратно сложив на полочке книги, оставленные тобой на местах в знак того, что они заняты.

Вы стали ждать, стоя в проходе, глядя на поля, виноградники и черную кромку лесов, на низкое, темное небо над ними, на снег, который начал сыпать в Буре, на снежные хлопья, распластывавшиеся по стеклу и прилипавшие к раме окна, и так продолжалось вплоть до самого Шамбери, где вам, наконец, удалось вернуться на свои места: Анриетта села у окна, а ты — рядом с ней, в точности так, как сидят вот эти молодожены, только лицом по движению поезда.

Снег, переставший сыпать, покрывал горы, деревья, крыши домов и вокзалов под молочно-белым небом, и холодное стекло запотевало, так что приходилось то и дело его протирать.

Посреди ночи поезд пересек границу, и так как вам едва хватало тепла, шедшего от слабо нагретого мата, вы оба закутались в свои пальто, и Анриетта уснула, положив голову тебе на плечо.

Другой человек, проходящий по коридору в хвост поезда, просовывает голову в дверь купе и тут же уходит. Возвращается и садится на свое место молоденький солдат; он нечаянно задевает ногой смятый комок газетной бумаги, перекатывающийся на отопительном мате, и загоняет его под сиденье.

Перед следующей командировкой ты уведомил ее о своем приезде тем первым письмом, которое заметно отличалось от твоих нынешних писем к ней, ибо прежнее обращение «дорогая мадам» сначала было заменено словами «дорогая Сесиль», а затем — разными ласкательными прозвищами, какими всегда наделяют друг друга влюбленные, учтивое «вы» сменилось интимным «ты», а обычные формулы вежливости в конце — простым «целую».

Ты нашел ее ответ по прибытии в отель «Квиринале», куда ты ее просил написать; она предлагала встретиться у подъезда дворца Фарнезе и обещала отвести тебя, если это покажется тебе любопытным, в маленький ресторанчик в Трастевере.

Так начались ваши встречи; всякий раз, приезжая в Рим, ты виделся с Сесиль; миновала осень, затем зима; стоило тебе заговорить с ней о музыке, как она тут же добывала билеты на концерт; ради тебя она стала следить за репертуаром кинотеатров, взяла на себя заботу о твоем досуге в Риме.

Сама того не заметив в ту пору (вы оба обнаружили это одновре-

менно, когда каждый из вас стал изучать для другого Рим), она сделала так, что ваша первая совместная прогулка была осенена именем Борромини; с тех пор у вас было много других вдохновителей, других путеводных нитей: так однажды в лавчонке букиниста рядом с виллой Боргезе, там, где Сесиль вскоре купила тебе в подарок ко дню рождения две гравюры — одну из цикла «Темницы» и другую из цикла «Римские древности», которые теперь украшают твою гостиную в доме номер пятнадцать на площади Пантеона,— ты долго листал альбом Пиранези с изображением развалин, по большей части тех же зданий, которые были изображены на холстах в вымышленной галерее Паннини, и посреди зимы вы вдвоем отправились осматривать одно за другим эти нагромождения камня и кирпичей.

Однажды вечером, наконец, гуляя по Аппиевой дороге, вы оба продрогли на ветру, и закат захватил вас у гробницы Цецилии Метеллы; город и его стены были окутаны пыльной красноватой дымкой,— и Сесиль предложила тебе то, чего ты ждал уже много месяцев: зайти к ней выпить чашку чаю; и, переступив порог дома номер пятьдесят шесть по улице Монте-делла-Фарина, ты поднялся по длинной лестнице на пятый этаж и вошел в квартиру семейства Да Понте, в квартиру с черными буфетами, с креслами в чехлах из плетеного шнура, с рекламными календарями, среди которых был календарь фирмы «Скабелли», и с изображениями святых, а потом — в комнату Сесиль с ее совершенно иной, приветливой обстановкой, библиотекой, состоявшей из французских и итальянских книг, с видами Парижа, с ярким полосатым покрывалом на постели.

Рядом с камином лежала большая связка дров, и ты заявил, что берешься развести огонь, но оказалось, что за долгие годы, прошедшие после войны, ты утратил былую сноровку, и у тебя ушло на это довольно много времени.

Стало тепло; устроившись поудобнее в одном из кресел, ты выпил чаю, заваренного Сесиль, который чудесным образом тебя приободрил; блаженная истома разлилась по твоему телу; ты глядел в светлое пламя камина и ловил его отблеск на стеклянных и фаянсовых вазах, в глазах Сесиль, оказавшихся рядом с твоими, на лице Сесиль, которая сбросила туфли и растянулась на диване, а сейчас, слегка приподнявшись, намазывала маслом гренки.

Ты слушал постукиванье ножа по затвердевшей корке, потрескиванье огня; в комнате стоял тонкий аромат чая и поджаренного хлеба; ты снова был робок, как юноша, поцелуй мнился тебе роком, которого нельзя избежать; ты порывисто поднялся с места, и она спросила: «Что с вами?»

Ты взглянул на нее не отвечая, уже не в силах отвести взгляда от ее глаз, медленно приблизился к ней, словно волоча за собой огромную тяжесть, опустился рядом с ней на диван и, преодолев последние жуткие сантиметры, коснулся губами ее губ; твое сердце сжималось, словно влажная простыня, выкручиваемая чьей-то рукой.

Она выронила нож, который держала в руке, и хлеб, который держала в другой, и было между вами то, что бывает у всех влюбленных.

На отопительном мате мечется, перескакивая с одного ромба на другой, яблочное семечко. В коридоре снова звонит в колокольчик официант вагона-ресторана. Мимо проплывает станция Поллиа.

Молоденький солдат встает, осторожно снимает с полки коричневый деревянный сундучок с металлической ручкой, составляющий весь его багаж, и выходит, и следом за ним покидает купе итальянец, кото-

рый удаляется в противоположный конец коридора, но не успевает он сделать и несколько шагов, как его заслоняют от тебя две женщины из соседнего купе, вышедшие следом за ним в коридор, и в это время показываются первые дома Бура, а с тобой остаются лишь двое молодоженов,— над их головами стоят два огромных чемодана из одинаковой светлой кожи с привешенными к ручкам бирками, на которых, по всей вероятности, указан город, возможно, и вправду в этой самой Сицилии, куда держат путь супруги, куда ты и сам хотел бы уехать, если бы этим можно было ознаменовать твою мнимую свадьбу, твою полусвадьбу с Сесиль,— уехать, чтобы найти там некое подобие лета.

Помимо туалетных принадлежностей, всех этих сложных приспособлений для ногтей, которыми пользуются женщины, в чемодане новобрачной, вероятно, лежат светлые платья без рукавов, оставляющие на воле руки, которые покроются золотистым загаром,— руки, глубоко прятавшиеся в рукавах там, в холодном Париже, откуда молодожены уехали вместе с тобой; руки, которые все так же будут прятаться в рукавах до самого конца этой поездки, даже если молодые остановятся в Риме, даже если они проведут там целый день и только под вечер поедут дальше и потом, усталые после еще одной ночи в поезде, куда более шумном и менее быстром, чем этот, утомленные еще более сильной качкой, еще более частыми и грубыми толчками, прибудут в Палермо или же в Сиракузы, где, как только они сойдут на землю, вечером или утром, их встретит великолепное, как на картинах Клода, золотистое море, с лиловыми и изумрудными глубинами, они будут вдыхать чудесный, напоенный ароматами воздух, который очистит их легкие и наполнит их бодростью, такой, что они переглянутся, как победители, совершившие подвиг; в чемодане должен быть также купальный костюм и мохнатые простыни, которыми вытрутся молодожены, прежде чем растянутся на песке в тот же вечер или на другое утро, в понедельник или во вторник, а ты в это время уже снова будешь сидеть в вагоне, и поезд, везущий тебя назад, уже пересечет границу у Модана.

Женщина в черном покончила с едой, ее мальчуган уже сосет мятную конфетку; она раскрыла окно, на котором теперь поблескивают лишь редкие дождевые капли, и выбросила бумажку с мусором на перрон, почти совсем безлюдный, который вдруг замер, застыл в неподвижности, и вместе с ним, перед грядой выступающих на горизонте низких серых строений, застыли деревянные вагоны, провода, прочерчивающие небо, и рельсы, тянущиеся по земле.

Снова приблизился звон колокольчика; ты встаешь, глубоко вдыхаешь влажный воздух, и, покосившись на бирки обоих чемоданов, где и в самом деле написано слово «Сиракузы», на четыре снимка в углах купе с изображением гор, парусников, башен Каркассона и красующейся над твоей головой Триумфальной арки на площади Звезды, ты кладешь на сиденье, чтобы занять место, роман, который купил на Лионском вокзале перед отправлением поезда, и выходишь за дверь.

V

Ты вошел в купе, раздавил в пепельнице, привинченной к дверной раме, окурок только что выкуренной сигары, потом, наклонившись, неловко взял двумя пальцами левой руки книгу, которую оставил в знак того, что место под снимком Триумфальной арки на площади Звезды занято, но в эту минуту вагон тряхнуло сильнее, ты еле устоял на ногах и, ухватившись за сиденье, выронил книгу из рук.

Едва ли полбутылки маконского вина могли так сильно на тебя подействовать; правда, была еще сигара и рюмка коньяку, и к тому же ты не удержался и перед едой выпил портвейна, чего обычно не делаешь, когда обедаешь один, да вдобавок, наверно, сказывается усталость после куцей недели в Париже, когда пришлось быстрее обычного улаживать текущие служебные дела и, призвав на помощь всю силу воли, принять, наконец, важное решение относительно перемен в твоей жизни, а дома хранить молчание, ничем не выдавая себя в кругу семьи, которую тебе стало еще труднее выносить с тех пор, как ты почти окончательно решил с ней порвать, а ведь ты полагал, что перестанешь испытывать раздражение — лишь только уверишься, что все это уже ненадолго.

Малыш Тома смотрит своими круглыми глазенками, как ты разглаживаешь и отряхиваешь страницы книги, которая измялась и испачкалась, упав на отопительный мат.

Так, значит, ты снова принялся за свою любимую игру — давать имена каждому из спутников, но, пожалуй, имя Тома не очень подходит этому непоседе,— ведь он гораздо моложе твоего сына; лучше назвать его Андре; женщина, которая, взяв малыша за руку, выводит его из купе, будет зваться мадам Поллиа, что до молодой четы — нет, не надо никаких литературных ассоциаций, просто Пьер и...— гм, Сесиль отпадает, а вот Аньес годится вполне; Сант-Аньезе-ин-Агоне — церковь Борромини на площади Навона.

Захлопнув книгу, ты кладешь ее на полочку, садишься; в эту минуту возвращается итальянец — его лицо заметно покраснело за время отлучки, и ты начинаешь подбирать ему одно из имен в классическом духе, до которых так падки его соотечественники: Гамилькар? Нет, это недостаточно римское имя, тогда — Нерон? Траян? Или, может быть, Август?

Впрочем, с чего ты взял, что он римлянин? Можешь держать какое угодно пари с самим собой — сойдет он в Турине, где его ждет обед, разогретый женой (итальянец тоже носит обручальное кольцо),— спагетти, кьянти (впрочем, может, он солгал жене, сказав, что вернется не раньше завтрашнего дня, а сам назначил свидание другой женщине), или в крайнем случае он сойдет в Генуе, где ему приготовлен ночлег. Тебе вспоминается генуэзский собор и в романском тимпане его фронтона — мученик на раскаленной решетке, да и в Турине тоже есть церковь Сан-Лоренцо с куполом Гварини на крестовых сводах, ну что ж, стало быть, имя Лоренцо подойдет и в том и в другом случае.

Мадам Поллиа уже привела своего племянника обратно и усадила рядом с корзиной, из которой извлекла кулек с мятными конфетами, почти пустой.

Наверное, она родилась в сыром и темном городишке в Альпах, где ее отец служил кассиром в банке; после работы он возвращался домой усталый, жене изменял с официантками из кафе, по воскресеньям вся семья — они протестанты — отправлялась в церковь гнусавить псалмы; дочь получила аттестат об окончании начальной школы, годами играла гаммы на пианино, когда ей минуло восемнадцать лет, она впервые поехала с матерью в Лион, брала уроки танцев в залах мэрии у учителя пения, на новогоднем балу познакомилась со студентом-медиком, приехавшим на каникулы к родным, он пригласил ее в кафе, потом они встретились снова, она проводила его на вокзал и, купив перронный билет, долго глядела вслед последнему убегающему вдаль вагону;

тайком стала писать ему письма, но это вышло наружу, и однажды, когда она сидела за пианино, родители потребовали объяснений, решено было навести справки, сведения оказались самыми благоприятными, и переписка стала официальной.

она пристрастилась к чтению романов, что сразу сказалось на ее

письмах, купила губную помаду, которую стала носить в сумочке как талисман, и время от времени, запершись в своей комнате, пробовала наводить на себя красоту.

Когда он получил доплом — объявили о помолвке; когда вернулся из армии — они поженились и отправились в свадебное путешествие в Париж.

Он с успехом занялся частной практикой, потом началась война, муж умер, оставив ее бездетной вдовой; с тех пор она выезжала из родного города только в Бур к старшему брату, банковскому служащему, который надеется дослужиться до кассира и у которого двое сыновей и три дочери; Андре, самый младший, немного прихворнул, доктор сказал, что ему необходимо отдохнуть, и решено было отправить его к тетке.

Поезд проезжает станцию Шендриё. За окном прохода, на стекле которого осталось всего несколько дождевых капель, да и те постепенно испаряются, под очень низким серым небом открылись платиновые воды озера.

Поезд будет идти берегом моря, кто-нибудь попросит погасить свет, и если тебе удастся занять место в углу, ты увидишь, приподняв штору возле самого твоего виска, лунные блики на волнах под ночным небом, безоблачным после минувшего прекрасного дня.

Все уже будет сказано, все будет сделано, все подготовлено, и даже будут назначены почти точные сроки; между вами снова воцарится полное согласие — о, больше чем согласие, такая близость, какой не было никогда, и ты освободишься, наконец, от этой гложущей тревоги, которая упорно не отпускает тебя, несмотря на все твои радужные и вполне обоснованные надежды.

Устав, но совсем особой усталостью — эти дни в Риме дадут тебе полную разрядку,— ты заснешь без труда, несмотря на дорожные неудобства, даже если все места в купе будут заняты, но сегодня тебе наверняка предстоит беспокойная ночь.

Поезд остановится в Чивита-Веккии, потом ты, возможно, угадаешь в темноте Тарквинию, а потом закроешь глаза и, избавленный от мучительных кошмаров, ненадолго заживешь той новой жизнью, к которой тебе расчистила путь твоя поездка; во сне ты начнешь исследовать страну, в пределы которой ты вступил, приняв свое трудное решение.

В Генуе перед рассветом тебя разбудит шум на платформе; ты пойдешь в конец коридора побриться, потом позавтракаешь в вагоне-ресторане и уже возвратишься в купе, когда поезд прибудет в Турин.

Потом поезд начнет понемногу взбираться по склонам Альп, снежные вершины которых ослепительно сверкают под прямыми лучами солнца, он пройдет через леса, стоящие в белом уборе над крутыми откосами, и купе зальет отраженный свет, его чистый и яркий отблеск омоет праздничным весельем лица всех пассажиров, даже тех, кто ночью не сомкнул глаз, но ни на одном лице нельзя будет прочесть такой радости отдохновения и обретенной свободы, такого торжества, как на твоем, и даже таможенные чиновники в Модане покажутся тебе людьми.

Конечно, по ту сторону перевала небо будет уже не таким чистым, и во время обеда ты, наверное, увидишь снегопад, а не то придется ехать сквозь облака, и стекла запотеют от избытка влаги, а когда вы спуститесь с гор, облака прольются дождем, леса снова почернеют и небо станет серым.

И вскоре вы приблизитесь вот к этому самому месту, к озеру, бере-

гом которого ты будешь ехать уже в обратном направлении, и на тебе будет то самое чистое и выглаженное белье, которое сейчас лежит в чемодане над твоей головой, а то, которое сейчас на тебе, будет лежать в чемодане, грязное и мятое.

За окном, с которого уже исчезли дождевые капли, замедляет свой бег, останавливается вокзал Экс-ле-Бен и проходит встречный паровоз, потом вагоны поезда Рим—Париж, того самого, в который ты сядешь в понедельник вечером и который пройдет здесь во вторник днем в этот же самый час.

В прошлое воскресенье, в своем номере в отеле «Квиринале», выходящем на шумную улицу Национале — звонки троллейбусов и выхлопы отъезжающих мотороллеров несколько раз будили тебя в то утро,— ты поглядел на стоявший на столе открытый чемодан и свесившийся из него измятый рукав рубашки, в которой ты приехал из Парижа в Рим (а у тебя не было в запасе чистой, кроме той, которую ты собирался надеть, то есть той самой, которую ты сбросил перед сном, вернувшись с улицы Монте-делла-Фарина, номер пятьдесят шесть, и она валялась теперь вместе со всей остальной твоей одеждой на стуле возле кровати), и сказал себе, как говорил уже неоднократно в подобных случаях, что в следующий раз надо захватить с собой в дорогу не одну, а две смены белья, но ты и сегодня опять забыл о своем намерении.

Солнце уже освещало два верхних этажа дома напротив, ты водворил на место строптивый рукав, закрыл крышку чемодана, все приготовив для того, чтобы по дороге на вокзал только на минуту забежать в гостиницу за багажом.

Накануне вечером ты так задержался у Сесиль, не в силах расстаться с ней, хотя понимал, что не можешь пробыть у нее до утра (правда, в тот момент все эти соображения казались тебе сущим вздором), что было уже около десяти, когда ты утром вышел из гостиницы на улицу.

Ты понимал, что Сесиль встала гораздо раньше и наверняка уже позавтракала, так как ей надоело дожидаться тебя. Вот почему ты, не торопясь, зашел в бар выпить caffelatte[1] и съесть пирожное с вареньем — в Италии их называют рогаликами — и на улицу Монте-делла-Фарина, номер пятьдесят шесть, явился только около одиннадцати, когда все семейство Да Понте отправилось к мессе, а Сесиль была одна и сильно не в духе, потому что приготовила для тебя чай, поджаренный хлеб и все прочее,— ведь ты сам накануне сказал ей, что тебе это будет приятно... Но ты нашептывал ей накануне еще многое другое, а к утру все забыл.

На отопительном мате возле твоей левой ноги неподвижно лежат два яблочных семечка.

Чуть больше года назад, осенью, но только чуть пораньше, в воскресенье вечером, вы вдвоем не спеша пили чай, окно и ставни были распахнуты настежь, заходящее солнце освещало часть карниза дома напротив, пахло поджаренным хлебом, вы сидели рядом на диване, прислонившись к стене, она положила голову тебе на плечо, пряди ее волос щекотали тебе шею, и ты обнимал ее за талию.

Уличные шумы становились все явственнее, полоса неба над крышами розовела все гуще, а потом тугие перевивы облаков расплелись, и в них проглянули первые звезды.

[1] Кофе с молоком *(итал.)*.

К свету фонарей, золотившему стены домов, изредка примешивались вспышки фар, а в комнате, где все сгущался сумрак, поблескивали фосфоресцирующие стрелки твоих часов.

До поезда, отходившего в двадцать три тридцать, на который вы должны были сесть вдвоем, потому что она решилась наконец поехать с тобой в Париж, еще оставалось время,— и вдруг ты поежился от вечернего холодка.

При свете лампы, укрепленной над маленькой плитой и над маленькой раковиной, скрытой в нише, которая заменяет кухню, ты перетер вымытые Сесиль тарелки и чашки, потом закрыл окно, а она тем временем складывала последние мелочи в чемодан; свой багаж ты уже сдал в камеру хранения.

На Корсо царила обычная суета, но улицы по другую сторону проспекта как-то странно притихли, на площади Навона было почти безлюдно, столики ресторанов и кафе были убраны, и в темноте тихо струился фонтан Четырех Рек.

В купе третьего класса, точно таком, как твое нынешнее, в углу у двери по ходу поезда, она заснула, склонившись головой к твоему плечу, едва только потушили свет, словно благодаря твоему присутствию чувствовала себя в дороге как дома, а наутро вы завтракали вместе за столиком, за которым, по счастью, оказались вдвоем, и вспоминали вашу первую встречу.

На отопительном мате в четырехугольном пространстве, замкнутом твоими ботинками и ботинками итальянца, сидящего напротив, в одной из прорезей застряли два раздавленных яблочных семечка, и сквозь их тонкую поврежденную оболочку проглядывает белая мякоть.

На маленьком круглом столике, не выше дивана, застланного великолепным покрывалом с яркими полосами, которое ты подарил Сесиль в свой прошлый приезд,— на покрывале не было ни единой морщинки, пока Сесиль не смяла его, бросившись на диван,— она бросилась на него, подогнув колени, прижавшись спиной к стене, разметав по снимку парижской Триумфальной арки волосы: черные прозрачные облака на широком фоне неба и белых облаков, нависших над этим заурядным памятником наполеоновской эпохи,— легким движением пальцев сбросила домашние туфли и поставила на пеструю ткань босые ступни, на ее ногтях еще сохранились красные чешуйки вчерашнего лака (в Париже в нынешнем году ей уже не придется ходить без чулок),

на низком круглом столике, покрытом камчатной скатертью с монограммой — но не покойного мужа Сесиль, который был не настолько богат, чтобы заказать к свадьбе полный комплект белья, а его родителей, или, может быть, даже деда и бабки, как тебе однажды объяснила Сесиль, когда вы завтракали за этим столиком (ты уже не помнишь при каких обстоятельствах),—

на столике стоял серебряный, начищенный до блеска чайник с остывшим чаем, наполовину пустой, ярко-синий фаянсовый молочник, стеклянная сахарница, две большие чашки из тонкого фарфора, одна из них со следами чая на дне — маленьким коричневатым пятном с черными точечками чаинок,— тарелка с цветочным узором и на ней четыре ломтика поджаренного хлеба, рядом никелированный тостер, в котором их приготовили, наполненная доверху масленка, вазочка с вареньем,

и на металле чайника играл яркий отблеск солнца, точно звезда сверкавший в полумраке комнаты, потому что в щелку приоткрытых ставней проникал только этот единственный луч.

— Все уже остыло. Хочешь, я подогрею чай?

Но было совершенно очевидно, что она не собирается вставать,— она сидела, напряженно выпрямившись, не улыбаясь; впрочем, тебе и не хотелось чая.

— Извини, я опоздал; я думал, ты уже убрала со стола, и выпил кофе.

Ты распахнул ставни, и вся посуда на столе и чешуйки лака на ногтях Сесиль заблестели; с того места, где ты стоял, можно было глядеться, как в зеркало, в стекла парижских видов над кроватью.

За окном снова приходит в движение, потом исчезает вдали вокзал Экс-ле-Бен.

И вот на исходе короткого и ясного ноябрьского дня, оставив позади озеро Бурже, ты узна́ешь промелькнувшую станцию Шендриё. Солнце — или, вернее, его отблеск, потому что, переехав границу, самого солнца ты больше не увидишь,— будет мало-помалу бледнеть; в Буре тебя уже настигнут сумерки, в Маконе небо затянет мглой, и по стеклам, сквозь которые проникает в вагон свет ламп, фонарей и вывесок очередного придорожного городка или поселка, почти наверняка будут стекать дождевые капли.

Стало быть, Бургундии ты не увидишь совсем; в сыром и холодном мраке, который сгустится над миром и заползет тебе в душу, ты будешь подъезжать к Парижу, где тебе предстоит неделя потрудней минувшей, потому что теперь, когда твое решение бесповоротно, надо приложить все усилия, чтобы его скрыть, пока ты его не осуществил, надо по-прежнему жить под одной крышей с этой женщиной, с Анриеттой, в кругу семьи, как ни в чем не бывало, и, надев на себя личину безмолвной невозмутимости, ждать приезда Сесиль в Париж.

Полно, неужели ты настолько слаб? Разве не лучше сразу по приезде честно во всем признаться Анриетте? Неужели твоя решимость так хрупка, что ее могут поколебать упреки, жалобы, попытки вновь завлечь тебя — все, к чему она, безусловно, прибегнет?

Нет, не слез Анриетты ты боишься,— да и станет ли она плакать?

О нет, она поведет себя куда коварнее и опаснее: тебя встретит молчание и презрение, презрение не только во взгляде, но и во всем ее облике, в каждом движении, в каждом повороте головы; а через некоторое время она спросит: «Когда ты от нас уезжаешь?» — и тебе остается только сложить чемодан.

И тут тебе придется зажить холостяцкой жизнью в какой-нибудь парижской гостинице, а для тебя нет ничего страшнее, в этих обстоятельствах ты будешь совершенно беззащитен перед любым ее выпадом, любой ее уловкой, а уж можно не сомневаться — она вложит в них всю свою изобретательность, зная, как никто, все уязвимые места твоей брони и твоего характера.

Пройдет несколько недель, и ты вернешься к ней с протянутой рукой, потерпев окончательное поражение и в ее глазах, и в своих собственных, и в глазах Сесиль, с которой никогда ты больше не осмелишься встретиться.

Нет, всякое скороспелое объяснение только сорвет планы бегства, которое ты так тщательно подготовил.

Для успеха твоего замысла тебе совершенно необходимо осознать, насколько ты слаб, и принять все меры к тому, чтобы оградить себя от собственной слабости, а значит, выход один — молчать и лгать, может быть, еще несколько недель, а быть может, и месяцев; вообразить себя сильным — значит безвозвратно загубить себя.

Но как унизительно, как трудно это решение, подсказанное осторожностью во имя полного торжества любви,— настолько трудно, что тебе совершенно необходимо снова и снова укрепляться в нем, и особенно настойчиво придется втолковывать самому себе неоспоримые и грустные доводы во вторник вечером, когда ты будешь приближаться к Парижу, потому что, опьяненный ощущением силы и мужества, окрепшим в тебе после тех дней, что ты провел с Сесиль в предвкушении близкого счастья, ты вполне можешь поддаться соблазну покончить с прежней жизнью раз и навсегда.

А стало быть, надо готовиться заранее к тому, что предстоит лгать недели и месяцы, надо то и дело напоминать себе, что ты твердо решил не проговориться и ждать, тщательно поддерживая и оберегая свое внутреннее пламя и собрав все душевные силы для долгой подпольной борьбы,— готовиться заранее, еще тогда, когда, ужиная в вагоне-ресторане, ты будешь глядеть во тьму сквозь мутные стекла, усеянные мириадами дождевых капель, в каждой из которых вспыхивает обманчивый огонек, а квадраты света, падающего из окон поезда, будут на ходу выхватывать из кромешного мрака откосы, усыпанные прелой листвой, и сотни стволов в лесу Фонтенбло, и тебе почудится, будто ты видишь среди них серый хвост огромного коня, похожий на клочья тумана, повисшего на голых и острых сучьях, и сквозь скрежет осей слышишь конский топот и эту жалобу, этот призыв, укоризненный и искусительный: «Чего ты ждешь?»

За окнами прохода сквозь два обсохших, но грязных стекла уже не видно неба, а только откос, по которому карабкаются вверх, разбегаясь врассыпную, дома, а по узкой извилистой тропинке спускается, не притормаживая, велосипедист, и полы сероватого плаща распластались за его спиной как крылья. Поезд проезжает Воглан.

Мадам Поллиа встает, поправляет перед зеркалом черную шляпу, поглубже воткнув в волосы булавку с агатовой головкой, просит Пьера помочь ей снять с багажной полки плетеный чемодан,— тот передал синий путеводитель Аньес, она заложила страницу в конце книги пальцем, чтобы Пьеру было легче найти место, где он остановился, а две закладки, две узенькие голубые ленточки праздно покачиваются, подхваченные движением поезда, следуя неприметному, но настойчивому ритму, который отбивают колеса на каждом стыке рельсов.

Мадам Поллиа составила весь свой багаж на сиденье в углу у окна по ходу поезда — на то место, куда она пересела после ухода священника,— потом застегнула пальто на своем племяннике Андре, который безропотно ей покорился, обмотала ему шею шарфом и, достав из сумки гребень, стала приглаживать его вихры, заслонив от тебя лица Аньес и Пьера, а Пьер уже снова сел и, наверное, взял у жены свою книгу, или нет, судя по положению его левой руки — только она тебе и видна,— он тянется через колени жены к окну, чтобы сквозь грязное стекло разглядеть первые дома Шамбери.

Интересно, где они познакомились? Встретились в поезде, как ты с Сесиль, или сидели рядом на студенческой скамье, как ты с Анриеттой? Нет, навряд ли,— он учился на инженера, а она в Институте прикладного искусства или в Школе при Лувре, и в первый раз они увидели друг друга на вечеринке у общих знакомых; он пригласил ее танцевать, и хотя сам вовсе не был таким уж блестящим танцором, сумел побороть ее застенчивость, ту неуверенность в себе, которая ее сковывала, и все сразу это заметили; над ней стали подтрунивать; она отшучивалась и прилагала все усилия, чтобы не краснеть, но каждый раз чувствовала, как кровь приливает к ее щекам.

Затем они увиделись уже летом; от него не укрылось, что она вздрогнула, когда он вошел в гостиную; он увлек ее в комнату, где было менее людно, а оттуда на балкон, выходящий на один из парижских бульваров; внизу машины сливали свет своих фар, и по дрожащей листве платанов изредка пробегал более сильный шелест, похожий на вздох. Ах, она прекрасно понимала, что влюблена, что в мгновение ока очутилась в том недосягаемом мире, который издали манил ее в книгах и фильмах, и спрашивала себя, может ли быть, что его, Пьера, такого красивого молодого человека, покорила она, когда вокруг сколько угодно девушек к его услугам; она боялась в это поверить, чтобы не испытать потом слишком жестокого разочарования, отмалчивалась и даже избегала его взгляда, а он не знал, как себя с ней держать.

О, как все это тебе знакомо! Они стали завсегдатаями клубов и синематеки, где с благоговением смотрели старые киноленты,— вероятно, те самые, которые вы с Анриеттой когда-то видели в кинотеатрах своего квартала; несколько раз он водил ее в погребки и в ресторан; они объявили обо всем родителям и вчера повенчались в церкви; к вечеру они страшно устали — в квартиру набилось много народу, и каждому из друзей надо было сказать хоть несколько слов.

Но как им хорошо теперь, как славно они отдохнули, хотя прошлой ночью спать им почти не пришлось, и как уже далеки от дома, где все перевернуто вверх дном,

и в глубине души как искренне они клянутся хранить друг другу верность! Долго ли продержатся их иллюзии?

Ах, если бы они знали, что привело тебя в этот поезд, если бы ты рассказал им, как в их возрасте, во время свадебного путешествия с Анриеттой, ты тоже воображал, что ваше согласие никогда и ничем не будет нарушено и дети, которые потом появились на свет, только скрепят ваш союз, и что̀ из этого получилось, как все пошло вкривь и вкось, и почему ты здесь, и какое решение тебе пришлось принять, чтобы покончить с прежней жизнью и вырваться на свободу,— наверное, твое лицо и твоя застывшая, чуть ссутулившаяся фигура показались бы им зловещими!

Может быть, тебе следует нарушить их спокойствие, предупредить их, чтобы они не воображали, будто им выпало особое счастье, что и ты когда-то верил в это со всей искренностью, на какую был способен, что им надо уже теперь готовиться к будущему расставанию и заранее избавляться от предрассудков, связывающих их и порожденных средой,— а они люди твоего круга,— потому что эти предрассудки надолго отсрочат их решение, их освобождение в трудную минуту, подобную той, какую теперь переживаешь ты, когда с Аньес произойдет то, что произошло с твоей Анриеттой, когда невыразимое презрение к Пьеру будет сквозить в каждом ее жесте, и она умрет для него, и ему тоже придется искать другую женщину, чтобы попытаться начать все сначала, другую женщину, которая будет ему казаться совсем иной — воплощением вновь обретенной молодости.

Поезд остановился. Энергичная мадам Поллиа опустила стекло — платформа оказалась с той стороны, где купе. Поручив свой багаж Пьеру, она просит его передать ей вещи через окно, когда она выйдет, и, схватив за руку своего племянника Андре и извинившись, неуклюже пробирается к двери, между твоими ногами и ногами синьора Лоренцо.

Двое юношей, один лет шестнадцати, другой лет восемнадцати, в кожаных куртках на молнии, со школьными портфелями в руках, пропускают ее в коридоре и сами входят в купе.

Ты видишь руку вдовы, она тянется за плетеным чемоданом, за сумкой, за корзиной, из которой совсем недавно извлекалась всякая снедь,— сухая, цепкая рука. Мальчик рядом с ней тебе не виден, может

быть, это вовсе не ее племянник, и она, быть может, вовсе не вдова, и зовут ее вовсе не мадам Поллиа, и навряд ли мальчик носит имя Андре.

Два брата, забросив портфели на багажную сетку и расстегнув куртки, садятся на освободившиеся места, тот, что помоложе, у открытого окна, а Аньес смотрит на них и, конечно, мечтает иметь таких сыновей, красивых, жизнерадостных, и думает про себя: «Когда Пьеру будет столько лет, сколько этому господину, который сейчас смотрит на меня, и мы будем уже не молодыми, а пожилыми супругами, у меня подрастут такие сыновья, только манеры у них будут лучше — ведь мы сумеем их лучше воспитать и не пошлем, как этих мальчиков, в какое-нибудь политехническое училище в Шамбери».

Два рабочих-итальянца, шумно переговариваясь, сбрасывают с плеч рюкзаки и, усевшись, кладут их к себе на колени; теперь все места в купе заняты.

Ты и не пытаешься вслушаться в три одновременных разговора, которые ведутся вокруг тебя на двух языках, и в них еще врывается невнятный голос, объявляющий из репродуктора об отходе поезда.

И снова возобновляются ставшие привычными шум и покачивание, и мир за окном снова бежит тебе навстречу к той границе без начала и конца, которая проходит по твоему сиденью, а за ней исчезает из глаз, и снова в купе врывается ветер, который в одно мгновение осушает воздух. Пьер поднимает стекло.

Поезд выезжает за черту города, и в эту минуту контролер стучит в дверь своими щипцами. Все умолкают и тянутся за билетами.

Мелькает станция Шиньен-ле-Марш. За окном, на склонах, поросших лесом, который становится все темнее, кое-где уже лежит снег.

Перевесившись через окно, ты засмотрелся, как внизу на улице, освещенной утренним осенним солнцем, с трудом разворачивается неуклюжая тележка, груженная древесным углем. Что верно, то верно, зима приходит и в Рим, и, быть может, в эту субботу и в воскресенье вам не так повезет с погодой, как на прошлой неделе; в комнате, которую ты снимешь для вида, будет собачий холод, а за стеной, у Сесиль, почти все время будет топиться камин.

Ее рука тихонько легла на твою голову, уже немного облысевшую; Сесиль облокотилась о подоконник рядом с тобой и сказала:

— Знаешь, это просто нелепо! Неужели нельзя иначе, и ты должен каждый раз снимать комнату в этом дурацком «Квиринале» и возвращаться туда среди ночи, точно ты школьник из интерната или солдат, который самовольно отлучился из казармы, а утром во что бы то ни стало должен явиться на поверку. Как хочешь, но это очень похоже! И неужели тебе не надоела вся эта ложь,— а впрочем, я не знаю, кого ты обманываешь: жену или меня.

Не возражай, я прекрасно знаю, что ты меня любишь и что это правда — тебе все труднее выносить жену; знаю, не перебивай меня, я наизусть знаю все, что ты скажешь: дело, мол, не в ней, а в хозяевах фирмы «Скабелли», которые не допустят... Да, да, ты мне все это уже объяснял, и все мои упреки — просто, чтобы позлить тебя, должна же я отомстить тебе за малодушие, хоть я и давно тебя простила.

Но если бы однажды ты пренебрег своими страхами... сегодня утром я узнала, что в ближайшие дни съезжает жилец, он снимает комнату за этой дверью — видишь, какой огромной старинной задвижкой она заперта? Мне стоит попросить Да Понте, и они наверняка согласятся сдать комнату тебе (ведь ты не забыл — ты мой двоюродный брат), а нам с тобой будет так хорошо!

Сосед недавно ушел, я сама слышала, наверняка он еще не вернулся; давай заглянем туда одним глазком.

Она потянула неподатливую щеколду и открыла дверь, заскрипевшую на петлях.

Ставни в комнате были еще закрыты; вы увидели железную кровать со смятым бельем, открытый чемодан, множество галстуков и носков, разбросанных на комоде, а рядом — жестяной таз на треножнике, кувшин и ведро.

И ты на секунду представил себе то, что произойдет завтра, хотя и не подозревал тогда, что так скоро осуществишь свой план — вернее, даже не имел еще никакого плана,— представил просто как некую отдаленную возможность, не без удовольствия угождая капризу Сесиль: твои вещи разбросаны по комнате, они валяются в нарочитом беспорядке на старых, обитых темно-красным бархатом креслах, а под этой периной и одеялами для тебя постланы простыни, ты на них не ляжешь — не ляжешь, но сомнешь их, чтобы сделать вид, будто спал на этой постели, а на самом деле дверь, соединяющая обе комнаты, всю ночь будет открыта.

Ты смотришь на отопительный мат — на нем среди грязных следов, оставленных мокрыми ботинками тех, кто пришел с улицы, и похожих на грозные снеговые тучи,— россыпь крошечных звезд из розовой бумаги и темно-коричневого картона от билетов, пробитых щипцами контролера.

Контролер проверил ваши билеты. Вы с Сесиль вернулись в купе. Вы молча сели рядом, как сидят теперь Пьер и Аньес, и ты, как он, углубился в книгу, которую, уходя, оставил на сиденье и снова открыл, вернувшись в купе,— сейчас ты уже не помнишь точно, что это была за книга, но наверняка речь в ней шла о Риме; время от времени ты показывал Сесиль какой-нибудь интересный абзац.

Но вскоре ты отвлекся от чтения и, проезжая те самые места, мимо которых едешь теперь, и глядя в окно на горы, бегущие в обратном направлении, подумал: «Почему так не может быть всегда? Почему я неизменно должен расставаться с ней? Правда, сделан огромный шаг: я добился того, что она рядом со мной уже не только в Риме и наша совместная жизнь в кои-то веки выплеснулась из тех узких берегов, которыми мы вынуждены ее стеснять; прежде каждый раз, когда я уезжал из Рима, вокзал Термини становился местом нашей разлуки, нашего прощанья, но наконец нам удалось отодвинуть эту границу: теперь в Париже, где обычно я так тоскую оттого, что она далеко, что нас разделяет это расстояние, эти горы, я буду сознавать, что она рядом, и смогу хоть изредка видеться с ней».

И, конечно, при этой мысли тебя охватила величайшая радость, ощущение победы, но к ним примешивалось грустное сознание, что это всего-навсего первый шаг и ты представления не имеешь, когда за ним последуют другие, что расставание оттянуто лишь на время, что граница перейдена лишь однажды, а когда ты снова приедешь в Рим, все начнется сначала — и тебе придется прощаться с ней на вокзале Термини, что нынешняя поездка — исключительный случай, а не подлинная перемена в жизни.

Впрочем, прежде ты и не помышлял об этой коренной перемене; тебя устраивало твое двойное существование; в Париже ты предавался воспоминаниям о своей жизни в Риме, но тебе еще ни разу всерьез не приходило в голову изменить свою парижскую жизнь.

И вот теперь ты вдруг представил себе эту возможность, она явилась вначале в образе отчаянного, безумного искушения, которое шаг за шагом овладело всеми твоими помыслами, мало-помалу ты к нему привык, оно стало неотступно преследовать тебя и внушило такую ненависть к Анриетте.

Какая же это была неосторожность — отправиться вдвоем в путешествие из Рима в Париж! До сих пор все шло так спокойно, а теперь нет, теперь вам будет мало прежнего, и ты понимал, что и Сесиль об этом думает, что отныне эта мысль будет преследовать и ее, что она употребит все свое искусство, чтобы вы были вместе, если не всегда, то хотя бы настолько часто, настолько долго, насколько вам позволяют служебные обязанности и приличия; ее будет преследовать мысль о том, что она, наконец, может стать для тебя единственной, открыть тебе и себе путь к той прекрасной и чистой любви, к той свободе, которая с начала вашего романа и до сих пор являлась вам лишь в жалком обличье — всегда урывками, всегда наспех, каждый раз скользнув лишь по поверхности твоей души.

Но вот прошел год, и эта возможность не сегодня-завтра осуществится, ты так решил, и ты приводишь свой замысел в исполнение.

Поезд отошел от станции Шамбери, за окнами промелькнул Воглан, потом была остановка в Экс-ле-Бене; вы с Сесиль вдвоем вышли в коридор полюбоваться озером Бурже.

Какой-то человек просунул голову в дверь, посмотрел направо, налево, увидел, что попал не в свое купе, пошел дальше и исчез в коридоре.

Почти три года тому назад, в ту пору, когда твоя нога еще не ступала на улицу Монте-делла-Фарина и ты был в Риме совершенно одинок, ты приехал на вокзал Термини — на вокзал, где обычно обрывается твоя совместная жизнь с Сесиль, на эту границу, которую год назад тебе однажды удалось пересечь с нею вдвоем,— приехал зимним утром, еще до рассвета, вместе с Анриеттой, измученной путешествием, с Анриеттой, которую ты тогда еще любил — во всяком случае, ты не замечал, что отдаляешься от нее, потому что тебе еще не с кем было ее сравнивать,— с Анриеттой, в которой презрение к тебе уже начало производить свое разрушительное действие, ожесточая ее, отрывая от тебя и старя, но которая простила тебе все из-за поездки в Рим,— поездка уже столько раз откладывалась, а она так мечтала ее повторить,— простила ради Вечного города, который так мечтала увидеть снова и в котором, точно так же, как ты теперь, надеялась, хоть и бесплодно, вернуть молодость, поймать кончик нити, тянущейся к тем предвоенным годам, когда она была в Риме в первый и последний раз, хотя все нити уже безнадежно запутались и оборвались;

вы добрались в такси до отеля «Квиринале» и сняли семейный номер — более просторный, красивый и удобный, чем те холостяцкие номера, которые ты занимал там впоследствии, семейный номер, о котором ты невольно вспоминал с сожалением всякий раз, когда впоследствии брал ключи у портье, и потому-то гостиница и стала в глазах Сесиль (ты понял это только сейчас) бастионом Анриетты в Риме: незаметно, исподтишка она действует на тебя так, что каждый раз, очутившись в ее стенах,— и не столько среди ночи, вернувшись от Сесиль, сколько по утрам, едва открыв глаза и сообразив, где ты находишься,— ты невольно вспоминаешь Анриетту, пусть даже с ненавистью, думая о том, что она преследует тебя и здесь.

Анриетта радовалась, что может вписать свое имя в регистрацион-

ную книгу рядом с твоим. Вы попросили подать вам завтрак в номер. Ставни еще не открывали. На улице было холодно, но в гостинице против обыкновения хорошо топили. Она, разувшись, вытянулась на кровати, и вы вдвоем стали ждать рассвета.

Увы, она так предвкушала эту поездку, которая столько раз откладывалась, она возлагала на нее такие надежды, думая, что теперь ты вновь станешь прежним, таким, какого за эти годы она с каждым днем все больше теряла, и между вами исчезнет отчужденность, которая углублялась после каждой твоей отлучки в Рим, потому что каждая твоя отлучка приводила к очередному взаимному разочарованию, каждый раз тебе все яснее становилась разница между более свободной и счастливой жизнью, надежду на которую ты вдыхал с воздухом Рима, и тем парижским рабством, той лямкой, которая все больше душила ее, потому что Анриетте казалось, что в Париже ты с каждым разом все больше предаешь себя, и хотя тебе платят все больше — впрочем, вы по-прежнему жили довольно стесненно,— твоя служебная деятельность совершенно никчемна, а ты все упорней закрываешь на это глаза и каждый раз, приглашая к обеду очередного делового знакомого, теряешь какую-то частицу своего достоинства и былой душевной чуткости, перенимая мало-помалу гнусные ухмылки этих людей, их расхожие нравственные или безнравственные правила, все те словечки, которыми они аттестуют подчиненных, конкурентов, клиентов; унижаешься, пресмыкаясь перед системой, которую прежде ты хотя бы осуждал, с которой хотя бы мирился только внешне, от которой мог отмежеваться хотя бы на словах, хотя бы в разговорах с глазу на глаз с ней, Анриеттой, а теперь ты капитулируешь перед этой системой все безоговорочней, при том постоянно утверждая, что делаешь это ради жены, чтобы лучше ее обеспечить, чтобы она могла жить в вашей прекрасной квартире, чтобы дети были лучше одеты и Анриетте не в чем было тебя упрекнуть,— так ты заявлял ей когда-то, вначале с иронией, но постепенно все больше отчуждаясь и от нее и от самого себя.

Она прекрасно знала, что с образами Рима — его улиц, садов и руин — для тебя связана мечта, власть которой растет не по дням, а по часам, мечта обо всем том, от чего ты отказался в Париже, что Рим для тебя — место, где ты вновь обретаешь свое «я», где раскрывается та часть твоей души, которая для нее недоступна, и вот к свету, который излучает Рим, она и хотела с твоей помощью приобщиться.

Но, на беду, чарующая мечта в ту пору была еще смутной и не нашла своего выражения; ты еще не мог назвать ни одного римского памятника, еще ничего не изучил, ни во что не вложил подлинной страсти и не в состоянии был хоть что-нибудь вразумительно объяснить.

А она-то предполагала, что ты знаешь этот город куда лучше, что твоя любовь к нему — это любовь знатока, которым на самом деле ты сумел стать только с помощью Сесиль; вот почему, прогуливаясь в ту зиму с Анриеттой по римским улицам, ты ничего не мог ответить на бесконечные вопросы, которые она тебе задавала, словно старалась твоим собственным невежеством доказать тебе, сколь ненадежно прибежище, в котором ты ищешь спасения; она шла рядом, пытаясь понять, призывая тебя на помощь, но ты бросил ее на произвол судьбы, и мало-помалу она стала казаться тебе олицетворением недосягаемости того, что всегда сулили тебе римские улицы, и невозможности понять или хотя бы просто разобрать слова, которые город к тебе обращает, а прежде тебе казалось, что эти слова ничего не стоит истолковать, словно латинский текст, на который, если ты вник в него на досуге, достаточно потом бросить лишь беглый взгляд.

Видя, что ты отмалчиваешься и бессилен ей помочь, Анриетта, наконец, сдалась; все, что она прежде любила — да, и она тоже,— вдруг

стало ей ненавистно, и уже к концу первого дня ты прочитал в ее запавших глазах, что ей хотелось бы уехать, да и тебе хотелось остаться одному, чтобы обрести в Риме прежнюю свободу.

Пошел снег, первый и единственный, который ты когда-либо видел в Риме, не крупными хлопьями, как тот, что запорошил сейчас горы за окном, а мокрый, от которого все развезло, и улицы вдруг притихли, опустели, и только редкие прохожие торопливо спешили по ним, подняв воротники пальто.

Анриетта простудилась и все воскресенье провела в постели, а в понедельник ты почти до вечера просидел в правлении фирмы «Скабелли», так что ей пришлось бродить по городу в одиночестве, и, не зная, куда направиться, она ходила из церкви в церковь, умудряясь прочитать в каждой весь набор молитв.

Ей непременно хотелось увидеть папу, ты отказался ее сопровождать, хотя и не стал ее удерживать; из Ватикана она вернулась в полном изнеможении, но глаза ее сверкали каким-то фанатическим блеском. Теперь вы встречались как в Париже — за едой и по ночам, и отъезд был для вас обоих облегчением.

Если бы только ты не затеял этой поездки с Анриеттой в такое неудачное время, в разгар зимы, в самые холода, а все потому, что поездка и так уже долго откладывалась и ты решился на нее с досады, чтобы, наконец, положить конец разговорам... Впрочем, кто знает, может быть, несмотря на снег, дождь и туман, тебе удалось бы обнаружить в Риме хоть одно из его чудес, если бы к тому времени ты уже познакомился с Сесиль и она уже открыла бы тебе и этот город и ту сторону твоего «я», которая расцветала в нем.

Но кто знает, любил ли бы ты ее так, свою Сесиль, если бы вашему знакомству не предшествовала эта злосчастная поездка? И если бы ты уже знал тогда Сесиль, отдалился ли бы ты так от Анриетты и сидел ли бы сейчас в этом поезде?

Наверняка тогда все пошло бы по-другому, и, может быть, уже давно...

Старик итальянец с длинной белой бородой бросает взгляд в купе сквозь застекленную дверь.

Озеро было окутано туманной дымкой, потом тучи сгустились, все сильнее стал накрапывать дождь, и стекла сделались мутными.

Вы оба возвратились в купе, ты снова взял с сиденья книгу, Сесиль склонилась к твоему плечу; но читать тебе не хотелось; ты не мог отрешиться от мысли, что границу так и не удалось преодолеть до конца и, главное, это неполное преодоление принесет куда меньше радости, чем ты ожидал, ведь в предстоящие две недели ты будешь принадлежать Сесиль гораздо меньше, чем в Риме, будешь видеть ее только изредка, только украдкой, что граница и на этот раз не стерлась, а только переместилась и местом расставания станет уже не Рим, а Париж, не вокзал Термини в минуту отхода поезда, а Лионский вокзал в минуту твоего приезда.

Ты захлопнул свою книгу, Сесиль углубилась в чтение своей, низко склонившись над страницами, так как стало уже довольно темно — над Юрой шел дождь, в Бургундии начало смеркаться,— и ты уже не ощущал прикосновения ее тела. Вы оба не произносили ни слова.

Ах, вы уже (теперь ты это сознаешь, а тогда тебе просто было не по себе, к тебе подкрадывалась неизъяснимая тоска, словно демон усталости и оцепенения похищал у тебя твою душу; но осознал ты это

только теперь, потому что сначала ты все забыл, а в последние недели остерегался такого рода воспоминаний, да и не до них тебе было среди всех твоих забот; нужна была эта передышка в твоей жизни — эта тайная отлучка, когда в кои-то веки ты едешь не по делам «Скабелли» и голова твоя свободна от служебных забот,— нужна была эта пауза, чтобы воспоминания обступили тебя со всех сторон, потому что в последние дни ты сознательно гнал от себя всякую мысль, могущую хоть в малейшей степени поколебать твою уверенность в том, что исход, который ты, наконец, решился предпочесть, возможен, что счастье и обновление близки),—

вы уже не были вместе, связь между вами ослабевала, терялась, рушилась, разлука уже началась, граница не только не была преодолена, хотя бы и не до конца, не только не переместилась,— нет, дело обстояло гораздо хуже, чем ты пытался себе внушить; ее четкая линия размылась: если прежде прощание длилось несколько коротких мгновений на вокзале Термини, то теперь оно растянулось на всю дорогу, и вы отрывались друг от друга медленно, мучительно, частица за частицей, не вполне отдавая себе отчет в том, что происходит, и хотя вы по-прежнему сидели бок о бок в купе, каждая очередная станция — Кюлоз, Бур, а потом Макон и Бон,— как всегда, отмеривала все увеличивавшееся расстояние между вами.

Не в силах ничего изменить, ты лишь молча наблюдал за тем, как сам предавал себя, и по мере того, как в вашем купе итальянская речь сменялась французской, временами прерываясь общим молчанием, образы римских улиц, домов и людей, окружавших Сесиль, с каждым километром вытеснялись из твоего воображения виденьями других людей — тех, что окружали Анриетту и твоих детей,— других домов по соседству с твоим домом на площади Пантеона и других улиц.

Когда после Дижона вы вдвоем пошли ужинать в вагон-ресторан, в ваших взглядах уже читалась отчаянная мольба тех, кто чувствует, как затягивает их, отрывая друг от друга, кромешная бездна одиночества; восторженными, но бессвязными восклицаниями, велеречивыми клятвами в том, что ты счастлив, ты пытался скрыть, замаскировать свою измену, непреодолимое отчуждение, возникавшее между вами, но — подобно жениху, который напрасно сжимает в объятиях мертвое тело своей суженой, и видимость ее присутствия лишь усугубляет его горе и подтверждает утрату — ты уже замечал, как Сесиль постепенно превращается в призрак, каким она должна была стать для тебя на все время своего пребывания в Париже.

Стоя у окна в коридоре и глядя на то, как квадраты неяркого света, падающего из поезда, на бегу выхватывают из темноты деревья, откосы, опавшие листья, ты стал ей что-то рассказывать, словно для того, чтобы рассеять тени, сгустившиеся над ее головой, рассказывать без умолку, не давая ей вставить ни слова, точно боялся, что если хоть на секунду воцарится молчание, она сразу исчезнет и вместо нее перед тобой окажется другая женщина, незнакомка, с которой тебе не о чем будет говорить, и между прочим припомнил легенду о Великом Ловчем, который рыщет по темному лесу и темным скалистым склонам, повторяя все тот же подхваченный многоголосым эхо и не очень внятный, точно произнесенный на старинный лад призыв: «Где ты?»; так тебе удалось протянуть время до самого Лионского вокзала.

Передвинув левую ногу, Лоренцо Бриньоле изменил очертания созвездия из розовых и коричневых звездочек, а какую-то его часть накрыл ботинком; комок газетной бумаги, очутившийся здесь после долгих и замысловатых скитаний под сиденьем, он отшвырнул в проход, по ту сторону границы купе — металлического желобка, по которому ходит выдвижная дверь.

Нельзя больше думать об этой давней поездке в Париж с Сесиль; думай только о том, что будет завтра в Риме.

— Даже если бы мне удалось приехать в Рим только ради встречи с тобой... ведь чтобы остановиться у Да Понте, мне необходимо приехать с ведома «Скабелли»...

— Почему? Неужели твои хозяева не могут допустить, чтобы ты хоть раз остановился у друзей? Ты что, боишься, что они придут тебя проверять, вздумают наводить справки о доме, где ты живешь?

— Они наверняка так и сделают, только, пожалуй, примут меры, чтобы ни я, ни ты об этом не узнали, а возможно, они даже и не станут принимать никаких мер, но я любой ценой хочу избежать этой проверки... А потом сами Да Понте...

— Полно, не воображай, что они так наивны, ведь они живут в городе, где им ничего не стоит успокоить свою католическую совесть, прочитав утром на скорую руку две-три молитвы в любой из церквей, дарующей отпущение грехов «toties quoties»[1], их сколько угодно, и они расположены в двух шагах отсюда — взять хотя бы церковь Иисуса. Неужто ты и впрямь поверил, что нам удалось усыпить бдительное око этих старух? Они отлично знают про нас все и благословляют нас на все. Будь уверен, они посылали следом за тобой одного из внучат, чтобы разузнать, где ты служишь и где живешь. Им нужно одно (и тут они неумолимы): чтобы соблюдались внешние приличия; если в наше отсутствие к ним заглянет соседка, хозяевам — старухе или ее сестре — очень важно, чтобы они могли показать ей квартиру, в том числе обе наши комнаты, и при этом объяснить, что ты — мой двоюродный брат и спишь вот в этой постели, и чтобы внешний вид комнат это подтверждал, потому что соседка не менее пронырлива и любопытна, чем они сами, и к тому же язык у нее длинный. Им хочется, чтобы мы по мере сил таились и от них: им важно быть уверенными, что мы поступаем осмотрительно.

В общем, я убеждена, что они будут за нас, лишь бы мы вели себя как до сих пор; они не станут нам мешать; наоборот: они будут опекать нас, всей семьей, включая внучат и племянников, которые иногда навещают стариков; им, конечно, никто ничего не скажет, но они все угадают сами, учуют в воздухе и, зная, когда можно посудачить, а когда надо держать язык за зубами, будут охранять нас и завидовать нам.

Вы стояли вдвоем в дверном проеме между темной и светлой комнатами, и она шептала тебе это не на ухо, а прямо в губы, то и дело касаясь своими губами твоих.

— Вот уже сколько лет я живу у Да Понте, они добры ко мне, относятся ко мне по-родственному, но хоть они и считают своим долгом по очереди вести со мной длинные, утомительные разговоры, я все же до сих пор не могу взять в толк, как они смотрят на некоторые вещи, в том числе на вопросы веры.

Но так или иначе, сознают они это или нет (думаю, что сознают, вот почему мне у них так хорошо), их вера не имеет ничего общего с тем католицизмом, который распространяют полчища здешних священников, похожих на громадных, сонных мух, ползающих по лицу Рима!

Во всяком случае, они понимают (это сразу видно; если бы ты знал их так же хорошо, как я, ты прочел бы это во взглядах, которыми они провожают нас, когда мы с тобой выходим и я прощаюсь с ними через стеклянную дверь кухни),— они понимают, что совесть у нас спокойна, по крайней мере, они думают, что спокойна (да нет же, я тебя не упрекаю, я знаю, что ты сам так думаешь, во всяком случае, стараешься думать,— перестань хмуриться, я сейчас порадую тебя — иногда — как

[1] Целиком и полностью *(лат.)*.

бы мне хотелось сказать: все чаще и чаще — тебе это удается; ну да, это правда, ты сделал успехи, я сослужила тебе кое-какую службу за те два года, что мы живем вместе, пусть даже урывками: я помогла тебе, признайся, стать похожим на того свободного и искреннего человека, каким ты хочешь быть, несмотря ни на что — несмотря на твою жену, на детей, на твою парижскую квартиру); Да Понте думают, что совесть у нас спокойна, и им все равно, как мы этого достигаем — с помощью их индульгенций или каким-нибудь иным путем. Ах, какую пользу принесло бы тебе их мудрое и скрытое пособничество!

И тут, наконец, она поцеловала тебя, как бы в изнеможении, потом высвободилась из твоих объятий, закрыла дверь, снова скрипнувшую на петлях, и задвинула засов.

— Но если ты не решишься, не попросишь оставить комнату за тобой, они, конечно, через несколько недель сдадут ее другому жильцу, через несколько недель, а может, и дней...

— Когда он уезжает?

— Не то в четверг, не то в пятницу. О, я знаю, я говорила с тобой безрассудно: я увлеклась, со мной это не так уж часто случается. Я знаю, ты приедешь в следующий раз и опять будешь уходить от меня среди ночи к себе в гостиницу, а за этой дверью снова будет кто-то чужой. Ну, кажется, пора идти завтракать.

На Корсо царило обычное оживление; двери церкви Сант-Андреа-делла-Валле были открыты, и узкие улочки позади нее кишели людьми, возвращавшимися после мессы,— девушки в белых платьях, молодые люди в голубых костюмах, старые дамы в черном, деловитые семинаристы с разноцветными поясами.

На площади Навона, где уже убрали столики, которые еще стояли, когда ты проходил здесь в последний раз, спорили, сбившись в кучки, какие-то люди, а вокруг, возвращая огромному продолговатому пространству площади ее первоначальное назначение цирковой арены, мчались наперегонки три или четыре мотороллера, и на каждом сидели два-три человека, которые смеялись и кричали.

Фонтан Четырех Рек искрился на солнце. Если бы не разлитая в воздухе прохлада, можно было бы подумать, что сейчас август. Вы вошли в ресторан «Тре Скалини».

За окном, которое запотевает все сильнее, по-прежнему падает снег, только не такой густой. Поезд минует какую-то станцию, название которой ты не успел рассмотреть.

Ты выпрямляешься на сиденье, разбитый и уже уставший, думая о том, что еще целую ночь придется провести на этой жесткой скамье. Глядишь на часы: половина четвертого — больше часа до границы и четырнадцать часов до прибытия в Рим. Поезд проезжает короткий туннель.

Один из мальчиков собирается выйти, это тот, который постарше,— Анри, таким станет Анри через год или два, только он будет лучше одет, и манеры у него будут лучше, потому что ты лучше его воспитаешь; пожалуй, он не так статен, но дипломы, которые он получит, избавят его от неуверенности в себе, и хотя ты разойдешься с его матерью, это не помешает вам встречаться, когда тебе заблагорассудится, когда захочется вам обоим, а не в принудительном порядке, вечерами за ужином, как теперь, когда вы обречены на тягостное и недружное совместное житье; это не помешает тебе следить за его ученьем, а позже помогать ему на жизненном поприще и оказывать всевозможную поддержку;

это не помешает сыну приходить к тебе в гости, когда ты поселишься вместе с Сесиль, приходить к вам ужинать, и однажды, когда Анри-

етты не будет дома, он поведет тебя на площадь Пантеона, номер пятнадцать, чтобы показать, как он обставил свою комнату;

хотя ты разойдешься с его матерью, это не помешает тебе через какое-то время ее навестить; от Сесиль ты это скроешь.

Вот еще один туннель, немного длиннее.

Постарайся сосредоточить свое внимание на предметах, которые у тебя перед глазами: на ручке двери, на полочке, на багажной сетке, на снимке с видом гор, на зеркале, на снимке парусников в порту, на пепельнице с крышкой, привинченной шурупами, на свернутой шторе, на выключателе, на стоп-кране,

на людях, сидящих в купе: двух итальянских рабочих, синьоре Лоренцо Бриньоле, Аньес и Пьере, которые уже позевывают, но вновь мужественно берутся за свои книги, на лету обменявшись поцелуем в висок, на мальчугане, младшем из двоих, который вытирает рукавом запотевшее стекло,

и положи конец этой душевной смуте, этому опасному занятию — перебирать и пережевывать воспоминания;

постарайся думать не об Анри, а о том юноше, который вышел из купе, или о его брате, сидящем у окна,— уж твой Тома никак не будет на него похож через несколько лет; можешь окрестить его Андре, поскольку племянник вдовы сошел в Шамбери и это имя свободно — Сант-Андреа-делла-Валле,— тебе всегда нравилось это имя, и ты наверняка дал бы его своему третьему сыну (но после рождения Жаклины ты больше не захотел иметь детей); постарайся думать об этих двух мальчуганах, которые, наверное, возвращаются в горы, в родную деревню, после того как провели неделю в политехническом или, пожалуй, в коммерческом училище в Шамбери, неделя на сей раз окончилась в пятницу среди дня — то ли потому, что у них в семье что-то случилось и родители, позвонив утром в училище по телефону, просили сыновей вернуться домой, то ли потому, что мальчики вообще возвращаются домой каждый вечер, а сегодня преподаватель заболел и вечерние занятия отменены.

Вот еще один туннель; на потолке зажигается лампочка.

Рабочий-итальянец, сидящий рядом с тобой, развязывает веревки своего рюкзака, вынимает оттуда шкатулку и, открыв ее, показывает своему товарищу ожерелье из черных стеклянных бусин — подарок жене, а может, подружке. Ты пытаешься вслушаться в их разговор, но они говорят на диалекте, который тебе незнаком.

Вот вернулся старший мальчик. Пейзажа больше не видно; перед тобой только стекла, сначала темные, и на них — отражения, потому что поезд вошел в туннель, а потом белые как снег.

Ну что ж, ступай в коридор и выкури там сигарету, время от времени протирая рукавом запотевшее стекло и глядя в окно.

Ты берешь с полочки так и не раскрытую книгу и перекладываешь ее на сиденье.

VI

Пора возвращаться в купе: французская полиция с минуты на минуту начнет обход.

Раздавив окурок в пепельнице и удостоверившись, что у тебя осталось только восемь сигарет, ты берешь книгу с сиденья и кладешь ее обратно на полочку. В каждом твоем движении чувствуется, как напряжены твои нервы.

У синьора Лоренцо паспорт зеленый, у Аньес и Пьера паспорта новенькие, синие, с твердой корочкой, у двух итальянских рабочих, пере-

севших на места мальчуганов,— уже слегка потрепанные; но дольше всех прослужил, конечно, твой — старого образца, коричневый, в мягкой обложке, он у тебя с 1950 года, и ты уже два раза его продлевал.

Поезд остановился, духота стала еще нестерпимее. Ты знаешь, что это Модан; сквозь затуманенные стекла ничего не видно, но вокруг, наверное, лежит снег.

Рассеянный таможенник-француз удалился, Аньес и Пьер с облегчением переглянулись. Второй таможенник, итальянец в серо-зеленом мундире и облепленных засохшей грязью ботинках, потребовал, чтобы рабочие открыли рюкзаки — рюкзаки лежат на местах, где рабочие сидели прежде,— и вот перед тобой начинает расти груда рубашек, носков, мелких сувениров, а синьор Лоренцо с отвращением наблюдает эту сцену, обмахиваясь, словно веером, своим зеленым паспортом, на внутренней его стороне ты мельком видишь фотографию, а над ней тебе удается прочитать вверх ногами имя: Этторе Карли.

Того, что сидит у окна, зовут Андреа, дальше ты разобрать не успел; фамилия второго оканчивается на «етти».

Формальности позади, хлопают двери, раздается свисток, поезд, рванувшись с места, тут же резко тормозит, потом трогается снова, на сей раз по-настоящему — и входит в туннель Мон-Сени.

Свет внезапно гаснет; воцаряются полный мрак — если не считать красной точки сигареты в коридоре да почти неразличимого ее отсвета — и тишина, подчеркнутая громким дыханием, какое бывает у спящих, и перестуком колес, отдающимся под невидимым сводом.

Ты смотришь на зеленоватые стрелки своих часов и точки на циферблате: еще только четырнадцать минут шестого; как бы это не кончилось катастрофой — тебе вдруг становится страшно,— как бы это не кончилось катастрофой для тебя и крахом смелого решения, которое ты, наконец, принял; ведь ты еще больше двенадцати часов — если не считать кратчайших передышек,— будешь прикован к этому месту, где отныне тебе нет покоя, где ты обречен на самоистязание, еще двенадцать часов будешь терпеть душевную пытку, прежде чем приедешь в Рим.

Снова зажегся свет, опять завязались разговоры, но шум и головная боль отгораживают тебя от них все более глухой перегородкой; стекла мало-помалу окрашиваются в серый цвет, потом внезапно становятся белыми. И вдруг сквозь прозрачное отверстие, которое в середине окошка расчистил платком Пьер, ты видишь краешек проносящегося мимо вокзала — должно быть, это Бардонечча,— да и по ту сторону прохода тоже проступают очертания какого-то пейзажа, хотя мутные, запотевшие стекла скрадывают размеры гор, вырисовывающихся на фоне неба.

Во вторник, измученный поездкой в третьем классе, ты откроешь своим ключом дверь квартиры в доме номер пятнадцать на площади Пантеона и увидишь поджидающую тебя за шитьем Анриетту, она спросит, как прошла поездка, и ты ответишь ей: «Как обычно».

Но тут-то тебе и нужно быть начеку, чтобы не выдать себя, потому что она вопьется в тебя взглядом, и, конечно же, нечего и надеяться, что она поверит твоему ответу: ведь она уже поняла, что эта поездка была далеко не обычная. Удастся ли тебе скрыть от нее улыбку торжества и хоть до некоторой степени оставить ее в неведении, в сомнении относительно того, что же все-таки на самом деле произошло и какое решение ты принял? Это необходимо; необходимо — так гораздо надежнее.

Во вторник ты вернешься в Париж, в дом номер пятнадцать на площади Пантеона, и, едва увидев тебя, она поймет, что твои надежды и ее опасения вот-вот сбудутся; говорить ничего не придется, но и скрыть ничего не удастся, и тут-то она изо всех сил постарается вытянуть из тебя подробности, она спросит, когда приедет Сесиль, а ты и сам не знаешь, в эту минуту еще не будешь знать, ты скажешь ей, что не знаешь, и это будет чистая правда, но она тебе не поверит, она изведет тебя вопросами, высказанными и невысказанными, и избавиться от всего этого можно будет лишь одним способом — объяснить ей по порядку, как все произошло.

Конечно, было бы куда лучше, если б она ничего не знала, ни о чем не догадывалась до приезда Сесиль, но так как она узнает...

Во вторник ты увидишь Анриетту, поджидающую тебя за шитьем, и скажешь ей еще прежде, чем она успеет о чем-нибудь спросить: «Я тебе солгал, ты и сама, конечно, догадалась, что на этот раз я ездил в Рим не по делам «Скабелли», потому-то я и выехал поездом восемь десять, а не другим, самым скорым и удобным, где нет вагонов третьего класса; на этот раз я поехал в Рим только ради Сесиль, чтобы доказать ей, что из вас двоих я окончательно выбрал ее, объявить ей, что я, наконец, нашел для нее работу в Париже, и просить ее приехать: пусть она все время будет со мной, пусть внесет в мою жизнь ту необыденность, какую не сумела внести ты,— впрочем, и я не сумел сделать это для тебя, признаюсь, я виноват перед тобой, спорить не о чем, я готов принять, признать справедливыми все твои упреки, взять на себя любую вину, если это хоть немного тебя утешит, смягчит удар, но теперь уже поздно, дело сделано, изменить я ничего не могу, поездка состоялась, Сесиль скоро будет здесь; ты сама понимаешь, я для тебя не такая большая потеря, а значит, не нужно так горько плакать...»

Но ты прекрасно знаешь, что Анриетта и не подумает плакать, она будет молча глядеть на тебя, предоставит тебе разглагольствовать, ни разу тебя не перебьет, и, выдохшись, ты замолчишь сам; вот тут-то ты и заметишь, что ты у себя в комнате, что она уже в постели и занята шитьем, что уже поздно, а ты устал с дороги и на улице дождь...

Во вторник ты войдешь в ее комнату, расскажешь ей правду о поездке и добавишь: «Я ездил в Рим, чтобы доказать Сесиль, что из вас двоих я выбрал ее, я ездил туда, чтобы просить ее окончательно перебраться ко мне в Париж...»

И тут где-то в глубине души ты вдруг слышишь свой собственный голос, испуганный и жалобный: «Нет, нет, я с таким трудом принял это решение, нельзя допустить, чтобы оно бесславно рухнуло; недаром же я сижу сейчас в поезде, который мчит меня к моей прекрасной Сесиль; моя воля, мои желания были так тверды... Надо перестать думать, надо овладеть собой, взять себя в руки и гнать прочь неотступно осаждающие меня видения».

Но уже поздно, неотвратимый ход поезда разматывает их вереницу, приводит в движение цепь, которая стала еще прочнее за время пути, и как ты ни пытаешься освободиться от этих видений, направить свое внимание в другую сторону, к тому решению, которое — ты чувствуешь — ускользает от тебя, они втягивают тебя в зубья своих шестерен.

Тот, кого ты мысленно зовешь Пьером и настоящее имя которого ты не успел разглядеть в паспорте, больше не смотрит в окно, потому что начался туннель, и шум длинного состава, уносящего тебя вдаль, вновь становится глуше, точно он рождается в твоем собственном теле; за окном больше не видно ничего, кроме смутного отражения окружающих тебя предметов и лиц.

Было четырнадцать часов тридцать пять минут; в здание вокзала Термини с левой стороны проникали лучи солнца. Ни завтра, ни послезавтра, ни в понедельник нечего и надеяться на такую теплую и ясную погоду. Это была последняя улыбка лета, придающая особую торжественность и величавость и без того роскошной римской осени, которая вот-вот начнет блекнуть. Как пловец, после долгого перерыва вновь увидевший Средиземное море, ты окунулся в город и прошел пешком, с чемоданом в руках, до самого отеля «Квиринале», где тебя встретили услужливые улыбки коридорных.

В тот раз ты приехал не в отпуск: на три часа была назначена деловая встреча у Скабелли, к половине седьмого она еще не закончилась, потом тебе не удалось уклониться от приглашения выпить вина на одной из террас улицы Витторио Венето — преступление, мол, не воспользоваться такой прекрасной погодой,— а тем временем Сесиль ждала тебя, потому что в тот раз, как всегда, отправляясь в командировку, ты сообщил ей о своем приезде и назначил свидание в маленьком баре на площади Фарнезе после окончания ее работы в посольстве, но обыкновенно ты являлся туда раньше ее, в шесть часов.

Придя, наконец, в бар, ты, разумеется, ее уже не застал.

— Нет, вам ничего не передавали; дама, с которой вы обычно приходите, заходила, но ненадолго, и никто не видел, в какую сторону она пошла.

На улице Монте-делла-Фарина ее окно было освещено. Тебе открыла старая госпожа Да Понте и сразу закричала:

— Signora, signora, è il signore francese, il cugino[1].

— А-а! Вот и ты наконец! Я уже думала, не отложил ли ты поездку, не случилось ли чего.

Она еще не успела снять пальто, вы тут же снова вышли из дома и поцеловались на темной лестнице.

Сесиль вела тебя в маленький ресторанчик в Трастевере, им увлекались тогда ее сослуживцы, и ей хотелось самой убедиться в его достоинствах, но путь через остров Тиберино был явно не самый короткий, вы заблудились в узких улочках, и потому, проводив Сесиль до дому, ты уже не мог подняться к ней.

Вот и кончился туннель, поезд начинает громыхать резче, но уже почти совсем стемнело, и ты замечаешь, как за окнами, снова почти прозрачными, в горах на разных уровнях один за другим зажигаются огоньки. Тебе чудится, будто ромбы отопительного мата на полу — это решетка, сквозь которую пышет жаром невидимая печь.

Тогда, как и сейчас, стояла поздняя осень; было темно, и лил дождь; вы молча вышли вдвоем с Лионского вокзала, оба уставшие и продрогшие после поездки, которая тянулась слишком долго.

На стоянке толпилось столько народу, что вам пришлось какое-то время дожидаться такси. Нет, не так представляла она себе радостную встречу с городом, с твоим городом, встречу, которой она так ждала; ей так хотелось еще раз побывать в этом городе, а ты был для нее его посланцем и чуть ли не властелином,— конечно, она почувствовала разочарование, увидев, как ты вдруг затерялся в толпе, едва возникли первые ничтожные, но докучные затруднения, а она-то полагала, что само твое присутствие оградит ее от них.

Ты проводил Сесиль до гостиницы, которую выбрал для нее в Ла-

[1] Синьора, синьора, приехал француз, ваш двоюродный брат *(итал.)*.

тинском квартале,— разумеется, подальше от площади Пантеона, чтобы Анриетта пореже встречала ее; это была очень тихая и довольно комфортабельная гостиница на улице Одеона.

Вначале вы думали, что она поднимется к себе в номер, наскоро освежится, опять спустится к тебе и вы проведете остаток вечера вместе в каком-нибудь уютном кафе в районе Сен-Жермен-де-Пре, но ей уже ничего не хотелось, да и ты тоже переоценил свои силы и свой пыл, и вы простились на улице, договорившись встретиться завтра в обеденный перерыв — на сей раз у твоей конторы.

Ты шел пешком, с чемоданом в руке вверх по улице Мосье-ле-Пренс, и у тебя было такое чувство, будто ты приехал в чужой город, никого тут не знаешь и бродишь в поисках пристанища, и это отбросило тебя на много лет назад, к тем временам, когда ты еще не был богат (если тебя можно назвать богатым), не был женат, будто ты вдруг сразу лишился всего, на чем зиждилось твое положение, твое благополучие, твоя респектабельность, и улица показалась тебе необычайно длинной. Только преодолев пустыню площади Пантеона и очутившись в лифте, ты перевел дух и обрел уверенность в себе.

Анриетта, услышав, как ты поворачиваешь ключ в замке, вышла из гостиной, где она сидела за шитьем.

— Твой поезд опоздал?

— Нет, просто мне пришлось проводить до гостиницы одну знакомую даму из Рима. Она всегда очень любезно принимает меня; по-моему, будет невежливо, если мы ее не пригласим к себе; она говорила, что очень хочет познакомиться с тобой, с детьми и так далее. А что, если в один из ближайших вечеров... Она пробудет здесь недели две. В понедельник и во вторник мы никого не ждем; я позвоню ей, спрошу, когда ей удобнее, и сообщу тебе ответ. Между прочим, я больше не буду ездить этим поездом, это слишком утомительно, а времени я выгадываю очень мало — середину дня и обеденные часы в Риме; я уже сказал им: в другой раз, если им вздумается задержать меня в Риме до обеда, я отложу отъезд на утро. Кстати, завтра к обеду меня не жди.

За стеклом, все более и более прозрачным, под небом, все более и более темным, в горах и в низинах по деревням загорается все больше огней, но вот поезд ныряет в туннель, и шум его вновь становится глухим. Теперь прямоугольник двери, возле которой ты сидишь, ложится за окном на убегающие черные скалы.

Мотороллеры и троллейбусы разбудили тебя в тесном и шумном номере отеля «Квиринале». Ты открыл ставни и стал ждать рассвета.

Дел у Скабелли оказалось немного; тебе без труда удалось точно в назначенный час явиться в маленький бар на площади Фарнезе.

Один уик-энд вы как-то посвятили Борромини, еще один прошел под знаком Бернини, другие были отданы Караваджо, Гвидо Рени, фрескам раннего средневековья, мозаикам первых веков христианства, но чаще всего вы знакомились с тем или другим периодом империи: с царствованием Константина (его триумфальной аркой, базиликой Максенция, фрагментами его гигантской статуи в Капитолийском музее), с эпохами Антонинов, Флавиев, Юлиев (их храмами, дворцами на Палатине, Золотым Домом Нерона), и, рассматривая гигантские руины, разбросанные в разных местах города, ты пытался представить себе памятники такими, какими они были в пору своей молодости, вообразить Рим таким, каким он был в расцвете своей дерзкой отваги; поэтому вы бродили вдвоем по Форуму не просто среди каких-то жалких камней,

разбитых капителей или внушительных кирпичных стен и цоколей, а окунались в мир величественной грезы, которая была дорога вам обоим и становилась все более осязаемой, реальной и достоверной после каждой очередной прогулки.

Ваше паломничество, ваши поиски, ваши странствия вели вас от обелиска к обелиску, но ты понимал: если вы будете изучать по порядку все, что предлагает Рим, то рано или поздно вам придется проделать путь от одной церкви святого Павла до другой, от одного храма святого Иоанна до другого, от святой Агнессы к святой Агнессе, от церкви святого Лаврентия к его базилике, чтобы представить себе или, вернее, уловить, почувствовать и воспринять образы, связанные с этими именами, ибо они, вне всякого сомнения, ведут к удивительным открытиям, относящимся к тому самому христианскому миру, о котором существует столь ложное представление, к миру, который все еще продолжает разваливаться, гнить и обрушиваться на тебя,— миру, от обломков и тлена которого ты пытаешься спастись в самой его столице, но ты не решался лишний раз заговорить об этом с Сесиль, зная, что она не захочет тебя понять — из чисто римской суеверной боязни заразиться.

В прошлом месяце целью ваших странствий был Пьетро Каваллини, а в минувшую пятницу в маленьком баре на площади Фарнезе, где вы встретились, чтобы пойти пообедать на Ларго Арджентина (в будний день ты не мог уходить особенно далеко), ты сказал, что странно, как это вы оба, собирающие подобно Изиде и Гору по кусочкам тело своего Озириса, до сих пор не пустились на розыски того, что осталось здесь от сделанного Микеланджело, чтобы собрать воедино разрозненные следы его трудов в этом городе.

Она рассмеялась:

— Я вижу, к чему ты клонишь: ты имеешь в виду Сикстинскую капеллу; ты хочешь хитростью заманить меня в ненавистный мне Ватикан. Да ведь это же раковая опухоль на теле города, сосущая соки блистательной римской свободы, это просто-напросто нелепо раззолоченное осиное гнездо.

Не спорь, ты до мозга костей отравлен христианством, глупейшим ханжеством; у последней римской кухарки куда меньше предрассудков, чем у тебя.

О, я так и знала, что в один прекрасный день ты об этом заговоришь, но я слишком боюсь этой всепроникающей отравы, она уже отняла у меня слишком многое, а теперь отнимает тебя,— я ни за что не сделаю такой глупости, я и близко не подойду, а уж тем более с тобой, к этим проклятым стенам, где все будет поощрять твое малодушие.

И при этом она была очаровательна, она смеялась над собой и над собственным гневом и целовала тебя, чтобы увериться в своей власти, и было совершенно бесполезно втолковывать ей, что она не права, и пытаться ее образумить.

— Но если тебе так хочется, мы можем посмотреть Моисея, а кстати, знаешь, в капелле Сант-Андреа-делла-Валле, в двух шагах от моего дома, собраны старинные копии главных скульптур Микеланджело.

Шум поезда меняется снова — значит, туннель кончился. Аньес постукивает пальцами по узенькой металлической пластинке, на которой написано: «E pericoloso sporgersi»,[1] и подавляет долгий зевок. Мелькают освещенные окна контор, вывеска под фонарем — вокзал Ульцио Клавьере.

Беретти или Перетти, а может, Черутти, нет, Черетти — на паспорте ты прочитал именно «етти»,— извинившись, выходит, пропускает

[1] Высовываться опасно *(итал.)*.

в коридоре женщину в длинном манто из белого меха и в белоснежных изящных туфельках — вне всякого сомнения, итальянку,— а его спутник Андреа, взяв рюкзак, лежавший возле тебя, кладет его к себе на колени: как видно, он знает, чувствует, что ему скоро сходить, должно быть, оба едут в Турин.

Аньес и Пьер берут у служащего ресторана в синей куртке два талончика на ужин в первую смену, а ты — талончик на вторую смену, отчасти по привычке, отчасти для того, чтобы не слишком долго тянулось время после ужина, пока не потушат верхний свет, пока синеватая жемчужина внутри плафона не начнет рассеивать свои тусклые успокаивающие лучи. Ты голоден, но тебя мутит; ты голоден, но тебе не хочется есть, тебе следовало бы выпить вина или чего-нибудь покрепче; этот голод отчасти вызван скукой и унынием, так что лучше подождать, пока ты по-настоящему проголодаешься.

Фазелли, то есть нет, Фазетти или Мазетти, извинившись, входит и садится рядом с Андреа, потом кладет на колени свой рюкзак, стоявший между Пьером и Лоренцо, который на этот раз не взял обеденного талончика, а стало быть, сойдет в Турине, где его ждет жена — наверное, ровесница Анриетты; услышав, как в замке поворачивается ключ, тот самый, что надет на одно кольцо со щипчиками (ими Лоренцо в настоящую минуту приводит в порядок свои ногти), она опустит в кипящую воду спагетти,— а может быть, его ждет и дочь, чуть постарше Мадлены (он наверняка женился раньше тебя), которая, наверное, уже причиняет ему огорчения.

Дочь, поджидая его, накрывает на стол, или нет, вернее, так: ее не окажется дома, она ушла, сославшись на то, что обедает у подруги, хотя на самом деле сговорилась с дружком, и мать заявила: «Вот погоди, пусть только отец вернется из Франции»,— и та ударилась в слезы.

Канетти или Панетти, расстегнув один из кармашков рюкзака, вынимает оттуда нож, хлеб и масло, передает ломоть Андреа, а тот разворачивает пакет, где лежит тонко нарезанная кружками копченая колбаса.

Сейчас итальянцы слезут — все трое; шагая почти что в ногу, они вместе пройдут по перрону до самого турникета, а там рабочие попрощаются с Лоренцо сердечно и шумно, точно знакомы с ним много лет, потом их пути разойдутся, и, может быть, они никогда в жизни больше не встретятся, а если случайно столкнутся на улице, не заметят друг друга.

Завтра опоздавшая почта задержит синьора Лоренцо в конторе, он пойдет обедать не раньше часа, заставив и секретаршу задержаться, чтобы отстукать ответные письма на машинке «Скабелли» устаревшего образца, которую вот уже год секретарша просит заменить, и оба будут злы друг на друга,— должно быть, в предвидении этой сцены да еще от усталости и голода у него и вытянулось лицо, еще недавно совсем безмятежное.

Оглядев ногти, он прячет кольцо со щипчиками в карман и потом поднимает на тебя взгляд, чуть настороженный, словно ты напоминаешь его директора, словно он опасается, что ты превратно истолкуешь его невинную заботу о своей внешности. (Может, он что-то скрывает, и ему показалось, что он себя выдал. Может, он так тщательно приводил в порядок свои руки не ради жены, а ради другой женщины, она ждет его у турникета, и он пойдет с ней обедать в какой-нибудь ресторан на площади Сан-Карло.)

И вдруг в устремленном на тебя взгляде ты читаешь недоумение и нечто вроде жалости, словно это твое лицо изменилось, словно ты осунулся и глаза у тебя блуждают, словно ты постарел на много лет с той

минуты, когда он в последний раз внимательно всматривался в тебя; он отворачивается.

Официант из вагона-ресторана звонит в колокольчик, сталкиваясь в проходе с согбенной женщиной в черном, с итальянкой, похожей на тощую Сивиллу Кумскую, на старую госпожу Да Понте. Пьер захлопывает книгу, которую уже давно не читает, встает и, поправив перед зеркалом галстук, перешагивает через твои ноги.

В сгущающемся мраке мелькает освещенный вокзал Буссолино. Теперь выходит и Аньес. Поезд углубляется в туннель, и его громыхание становится глуше.

Расплатившись в баре на площади Фарнезе, ты обернулся к ней и сказал:

— Может, мы успеем сходить туда еще до обеда.— Но когда вы добрались до Корсо, двери величавой церкви Сант-Андреа-делла-Валле были закрыты, вам удалось попасть туда только вечером, и в капелле было так темно, что вы, можно считать, ничего не увидели.

Солнце уже зашло; поднялся холодный ветер, завивавший на мостовой клубы лиловой пыли; вы торопились, чтобы попасть в церковь Сан-Пьетро-ин-Винколи до ужина: ты считал, что это самое подходящее время. Ты помнил, что видел Моисея (уж не в тот ли раз, когда ездил с Анриеттой?) почти в полном мраке, только он один был освещен, и так резко, что его рога и в самом деле казались лучами света.

Главный вход был заперт, на Рим опускалась ночь, звезды загорались над Ватиканом, над зыбким маревом, поднимавшимся от улиц, где среди темнеющих крыш вспыхивали лампы и неоновые вывески, и над многоголосым гулом, в котором слышался скрежет тормозов и троллейбусные звонки, плыли из-за закрытых дверей звуки органа и приглушенные песнопения, это означало, что в храме идет служба.

Вы обогнули церковь, миновали монастырский сад; шла вечерняя служба — освящение святых даров,— алтарь был озарен свечами и электрическими лампочками; курился ладан, в глубине нефа коленопреклоненные женщины бормотали молитвы; в церкви было много иностранцев, они, стоя, разглядывали Моисея, его мраморная поверхность, казалось, лоснится от масла или растопленного желтого сала, как у статуи какого-нибудь древнеримского бога.

Сесиль потянула тебя за руку, и вы снова очутились на унылой улице Кавура.

— Лучше придем сюда снова завтра,— сказала она.

— Но ведь нам еще так много надо посмотреть.

— Что же именно, если не считать — а мы их считать не будем — твоих пророков, Сивилл, «Страшный суд» и «Сотворение мира»?

— Ну хотя бы церковь Санта-Мария-дельи-Анджели возле терм Диоклетиана и Картезианский монастырь.

— Там, где эта ужасная статуя святого Бруно работы какого-то француза?

— Гудона. Его, конечно, лучше смотреть в Париже. Но, кстати, святой Бруно — один из самых трогательных святых во всем мировом искусстве.

— Ну, а если отрешиться от искусства?

— Не знаю, сам святой мне не внушает доверия.

— Зато другие святые тебе его внушают: ты должен как от чумы бежать от освящения святых даров или уж однажды пойти полюбоваться этой службой в твой любимый великий собор святого Петра, насладиться, проникнуться ею и раз и навсегда излечиться от недуга; только не рассчитывай, что я пойду с тобой, я буду ждать в траттории,

должен же ты подкрепить свои силы после такого жестокого испытания, а потом, когда тебе будут грезиться гигантские святые Бруно, я буду охранять твой сон — увы, только часть ночи... Поцелуй меня.

— Не здесь. В пиццерии.

За столиком играли в тарок рабочие, один уже был изрядно пьян.

— И еще мы должны посмотреть «Христа у крестного древа», кажется, это в церкви Санта-Мария-сопра-Минерва, единственной готической церкви в Риме.

— Это одна из самых уродливых церквей в мире; она в нашем квартале, мы можем пойти туда от дворца Фарнезе.

— А потом позавтракаем где-нибудь возле Порта Пиа, но там только одна сторона ворот работы самого Микеланджело.

— Мы все это проверим по моему довоенному синему путеводителю; но есть еще одна его вещь — «Пьета», я ее никогда не видела — это на какой-то вилле, довольно далеко отсюда,— ты не помнишь?

Наутро вы взяли такси и поехали на виллу Сан-Северино, но, очутившись у ее дверей, обнаружили, что она открыта только по понедельникам от десяти до двенадцати.

Так у вас оказалось сколько угодно времени, чтобы без помех рассмотреть Моисея в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи — задолго до начала вечерней службы, задолго до захода солнца, вдвоем в безлюдном и очень холодном нефе, при полупотушенном прожекторе; статуя казалась привидением на чердаке, но беда была не в том: переходя с места на место, от произведения к произведению, ты чувствовал, что тебе недостает чего-то главного, чего ты не мог увидеть из-за Сесиль, и хотя ты не говорил ей ни слова, ты знал, что и она об этом думает, и вас обоих преследуют эти пророки и сивиллы, этот неувиденный вами «Страшный суд»; понимая бессмысленность вашей нынешней прогулки, вы оба молчали, вам было ни к чему признаваться друг другу в вашем общем разочаровании, говорить вслух: «Да, да, Моисей, но ведь кроме него...» — потому что вы оба слишком хорошо знали, что́ еще есть в Риме, кроме Моисея, и с горечью стыда и боли ощущали собственную трусость — другого названия это не заслуживало,— и даже если перед запертой дверью виллы Сан-Северино вы оба в первую минуту не сдержали досады, вы тут же подавили ее, слишком хорошо понимая, что, как бы ни потрясала «Пьета», она не в силах спасти положение, заполнить пустоту.

Потом Сесиль занималась стряпней на Монте-делла-Фарина, а ты, растянувшись на диване, перелистывал номер журнала «Эпока», и она обернулась к тебе, вытирая руки полотенцем с трехцветной полоской.

— В иные дни мне до того тошно глядеть на Рим...

— Когда у тебя отпуск?

— Вот именно — все только во время отпуска; в этой комнате ты бываешь только в свободные часы, а в Рим приезжаешь только ради «Скабелли», вот и сейчас ты вернешься в свою гостиницу. Если бы я хоть могла тебе верить, если бы ты дал мне хоть какое-то доказательство...

(Для того чтобы дать ей это доказательство, ты и выехал сегодня утром поездом восемь десять.) А потом вы оба легли, потушили лампу, ты изредка поглядывал на светящиеся цифры часов у себя на руке, и она шепнула:

— Приходи завтра утром пораньше, я приготовлю чай и поджарю хлеб.— И ты закрыл ей рот поцелуем, а наутро забыл о ее приглашении.

За окном поверхность земли теперь так же черна, как ее недра (поезд грохочет уже иначе, чем в туннеле), а на небе теперь видны только редкие зеленоватые просветы, редкие облака, которые еще мож-

но различить, и между ними кое-где поблескивают звезды, а на холмах — огоньки домов и на дорогах — фары машин.

В Париже, куда Сесиль приехала в отпуск (а у тебя тогда отпуска не было), примерно в ту же пору, что сейчас, отсидев в конторе томительные часы до полудня, точно ты не директор, а рядовой служащий, ты встретился с нею внизу, где она ждала тебя под дождем в светло-желтом плаще с капюшоном, засунув руки в карманы и поставив ноги так, чтобы на них не текло с плаща.

— Ну и погода!

— Ты не хочешь меня поцеловать?

— Не здесь, дорогая, не в этом квартале. Я в отчаянии, что тебе пришлось стоять под дождем. В другой раз...

— Пустяки! В другой раз ты вынужден будешь обедать с женой...

— Не каждый же день.

— Почти каждый.

— Не только с женой; у меня будут и деловые встречи, как в Риме.

— Тем меньше останется на мою долю.

— Ты же пробудешь здесь две недели...

— Они промелькнут быстро, я знаю. Мы опять сядем в поезд...

— Не думай об этом заранее. Куда мы пойдем?

— Здесь ты — мой гид.

— У нас слишком большой выбор. Что ты предпочитаешь?

— Решай сам, мне хочется, чтобы для меня это было сюрпризом.

— А какой берег — правый или левый?

— Правый берег — это твоя служба, левый берег — это твоя жена, выбрать нелегко.

— Тогда поедем на острова. Не знаю, что там есть, но что-нибудь мы наверняка найдем. А вот и такси.

Справа сквозь влажное от дождя стекло, за повернутым к тебе в профиль лицом Сесиль — оно понемногу смягчалось — ты увидел проплывавшие мимо ворота Лувра, за ними Триумфальную арку на площади Карусель и вдалеке, смутно — Обелиск на площади Согласия, а потом, когда вы поехали берегом Сены, над крышами домов — серые башни собора Парижской богоматери.

Вы устроились в маленьком, выходящем на набережную ресторанчике, где столики были покрыты скатертями в белую и красную клетку.

— Я говорил о тебе с Анриеттой...

— Что?!

— Да нет, я ей ничего не сказал, не волнуйся. Просто я подумал, что тебе любопытно познакомиться с нею, увидеть мой дом, детей, и потом — мы ведь решили,— раз уж все равно когда-нибудь ей придется сказать... Придется ведь, правда?

— Да, конечно, придется.

— А раз все равно придется, так не воспользоваться ли случаем, не подготовить ли ее исподволь,— ведь мы с тобой всегда говорили, что лучше обойтись без драм, правда?

— Да, говорили.

— А значит, необходимо, чтобы вы познакомились. Увидишь, она тебе понравится; все пройдет как нельзя лучше; она тоже тебя оценит, и все окажется гораздо проще в тот день, когда придется ей сказать.

— Да, гораздо проще — для тебя.

— Зачем ты надо мной насмехаешься? Разве это мне пришло в голову? Я предпочел бы скрыть, что ты находишься в Париже; это ты мне твердила, что не надо делать из мухи слона, что по сути все обстоит гораздо проще, что надо смотреть правде в глаза, что я должен отде-

латься от моих старомодных взглядов: они-де навязаны мне мещанским и религиозным воспитанием, и я от них никак не могу избавиться. Не ты ли повторяла мне это сотни раз? Вот и я рассказал ей об одной даме из Рима, назвал твою фамилию (впрочем, не помню точно, назвал или нет), объяснил, что многим тебе обязан, что мы должны тебя пригласить, иначе это будет невежливо...

— И как она к этому отнеслась?

— Как отнеслась, не знаю. Но она предложила мне на выбор понедельник или вторник, что тебе больше подойдет. Само собой, она что-то подозревает, но в то же время ей любопытно, и, наверное, при ее религиозном и мещанском воспитании... ведь это она воспитана в религиозном и мещанском духе, и она не стремится от него избавиться, с годами он дает себя знать все сильнее, на все давит, все омрачает; когда я с ней познакомился, она была другой, вот почему я не могу ее больше выносить, и меня так тянет к тебе, потому что ты — мое освобождение, ты ведь это знаешь; но в то же время я должен стараться щадить ее, насколько это возможно, потому что у нас дети, потому что... да ты прекрасно знаешь почему, я за то и люблю тебя, что ты все понимаешь, и ты сама же мне все это говорила, для тебя все это просто, и для меня просто, когда я с тобой, а с ней... О, она ничего не говорит, особенно сейчас,— ничего, да ей и не надо ничего говорить, но с ней все так нелепо, так безнадежно усложняется, ты понимаешь, о чем я?

— Конечно, понимаю.

— Зачем же ты вызываешь меня на эти мучительные объяснения? Само собой, если ты не хочешь приходить — нет ничего проще. Она не станет делать из мухи слона.

— Да нет, я хочу прийти, хочу увидеть твой дом, окна, которые выходят на купол Пантеона, обстановку, которая тебя окружает, твои книги, твоих детей, твою жену, конечно, я хочу воочию увидеть, какое у нее лицо, и понять, что кроется за ее молчанием, за ее презрительной застывшей улыбкой, которую ты мне описывал, хоть и не часто (ты ведь не часто рассказываешь мне об этом в Риме, ты как-то отстраняешь все, что составляет твою парижскую жизнь, словно хочешь доказать, что ее не существует, по крайней мере для меня, словно хочешь быть в моих глазах только тем, кого я вижу перед собой, увы, очень редко) — хоть и не часто, но в таких словах, с такими недомолвками и так тебя при этом передергивало, что эта улыбка из головы у меня не выходит, я хочу узнать, какова же она, эта женщина, за которую ты так держишься.

— Не ревнуй, у тебя нет никаких оснований для ревности.

— Я и не ревную; как я могу ревновать, когда я знаю, что со мной ты молодеешь, мне довольно видеть тебя в Риме и видеть, каким ты становишься здесь, в Париже. Я не ревную, раз я решила вступить в схватку с чудовищем прямо в его логове.

— Это она-то чудовище? Несчастная, жалкая женщина, которая хочет, чтобы я вместе с ней погряз в пучине скуки.

— Я приду к ней, к этой бедной женщине, можешь ей передать, приду в понедельник; она меня примет, я хорошо сыграю свою роль, роль светской дамы, которая держится очень просто, я полюбуюсь на нее, она на меня, мы будем любезны друг с другом.

— Это ты будешь любезна.

— Мы обе будем любезны. Вот увидишь, я ее знаю. Я буду делать вид, будто знакома с тобой весьма отдаленно, будто ты и в самом деле чем-то мне обязан.

— И она ни о чем не догадается?

— Она сделает вид, что нет.

— Только не надо смеяться.

— Тебе не захочется смеяться. Ты не почувствуешь ни малейшего желания говорить мне «ты». Хоть ты и называешься господин директор, ты на самом деле ребенок, во всяком случае, когда ты со мной, за это я и люблю тебя, мне хотелось сделать из тебя мужчину, твоей жене это не удалось, хотя с первого взгляда этого и не скажешь... Она добилась лишь того, что в тебе появилось что-то старческое, а ты с этим не желаешь мириться, и ты прав. Ты предоставишь нам свободу действий. Мы будем вести себя безукоризненно. Все пройдет как нельзя лучше. Вот увидишь, она мне понравится. Она тоже меня оценит. Ты будешь сидеть как на раскаленных угольях, а мы будем говорить друг другу любезности. Под конец я скажу ей, что провела у вас прелестный вечер, она пригласит меня заходить еще, я приму приглашение. Видишь, ты зря опасался, я не питаю к ней ненависти. Да и с чего ты взял, что я ее ненавижу?

— Стало быть, решено — в понедельник?

— В понедельник.

Больше говорить было не о чем. Оставалось лишь ждать предстоящей встречи. А пока пора было приступать к закускам, вам их давно уже подали. Тебе надо было торопиться, время истекало. Жуя маслины, ты смотрел сквозь стекло, как дождь барабанит по большой черной машине, за которой виднеется абсида собора Парижской богоматери.

Ромбы отопительного мата волнообразно выгибаются, точно чешуйки на коже громадной змеи. Только огоньки домов на равнине, автомобилей и вокзалов видны теперь сквозь отражение в стекле, они проносятся беглыми бликами, прошивая зеркальное отражение купе и в нем профиль итальянского рабочего — того, что помоложе.

Наконец перед самой Генуей небо над Средиземным морем прояснилось после тусклого, холодного рассвета, после мучительной ночи, к исходу которой у тебя затекли руки и ноги, всю эту ночь вы ехали под проливным дождем через римскую Кампанью, где не видно было ни единого огонька, если не считать мелькавших время от времени станций, почти совсем пустынных — только сновали взад и вперед какие-то тележки да что-то выкрикивали, помахивая мерцающими фонарями, невидимые или удалявшиеся по мокрой платформе люди,— всю эту ночь ты, что называется, не сомкнул глаз, то и дело поглядывая на часы, подсчитывал, сколько еще осталось до рассвета, до французской границы, до следующей ночи, до прибытия в Париж, до той минуты, когда ты, наконец, сможешь лечь в свою постель на площади Пантеона, номер пятнадцать, и бормотал про себя одно за другим названия станций, которые ты помнил чуть ли не наизусть,— по крайней мере, главные из них, где поезд делал остановки, и другие, с которыми были связаны хотя бы ничтожные личные ассоциации, или какие-нибудь события мировой истории, или памятники,— и наблюдал за беспокойно ворочавшейся во сне Анриеттой, которая понемногу придвинулась, прижалась к тебе, чтобы согреться, уронила голову тебе на плечо,— глядел на ее волосы и гладил их, как не гладил уже давно, пожалуй, с самой войны, как мечтал ласкать ее в залитом солнцем Риме, когда вы впервые, много лет назад, заговорили об этой поездке,— и, лаская ее, думал, что отныне, пожалуй, только когда она спит, ты можешь ощущать ее по-настоящему своей, действительно быть с ней рядом, что после этой злополучной поездки, после этой неудачной попытки повторить свадебное путешествие между вами встал, разделяя вас своей громадой, Рим, который должен был вас сблизить,— Рим, к которому ты испытывал такое жгучее

влечение, никогда еще не овладевавшее тобой с такою силой, как теперь, когда ты от него удалялся, лишаясь его, разлученный с ним этой женщиной, которую ты ласкал с ненавистью,— Рим, который ты так жаждал узнать и постичь, с тех пор как эта женщина, забывшаяся тревожным сном и что-то жалобно бормотавшая у тебя на плече, открыла тебе, что ты ничего не можешь о нем сказать; она жалобно сетовала на свое горькое разочарование, но, конечно, не способна была тебе помочь, потому что в этой области, где она все больше и больше чувствовала себя чужой, она возлагала все надежды на тебя, ожидая, что ты откроешь ей дорогу в Рим и там она вновь обретет тебя таким, каким знала когда-то, в пору вашей первой довоенной поездки вдвоем.

Наконец небо прояснилось, облака рассеялись — хотя дождь перестал уже после Пизы, они по-прежнему нависали, низкие и тяжелые, как бывает в эту пору в Париже, и искажали окрестный пейзаж и цвет совершенно гладкого моря,— и в притихшем купе, где неумолчно звучали только басы колес, гудели рельсы да неумолчно дребезжали плохо привинченные металлические предметы, все пассажиры стали открывать глаза, разминать руки, вертеть головой и приглаживать взъерошенные волосы.

Наконец острые лучи зимнего солнца пробились сквозь слой свалявшейся клочковатой шерсти, наконец вы нарушили молчание, и она сказала тебе:

— Мы выбрали неудачное время для поездки в Рим.

Ты понимал, что она пытается найти тебе оправдание, как бы не желая упрекать тебя за то, что ты умышленно выбрал неудачное время, чтобы отбить у нее охоту поехать туда снова и мешать тебе еще раз, она старается вычеркнуть из памяти эти несколько дней, понимая в глубине души, что это невозможно; крах, которым закончилась эта поездка, и отчуждение, возникшее теперь между вами, лишь подтверждали, подчеркивали крах, к которому, по ее мнению, пришел ты сам и который она ставила тебе в вину, равно как и отчуждение между вами,— она вот уже несколько лет ощущала его все явственнее и надеялась, что его поможет преодолеть город, где, она угадывала, укрылось твое былое, подлинное «я», но на беду оно существовало только в твоих мечтах, теперь это было очевидно, а ты даже не стремился к тому, чтобы эти мечты обрели плоть, так что она имела все основания тебя презирать.

Наконец в глубине ее глаз ты уловил обычную улыбку; она попыталась одним скачком преодолеть пропасть, соединить края раны; она заговорила о Париже, о детях, которые ждали вас у ее родителей; контакт налаживался, восстанавливался, привычный контакт, который больше не устраивал ни тебя, ни ее, но все же это было лучше, чем ничего, и было важно, чтобы восстановился хотя бы он, потому что в ту пору ничего другого, никакого выбора у тебя не было.

Вы проехали Турин,— и тот самый пейзаж, который теперь погружен во тьму, несколько мгновений сверкал на солнце; сначала холмы, покрытые снегом, а следом за ними горы; но по мере того, как, минуя туннели, вы поднимались все выше, стекла запотевали, а потом покрылись изморозью, и широкий простор, долины и деревни, которые только что утонули в сумерках, тогда исчезли за сплошным пологом белого леса, по которому какой-то ребенок ногтем стал чертить буквы и лица.

По ту сторону границы, когда поезд миновал таможню, стекла вновь стали прозрачными, но за ними лежал снег, потом на Юре пошел дождь, а в Маконе уже стемнело, и километры тянулись так долго, что усталость снова одолела тебя, а лицо Анриетты снова стало ожесточенным и угрюмым.

Когда проезжали лес Фонтенбло, где Великий Ловчий кричал тебе: «В уме ли ты?» — тебе вдруг неодолимо захотелось поскорее очу-

титься в Париже, в своей квартире, в своей кровати! И когда вы оба, наконец, вытянулись под одеялом, она шепнула:

— Спасибо тебе, но я пальцем не могу шевельнуть от усталости, мы так долго ехали.

Она повернулась на подушке и мгновенно уснула.

О, ты отлично знал: она благодарила тебя не за то, что ты возил ее в Рим, потому что по сути дела ты так и не открыл ей дороги в Рим, а за то, что ты привез ее обратно в Париж, где, если она и отдалится от тебя, теперь уже навсегда, у нее по крайней мере останутся дети, привычная обстановка, привычные стены и привычный уклад.

В дверях какой-то человек, старик с бородой, как у Иезекииля, резко повернув голову, смотрит направо, потом налево, с минуту приглядывается к своему дрожащему в стекле отражению, совершенно отчетливому и только кое-где пробитому плывущими вдали огоньками.

Наступила суббота, и, конечно, для вас обоих было большой радостью увидеться, поцеловать друг друга.

— Ну как, привыкаешь к своему Парижу?

— Я привыкла к нему уже на вторую ночь. По улицам хожу так уверенно, точно никуда не уезжала. Конечно, за это время все изменилось, магазины выкрашены по-новому, и часто они торгуют не тем, чем прежде: там, где была черная с серым вывеска галантерейной лавки, теперь красная вывеска книжного магазина,— но мне все кажется, что город просто принарядился ради встречи со мной.

— А я-то мечтал показать тебе все сам, открыть для тебя Париж, как ты открываешь для меня Рим.

— Этого я и жду от тебя.

— Но тебе ведь уже все знакомо.

— Я все забыла, мне надо все увидеть заново. Я вспоминаю улицы, только когда они передо мной — помолодевшие или постаревшие. Я уверена, что ты знаешь замечательные места, куда я ни разу не заглядывала...

— Но как угадать — какие?

— Нелепый вопрос! Веди меня! Куда бы ты меня ни привел, я найду что-нибудь такое, что любила прежде и о чем смутно тоскую в Риме, или что-нибудь новое, и у меня будет лишняя причина жалеть, что придется так быстро вернуться в Рим, ведь когда тебя там нет, я чувствую себя одинокой, с тех пор как имела глупость привязаться к тебе.

Стоял чудесный день бабьего лета, вы шли из центра по авеню Оперы.

— В Лувре есть новые залы, которых ты не видела, но не проводить же нам такой день в музее.

— Но ведь мы с тобой никогда не упускаем случая лишний раз заглянуть на виллу Боргезе и во дворец Барберини.

— Так то в Риме.

— По-моему, я должна вести себя в Париже так же, как ты в Риме.

— Тогда нам надо так же тщательно взяться за изучение Парижа.

— Ну что ж, значит, мне надо бывать здесь почаще, оставаться подольше или же перебраться сюда совсем. А пока я полностью полагаюсь на твой вкус, повинуюсь малейшим твоим желаниям. Когда ты был в этих залах в последний раз?

— По меньшей мере год назад, а может, и два, не помню.

— А сегодня тебе захотелось пойти туда, потому что я здесь, но именно потому, что я здесь, ты не решаешься пойти, боишься, что мне будет скучно, а ведь я не так уж невосприимчива к живописи. Откуда этот

неожиданный страх, это сомнение, точно я вдруг стала тебе чужой? Ведь наши вкусы совпадают. В Риме ты говоришь мне тоном, не допускающим возражений, и глаза твои горят так, точно нас ожидает небывалое наслаждение, а твой голос дрожит от восторга: «Во что бы то ни стало надо посмотреть такую-то церковь, такие-то развалины, такой-то камень — он лежит посреди поля или вмурован в стену дома»,— и я каждый раз следую за тобой не просто из покорности, а всей душой разделяя твой пыл.

— Но ведь здесь тебе нетрудно посмотреть все это и без меня.

— А почему тебе хочется, чтобы я видела это без тебя? Чем я тебе мешаю?

— А почему ты так сурово говоришь со мной, ведь я забочусь лишь о том, чтобы доставить тебе побольше удовольствия. Неужели я должен тебе повторять, что ты никогда не станешь для меня помехой?

— Никогда? Нигде?

— Мне мешает все остальное: Анриетта стоит между нами, даже когда ты здесь, в Париже, рядом со мной. Если еще и ты будешь все усложнять, я никогда не смогу чувствовать себя непринужденно!

И вот после обеда вы отправились осматривать луврские залы, не обмолвившись почти ни словом и нарушив молчание лишь перед римской скульптурой, пейзажами Клода Лоррена и двумя полотнами Паннини, которые вы любовно разобрали во всех подробностях.

Только гораздо позже, давно расставшись с Сесиль и лежа в постели рядом с Анриеттой, которая уже спала, ты сообразил вдруг, что вначале обещал повезти ее завтра на машине за город, а потом совсем забыл о своем намерении и на прощанье просто сказал ей: «До понедельника».

В понедельник она и не заикнулась об этом. Она была очень элегантна. Когда она вошла в гостиную, обе женщины смерили друг друга взглядом, оглядели друг друга, как два борца, готовые к схватке, и в ожидании взрыва, которого ты больше всего боялся, рука твоя дрожала так сильно, что, разливая вино в стаканы, ты придерживал их, как это рекомендуется в печатных меню вагона-ресторана, точно комната ходила ходуном, точно в любую минуту можно было ожидать сильного толчка, резкого торможения у платформы.

За столом вместе со взрослыми были только Мадлена и Анри (Тома и Жаклина пообедали на кухне и уже легли спать), они смотрели на гостью, смотрели на тебя, восхищались ею, не проронили ни звука, старались вести себя чинно, резали мясо на маленькие кусочки, жевали медленно, аккуратно вытирали губы, прежде чем поднести к ним стакан; озадаченные твоей непривычной неловкостью, они угадывали, что для тебя эта гостья — что-то совсем особое, что именно из-за нее ты в таком состоянии, чувствовали, что ты взволнован и напряжен; им тем сильнее передавалась твоя тревога, что они не понимали ее причин.

Одна только Анриетта, казалось, ничего не замечала, она улыбалась, звонила, отдавала приказания прислуге, не совершила за весь обед ни единой оплошности, в любезности не уступала Сесиль, и в то время как ты молчал, говорила почти столько же, сколько та, почти так же хорошо, как та,— о Риме, о своих поездках в Рим, засыпала гостью множеством вопросов об ее родне, об ее квартире, об ее службе и выведала у нее такие подробности, о которых ты даже не подозревал.

А взрыва, которого ты боялся, так и не произошло. И мало-помалу ты начал понимать, что в их беседе была не только светскость, в их улыбках — не только притворство, в их взаимном интересе — не только дипломатия, но что и на самом деле, очутившись лицом к лицу, соперницы не ощутили друг к другу ненависти, они оценили друг друга и почувствовали — это сквозило теперь в их взглядах — взаимное уважение:

ведь у них не было иной причины для вражды, кроме тебя самого, почти парализованного смятением и немотой, и мало-помалу они перестали обращать на тебя внимание, стали забывать о тебе, делая шаг за шагом друг другу навстречу, вступая в содружество, заключая союз против тебя.

Ты с ужасом видел, как на твоих глазах происходит невероятное: Сесиль, твоя опора, предавала тебя, переходила на сторону Анриетты; сквозь их обоюдную ревность стало проступать нечто вроде общего презрения.

Тогда ты вмешался, надеясь положить конец этому жестокому сговору. Ах, опасность была не в том, что, устав носить маску благопристойности, они могут вступить в открытую борьбу, а в том, что эта маска сделается подлинным лицом Сесиль, выражением ее подлинных чувств.

В стенах крепости, которой стала для Анриетты ваша квартира, она не уступила бы ни одной из своих привилегий, а ты, приведя сюда ее соперницу, как раз и надеялся, что она сдаст позиции, признает свое поражение и его неизбежность, увидев, как хороша, как молода, как умна ее соперница и как животворно ее влияние на тебя. Но нет, Анриетта хоть и презирала тебя, отступаться от тебя не желала.

Как быть, если ей удастся убедить Сесиль, что за тебя не стоит бороться, не стоит вырывать тебя из ее когтей? А эта угроза возникала, пока еще едва заметной тенью, но она неизбежно, неотвратимо стала бы расти, если бы две женщины пробыли вместе дольше. В конце концов Анриетта одержала бы победу, но не в битве, не вступив в открытый бой, а влив отраву в душу своей соперницы, и это была бы победа не над нею, а над тобой; отчаявшиеся и разочарованные, они вдвоем пошли бы против тебя; заключив союз, вдвоем восторжествовали бы над тобой, развалиной, мертвецом, который прикидывается живым и продолжает выполнять свои ничтожные, отвратительные функции, и вдвоем в безмолвной ненависти оплакали бы крушение своих надежд и лживость твоей любви.

Какую боль почувствовал ты, когда Анриетта, непринужденная и приветливая, уже на площадке, пригласила Сесиль зайти к вам дня через три, а та согласилась с горячностью, которая, увы, вне всякого сомнения, была искренней, что бы там ни казалось самой Сесиль! Не мог же ты крикнуть ей: «Не соглашайся! Я не хочу, чтобы ты приходила сюда снова!» — а через несколько мгновений вы сидели в машине, ты вез ее в гостиницу на улицу Одеона, и все уже было решено, условлено, и обсуждать этот вопрос было бесполезно.

— Пожалуйста, не считай, что ты обязана являться в четверг. Мы можем уклониться под любым благовидным предлогом.

— Зачем же? В Париже нам с тобой не так легко встречаться, пожалуй, это самый удобный способ. Ну, что я говорила: все прошло как нельзя лучше, мы расстались друзьями, и я даже добилась того, что она меня снова пригласила, я считаю это своей маленькой победой.

— Ты была великолепна.

— И она тоже — разве нет? Взгляды у нее куда шире, чем у тебя; и не обольщайся: ты вовсе не так уж ей необходим. Это не ты, а она сама пригласила меня, и не для того, чтобы доставить тебе удовольствие— вовсе нет; и не потому, что она тебя боготворит и готова отказаться от тебя и целовать ноги той, которая тебя отнимает,— а просто так, без всякой задней мысли. Неужели ты не понимаешь, что она предоставляет тебе полную свободу?

Ты остановил машину; вы подъехали к гостинице.

Тебе хотелось ей сказать: «Сесиль, я люблю тебя, я хочу провести эту ночь с тобой», но нет, это было невозможно, ведь вы не в Риме; надо было снять комнату заранее...

Она поцеловала тебя в лоб. Она несколько раз приходила к вам в гости. Ты привык видеть ее рядом с Анриеттой. Ты твердил себе, что это не имеет значения. Да у тебя и не было времени размышлять об этом. Пока все шло более или менее гладко,— разве не это самое главное? В последнюю неделю вы ни разу не оставались с глазу на глаз; она возобновила знакомство кое с кем из родни, а у тебя как на грех часы сбеда и ужина то и дело были заняты деловыми встречами.

Ромбы отопительного мата шевелятся, отступая друг от друга, и разделяющие их бороздки кажутся трещинами, сквозь которые пробивается слепящее пламя; ромбы топорщатся, щетинят свои острия, они расходятся в стороны, а потом поверхность мата вновь становится ровной и черной, на ней подпрыгивают крошки, виднеются пятна, грязные следы, раздавленные остатки пищи, да под сиденьем дрожат обрывки брошенной бумаги. Отражения в стекле все сильнее дробятся от огней, мелькающих за окнами поезда; это предместье Турина. В глубине пока еще безлюдного прохода ты замечаешь приближающуюся Аньес.

Синьор Лоренцо натягивает свое серое пальто, но два других итальянца, рабочие, по-прежнему невозмутимо сидят на своих местах, держа на коленях завязанные рюкзаки, и, скрестив на них руки, продолжают разговаривать и шутить.

Ты думаешь: «Прошел год, ровно год; я забыл не о том, что мы ездили в Париж, а о подробностях того, что тогда произошло, потому что вспоминал только о нашем возвращении, а когда мы вернулись, все более или менее утряслось».

Синьор Лоренцо берет свой зеленый чемодан, засовывает в карман пальто газеты и пропускает в купе Аньес,— та улыбается; Пьер, идущий за нею следом, пропускает в дверях синьора Лоренцо.

Кишащая людьми платформа замедляет бег и вместе с ней — сверкающие рельсы, фонари, темный свод, рекламные щиты, восхваляющие Турин, снующие с криками носильщики, женщина, толкающая тележку с прохладительными напитками.

Тебе хочется пить, но ничего: скоро ты сможешь утолить жажду; тебе хочется есть, но надо подождать звонка официанта, а он зазвонит с минуты на минуту, поскольку молодые супруги уже вернулись.

Ты думаешь: «Я не знаю, что делать,— не знаю, что я делаю здесь, не знаю, что я ей скажу; если она приедет в Париж, я ее потеряю; если она приедет в Париж, между нами все будет кончено; если я устрою ее к Дюрье и каждый день буду видеть из окна своей конторы, то потом, когда я брошу ее, ей будет куда хуже, чем в Риме, где у нее все-таки много знакомых. Не надо об этом думать. Пусть события идут своим чередом. Завтра утром я приеду, тогда посмотрим. Может, все представится мне в ином свете. А сейчас надо думать только о том, что у меня перед глазами, об этой вот женщине в проходе, которая поднимает свои чемоданы и быстро передает их через окно кому-то, кого я не вижу. Холодно. Надо думать об этих счастливых молодоженах, они только что пообедали, их лица раскраснелись от вина и еды, и они вновь взялись за руки.

Как вам будет спаться нынче ночью, Аньес и Пьер? Интересно, сойдут ли сейчас эти рабочие-итальянцы? Ведь если не будет новых пассажиров, вы сможете лечь на скамью; для того, чтобы вам было удобнее, я готов даже, вернувшись из вагона-ресторана, перебраться в другое купе. Поедете ли вы этим поездом до самых Сиракуз?

Какие счастливые дни вам предстоят! Вы будете прогуливаться вдвоем по берегу моря, днем и ночью в полном согласии, в полном ува-

жении друг к другу, в непрерывном восторге, уверенные, что для каждого из вас наконец-то рухнула стена одиночества, а я — что станется со мной в эти дни: в субботу, когда вы, наверное, еще будете в пути, усталые, но счастливые, впервые увидите Неаполь, попытаетесь разглядеть развалины Пестума, в воскресенье, когда вы, может быть, уже устроитесь в городе тирана Дионисия в изысканно простом отеле с окнами, выходящими в заросший зеленый сад, и, наконец, в понедельник — что станется со мной, что я буду делать?

А когда вы вернетесь из этой поездки, когда вы окажетесь в Париже и суровая жизнь вновь подомнет вас под свой тяжелый каток,— где вы поселитесь тогда? А через десять лет что останется от вас, от этого согласия, от радости, не знающей пресыщения, превращающей жизнь в чудесное питье, которое вы уже начали смаковать? Что останется от всего этого, когда у вас появятся дети, когда ты, Пьер, сделаешь карьеру на своем поприще, может быть, таком же нелепом, как мое, а может быть,— и того хуже, когда в подчинении у тебя окажется энное количество служащих и ты будешь платить им гроши, иначе дело прогорит (ну, а твое положение особое — ты им не чета!), — когда у тебя появится квартира, о которой ты мечтаешь, на площади Пантеона, номер пятнадцать? И сохранится ли в твоем взгляде, Аньес, прежняя заботливость или, наоборот, в нем появится то недоверие, которое мне так хорошо знакомо, а в твоем, Пьер, та внутренняя опустошенность, которую я замечаю каждое утро, глядя в зеркало во время бритья, и от которой ты будешь освобождаться лишь на время, каждый раз всего на несколько дней — несколько дней римской грезы,— и только с помощью какой-нибудь Сесиль, которую ты не способен будешь перевезти в тот город, где сам живешь постоянно?»

Входит старик с длинной белой бородой, как у Захарии, а за ним старуха с крючковатым носом, похожая на Сивиллу Персидскую.

Стало быть, Аньес и Пьеру не суждено остаться одним, и тебе придется смотреть, как они спят в неудобной позе, а тебя самого будут одолевать мучительные сны,— тяжело, со свистом дыша, они уже ломятся в ворота твоего черепа, наваливаются на ромбы отопительного мата, которые еле сдерживают их напор, уже начинают поддаваться, вспучиваются, и ты будешь барахтаться среди обрывков начертанного тобой плана, ты считал его таким нерушимым, так тщательно продуманным и не подозревал, что под действием пыли и крошек, под действием роя мелких событий, искусно разъедающих поверхность твоей будничной жизни и того, что служит ее противовесом, неизбежно откроются все щели, все трещины, и это отдаст тебя на растерзание дьяволам, которыми одержим не только ты сам, но и весь род человеческий. Зачем в тебе вдруг ожило это роковое воспоминание, ведь вы оба хотя бы некоторое время могли прожить в неведении...

А этот Захария, эта Сивилла, зачем они оказались в этом поезде? Какую они прожили жизнь? Куда едут? Неужели до самого Рима за тобой будет следить их бессонный взгляд?

Они внесли потертый черный чемодан; они сняли шляпы; наверное, он был когда-то преподавателем, а может, банковским служащим. Наверное, у них были дети. Сын у них погиб на войне. Они едут на крестины внучки. К путешествиям они не привыкли.

Боже, они собираются завести разговор! Только б оставили меня в покое! Только бы поскорее прозвенел колокольчик!

Но они уже замолчали; сложили руки на животе и сидят прямо, две неподвижные фигуры в черном.

А вот и колокольчик зазвенел; поезд все еще стоит. Ты кладешь книгу на сиденье и, держась за дверной косяк, выходишь из купе.

VII

Нет, это было просто мимолетное недомогание; ты снова бодр, полон сил и еще ощущаешь жар от выпитого вина и коньяка и аромат последней выкуренной сигары, хотя к тебе — очень кстати, впрочем,— подкрадывается дремота, потому что из предосторожности, желая любой ценой избежать бессонницы, ты, против обыкновения, не стал пить кофе; ведь если сети мыслей и воспоминаний снова опутают тебя, они могут роковым образом изменить твои настроения и планы; хотя еще не прошло и временами усиливается это подобие душевного головокружения, хотя есть еще эта потерянность, это недомогание, вызванные путешествием, а тебе и в голову не приходило, что оно выбьет тебя из колеи, впрочем, это лишь доказывает, что ты совсем не так стар, не так безнадежно пресыщен и труслив, как тебе еще совсем недавно казалось.

Теперь в обществе шести ненавязчивых попутчиков — они по-прежнему сидят на своих местах, но уже примолкли и больше не читают — старика, старухи, Аньес, Пьера и двух рабочих-итальянцев, которых ты окрестил сам уже не помнишь как,— ты можешь хладнокровно обдумать вопросы, о которых не хотел размышлять за ужином, для чего пускался на различные уловки: то воображал, будто это обычная служебная поездка за счет фирмы «Скабелли», и перебирал в памяти текущие дела, точно завтра утром тебе предстоит их обсуждать в здании на Корсо, то, подобно повару или этнографу, сосредоточенно смаковал блюда итальянской кухни, которую ты так любишь и которую тебе сулят ближайшие дни — даже если они не сулят тебе ничего другого,— и вслушивался в итальянскую речь за твоим и соседними столиками, потому что французов в поезде уже почти нет, а те, что остались, притихли, устав после проведенного в дороге дня,— вслушивался в звучание итальянского языка, который ты так любишь, хотя, к сожалению, очень плохо на нем говоришь;

теперь, подкрепившись и отдохнув, ты можешь обдумать все: свою поездку, решение, которое ты принял, судьбу Сесиль и что надо сказать Анриетте; взвесить все обстоятельства спокойно, а не в той странной растерянности, которая сбила тебя с толку, ослепила и завела в мрачный и постыдный тупик далеко от выбранного тобой пути, лишая всякого смысла твое сегодняшнее существование и самый факт, что ты сидишь здесь, на этом месте, занятом непрочитанной книгой;

а вся причина в том, что ты проголодался, устал и лишен привычных удобств; ведь ты уже не в том возрасте, когда можно позволить себе юношеские прихоти (я не стар, я решил начать жизнь сначала, силы вернулись ко мне, дурнота прошла);

вся причина в том, что твое «я» стало разрушаться и твое внешнее преуспеяние дало трещины, настолько явные, что уже давным-давно пора было сделать решительный шаг, настолько явные, что, как знать, еще несколько недель — и у тебя, быть может, уже не нашлось бы необходимого мужества; доказательство — то, что еще недавно, да, да, в этом самом купе, твои планы чуть было не рухнули;

хладнокровно, спокойно ты должен гнать от себя эти мысли; ведь все позади, решительный шаг сделан, ты — здесь, повтори мысленно еще и еще: «Я еду в Рим единственно ради Сесиль, и если вот сейчас я сяду на это место, то только ради нее, только потому, что у меня достало мужества решиться на эту авантюру».

Так отчего же, едва ли отдавая себе в этом отчет, ты стоишь в дверях, покачиваясь в такт движению поезда и стукаясь плечом о деревянный косяк? Отчего ты застыл точно лунатик, остановленный на своем

пути, и не решаешься вернуться в купе, словно боишься, что прежние мысли вновь нахлынут на тебя, едва ты опять займешь место, которое облюбовал в минуту отъезда, потому что считаешь его самым удобным?

Все пассажиры уставились на тебя, в окне купе ты видишь свое отражение — ты покачиваешься, как пьяный, который вот-вот упадет, но тут из расступившихся облаков показывается луна и смывает тебя.

Почему ты не прочел этой книги, раз уж ты купил ее,— а вдруг она защитила бы тебя от наваждения? Почему даже теперь, сидя в купе и держа эту книгу в руках, ты не открываешь ее, не хочешь даже прочесть ее название,— а тем временем Пьер встает и выходит из купе, а луна за стеклом поднимается и опускается,— почему ты уставился взглядом в переплет, и обложка книги вдруг словно становится прозрачной, а скрытые под нею белые страницы с вереницами букв, образующих слова, смысл которых тебе неизвестен, как бы сами собой начинают переворачиваться?

И, однако, в этой книге, какая бы она ни была — ведь ты все равно ее не открыл и даже теперь не полюбопытствовал, не взглянул, как она называется и кто ее автор,— в этой книге, хотя она не смогла отвлечь тебя от тебя самого, оградить твое решение от разъедающих воспоминаний, оградить видимость решения от всего, что ставит его под угрозу, сводит на нет, хотя она не смогла спасти твои иллюзии;

в этой книге — а это роман, и ты купил его не наобум, это не просто первая попавшаяся тебе под руку книга в бесчисленном множестве книг, которые выходят из печати, она принадлежит к определенной категории изданий, на это указывало место, какое она занимала на витрине вокзального киоска, и название, и имя автора, хотя в данную минуту ты их забыл и они тебе ничего не говорят, но когда ты ее покупал, они о чем-то тебе напомнили;

в книге, которую ты не прочел и не прочтешь, теперь уже поздно;

в этой книге, ты это знаешь, есть персонажи, напоминающие людей, сменявших сегодня друг друга у тебя в купе, описана обстановка и предметы, разговоры и переломные моменты, и все это вместе составляет повествование;

в книге, которую ты купил, чтобы отвлечься, но не прочел потому, что, сев в поезд, захотел раз в жизни быть во всем и до конца самим собой, и, значит, эта книга могла бы заинтересовать тебя лишь в том случае, если бы ее сюжет настолько перекликался с обстоятельствами твоей жизни, что ты нашел бы в ней твои собственные проблемы, но тогда она не только не отвлекла бы тебя, не только не спасла бы от гибели твои планы, твои радужные надежды, а наоборот: ускорила бы развязку;

в этой книге несомненно говорится — пусть скороговоркой, пусть неточно, пусть поверхностно — о человеке, который попал в беду и хочет спастись, пускается в путь и вдруг обнаруживает, что выбранная им дорога ведет совсем не туда, куда он думал, словно он заблудился в пустыне, в джунглях или в лесах, они сомкнулись позади него, и он не может найти тропинку, по которой шел, потому что лианы и ветви скрыли следы его пути, примятая трава распрямилась, а ветер стер отпечатки его ног на песке.

Ты смотришь на обложку книги, потом на свои руки и на манжеты рубашки, которую надел только сегодня утром,— они уже загрязнились, а надеть свежую ты сможешь не раньше, чем приедешь в Рим, не раньше, чем кончится эта ночь, этот путь, когда ты будешь совершенно разбит усталостью, не раньше завтрашнего утра, а оно будет совсем не таким, как ты предполагал, ну да, сколько бы ты ни повторял себе: «Все позади, решительный шаг сделан»; хоть он и сделан, но не в том смысле, как ты предполагал, когда садился в поезд,— шаг сделан в другом на-

правлении: к отказу от первоначального плана, который казался тебе таким простым и безусловным, к отказу от лучезарного будущего, навстречу которому тебя мчал этот поезд, к отказу от жизни в Париже, полной любви и счастья вдвоем с Сесиль;

ты должен спокойно и хладнокровно гнать опасные мысли из этого купе, куда только что вернулся Пьер,— он сел возле Аньес, украдкой коснулся губами ее лба, поглядел вокруг, а она опустила веки, ей хочется спать (но свет погасят еще не скоро), потом он открыл итальянский разговорник и начал читать, и она тоже, беззвучно шевеля губами, а синий путеводитель легонько подпрыгивает на сиденье, а старик Захария вынул из жилетного кармана своего черного костюма большие серебряные часы, открыл крышку, приложил к уху (непонятно, как он может расслышать их тиканье в шуме колес, в грохоте поезда), потом посмотрел на циферблат (тебе видно, что часы показывают еще только половину десятого), закрыл их, снова спрятал в карман, а двое рабочих-итальянцев машут руками своему приятелю, который прошел по коридору и, выгибаясь всем телом и подмигивая, поманил их, они встают, кладут на свои места рюкзаки, пробираясь мимо тебя, бормочут «scusi, scusi» [1], а едва оказавшись за дверью, сразу начинают шумно болтать, идут по коридору и исчезают в другом купе.

Старуха итальянка рядом с тобой сидит в прежней позе, скрестив руки на животе, только губы ее слегка шевелятся, точно она бормочет про себя молитву, охраняющую от опасностей, которые подстерегают путника, а ее стертые черты временами вдруг заостряются, словно она произносит заклятья против демонов, притаившихся на перекрестках дорог, при этом зрачки ее вдруг расширяются от ужаса и сознания обреченности, но потом она успокаивается, прикрывает веки, и губы ее шевелятся так незаметно, что может показаться, будто это от покачивания вагона дергается ее челюсть и чуть вздрагивают складки дряблой кожи.

В лице ее мужа, сидящего напротив, тоже что-то ожило; он смотрит на тебя, улыбается в бороду, мысленно рассказывая себе какую-то историю, словно ты ему кого-то напомнил, и вдруг в его старческих глазах вспыхивает жестокий и мстительный огонек, словно он затаил на тебя горькую обиду.

Поезд проезжает Нови Лигуре. Под стеклом плафона подрагивают лампочки. А по ту сторону прохода ты видишь их колеблющееся отражение, которое, деформируясь, ложится на черные склоны, испещренные огоньками окон.

Нет, ты не скажешь всего, не скажешь всего, что хотел сказать, тебе не удалось подготовить все так тщательно, как ты хотел; наверное, вы назначите какие-то сроки, но только не день, когда ты расстанешься с Анриеттой, как предполагал вначале, и окончательно переберешься вместе с Сесиль в квартиру, которую ты присмотрел.

Конечно, между вами воцарится прежнее согласие, потому что ты приедешь в Рим ради нее одной и расскажешь, что нашел для нее в Париже место, о котором она мечтала, но это согласие будет только видимостью, оно будет до ужаса хрупким и ненадежным, и ты-то сам вопреки всему будешь сознавать, насколько отдалился от нее; отныне тебя все сильнее начнет точить тревога, ты с опаской будешь спрашивать себя, что ждет вашу любовь, когда Сесиль приедет к тебе, прельстившись работой, которую ты ей станешь расписывать, не жалея красок, и будет введена в заблуждение, попадется на удочку твоих за-

[1] Извините, извините *(итал.)*.

верений и клятв, а ты будешь их повторять со щемящим чувством счастья от того, что ты снова с нею в Риме, что эти несколько дней ты совершенно свободен и полностью принадлежишь ей, с тем более страстным чувством, что ты уже будешь понимать, как ненадежно будущее и какими оно чревато опасностями и разочарованиями.

Кто-нибудь попросит погасить свет. После Чивита-Веккии, проезжая берегом моря, ты уже заранее и сполна почувствуешь бремя дорожной усталости, хотя большая часть дороги еще впереди, но тебе не удастся заснуть, ты будешь вертеться, тщетно пытаясь сесть поудобнее, вздрагивая и приподнимаясь на каждой остановке и безуспешно отгоняя мрачные видения, которые будут все чернить и издеваться над тобой.

В Генуе ты выйдешь из осточертевшего тебе купе третьего класса; будет еще темно, лампа ночника будет по-прежнему отбрасывать синеватый свет на лица мужчин и женщин, которые, раскрыв рот, тяжело дышат в нездоровой духоте.

Когда ты вернешься в купе, резкий свет холодного дождливого утра уже вынудит твоих спутников открыть глаза, и пока поезд будет взбираться по склону Альп, ты попытаешься читать, чтобы отвлечься от мыслей о том, как развернутся события, вызванные к жизни необдуманными словами, которые вырвались у тебя в угаре этих римских дней;

читать книгу, которую ты будешь держать в руках, приближаясь к границе,— может быть, это будет все та же книга, так как ты ее не успеешь кончить (вечерами тебе будет не до нее, ведь на этот раз тебе наконец-то не придется среди ночи, проклиная судьбу, тащиться в отель «Квиринале»), все та же книга, которую ты, возможно, даже не откроешь, а может, и другая, которую ты купишь на вокзале Термини,— читать книгу, которую ты захлопнешь перед тем, как начнутся таможенные формальности, а в ней будет говориться о человеке, который заблудился в лесу: лес сомкнулся за его спиной, и чтобы решить, куда двинуться дальше, он хочет найти тропинку, которая привела его сюда, но не может ее найти, потому что его ноги, погружаясь в ворохи опавших листьев, не оставляют следов.

(и он слышит конский топот, который звучит все ближе и вдруг исчезает, а потом какой-то протяжный вопль, точно всадник тоже заблудился и зовет на помощь,

неожиданно натыкается на решетку, которая преграждает ему путь, и бредет вдоль нее, все тяжелее переводя дух и усилием воли стараясь не закрывать глаза, несмотря на хлынувший вдруг частый и шумный дождь,

а потом натыкается на закутанного в плащ и вооруженного человека,— тот, вынув из кармана фонарь, обшаривает все вокруг и сквозь мириады капель вдруг видит измученное лицо и поднятые кверху дрожащие руки,

замечает упавшую за ограду книгу, открывает ее, и дождь льет на ее страницы, и они мало-помалу растворяются, разлетаются, а человек в плаще, разразившись хриплым смехом, исчезает в глубине хижины, напоминающей громадный ком земли, и теперь путь свободен);

читать книгу, которую ты захлопнешь перед тем, как начнутся таможенные формальности и надо будет после туннеля предъявить чиновникам паспорт, а потом вновь попытаешься ее читать, когда поезд начнет спускаться по французскому склону среди долин, зыбких от густых теней, ибо тебе захочется отогнать от себя слишком явственную картину безотрадного существования, какое предстоит тебе отныне,— рабочие часы в твоей парижской конторе, из окна которой ты будешь видеть противоположную сторону улицы Даниэль Казановы и там Сесиль,

работающую на втором этаже туристского агентства Дюрье, Сесиль, мечтавшую о том, как она приедет в город своих грез и вы заживете вместе жизнью, полной пленительного риска, которую она помогла тебе выдумать, но вскоре убедилась, что, наоборот, ты теперь гораздо дальше от нее, чем когда она жила в Риме, и хотя вы иногда проводите вместе ночь, вам больше не о чем говорить, и минутами ты ловишь на себе ее взгляд, полный такой ненависти, такого жестокого разочарования, что ей лучше уехать, и ты подготавливаешь все для ее отъезда, настолько горько тебе то и дело замечать бросаемый тебе в лицо упрек, напоминание о том, каким позором обернулся твой самый решительный шаг к освобождению;

читать книгу, в которую ты углубишься, чтобы ни о чем не думать, потому что уже поздно, уже ничего не поправишь; ты возвращаешься в Париж вдоль берега печального озера, ты уже поделился с нею всеми своими планами насчет ее переезда, а она в своем неведении так радовалась им эти несколько дней, что невозможно было убедить ее от них отказаться, невозможно было объяснить, почему надо это сделать,— она все поняла бы превратно и постаралась бы укрепить твою решимость, снова упрекая тебя в малодушии,— невозможно было не поддаться ее доверию, благодарности, восторженному удивлению.

В Бур ты приедешь уже в сумерках, в Макон — когда совсем стемнеет, ты будешь перебирать в памяти события минувших дней — дней, которые тебе пока еще предстоят,— и радоваться тому, что тебе удалось промолчать о найденной для нее в Париже работе и о квартире, которую предложили тебе на время друзья, промолчать, несмотря на ее настойчивые расспросы, и уверить ее в том, что да, ты усердно искал и даже считал, что тебе подвернулось что-то подходящее, потому-то ты и затеял эту тайную вылазку в Рим, но в последнюю минуту все рухнуло, что ты, разумеется, будешь искать дальше, у тебя даже есть на примете одна комната и ты уже вообще-то почти сговорился,— пусть она порадуется, пусть заранее насладится предстоящими переменами, которые никогда не состоятся.

А стало быть, тебе не придется готовиться к схватке с Анриеттой, думать о том, что ей сказать и о чем умолчать, потому что с Анриеттой все останется по-прежнему, и ты будешь глядеть сквозь темные и, наверное, мокрые от дождя стекла, глядеть сквозь окна освещенного коридора на откосы, усыпанные прелой листвой, на ряды голых стволов в лесу Фонтенбло, и сквозь скрежет осей тебе будет чудиться отдаленный топот копыт и насмешливый голос: «Ты слышишь меня?»

И, наконец, во вторник в двадцать один пятьдесят четыре под проливным дождем, в полном мраке, совсем один, измученный путешествием в третьем классе, ты приедешь в Париж на Лионский вокзал и окликнешь такси.

За окнами прохода, в ущелье, обнажающем горизонт, над узкой извилистой дорогой, прочерченной фарами далеких автомашин, снова показалась луна, раздвинувшая облака, похожие на птичьи головы с большими перьями и гребешками. Над головой сидящего напротив старика, который полузакрыл глаза и, словно читая про себя какую-то длинную монотонную поэму, подергивает плечами в конце каждой строфы, снимок горного пейзажа, отчасти заслоненный его черной шляпой, образует нечто вроде темного зубчатого нимба. За окном купе проходит длинный товарный состав.

После Ливорно поезд шел без остановок; это был римский экспресс; вы ехали через Маремму, и слева от тебя за окном вагона-ре-

сторана солнце искрилось в каналах среди возделанных пашен и деревьев, покрытых багряной листвой, а когда вдали показался Гроссето, мимо пронесся встречный поезд — длинный товарный состав.

Потом сидевшая напротив тебя итальянка, высокая римлянка,— она ехала с мужем, который то и дело вынимал из кармана маленькую записную книжку в светло-лиловом кожаном переплете и что-то в ней нервно отмечал, вычеркивал, проверял, тогда как сама она, поводя вокруг большими темными глазами, одаряла улыбками всех подряд, в том числе и тебя,— спросила, не будешь ли ты возражать, если она опустит штору, и штора вспыхнула сотнями искр.

Ты любовался ее холеными руками, чистил апельсин и думал о Сесиль, которой назначил свидание в половине седьмого в баре на площади Фарнезе, гадая, где она сейчас обедает, у себя или в одном из своих любимых ресторанчиков,— конечно, она при этом думает о тебе, о том, как вы сегодня проведете вечер, и, конечно, надеется, что уж на этот раз ты сообщишь ей долгожданную новость, сообщишь, что принял окончательное и столь желанное для нее решение и нашел ей место в Париже, о котором она так мечтает.

Вернувшись в купе первого класса, где ты был один,— на горизонте время от времени уже показывалось море,— ты взял книгу посланий Юлиана Отступника с полочки, где ты ее оставил, и, не раскрывая, загляделся в открытое окно — порывом ветра в него заносило иногда песок,— мимо промелькнул вокзал Тарквинии, а потом и самый город вдали с его серыми башнями на фоне бесплодных гор; а немного погодя ты перевел взгляд и уставился на солнечное пятно в форме резака, которое все шире расплывалось по одной из подушек.

Путь был свободен; впереди тянулась горная долина, поросшая высокой травой, которая обсыхала на предрассветном ветру.

Среди редеющих зарослей за пеленой пыли он видит на горизонте зубья гор, от которых его отделяет ров, и чем ближе он подходит, тем ров становится глубже,— это теснина, по дну которой, должно быть, бежит река, и он начинает спускаться по ее склону, цепляясь за колючие ветви. Но пытаясь ухватиться рукой за кусты, он с корнем выдергивает их из земли, а камни, на которые он хочет поставить ногу, обваливаются, осыпаются и стремительно катятся с уступа на уступ, и под конец он уже не в силах отличить шум их падения от гула, идущего снизу, а тем временем спускается ночь, и полоса неба над его головой окрашивается в лиловый цвет.

Большое солнечное пятно медленно расплывалось по подушкам, захватывая — нитка за ниткой — их плотную ткань, а на повороте дороги вдруг потекло вниз на зыбкий пол и потом понемногу уползло из купе.

Ты тогда уже понимал, что рано или поздно тебе придется принять решение, но еще не подозревал, что этот день так близок;

не имея ни малейшего желания торопить события, надеясь, что все образуется, полагаясь на случай, на то, что все решится само собой,

не думая о будущем Сесиль, о том, как устроить в ближайшее время вашу совместную жизнь, не размышляя о ваших нынешних отношениях, не пережевывая ваших общих воспоминаний,

ты держал на коленях закрытую книгу — послания Юлиана Отступника,— которую только что дочитал, но все твои мысли были заняты прежде всего делами фирмы «Скабелли»,— ты их проклинал, пытался от них отвлечься, хотя дела были настолько срочные, а до встречи, назначенной на пятнадцать тридцать, оставалось так мало времени, что ты волей-неволей неотступно к ним возвращался, и лицо Сесиль то и дело заслоняли цифры, контракты, предложения по реорганизации французского филиала и отдела рекламы, а голос и улыбка Сесиль

лишь на мгновения проступали сквозь гул профессиональных разговоров, калейдоскоп ведомостей и прейскурантов.

Надо только преодолеть этот барьер, этот рубеж, и тебя ждет отдых — ее взгляд, ее походка, ее объятия,— тебя ждет передышка, ждет покой, возвращенная молодость и обновление.

Тебе было некогда сожалеть заранее о том, что по ночам придется возвращаться в отель «Квиринале», твоя голова была забита другим, всей этой житейской прозой, нелепыми проблемами, бессмысленной борьбой, работой, в которой проходит твоя жизнь и весь осязаемый результат которой сводится к тому, что твое служебное положение может еще упрочиться, что ты можешь надеяться на прибавку жалованья, а это позволит тебе создать еще более обеспеченную жизнь женщине и детям, которые стали тебе чужими;

в тот раз ты ехал в Рим не ради Сесиль, она не была, как теперь, единственной целью твоей поездки, ты ехал по распоряжению и за счет своих хозяев; ты скрывал от них счастье свидания с нею; в этом состояла твоя великая месть за то, что они тебя поработили, за то, что они заставляют тебя играть унизительную роль, вынуждают тебя постоянно вести за них борьбу, постоянно защищать не твои, а их тайные интересы, и ты послушно изменяешь ради них самому себе.

На этом полюсе была постыдная суетливость и принужденное усердие, которые под бдительным оком начальства стараешься выдать за преданность, а в глазах тех, над кем ты сам начальство, стараешься выдать за энтузиазм, про себя издеваясь над теми, кого удается провести; а на том полюсе была она; и каким же избавлением, каким возвращением к твоему подлинному «я», каким спасением она тебе представлялась, вся — улыбка и пламень, прозрачный и жаркий ключ, врачующий и очищающий, а ее глаза — бескрайняя, обволакивающая даль, уводящая от прозаических будней, и тебе хотелось думать только о ее глазах, а между тем ты с досадой перебирал в памяти слова и уловки, которые предстояло пустить в ход на совещании, чтобы обойти завистников, которые тебя подсиживают, чтобы послужить делу — не твоему, да и, по правде сказать, вообще ничьему; и тем не менее к тебе постепенно возвращалось спокойствие, бодрость, хорошее настроение, радость жизни, и ты любовался соснами, мерно покачивавшимися на солнце!

За окном, сквозь отчетливое, вибрирующее отражение купе — немного наклонившись вперед, ты можешь разглядеть в нем самого себя чуть подальше старухи итальянки, неподвижно сидящей, полузакрыв глаза,— сквозь твое собственное отражение виднеется скала, в которой пробит туннель, и кажется, будто это брусок, на котором тебя обтачивают, будто это каменистая стена, склон ущелья, по которому ты низвергаешься в пропасть. Аньес спит, Пьер смотрит на нее, пряди их волос переплелись, и над ними как бы колышется в волнах лодка на снимке с видом Конкарно. Их ноги вздрагивают, шаркая по отопительному мату.

Но на сей раз ты едешь ради нее одной, на сей раз ты принял, наконец, бесповоротное решение, и, однако, оно увяло, омертвело за время пути, ты больше не узнаешь его, оно продолжает разрушаться у тебя на глазах, а ты не в силах приостановить отвратительный распад, на сей раз ты не прочел книги, которую держишь в руках, даже не открыл ее, ты не знаешь и не хочешь знать о ней ничего — вплоть до ее названия; а все потому, что на сей раз ты как бы в отпуске, ничто извне не заставляет тебя спешить и суетиться, и гигантский заслон из случайных

дел на сей раз не стоит между тобой и твоей любовью, все потому, что отношения обострились до предела и ты, не отдавая себе до конца отчета в том, что ты делаешь, в том, что происходит, был вынужден нарушить заведенный порядок, поломать то, что вошло в привычку, и сам загнал себя в тупик и сразу же оказался перед необходимостью пристально рассмотреть (пережитая встряска сделала тебя куда более зорким) подробности твоей будущей жизни, которая еще сегодня утром казалась тебе тщательно, всесторонне и до конца продуманной,— перед необходимостью оценить положение, в котором ты очутился, и тем самым гостеприимно открыть двери забытым, отстраненным воспоминаниям; от этих воспоминаний какая-то частица твоего «я» (можно ли считать ее твоим «я», раз ты сбросил ее со счетов?), именно та частица твоего «я», которая и регулирует ход твоих мыслей, считала тебя надежно застрахованным, и вот эту самую частицу твоего «я» потрясла стремительность событий, необычность путешествия, его новизна, и если этой грани твоего «я» до сих пор более или менее удавалось маскироваться, то теперь она, слабея и исчезая, проявила себя, обнажила свою суть.

И вот тебе вспоминается конец той злосчастной поездки в Париж— встреча в поезде, точно таком, как тот, в котором ты едешь сейчас (и все из-за проклятых денег и разницы в стоимости первого и третьего классов), когда уже давно скрылся из виду Лионский вокзал, где вы договорились встретиться на платформе, правда, договорились условно, потому что перед отъездом из Парижа вы с ней несколько дней не встречались, а обратный билет у нее уже был; когда Лионский вокзал давно скрылся из виду, потому что утром ты проспал, и было уже пять минут девятого, когда ты выскочил из такси, не успев даже запастись сигаретами; ты до последней минуты ждал на платформе, где Сесиль уже не было, а потом на ходу вскочил в поезд, который был набит битком — не то что нынешний; пробираясь по людным проходам, ты заглядывал подряд в каждое купе и решил, что если ты ее не найдешь, если она отложила свой отъезд и даже не предупредила тебя, потому что терпение ее истощилось и она разочаровалась в тебе, в твоем поведении — в таком неприглядном свете ты предстал перед ней в Париже,— ты заплатишь разницу и перейдешь в вагон первого класса, чтобы по крайней мере знать, что у тебя будет место, где сесть;

потом ты зашел в вагон-ресторан, где подавали завтрак (ты успел поесть дома, но во рту у тебя пересохло), думая: «Что я буду делать в Риме без нее? Схожу завтра на Монте-делла-Фарина, узнаю, не вернулась ли она, если нет, буду наведываться туда каждый день до самого отъезда», заказал чашку чаю и, сев у окна, увлажненного дождевыми каплями, стал сквозь стекло глядеть на рельсы, на стрелки, на щебень между рельсами, местами покрытыми ржавчиной;

а потом взял свой чемодан и, продолжая поиски, двинулся дальше по направлению к головному вагону, как вдруг услышал ее голос: «Леон!» — и, обернувшись, застыл в дверях, а она сказала:

— Я думала, что уже не увижу тебя, что ты отложил поездку; сначала я заняла тебе место, но мы уже так давно в пути, я решила, что это ни к чему,—

и ты остался стоять в коридоре, у тебя не было даже сигареты, ты молча наблюдал, как она углубилась в книгу, а потом прислонился к окну и стал думать: «Как же быть дальше? Хоть бы кто-нибудь сошел в Лароше или Дижоне, тогда я сяду рядом с ней!» — и сам все глядел на опавшие мокрые листья и большие, почти совсем голые деревья в лесу.

Он долго в изнеможении прислушивался к шуму реки, сжатой крутыми склонами, в ее волнах сверкали теперь узкие блики месяца, он взошел, выставив кверху рожки, во всем блеске новолуния, похожий

на лодочку, плывущую в скалистой теснине, и вдруг по ту сторону реки ему почудился конский топот и даже окрик, эхом прокатившийся от скалы к скале, словно кто-то обнаружил его присутствие и стремится его опознать: «Кто ты такой?»

В поисках брода он пополз вдоль реки по склону сужавшегося ущелья, потом сорвался, увяз в песке между камнями, а эхо все усиливало шум, и вот стремнина подхватила его, закружила, снова выбросила на скалы, и он стал карабкаться вверх, пока не добрался до входа в пещеру, откуда со свистом вырывался ветер. Он ощупью поискал вокруг себя ровную площадку, где можно было бы растянуться, но нашел только выемку, куда и забился, только не лег, а сел, прижавшись виском к отвесному склону, должно быть, это была мраморная жила — прохладная и гладкая, как стекло; дыхание его стало ровнее; на него повеяло запахом дыма.

Ты глядел на опавшие листья в лесу Фонтенбло и на то, как кучи этих листьев жгут в садах, где уже отцвели цветы, и, не желая просить сигарет у Сесиль, погруженной в чтение,— у нее в сумке наверняка были сигареты, но тебе не хотелось начинать с попрошайничества,— ты вынул из кармана спичечный коробок, в котором осталось всего три спички, и стал зажигать их одну за другой, опираясь локтем на перекладину под окном, а они мгновенно гасли; на другом конце коридора, как видно, было опущено стекло, а когда ты поднял голову и заметил, что Сесиль наблюдает за тобой, что ей смешно, ты нарочно отодвинулся в сторону, и она сразу же вышла из купе с сигаретой в зубах; ты показал ей пустой коробок, и она вернулась в купе за своей зажигалкой.

— Хочешь сигарету?

— Спасибо, нет.

— А сесть не хочешь?

— Подожду, пока освободится место.

— Наверняка кто-нибудь выйдет в Дижоне.

Легкими ударами мизинца она стряхивала пепел с сигареты. Медленно проплыл собор в Сансе, серой массой возвышаясь над городом; поезд шел берегом Йонны.

— В котором часу ты будешь обедать?

— Я еще не успел взять талончик. Я приехал в последнюю минуту. Вчера поздно лег. В последние дни дел у меня было по горло.

— В последние дни мы оба были заняты по горло.

— Сейчас придет официант.

— Он уже приходил. У меня талончик в первую смену; если б я знала, что ты здесь, я взяла бы два.

— Наверное, как раз когда он приходил, я пил чай. Я ведь тоже не знал, что ты в поезде. Я обошел уже половину состава, разыскивая тебя.

— Пойдем обедать вместе. Чем черт не шутит...

— Тем более что метрдотель меня знает. Садись. Не стоять же тебе из-за меня до самого Дижона.

Но ни один пассажир не сошел ни в Лароше, ни в Дижоне, и только в вагоне-ресторане вы наконец сели рядом, но и здесь нельзя было поговорить по душам, потому что за вашим столом сидели еще двое, муж и жена, и непрерывно ссорились.

— В Риме у нас будет много свободного времени. Правда, в девять часов мне придется быть у Скабелли, и еще я имел глупость согласиться на деловую встречу за обедом, но с шести я сам себе хозяин... Буду тебя ждать на площади Фарнезе.

— О да, в Риме...

— Можно подумать, что ты не любишь Рим.

— Я его люблю, особенно когда ты приезжаешь туда ко мне.
— Я был бы рад не уезжать оттуда.
— А я хотела бы жить с тобой в Париже.
— Не вспоминай об этой поездке. В другой раз все будет иначе.
— Я никогда ни словом не заикнусь о ней.

Книга выскальзывает у тебя из рук и падает на отопительный мат. Ты поднимаешь голову и в зеркале между снимками гор и парусников видишь башни и зубчатые стены Каркассона — снимок, висящий как раз над тем местом, где лежит рюкзак одного из рабочих. Мелькает маленькая заброшенная платформа, несколько фонарей освещают только скамью, часы и ящики, ждущие отправки.

Вдруг грохот усиливается, и за окном с бешеной скоростью, словно кто-то исступленно колотит молотком по неподатливому гвоздю, проносятся освещенные окна встречного поезда, скорого Рим—Париж, которым ты возвращался из прошлой поездки.

Престарелые супруги, мерно покачиваясь все в тех же окаменелых позах, обмениваются взглядом и понимающей улыбкой.

Ты шаришь в кармане, но там осталось всего две сигареты, а ты не догадался запастись в вагоне-ресторане пачкой «Националe». Ты пытаешься переменить положение, потом закрываешь глаза, потому что свет начал тебе мешать. Заснуть сейчас, конечно, не удастся; а может, не удастся заснуть и всю ночь. В этом положении тебе удобнее, но долго сидеть, заложив ногу на ногу, будет невмоготу.

Раз на него повеяло дымом, значит, в пещере кто-то есть; он поднимается на ноги и осторожно, чтобы не удариться о свод, начинает продвигаться в глубь пещеры, ощупывая стену руками, а запах дыма становится все явственнее.

За выступом скалы он видит огонь, разведенный в обширном гроте, сочащемся влагой и насыщенном испарениями,— огромное оранжевое пламя в клубах пара; он подходит ближе и слышит чье-то тяжелое, хриплое дыхание,— уставившись в громадную книгу, неподвижно сидит старуха; не поднимая головы, она обращает к нему взгляд, в котором притаилась насмешка, и шепчет (но шепот, отраженный эхом, похож на грохот поезда в туннеле, и почти невозможно разобрать, что она говорит):

«Труден путь по лесам, через степи и скалы, но теперь заслужил ты короткий отдых, ты имеешь право услышать меня и задать мне вопросы, ты, наверное, давно и старательно их обдумал, ибо никто не отважится на такое опасное странствие, не познав, не поняв, не постигнув, что погнало его в дорогу; вопросы свои записал ты, должно быть, на тех двух клочках бумаги, что белеют сквозь туман и дым моего костра на странном твоем одеянье; я вижу, оно в лохмотьях, оно утратило цвет, и это значит, что пришел ты издалека.

Почему ты молчишь? Или думаешь, я не знаю, что ты тоже пустился на поиски отца своего, чтобы он возвестил тебе будущее твоих потомков?»

И тогда, заикаясь, он пробормотал:

«О, не смейся надо мною, сивилла! Я ничего не хочу, я хочу только выйти отсюда, возвратиться домой, к началу пути, по которому я бреду. И если ты говоришь на моем языке, сжалься надо мной, над моим унижением, над моим бессилием, ибо я не способен воздать тебе почести, обратиться к тебе с подобающими словами, дабы они заставили тебя возвестить мне ответ».

«Разве эти слова не записаны там, на страницах синего путеводителя заблудших?»

«Увы, сивилла, они стерлись, но если даже они и не стерлись, я не могу их прочесть».

«Ступай, я могу дать тебе в дорогу две лепешки, испеченные в моей печи, но чудится мне, что тебе больше не увидеть света».

«А разве у тебя нет золотой ветви, которая указала бы мне путь и отворила передо мною решетки?»

«Не для тебя, не для тех, кто сам не ведает своих желаний. Придется тебе отыскивать путь по неверному мерцанью, оно появится впереди, едва лишь угаснет мой жалкий костер».

И вот уже все вокруг окутано плотным облаком, оно расплывается вширь, и только вдали сквозь едкую мглу смутно серебрится какой-то свет; странник снова пускается в путь.

Тебе больше невмоготу сидеть, заложив ногу на ногу, ты одну за другой вытягиваешь их, как после долгой ходьбы, и задеваешь ногу старика итальянца, который сидит напротив, застыв словно спящий, хотя глаза его открыты и вот уже несколько минут созерцают тебя, будто старика забавляют движения твоих губ и мысленно он по-своему истолковывает их.

Как тебя начинает тяготить это движение, это покачивание, этот шум, этот свет; скопившаяся за долгие часы и километры усталость, которой до сих пор ты как-то сопротивлялся, теперь наваливается на тебя, точно громадный стог сена, тебя охватывает неодолимое желание вытянуться во весь рост, но это невозможно — нельзя же беспокоить старуху итальянку, да и не хочется показывать, что ты не так вынослив, как Пьер, на плече которого задремала его Аньес, а ведь ему эта дорога наверняка не так привычна, как тебе, скорей всего, он впервые едет маршрутом Париж—Рим, но с лица его не сходит улыбка, и он ласкает жену на глазах у итальянки, а старуха смотрит на них уже менее настороженно, и во взгляде ее брезжит сочувствие, словно оно, наконец, пробилось на поверхность сквозь толщу долгих лет упрямого ожесточения.

Забившись в свой уголок, ты смотришь из-под полуприкрытых век, точно пьяный, который, добравшись до постоялого двора, смотрит в щелку ставен, потому что в кармане у него уже не осталось мелочи, а значит, нет и надежды положить на подушку тяжелую от хмеля голову, и слева от себя видишь в тумане четыре лица, которые колеблются в этом грохоте вместе с прямоугольником ночи, то и дело меняющим глубину,— да, именно слева, внутри отражения, а с другой стороны — коридор, откуда доносится металлическое пощелкиванье, возвещающее о приближении итальянского контролера.

У тебя такое чувство, будто в шею тебе между двумя верхними позвонками, атлантом и аксисом (названия их, подобно привкусу от слишком обильного обеда, восходят к какому-то давнишнему курсу естественной истории), вонзается тонкая ржавая игла, а человек в фуражке тут как тут, он отодвинул скользящую дверь и бормочет себе в усы: «Bigletti per favore» [1]; хотя от боли в онемевшем затылке тебе трудно двигаться, ты обшариваешь карманы пальто и пиджака, но только в брюках обнаруживаешь наконец узкий клочок бумаги и не можешь вспомнить, каким образом он там оказался, потому что обычно ты кладешь билет в бумажник; должно быть, недавно, когда ты был в вагоне-ресторане, контролер, этот же самый контролер, уже проверял билеты, только там он не смотрел на тебя таким взглядом, как сейчас, думал, должно быть, что ты едешь первым классом: может, он привык видеть тебя в первом классе; наверное, он очень удивлен, что на сей раз

[1] Билеты, пожалуйста *(итал.)*.

встретил тебя здесь; должно быть, думает, что ты разорился; коснувшись щипцами козырька, он с шумом задвигает за собой дверь.

Другая булавка, длинная, со ржавой шляпкой, прокладывает себе путь между вторым и третьим шейными позвонками, она ввинчивается все глубже и глубже, и вот уже вдоль всего твоего позвоночника вонзаются острия, и ты начинаешь тереться спиной о спинку сиденья, отчего они впиваются еще глубже, их уже не меньше дюжины, они стесняют твои движения, проникают все дальше — не то какие-то когти, не то клыки,— а вот еще другие, эти как челюсти, на которых сидят в ряд по полтора десятка зубов, и каждый из них вгрызается в тебя, точно каждый действует сам по себе, и вдруг все они сжимаются так, что ты вздрагиваешь и выпрямляешься.

Ты не смеешь оглянуться назад, боишься, что эта пасть дохнет на тебя, боишься увидеть безжалостный стеклянный взгляд, колючую чешую змеи, обвившейся холодным хвостом вокруг твоих ног, так что ты их уже не можешь разнять.

Старик напротив тебя встает, как бы желая подчеркнуть всем своим видом: «Погляди, как свободно я двигаюсь», он словно по воздуху приближается к двери, она распахивается, едва он успевает к ней прикоснуться, и громадная фигура старика исчезает в коридоре.

Лампочка под стеклянным колпаком вибрирует, ее свет мерцает, точно вот-вот погаснет. Аньес вздрагивает, открывает рот, точно вдруг увидела перед собой пропасть, потом вспоминает, что она в поезде, проводит рукой по лбу, по выбившимся из-под платка прядям, смотрит на Пьера, который, сжав пальцы жены, легонько целует ее в шею, снова клонит голову на плечо мужа, смотрит на тебя, улыбается и тихо опускает ресницы, вновь отдаваясь во власть ритмическому покачиванию вагона; а на снимке над ее головой на шелковистых, золотых и темно-синих волнах под лучами жаркого римского заката колышутся парусники.

Сосны мерно покачивались на солнце; поля были безлюдны,— очевидно, крестьяне отдыхали.

Ты сидел один в купе, держа в руках прочитанную книгу — послания Юлиана Отступника, впереди уже виднелся город с куполом святого Петра, и предстоящая встреча с ним наполняла тебя радостью.

Ты встал, спрятал книгу в чемодан, до отказа опустил оконное стекло и стал любоваться проплывавшими мимо домами, женщинами у дверей жилищ, машинами, троллейбусами, Тибром, станцией Рим-Трастевере, снова Тибром, теперь уже с другого берега, началом городской стены, станцией Рим-Остьенсе.

Как вольно тебе дышалось, как стремился ты увидеть Сесиль, как спешил поскорее покончить с делами «Скабелли», как жаждал в один прекрасный день приехать сюда только ради нее,— ты еще не знал, когда это случится, не знал, что это будет в следующий же раз, что ты примешь решение так скоро.

Поезд миновал станцию Тусколана, потом показались Порта-Маджоре и мавзолей пекаря Еврисака, возле которого прикорнул какой-то пьяный старик — он приподнялся и помахал поезду, точно поздравил тебя с приездом в Рим,— а рядом ремонтировали шоссе.

Он снова пустился в путь. Но едва он ставил ногу на камни, они обваливались, осыпались, стремительно катились с уступа на уступ, и звук их падения терялся в гуле, который, все усиливаясь, доносился снизу.

Вокруг расплывалось вширь плотное облако, и только вдали сквозь едкую мглу смутно серебрился какой-то свет.

Вот он у берега реки, на воде играют редкие блики, он долго прислушивается к говору волн.

И тут бурный и грязный поток выносит лодку без паруса, а в ней стоит старик, на плече у него весло, точно занесенное для удара.

Торчащая борода старика отливает лиловым, вместо глаз у него две впадины, как две горелки, из них вырывается шипящее пламя и слепит так, что на лице старика ничего больше не видно.

Лодка сделана из металла — это громадный кусок ржавого железа, но края у нее светлые, как рельсы, и острые, как лезвие косы.

Лодка причаливает к берегу, почти не качаясь на волнах, весло упирается в темный песок; и тут странно ласковый голос произносит:

«Чего ты ждешь? Ты слышишь меня? Кто ты такой? Я явился сюда, чтобы переправить тебя на другой берег. Я прекрасно вижу, что ты мертв, не бойся же опрокинуть лодку, она не осядет под твоей тяжестью».

Нет, он не решается опереться на протянутую руку, но видит, как из-под каждого ее ногтя на его собственную ладонь, освещенную резким пламенем горелок, сочится черное едкое масло, оно пристает к его коже, липнет к ней, растекается и проникает в рукав.

Он падает, грязные волны лижут его тело, перевозчик подхватывает его и, бросив на дно лодки, вновь сталкивает ее на воду, а сам, словно через металлический усилитель, вроде тех, что стоят на вокзалах, рычит ему в ухо, опаляя его огненным дыханием своих глаз:

«Мне все известно; я знаю тебя, ты хотел попасть в Рим, отступать уже поздно, я сам отвезу тебя туда».

Потом поезд миновал Порта-Маджоре, и ты въехал в Рим.

С вашим составом поравнялись другие поезда, они двигались примерно с той же скоростью, и из их открытых окон мужчины и женщины любовались красной ротондой — храмом Минервы Целительницы, потом зданием вокзала и платформами с мраморными скамьями.

Как много воды утекло с тех пор, а ведь прошло не больше недели; никогда прежде ты не ездил в Рим с таким небольшим интервалом; должно быть, все истекшие, накопившиеся за прежние годы отрезки времени как-то держались, не распадаясь, словно огромный кусок полуразрушенной кирпичной стены, но едва ты сел в поезд, она покачнулась, начала падать и будет падать до завтрашнего рассвета, и только к рассвету все примет новый облик и хоть немного упрочится.

А тогда все еще было впереди, перед тобой еще открывалось будущее вдвоем с Сесиль, открывалась возможность прожить с нею вторую, а по существу первую, настоящую молодость, которой ты еще не знал. В здание вокзала Термини с левой стороны проникали лучи солнца. Ах, как хороши были эти несколько дней!

Над головой Аньес, убаюканной шумом нырнувшего в туннель поезда, качаются парусники. В зеркале, чуть повыше уха Пьера, подрагивают башни Каркассона.

Сесиль возвратилась в купе третьего класса и села на то самое место, которое сейчас занимаешь ты,— возле двери по ходу поезда. Интересно, какая картинка висела тогда над головой сидевшего напротив нее пассажира, чей облик совершенно стерся в твоей памяти?

Ты стоял в коридоре, облокотившись на медную перекладину, а мимо проплывала высокая каменная стена с надписью: «В этом городе (ты только что проехал этот городок, снова видел стену и надпись на ней, но название городка, хотя ты знаешь названия самых маленьких станций по этой дороге, так и не запомнилось тебе) в таком-то году (само собой, в начале девятнадцатого века, в тысяча восемьсот — а дальше?)

Нисефор Ньепс изобрел фотографию»; ты просунул голову в дверь, чтобы обратить на эту надпись внимание Сесиль, вновь углубившейся в книгу,— ее заглавия ты так и не узнал,— и тебе вспомнились виды Парижа, которые висят в ее комнате в Риме: Триумфальная арка, Обелиск, башни собора Парижской богоматери и лестница Эйфелевой башни — четыре снимка на двух стенах по обе стороны окна, вроде тех, что украшают твое теперешнее купе, это временное пристанище, комнату на колесах, где сегодня вечером тебе не удастся прилечь.

Над Юрой, как и сегодня, шел дождь, стекло покрывалось все более крупными каплями, они медленно, толчками, словно им не хватало дыхания, стекали по извилистым диагоналям, а в туннелях за отражением твоего лица на стекле, сквозным и призрачным, мелькала мчавшаяся с бешеной скоростью скала.

Ты твердил себе: «Не надо вспоминать эту злосчастную поездку, забудь эти злополучные дни; в Париже была вовсе не она, вы никогда и не вспомните об этом эпизоде; я еду в Рим, в Риме я увижу Сесиль, я знаю, что она ждет меня там, мы вовсе не ездили вместе в Париж, и то, что она сейчас здесь, за моей спиной, и читает книгу, купленную перед отъездом на Лионском вокзале, просто случайное совпадение».

Над Альпами шел дождь, ты знал, что на невидимых вершинах он превращается в снег; когда поезд остановился в Модане, все заволокла мглистая белизна.

Ты сидел напротив Сесиль — должно быть, кто-то сошел в Шамбери или на одной из маленьких станций в долине,— она только изредка отрывалась от книги и, бросив взгляд в окно, говорила: «Ну и погода!»

Снежные хлопья липли к окну. Полицейские чиновники спросили у вас паспорта. Она захлопнула книгу,— ты не читал ее и даже не спросил, как она называется, а в ней, наверное, говорилось о человеке, который хотел попасть в Рим и плыл в лодке под моросящим дождем из смолы; капли мало-помалу становились белыми как снег, и шуршали, словно клочки разорванных страниц, а он плыл в металлической лодке, где не мог даже прилечь, и виском прижимался к борту, прохладному и гладкому, точно стекло, и вдруг на него повеяло дымом, и он снова заметил во тьме красный свет пламени, а качка постепенно ослабевала, песок заскрежетал под металлическим корпусом лодки, на мглистом берегу ее борта разошлись, как две ладони, и путник остался один, потому что перевозчик растворился в ночи; должно быть, вернулся, чтобы встретить другую тень.

Он по-прежнему сжимал в руках две лепешки, на которых отпечатались черные масляные следы пальцев и виднелись капли крови,— пока они плыли, он порезался во сне о края лодки.

Он глядел, как три-четыре крупные капли стекали вниз медленными зигзагами, точно пытались воспроизвести трудный маршрут в гористой и пустынной местности.

А вокруг все рокотали черные волны и лизали лиловый песок; и вдруг там, откуда брезжил свет, раздался громкий шелест крыльев, и по всему пространству закружилось воронье,— иные птицы пролетали над самой его головой и уносились вдоль реки, если это была река, а не озеро или даже болото, потому что запах тростника, тины и водорослей все сильнее примешивался к запаху костра, как видно сложенного из торфа, и ему пора было, наконец, двинуться в ту сторону — не лежать же так без конца одному в этой разломанной лодке из тонкого металла, хрупкого и опасного, она лопнула, точно стручок, и на нее набегают легкие пузырчатые волны, они крутят песок и гальку и уже добираются до его ног и спины.

Вороны принимают его за мертвеца, но, может быть, это и не вороны, при таком освещении любая птица кажется черной, а эти ни разу не

каркнули; две птицы уселись ему на плечи, а одна на голову, вцепившись в волосы.

Медленно-медленно отрывает он от земли сначала шею, потом верхнюю часть туловища, потом, опершись на истерзанные руки, приподнимается и, пошатываясь, встает на колени; и вот он выпрямляется, весь дрожа, а на нем застыли три ворона, они не выпускают его, все глубже впиваясь в него когтями, а две другие птицы вырывают у него из рук две маленькие, круглые, испачканные маслом и кровью лепешки.

А с неба все сыплются клочки бумаги, напоминающие не то лепестки, не то сухие листья, они ложатся на воду, покрывают почти всю ее поверхность, придавая ей сходство с холстом, на котором лупится краска, прилипают к лохмотьям его одежды, к лицу и к глазам, которые постепенно начинают различать, что это не просто берег, а порт, и справа виден мол, а чуть подальше набережная, ступени, причальные кольца, и что свет, который он видит,— это свет маяка.

Он поднимается по ступеням, идет, подталкиваемый невидимой силой; шум волн становится глуше; по временам до него долетает гул, похожий на мощный вздох; он чувствует, что бредет вдоль кирпичной стены, что перед ним Порта-Маджоре, только тут нет троллейбусов, железнодорожных путей, рабочих, толпы, и в рассеянном свете не видно никакого движения, а перед воротами в караульном кресле сидит кто-то, превосходящий ростом обыкновенного человека, и не с одним, а с двумя лицами, и то, которое обращено к несчастному страдальцу, скривившись в насмешливом хохоте, кричит ему:

«Ты никогда не вернешься!» —

а другое, обращенное к воротам, к городу, в ту сторону, куда глядит он сам, то лицо, которое он не видит, оно тоже кричит — только протяжнее, глуше, оно не может облечь свой стон в слова, и стон походит на завывание, и птицы вьются над двуликой головой под дождем из обрывков разорванных страниц.

Потом все умолкает, и слышится только смутное, шумное и влажное дыхание стены.

Полицейские чиновники — их форменная одежда и волосы были залеплены снегом — наскоро проверили ваши паспорта и ушли, задвинув за собою дверь.

В душном, битком набитом купе, среди пассажиров, чьи лица ты уже забыл, а вернее, просто не запомнил,— французов и итальянцев, которые наверняка о чем-то разговаривали, но ты не слышал (их разговоры были просто гулом, таким же, как гул поезда, который вновь тронулся и нырнул в туннель),— ты видел только Сесиль, сидевшую напротив, она вновь углубилась в книгу, не обращая на тебя внимания, и, казалось, не сознавала, что ты ее потерял и медленно, с трудом стараешься вновь обрести, приблизиться к ней, преодолеть пропасть, вырытую между вами пребыванием в Париже, о котором лучше не думать.

Она и пыталась не думать о нем, вернее, не думать о тебе, каким ты предстал перед ней в Париже, потому что, если бы ей удалось вынести тебя за скобки этих нескольких минувших дней, сделать вид, будто тебя в Париже не было, если бы ей удалось не вспоминать о том, как вы приехали туда, о ваших свиданиях, об ее визитах на площадь Пантеона, номер пятнадцать, ей стало бы казаться, что поездка, о которой она так мечтала, удалась и что ей было отрадно вновь увидеть свой родной город, хотя ты и тут ничем не помог ей, как не мог помочь Анриетте в Риме, когда вы вдвоем приехали туда во второй раз, после войны.

Глаза Сесиль рассеянно пробегали последние строки книги; ты чувствовал, что в ее мозгу совершается сложная работа; ты ловил смену выражений на ее лице, а она не обращала на тебя внимания и словно не замечала твоего присутствия, ведь для того, чтобы по-своему пере-

кроить воспоминания о двух минувших неделях, ей надо было отделить тебя от них, надо было притвориться, будто она совершила эту поездку одна, а стало быть, встретила тебя в поезде случайно и вовсе не обедала с тобой недавно в вагоне-ресторане; улыбаясь самой себе, она воображала, будто тебя здесь нет, будто она думает о тебе, мечтает о встрече с тобой в Риме и вдруг видит, что ты уже здесь, и она удивлена и счастлива, потому что это словно бы сам Рим вышел ей навстречу.

Вот что ты читал на ее лице, вот какой безмолвный монолог расшифровывал ты за ширмой книги.

Сидя с закрытой книгой в руках на том самом месте, где сейчас сидишь ты, и повернув голову к окну, она воображала, будто тебя здесь нет и она любуется сумрачным пейзажем Пьемонта, которым ты, бывалый путешественник, любовался столько раз, воображала, будто мечтает о том, как ты сидишь напротив нее и смотришь в окно одновременно с ней, ибо ты сел в тот же поезд, что и она, хотя ни ты, ни она не подозреваете об этом,— воображала, как прекрасно было бы неожиданно встретить тебя здесь, воображала, будто страстно желает тебя увидеть, и вдруг ты и впрямь появляешься в проходе, замечаешь ее, открываешь дверь и, устроившись напротив нее в той позе, в какой ты сидел на самом деле, искоса глядишь на нее, и выражение лица у тебя озабоченное, разумеется, из-за «Скабелли» и этой самой Анриетты, которую она никогда в жизни не видела.

Теперь она глядела на тебя радостно, так как воспоминание о Париже, где ты играл такую жалкую роль, мало-помалу вытеснилось картиной, нарисованной всесильным воображением, но она понимала, как это зыбко, понимала, что об этом нельзя заговаривать, а чтобы за ужином не было тягостного молчания, надо говорить о Риме, куда вы оба едете, хотя каждому из вас было бы приятнее, чтобы другой его там ждал, а еще лучше выехал бы вперед, добрался бы до самого Турина, радушно встретил бы приезжего и сообщил ему последние новости.

Как боялся каждый из вас, что другой совершит промах, что из-за какого-нибудь неосторожного слова разойдутся края раны, которая еще только начала зарубцовываться! Молча вернулись вы в купе третьего класса, в нем тем временем освободились места, и ты смог сесть рядом с Сесиль, обвив рукой ее талию, а она проговорила: «Я устала», но только в Генуе, наконец, погасили свет.

В синеватом свете ночника она уснула на твоем плече, а ты ласкал ее, легонько касаясь губами ее черных волос, и они постепенно рассыпáлись, нарушая строгий порядок, к которому их принуждали шпильки, и скользили по твоей щеке, щекоча твои губы, ноздри и глаза.

В зеркале над плечом Пьера покачиваются черные башни. А в зеркале окна, прочерчивая отражение купе, скользят огоньки деревень, фары машин, освещенная комната в доме стрелочника, а в ней девочка, мелькнувшая на мгновение, как раз когда она снимала свою школьную форму перед зеркальным шкафом. И еще одно, самое зыбкое отражение — в очках старика итальянца, который сидит напротив и который уже заснул, в этих стеклах, оправленных в металл, отражается висящий над твоей головой снимок, а на нем — ты это помнишь — Триумфальная арка и вокруг нее старомодные такси.

У тебя тогда еще не было ни служебного положения, ни денег, ни привычек, с которыми ты хотел бы расстаться, отправившись в эту поездку; ты еще не жил в квартире на площади Пантеона, номер пятнадцать, откуда ты хотел бы бежать, чтобы поселиться на другой улице вместе с Сесиль, но откуда ты теперь не уйдешь, где ты обречен оставаться до самой смерти, потому что Сесиль к тебе не приедет, потому

что ты не вызовешь ее в Париж, как ты твердо намеревался еще сегодня утром, уезжая с Лионского вокзала, как ты твердо намеревался вплоть до... был уверен, что твердо намереваешься вплоть до... ты не вызовешь ее в Париж, потому что ты слишком хорошо понял: какие бы усилия ты ни прилагал, чтобы обмануть ее, обмануть себя, в конце концов это приведет лишь к тому, что ты медленно, но неотвратимо отдалишься от нее, медленно, но самым тягостным и оскорбительным для вас обоих образом, и если ты ее бросишь (а ты ее бросишь очень скоро, несмотря на твою искреннюю любовь), место, которое ты подготовил для нее в Париже, окажется чистейшей фикцией, она не сможет сохранить его без твоего покровительства, а ты ей покровительствовать не станешь, потому что больше не захочешь с ней встречаться;

словом, ты еще не жил тогда в квартире, в которой обречен оставаться до конца твоих дней, потому что второй Сесиль уже не будет, потому что уже поздно, потому что это был твой последний шанс вернуть молодость, и ты — тут тебе нужно отдать справедливость — сделал все, чтобы не упустить его, но он уплыл у тебя из рук, и ты понял, что на самом деле он был иллюзорен и мог померещиться тебе лишь из-за твоей забывчивости, из-за трусости твоего ума;

у тебя еще не было мебели, которой обставлена теперь твоя гостиная,— в ту пору она еще стояла не то у твоих родителей, не то у родителей Анриетты, а может быть, ты ее просто еще не купил;

у тебя еще не было детей — Мадлены, Анри, Тома и Жаклины, потому что ты только-только женился, и это было ваше свадебное путешествие, и ты вообще впервые ехал в Рим, о котором мечтал еще со школьной скамьи, с тех пор, как начал ходить в музеи;

стояли чудесные весенние дни, в пригородах Парижа цвели фруктовые деревья, и аромат их вливался в открытое окно, рядом с тобой сидела Анриетта, счастливая, в новом платье по моде того времени, она восхищалась каждым холмиком, а в руках у нее был синий путеводитель по Италии в том старом издании, которое до сих пор хранится на одной из полок твоей небольшой библиотеки у окна с видом на купол, освещенный по субботам прожекторами, а ты зубрил фразы из итальянской грамматики;

и лес Фонтенбло был весь в молодых побегах (и не она ли рассказала тебе тогда, как в детстве гуляла в этом лесу с сестрами и как с наступлением сумерек они дрожали от страха, что им встретится Великий Ловчий, который окликнет их и унесет с собой?);

и ливень опережал ваш поезд, поэтому за окном ослепительно сверкали крыши, тротуары и сочные горные луга.

На границе, когда солнце уже садилось и над сумраком возносились лишь освещенные вершины гор, полицейские чиновники спросили у вас паспорта.

А потом стало слышно только смутное, шумное и влажное дыхание стены. И тогда на старческом лице чиновника-итальянца появилась сострадательная улыбка, и он прошептал:

«Где ты? Что ты делаешь? Чего ты хочешь?»

«Я пришел сюда, преодолев множество опасностей и заблуждений, потому лишь, что ищу книгу, которую потерял, а я не знал даже, что владею этой книгой, не пытался даже прочесть ее название, хотя это была единственная неподдельная ценность, которую я захватил с собой, пустившись в это странствие. Мне сказали, что в вашем городе, у дверей которого вы неумолимо стоите на страже, я могу найти эту книгу».

«А ты и в самом деле так хорошо знаешь итальянский, что сумеешь ее прочесть — ведь если здесь и найдутся книги, сохранившиеся настолько, что их можно дать в руки, они будут на итальянском языке.

Ну что ж, входи, двери открыты, взгляд тех моих глаз, что смотрят

в сторону города, проследит за первыми твоими шагами; выбора у тебя нет: я могу только вновь закрыть этот вход, заверить тебя, что он закрыт, и предложить тебе поводыря — волчицу, ее масть не отличишь от цвета земли и земных испарений, и твои затуманенные глаза лишь изредка, когда она окажется в двух шагах от тебя, будут видеть шерсть и когти волчицы, а все остальное время тебе придется ловить ухом ее храп и скрежет ее когтей».

Луна поднималась из-за окрашенных в пурпур и золото гор, и на фоне этой огромной пламенеющей декорации лица полицейских чиновников мало-помалу приобрели лиловый оттенок, и черты их были так же вульгарны, как и у нынешних, но при этом они были еще более высокомерны и жестоки.

Когда поезд снова тронулся с места и нырнул в туннель, свет еще не зажгли, не зажгли даже ночника; несколько мгновений стояла полная тьма, а потом показалось изумрудно-зеленое отверстие — прогалина вечернего неба над обширными, темными и суровыми долинами Пьемонта.

То была полицейская Италия, отравленная мечтой об империи, все вокзалы были забиты мундирами, но это зловещее, вооруженное до зубов тупоумие не помешало тебе почувствовать аромат весны, ты вдохнул его впервые в жизни, прежде ты его не знал, это был настоящий весенний аромат, о котором французская весна давала лишь смутное представление, и ты сказал Анриетте, которая призналась, что ей не по себе, ты сказал ей: «Их нет»,— и она попыталась в это поверить, хотя и безуспешно.

Ночью поезд шел берегом моря, в его спокойных водах блестела луна, а она сидела рядом с тобой, как Аньес рядом с Пьером, ты обнимал ее за талию, она опустила голову на твое плечо, положила руки тебе на колени, иногда прядь волос, развеянных порывом ветра, щекотала твои веки, и ты отстранял их, точно безобидную мошкару; было жарко, ты снял пиджак и сквозь рубашку чувствовал трепет ее ноздрей и ее дыхание.

Ты все глубже забиваешься в угол и все тяжелее опираешься уже не о спинку скамьи, а о стеклянную перегородку, так что снимок Триумфальной арки среди старомодных такси находится теперь прямо перед тобой. В стекле напротив, где вырисовывается профиль старухи итальянки, отражение твоего купе вдруг смял, раздробил, перерезал другой поезд,— почти все окна его освещены, но их невозможно сосчитать, в них ничего не разглядишь из-за удвоенной скорости, он проносится мимо с грохотом, тем более оглушительным, что состав вошел в туннель; но вот кончились и встречный поезд, и туннель, из-за ширмы гор выглянула луна и на несколько мгновений повисла чуть пониже отражения плафона.

Огни множатся, вот и улицы со светящимися вывесками и оживленными кафе. Ты смотришь на часы,— так и есть, вы подъезжаете к Генуе, еще один длинный туннель и — Главный вокзал.

Проходит, покачиваясь, трамвай, почти пустой. Двое рабочих возвращаются за своими рюкзаками. Сивилла пересаживается в угол к окну. Аньес смотрит на проплывающие за окном шероховатые стены.

А вот и самый город, справа порт, пароходы, сверкающие всеми иллюминаторами, знаменитый маяк, платформы, другие поезда, ожидающие пассажиры с багажом, вверху на скале громоздятся многоэтажные дома; остановка, Аньес встает и опускает стекло.

Все вокруг застыло в неподвижности, а ты вертишь в руках книгу, которую не стал читать, но которая властно навязывает твоему вообра-

жению другую книгу — хорошо, если бы она стала для тебя тем синим путеводителем заблудших, на поиски которого мчится, плывет, пробирается герой книги, очерченный пока еще эскизно на фоне набросанного вчерне пейзажа, он не знает, что отвечать пограничнику Янусу, двойной лик которого короной венчает воронье, черные перья птиц обведены кромкой пламени, и пламя ширится, вот оно охватило их крылья и туловища, а потом — клювы и когти, похожие на добела раскаленный металл, и в этом полыхающем огне чернеют только холодные жемчужины глаз;

он слышит свист, пытается что-нибудь разглядеть, но вокруг расплывается вширь плотное облако, и только вдали, сквозь большую, пока еще различимую арку смутно серебрится свет, похожий на отблеск зари;

в густом тумане, который начинает рассеиваться, он видит хвост и лапы, а потом как будто бы уши лисы или волка — нет, волчицы;

снова пускается в путь, проходит через Порта-Маджоре, за которой начинается не улица, а расселина между скалами, углубляется в извилистую теснину, куда только сверху просачивается неяркий свет, слышит в потемках легкие шаги волчицы, в последний раз оглядывается назад и сквозь мглу, которая сгустилась в ленивую металлическую изморось и образовала сплошную завесу, видит глаза и губы пограничника, очерченные тонкими штрихами пламени;

потеряв след волчицы, ускоряет шаги; в серебристом свете, проникающем из круглого отверстия сверху, ощупывает уже не скалистые, а земляные склоны, из которых сочится вода, и ее журчание мешает ему расслышать храп зверя-проводника, но вот — развилка, голоса, шаги, мелькают факелы, люди в белых одеждах с песнопениями несут тела усопших, а на все это сверху, из другого отверстия падает конус света, чуть более тусклого, чем прежде (должно быть, день клонится к закату);

все явственней слышит храп, похожий на фырканье лошади, похожий на ржанье лошади;

бежит бегом по совершенно прямой, идущей вверх галерее, в дальнем конце которой — отверстие, совершенно зеленое в вечернем свете, и в нем волчица с туловищем лошади, а на ней всадник, на сжатых кулаках его сидят вороны, распростершие крылья и похожие на соколов; они взмывают и кружат в орлином полете между высокими домами с аркадами, и в окнах домов зажигаются огоньки;

выходит на небольшую площадь, где под деревьями стоят столы, а на них графины с вином; к нему подходят двое, потом трое мужчин (это итальянцы, думает он, мои знакомые итальянцы);

протирает глаза, так что с них окончательно спадает бумажная пелена, вслушивается в слова, обращенные к нему, но не понимает их смысла,—

а вокруг все застыло в неподвижности, и ты вертишь в руках непрочитанную книгу.

Кто-то говорит тебе: «Scusi, signore»[1]; это вошла молодая женщина, очень высокая, с очень яркими губами, в бежевом шерстяном пальто; она ищет, куда бы поставить лиловый чемоданчик, — неужели она тоже вынет из него книгу?

Свою книгу ты кладешь на сиденье и, недоумевая, почему поезд так долго не отправляется, встаешь и идешь посмотреть, который час показывают часы на платформе.

VIII

И вот ты снова в купе и снова полон смятения, оно все накапливается, все нарастает с тех пор, как поезд отошел от перрона парижского

[1] Извините, синьор *(итал.)*.

вокзала, а тело сводит судорога усталости,— боль в теле становится все мучительнее, все грубее вторгается в течение твоих мыслей, затуманивает твой взгляд, когда ты пытаешься сосредоточить его на каком-нибудь предмете или лице, и внезапно направляет твое внимание к тому пласту воспоминаний или замыслов, который ты как раз не хотел бы ворошить, там все кипит, все клокочет, все ходит ходуном — это в тебе, помимо твоей воли, неотвратимо назревает и совершается переоценка собственного «я» и всей твоей жизни, но ты понимаешь, что видишь лишь ничтожно мало в этой смутной метаморфозе, ее истинный смысл по сути дела остается для тебя загадкой, а тебе было бы так важно пролить на него свет, ты готов предаться самым мучительным раздумьям, проявить самое настойчивое терпение, лишь бы хоть отчасти рассеять мрак, хоть отчасти подчинить своей воле ту неотвратимую предопределенность, которая нынче ночью вовлекла тебя в свой водоворот, ту напряженную внутреннюю работу, которая происходит в тебе и малопомалу разрушает твою личность, меняет освещение и перспективу, заставляет пересмотреть многие события и их значение; она вызвана твоей усталостью и новизной обстановки, вызвана решением, которое ты считал сознательным и добровольным, ролью, которая отведена тебе в системе человеческих поступков, и проявляется она в чувстве все той же усталости (усталость и есть отзвук этой работы, ее одышка), и тебя бросает в жар, а пота почти нет, хотя белье прилипает к телу, и голова кружится, и нервы напряжены, а в желудке спазмы, и тебе дурно, тобой овладевает внезапная слабость, и колени подгибаются, вот почему ты ухватился за дверной косяк, веки и голова налиты свинцовой тяжестью, вот почему ты не сел, а в буквальном смысле слова рухнул на сиденье (ты даже не позаботился о том, чтобы убрать книгу, и теперь с трудом извлекаешь ее из-под своих ягодиц), привалился к стене, вытянув ноги между ногами сидящего напротив старика итальянца, единственного, пожалуй, кто не спит (впрочем, за круглыми стеклами его очков, поблескивающих в синеватом сумраке, ничего не увидишь), уперся в воротничок подбородком и поглаживаешь его, ощупывая щетину, отросшую с утра;

и тебя томит жажда, и ты мечтаешь о глотке светлого вина,— во мраке ночи, прошитом гирляндами электрических лампочек, оно искрится в графинах с девичьей талией на железных столиках, выкрашенных красной краской, а вокруг вьется рой мошкары и сгрудилась толпа, которая становится все многолюдней, и собравшиеся что-то говорят тебе, и ты, возможно, понял бы их, если бы прекратился этот общий гомон и хоть кто-то отделился бы от толпы и произнес что-то внятное;

и ты говоришь вслух: «Я хочу пить», но никто не слышит; тогда ты повторяешь те же слова громче, и сразу воцаряется молчание, оно волнами растекается до самых границ площади, до окон высоких домов, откуда на тебя уставилось множество глаз, а ты повторяешь свою фразу снова и снова, но люди на площади тебя не понимают, они о чем-то толкуют, о чем-то спрашивают друг друга с нарастающим беспокойством и недоверием;

и ты указываешь пальцем на один из графинов с таким видом, что наконец кто-то из толпы, под пристальным взглядом окружающих, неуверенной рукой наполняет стакан до половины, расплескивая вино на свои пальцы и на рукава рубашки в синюю и лиловую клетку, потом подносит стакан к лампочке, чтобы ты рассмотрел его на свет, и, повертев во все стороны, протягивает его тебе;

и ты, преодолевая мучительную дрожь, с трудом подносишь стакан к губам и, наконец, отпиваешь глоток, но край стакана вдруг обламывается у тебя во рту, и ты с ужасом выплевываешь острые осколки и жгучее вино, которое опалило тебе глотку и горло такой мучительной

болью, что ты со стоном швыряешь стакан об стену, разбивая при этом оконное стекло, и по кирпичам и по штукатурке расползается, разъедая их, огромное пятно;

а ты трешь рукой свой шершавый, потный и грязный подбородок и, открыв глаза, рассматриваешь свои пальцы в синеватом свете ночника.

Кто потушил свет? Кто попросил потушить свет, пока ты бегал по коридорам в поисках вагона-ресторана, хотя ты должен был бы знать, что его отцепили в Генуе, и в поисках сигарет, которые помогли бы тебе прогнать сон и защититься от бессмысленных видений,— они только усугубляют твое смятение и растерянность, а тебе необходимо взглянуть в глаза правде, спокойно и непредвзято, как бы со стороны;

ведь если ты понял, что на самом деле любишь Сесиль лишь постольку, поскольку она воплощает для тебя образ Рима, его голос, его зов, что ты не любишь ее без Рима и вне Рима, что ты любишь ее только благодаря Риму, потому что она, как никто другой, была и осталась твоим проводником в этом городе, вратами Рима — так в католических литаниях деву Марию называют вратами неба,— значит, тебе надо разобраться, почему Рим полон для тебя такого обаяния, а также почему это обаяние столь неустойчиво, что Сесиль не может сознательно и намеренно стать полномочной посланницей Рима в Париже, и как это вышло, что Анриетта, несмотря на все, что̀ для нее, католички, естественно олицетворяет собой этот Город городов, видит в твоей приверженности к нему как бы сгусток того, в чем она тебя упрекает;

но если твоя любовь к Сесиль предстала перед тобой в новом свете, в новом виде, в новом обличье, значит, тебе надо хладнокровно и не торопясь уяснить, каков подлинный вес и истинный смысл мифа, каким является для тебя Рим, что̀ сопряжено с тем обличьем, в каком предстает перед тобой эта громада, надо обозреть ее со всех сторон, в историческом ракурсе, чтобы лучше понять, что̀ ее связывает с твоими собственными поступками и решениями, а также с поступками и решениями тех, кто тебя окружает и чьи взгляды, повадки, слова и недомолвки определяют твое поведение и чувства,— только бы тебе удалось побороть дремоту и кошмары, которые осаждают тебя в синеватом свете ночника, отдающем тебя во власть усталости и порожденного ею бреда.

Кто попросил потушить свет? Кому понадобился этот ночник? Прежний свет был слепящий и резкий, но по крайней мере он освещал предметы так, что они казались прочными, тебе мнилось, что на них можно опереться, за них можно ухватиться, и ты пытался воздвигнуть из них преграду против коррозии, против разъедающего унизительного сомнения, которое, точно зараза, расползается все шире, против самокопания, которое все сильнее расшатывает части того каркаса, той металлической брони, хрупкость и непрочность которой явилась для тебя неожиданностью;

а этот синеватый свет как бы взвешен в воздухе и создает ощущение, будто надо пробиться сквозь него, чтобы что-нибудь увидеть, этот синеватый свет да еще непрерывное покачивание и грохот, за которыми угадывается чужое дыхание, ввергают мир в первозданную зыбкость, когда восприятие теряет свою четкость, предметы узнаются по отдельным признакам, и кажется, будто не только ты их рассматриваешь, но и они тебя рассматривают;

а тебя самого ввергают в то бесстрастное отчаяние, толкают к тем изначальным чувствованиям, когда ложные представления рушатся и над их развалинами мощно и властно утверждается влечение к тому, что истинно в своем существовании.

Ты разглядываешь назойливую синеватую лампочку, похожую на крупную жемчужину,— ее, пожалуй, не назовешь яркой, но ее густой, бормочущий цвет рождает мягкие отголоски на руках и на лицах спя-

щих,— и под куполом плафона, где она скрыта, видишь два хрупких прозрачных шара, а внутри них угадываешь остывшие волоски, еще недавно ослепительно-лучистые, как в лампах коридора, за окнами которого время от времени — правда, все реже и реже — мелькают улицы какого-нибудь приморского поселка, где еще не совсем замерла вечерняя жизнь.

В понедельник вечером Сесиль, выйдя из дворца Фарнезе, поищет тебя глазами и увидит возле одного из продолговатых фонтанов, где ты будешь ждать ее со страхом, потому что вот тут, за ужином в ресторане «Тре Скалини», тебе и придется сказать ей правду, начать мучительное выяснение отношений, ибо ты понимаешь сам: больше молчать нельзя — нельзя допустить, чтобы она по-прежнему думала, будто тебе еще предстоит принять решение, воображала, что ты все еще ищешь и вот-вот найдешь для нее работу в Париже, а на самом деле ты больше искать не станешь, на самом деле ты уже нашел.

Нельзя не сказать ей именно в эту минуту — в ту самую минуту, когда ты вот-вот расстанешься с ней после безраздельно посвященного ей пребывания в Риме, после нескольких дней, когда она так упивалась неожиданной радостью, которую ты ей доставил, которую доставишь ей через несколько часов, когда она уже поверила, что наконец одержала верх,— нельзя не сказать ей, что вначале ты собирался порадовать ее еще одной новостью: ты наконец нашел для нее подходящую работу, она скоро переселится в Париж, она может взять расчет в посольстве, начать готовиться к отъезду и прощаться с Римом, перебирая в памяти все то, что вы оба успели о нем узнать;

нельзя не сказать ей, что ты предпринял шаги, чтобы найти вам квартиру, что у тебя на примете было несколько вариантов, что все было подготовлено, улажено и ты от всего отказался;

нельзя не сделать попытки объяснить ей, по каким причинам произошло это изменение, чтобы она поняла, что ее надежды тщетны,—

нельзя промолчать, потому что в твоей поездке, предпринятой ради нее одной, она непременно увидит некое обещание и торжественную клятву, и в силу этого твое молчание станет чудовищной ложью, и эта ложь отравит отношения, которые ты хотел бы сохранить с нею, и твои отношения с Римом, замутит и осквернит твою духовную связь с этим городом, которую ты стремишься облагородить.

А стало быть, придется в этот последний вечер — ведь ты хочешь тянуть до последнего вечера, чтобы хоть несколько дней вы могли насладиться вдвоем видимостью счастья, которое от вас ускользает, прожить хотя бы кусочек той жизни, которая, ей казалось, была уже не за горами, но теперь все больше отдаляется от тебя, обнаруживая свою несбыточность и иллюзорность,—

в ресторане «Тре Скалини», перед фонтаном Четырех Рек,— Сесиль будет взволнована твоим предстоящим отъездом, но все-таки бесконечно счастлива тем, что и в этот вечер ты все еще безраздельно принадлежишь ей; «Это залог,— будет все еще думать она,— более прочного обладания в других краях», придется найти в себе мужество

и нанести ей удар, причинить горе, объявить ей, попытаться ей объяснить, что все было подготовлено и все рухнуло,—

но ты не в силах объявить, растолковать ей это; даже если бы ты заранее заготовил все слова, выражение ее лица — ее удивление, непонимание — отняло бы у тебя силы.

Все обстоятельства, все твои поступки в предшествующие дни будут опровергать в ее глазах твои слова; она не поверит тебе; она увидит в этом проявление душевного благородства, жертву, принесенную

ради Анриетты, и она будет ревновать к ней и ненавидеть ее, она увидит в этом последнюю предсмертную вспышку старой привязанности, вообразит, что надо просто еще немного подождать (ведь ты сам ей только что сказал: «Все наконец подготовлено»),— и последние цепи, сковывающие твою решимость, будут разорваны.

Твое признание вселит в нее надежду и доверие к тебе, которых она до сих пор не питала, и таким образом не твое молчание, а как раз наоборот — твоя искренность обернется ложью, потому что Сесиль тебя не поймет, потому что все, что ты сделал, помешает ей тебя понять.

Они оглянутся назад и уставятся на пятно, на обломки штукатурки и кирпича, дождем посыпавшиеся на них,— а в некоторых попадут еще осколки стекла,— с удивлением и гневом отпрянут в сторону, их тарабарщина зазвучит еще более возбужденно и злобно, и в эту минуту из круга выступят полицейские, схватят тебя, но не грубо, а скорее даже с жалостью, и, видя, что ты еле жив, еле волочишь ноги, а шероховатый, жгучий песок сквозь дыры в стертых подметках обдирает тебе кожу, поддержат тебя под мышки и приподнимут твою голову, которая, однако, снова будет никнуть, и даже попытаются ободрить тебя невнятными сочувственными словами;

и поведут тебя по улицам Трастевере, а те, что, попивая «Фраскати», сидят за столиками перед очагом, рдеющим в глубине почти совсем темных сводчатых пиццерий, окинут тебя подозрительным взглядом, и камни мостовых будут дышать зноем римской ночи.

Через двери какого-то храма, между колоннами, ты увидишь лоснящегося идола, дымящийся факел и клубы фимиама, его облачко долетит и до тебя, а семья Да Понте в полном составе будет смотреть из окон дома на площади, не узнавая тебя.

Тебя приведут во двор, заставленный ружьями, крестами и шпагами, ты поднимешься по узкой витой лестнице под самую крышу Дворца правосудия на берегу Тибра и из круглых окошек увидишь освещенный купол собора святого Петра, освещенный памятник Виктору-Эммануилу, площадь Терм с вокзалом, услышишь гул, поднимающийся от Колизея, отстроенного заново,— и очутишься у маленькой черной двери.

Твое поведение в этот последний вечер тоже помешает Сесиль понять все, что ты ей скажешь,— ведь тебе не к чему будет возвращаться в отель «Квиринале» за своим чемоданом и торопиться после ужина; ты вернешься вместе с нею на улицу Монте-делла-Фарина, номер пятьдесят шесть и проведешь конец вечера в ее доме, ставшем на три дня и твоим домом; и каждый твой шаг на обратном пути — а твои шаги будут нетвердыми от душевного смятения, от желания ее разубедить, оттого, что ты уже потратил для достижения этой цели столько тщетных усилий за ужином и еще потратишь по дороге домой, оттого, что ты заранее почувствуешь усталость, которая ждет тебя в поезде,— каждый твой шаг и каждая твоя ласка, каждый звук твоего взволнованного, влюбленного голоса будет опровергать для нее твои слова.

И она еще будет подбадривать, поддерживать тебя, и, к своему стыду и отчаянию, во тьме римской ночи ты увидишь на ее лице улыбку торжества — увы, совершенно иллюзорного, которую она попытается утаить от тебя, полагая, что подыгрывает тебе и тем самым помогает.

Лежа вдвоем в ее постели, над которой висят снимки Парижа, вы будете разговаривать и ласкать друг друга; но нет, если ты хочешь, чтобы она поверила, что, найдя для нее в Париже работу и жилье, где вы могли поселиться вдвоем, пусть даже временно, ты потом от всего отказался, слишком ясно поняв, насколько хрупка твоя любовь и как неразрывно связана с Римом,— надо объясниться гораздо раньше.

Она будет слушать тебя, но не поймет и подумает: «Я и не подозревала, что он способен на такую верность, на такую честность; как я

благодарна ему, что он признался мне во всем! Я знаю его лучше, чем он сам себя знает, верю в него теперь больше, чем он сам в себя верит; мне осталось потерпеть всего несколько недель; я помогла ему стряхнуть с себя робость, которая его сковывала; я — его сила и его молодость».

Нет, чтобы понять значение твоих слов, ей нужно время, а стало быть, ты должен заговорить с ней накануне или даже за два дня до последнего вечера, то есть уже завтра, и тогда ночью, охраняя твой сон, и в понедельник, вдали от тебя, за работой во дворце Фарнезе она сможет вновь обдумать то, что ты сказал, она сможет расспросить тебя снова и снова убедиться, что твои слова надо понимать в самом прямом смысле и истолковать их как-то иначе нельзя.

А стало быть, придется испортить те два или три дня, когда ты все-таки надеялся воспользоваться свободой — той самой свободой, на завоевание которой ты пустился.

Так неужели же все твое пребывание в Риме на этот раз, увы, будет отравлено недоверием, попытками Сесиль разорвать то, что ей будет казаться последним звеном сковывающей тебя цепи, и ее ласковыми насмешками, против которых тебе будет так трудно, почти невозможно устоять?

Впрочем, даже если уже завтра ты скажешь ей всю правду (но как ее сказать?), в понедельник вечером она проводит тебя до платформы, до вагона третьего класса, на котором по-итальянски написано: «Пиза—Генуя—Турин—Модан—Париж», и, по-прежнему ничего не понимая, будет думать, что ты хочешь, чтобы она оказала на тебя давление, что ты неискренен в своем отречении, и будет цепляться за то, что покажется ей таким неоспоримым: за твою поездку в Рим по секрету от фирмы «Скабелли», за найденную для нее работу,— ты рассказал о ней во всех подробностях, потому что она выпытывала у тебя точнейшие сведения, вначале опасаясь, что ты обманываешь ее совсем в ином смысле,— и когда ты займешь книгой место в купе (хорошо бы такое, на каком ты сидишь теперь) и выйдешь из вагона, чтобы побыть с нею и поцеловать ее, она, без сомнения, и на этот раз спросит, как обычно:

— Так когда же ты вернешься? —

в надежде, что волнение и вокзальная суета заставят тебя, наконец, сбросить эту новую маску,— ведь она будет думать, что ты надел эту маску просто для того, чтобы испытать ее, Сесиль, а главное, разыгрываешь комедию перед самим собой, чтобы хоть как-то разрядить внутреннее напряжение,—

в надежде, что в следующий раз ты вернешься окончательно, еще тщательнее продумав свой прекрасный план, и только будет сожалеть, что эти несколько дней ей пришлось так мучительно бороться и что они еще не стали кусочком той счастливой жизни, которая уже не за горами,—

так неужели ты и впрямь решишься, неужели найдешь слова, а если найдешь, неужели у тебя и впрямь хватит мужества за несколько минут до отъезда, когда предстоит такой трудный, такой долгий, такой одинокий путь, неужели у тебя хватит сил открыть ей глаза?

Нет, это тебе не под силу, а стало быть, если ты не хочешь, чтобы она обманулась и увидела в твоем приезде в Рим и вообще в тех замыслах и поступках, которые привели тебя в Рим,— а тебе придется подробно ей о них рассказать — решающий сдвиг, да еще в направлении, прямо противоположном тому, какое теперь выявилось на самом деле, тебе остается одно: сделать так, чтобы она узнала о твоей поездке позже, гораздо позже, может быть, через третьих лиц, может быть, из намеков, тогда, когда ее вера в тебя, которая теперь была бы просто обманута, понемногу угаснет или преобразится.

Стало быть, на этот раз ты должен отказаться от свидания с Сесиль; ты ей не сообщил о своем приезде, и она тебя не ждет.

Стало быть, Сесиль не должна знать, что ты приезжал, что ты нашел для нее работу, нашел место, потому что для нее это все равно, как если бы ты ничего не нашел, как если бы ты и не искал,— для нее, но не для тебя,— потому что отныне ты его искать не будешь, отныне ты знаешь, что ничего не найдешь.

Да, тебе остается одно — перед тобой блеснул наконец свет, точно ты выбрался из туннеля: не увидеться с ней, ничего ей не сказать, встретиться с ней только в следующий раз, когда ты поедешь в Рим по делам за счет фирмы «Скабелли», как и было условлено; хранить тайну, запекшуюся на языке, и при этом, конечно, продолжать с нею встречаться, по-прежнему ее любить, хотя между вами возникнет и с каждым разом будет все мучительней углубляться трещина, она не сможет зарасти именно из-за этой твоей поездки, которая идет сейчас своим чередом,— хранить тайну, пока не настанет день, когда Сесиль уже достаточно отдалится от тебя, когда ее иллюзии развеются настолько, что ты сможешь рассказать ей все, не боясь, что она ложно истолкует твои слова;

тебе остается одно: не увидеть из окна купе или коридора, когда ты опустишь стекло, как она бежит и делает тебе знаки, выбиваясь из сил;

не увидеть в последний раз вдалеке на ее лице, уменьшенном расстоянием,— ты угадываешь, что она запыхалась, раскраснелась от бега и волнения и, возможно, даже плачет,— ту новую улыбку, выражение упрямого, непоколебимого доверия, гнетущей благодарности, которые уже не в твоей власти поколебать; для этого должно произойти множество постепенных, жалких, глупых и неизбежных душевных крушений, которые не позволят тебе отступиться от рискованной затеи, приведшей тебя сегодня утром на Лионский вокзал и уже заведомо обреченной.

Стало быть, тебе придется в одиночестве приехать на вокзал Термини, думая о Сесиль тем более неотступно, что в минувшие дни ты делал все от тебя зависящее, чтобы не встретиться с нею,

и глядеть на убегающую вдаль многолюдную ночную платформу, где ты не увидишь ни одного знакомого лица.

Перед твоими глазами промелькнут пригородные станции: Рим-Тусколана, Рим-Остьенсе, Рим-Трастевере. Потом кто-нибудь попросит, чтобы погасили свет.

Ты приподнимаешь голову, вертишь ею, чтобы шейные позвонки встали на место, открываешь глаза и, скользнув взглядом вверх, по лицу старика итальянца, по его разинутому рту, торчащим усам, ноздрям, по ободку его выпуклых очков, смотришь на прямоугольник стекла, под которым должен быть горный пейзаж, но он сейчас не виден из-за желтых бликов, падающих из коридора; сбоку, в зеркале, то появляется, то исчезает плывущая где-то за окном — на нем забыли опустить штору — полная луна.

За окном над крышами и газгольдерами пригорода плыл молодой месяц.

Ты вышел в коридор вагона первого класса, набив карманы сигаретами, а за твоей спиной проходили те, кто ужинал в первую смену.

В купе кроме тебя был только один пассажир, толстяк твоих лет, куривший маленькие, сухие, почти черные сигары, а над ним в багажной сетке лежали два огромных красных чемодана.

Почти вся листва уже опала, и за окном сквозь ветви деревьев было видно, как покачивается молодой месяц, похожий на вертикально стоящую лодочку.

Опустив левую руку на широкий подлокотник, откинувшись затыл-

ком на белый, новенький ажурный чехол, ты приложил другую руку к стеклу, пытаясь разглядеть в темноте вокзал Лом-Алезиа и депо старых паровозов, а по коридору возвращались те, кто уже закончил свой ужин.

Над тобой в багажной сетке лежал не только твой зеленый чемодан, который лежит в ней и сейчас, но еще и светлый кожаный портфель, доверху набитый бумагами и документами; в руках ты держал оранжевую папку с материалами реймского отделения.

За окном мягко поблескивали воды Соны. Толстяк попросил у тебя разрешения потушить свет, потом опустил штору, а ты вышел в коридор и стал курить одну сигарету за другой, разглядывая почти безлюдные платформы Макона и секундную стрелку, прыгающую по циферблату.

Свет только что зажгли — вы приехали в Модан; таможенный чиновник деликатно постучал ключом в стекло.

Маленькая черная дверь отворилась, и тебя ввели в темную комнату со сводчатым потолком, едва различимым в темноте над рядами полок, уставленных шкатулками и книгами.

За длинным столом сидит человек с пухлыми руками, он что-то говорит тебе, но ты не понимаешь его слов и озираешься вокруг, на стражников, которые покачивают головой, бросая на тебя сострадательные взгляды, на мужчин и закутанных в белые и черные покрывала женщин.

И тут, собрав все свое мужество, ты закрываешь глаза, поднимаешь обе руки, прося слова, и, почувствовав, что все окружающие затаили дыхание, чтобы лучше слышать, начинаешь объяснять, выбирая самые безупречные итальянские обороты:

«С моей стороны тут не было злого умысла, я готов принести публичные извинения, я занимаюсь продажей пишущих машинок, я способствую экономическому процветанию вашей страны, я — один из тех, кто скромно служит ей, меня знают в городе как порядочного человека, вы можете справиться у Скабелли»;

но ты сам чувствуешь, что продолжать бесполезно, они не могут понять тебя; слова, которые ты так тщательно выговариваешь, застревают у тебя в горле, и изо рта вырывается только свист, все более резкий, все более пронзительный, так что наконец все присутствующие медленно встают, хотя вначале они были готовы выслушать твою защитительную речь, и сжав кулаки, наступают на тебя, чтобы оборвать этот мучительный и бессмысленный звук.

Таможенный чиновник потушил свет, поезд тронулся и углубился в туннель, а ты положил ноги на скамью напротив и проснулся только в Турине, где на вокзале царило оживление, несмотря на предрассветный час, и где в вагон вошли два священника в мягких шляпах, они зажгли свет и стали обсуждать — отдельные слова их разговора вдруг долетали до тебя, на секунду пробуждая любопытство,— скучнейшие происшествия из жизни какого-то генуэзского колледжа.

Пока ты брился, матовые стекла постепенно стали светлыми, а пока ты пил в вагоне-ресторане пенистый кофе с молоком и ел пирожные с вареньем, которые в Италии называют рогаликами, окончательно рассвело; небо было совершенно чистым, если не считать двух-трех аккуратно очерченных облачков, которые меняли свою окраску, проплывая над городом; на улицах гасли фонари, с грохотом катились молочные фургоны, в темноте показались первые велосипедисты. И вдруг из расщелины, мелькнувшей на горизонте, внезапно брызнуло восходящее солнце, его горизонтальные лучи обшарили стол, за которым ты сидел, выпукло обрисовав на нем каждый предмет и подчеркнув длинными тенями даже крошки.

Складки черных сутан в твоем купе наполнились золотистой пылью, и разговор на мгновение умолк. Туннели оборвали это великолепное

зрелище. В Генуе при выходе из скалы ты залюбовался на стоявшие в порту корабли с их белыми шлюпками, на блики в стеклах, едва ли не более яркие, чем блики в ласковых волнах, и на высокий маяк, в тени которого на мгновение гасли чайки.

Все трое твоих попутчиков сошли на Главном вокзале; священники, перекинув через руку плащи и легко покачивая большими черными чемоданами, как видно, почти пустыми, продолжали беседу и на платформе, толстяк, полусонный, небритый, высунувшись из окна в коридоре, подзывал «факкино», а ты, стоя рядом с ним, вдыхал свежий воздух, курил первую утреннюю сигарету, забавляясь растерянностью толстяка, видом его помятого лица с брюзгливо искривленным ртом, и, помогая ему снять чемоданы и передать их носильщику, думал: «Он, пожалуй, всего на несколько лет старше меня, вот каким я стану, если не приму меры».

Теперь ты видишь отражение луны, искаженное, похожее на след какой-то ночной твари, уже не в зеркале, а над головой Аньес, волосы которой отливают в лунном свете ртутью, в стекле снимка — сейчас он невидим, но ты знаешь, что на нем изображены парусные лодки у набережной. Поезд проезжает Виареджо.

Выходит, ты спал дольше, чем тебе казалось.

Ах, если уж не удается побороть сон и эти навязчивые, тяжелые сновидения, так хоть бы уж уснуть надолго, чтобы дремота не прерывалась каждую минуту, оставляя у тебя в голове и в желудке след своих тлетворных испарений, свой ядовитый привкус!

Хоть бы уж не просыпаться то и дело и, если не удается стряхнуть с себя кошмары, предоставить им однажды полную волю и — конец, и ты отмоешься, избавишься от них, как от висящей в воздухе гари, которая липнет к твоему лицу, как от щетины, которая за время пути отросла у тебя на подбородке;

хоть бы устроиться на сиденье так, чтобы по-настоящему заснуть до рассвета, как заснули все остальные пассажиры и даже молодая женщина, вошедшая в Генуе, которая так низко склоняется в твою сторону, что, кажется, ее голова вот-вот коснется твоего плеча; женщина оседает все ниже, потом, не открывая глаз, со вздохом выпрямляется, и снова голова ее никнет, плечо никнет, ладонью вытянутой руки она опирается на сиденье (при каждом более сильном толчке рука ее сгибается в локте, потом напруживается снова), и в прорези ее полуоткрытого рта между лиловыми губами поблескивают зубы.

Но вот пальцы женщины мягко скользнули к самому краю сиденья, скользнули вдоль него; рука переломилась, тело клонится в твою сторону; плечи отделились от спинки сиденья; левая рука тыльной стороной задела платье на бедрах и повисла так низко, что касается ногтями отопительного мата. Кожа на затылке женщины между воротником и волосами образует чуть более светлый полукруг.

Если ты и в самом деле уже проехал Виареджо (сейчас вы, наверное, проезжаете сосновую рощу и удаляетесь от моря), значит, скоро будет Пиза,— ты не помнишь точно, в котором часу, это указано в расписании, оно лежит в чемодане наверху, но тебе не хочется вставать лишний раз. Ты смотришь на часы: почти четверть второго; ты не помнишь, на сколько они спешат; не помнишь, когда ты их завел и поставил.

Сейчас уже не имеет смысла стараться заснуть, потому что поезд тряхнет на остановке, зажжется свет, а может быть, войдут новые пассажиры.

Не Арно ли это поблескивает за окном?

Вот стали видны городские стены, лампы на проводах — они еле-

еле освещают безлюдные улицы,— зеленые и красные огоньки, другой поезд, товарный, с автомобилями на платформах; медленно скользит вокзал; какой-то человек катит по пустынной платформе тележку, груженную тюками с почтой, другой стремительно выбегает из конторы, бросив на стол телефонную трубку; поезд встряхивает даже сильнее, чем ты ожидал.

Твоя соседка, приподнявшись на локте, выпрямляется, садится, разглаживает пальцами брови, откидывается на спинку, снова закрывает глаза, и ее нахмуренное лицо постепенно проясняется.

Аньес встрепенулась. Пьер снимает с плеча жены руку, несколько раз сгибает и разгибает ее в локте, наклоняется к окну, вытягивает шею, чтобы получше рассмотреть вокзал, говорит: «Это Пиза!» — смотрит на часы: «Еще четыре с половиной часа, и мы в Риме»,— берет руки Аньес в свои, кладет ее голову к себе на плечо, обнимая и лаская жену, словно они одни в купе.

За твоей спиной распахнулась дверь; ты оборачиваешься и видишь одного из стражников; прикрывая лицо локтем, он вводит человека, черты которого тебе не удается рассмотреть,— одет человек в такую же одежду, как твоя, только совсем новую, держит в руке чемодан такого же фасона, как твой, но с виду пришелец немного старше тебя.

Комиссар произносит несколько слов, которых ты по-прежнему не понимаешь, и не успевает он кончить, как пришелец произносит неожиданно понятные фразы:

«Кто ты такой? Куда ты идешь? Что ты ищешь? Кого ты любишь? Чего ты хочешь? Чего ты ждешь? Что ты чувствуешь? Ты меня видишь? Ты слышишь меня?»

И все погружается в густой синеватый сумрак с лиловым провалом круглого окна. Стражники вдоль стен все как один запрокинули головы и закрыли глаза.

Поезд трогается, и все вздрагивают от толчка.

Сидящий напротив тебя старик итальянец не проснулся на остановке, а теперь он закашлялся, вынул платок, снял очки, протер стекла и почесал веки и горбинку носа.

Молодая женщина рядом с тобой шевелит губами, словно упрямо повторяет себе что-то, словно во что бы то ни стало хочет себя в чем-то убедить, и кивает головой, потом ее кивающая голова понемногу поворачивается вправо, и вот она уже трется виском о спинку сиденья, плечо начинает потихоньку опускаться, клониться вниз, локоть сгибается, ноги, стоявшие совершенно прямо и параллельно одна другой, сближаются, и платье образует подрагивающую впадинку между коленями.

Старуха итальянка смотрит на нее, сцепив пальцы рук, потом поворачивает лицо к окну, расцепляет пальцы, поднимает руки как для молитвы, чуть заметно поводит плечами, снова сжимает руки и, уронив их на свою черную юбку, опять бросает взгляд на обмякшую молодую женщину,— ее плечи бурно вздымаются во сне, и тебе кажется, что женщина сейчас рухнет на тебя, а ты хотел бы поцеловать ее волосы и тоже повалиться рядом с нею.

Луна светит прямо в лицо Аньес, ее глаза открыты, роговица отливает фарфоровым блеском, а в черном зрачке мерцает точка, похожая на влажное острие копья.

Лицо Пьера обращено к тебе профилем, и кажется, будто он страстно нашептывает что-то своей возлюбленной, но он спит; во всем купе сейчас спит только он один; тебе тоже надо заснуть, надо устроиться поудобнее и заснуть.

Пиза уже далеко позади; вы снова приближаетесь к морю; скоро будет Ливорно; ты не помнишь, есть ли там остановка.

Аньес тихонько отстраняет руку Пьера; рука падает; запястья

Пьера касаются края сиденья, пальцы слегка согнуты, а ладони обращены кверху.

Ухватившись за обод багажной сетки у тебя над головой и другой рукой приподняв юбку, Аньес выходит.

Тебе хочется уснуть; ты опускаешь штору на стекле у твоего виска, сидящий напротив старик итальянец следует твоему примеру и тоже опускает штору — штору на двери.

Теперь в купе виден только синеватый свет ночника и полоска лунного света на пустом месте, где сидела Аньес. За окном в темноте автомобильные фары освещают вдруг ряды сосен.

В пустом купе, с посланиями императора Юлиана в руках — пригороды Генуи остались позади, солнце поднималось над крышами и над горами, его лучи становились ярче и струились по твоему лицу, палящие и ослепительные,—

ты пересел на другое место, у самого окна,— колокольни еще отбрасывали длинные тени, на дорогах стало оживленно, женщины уже стирали белье в реке, по другую сторону дороги, среди высоких мысов и вилл, иногда появлялся вдруг треугольник моря с ослепительным парусом, и в садах еще отцветали последние цветы;

(в заливе Ла Специа по зеленой воде вереницей тянулись серые суда);

лампы не горели, не горел даже ночник, и чередование туннелей подчиняло освещение своему ритму;

ты видел, как промелькнул вокзал Виареджо, и поезд, покинув страну лигурийцев, покатил по земле этрусков;

(сосны покачивались на ветру, поезд удалялся от моря);

потом над корою крыш из итальянской черепицы, на фоне низких холмов ты увидел ослепительные, точно парусники или чайки в морском порту на восходе солнца,

собор, часовню, падающую башню,— ты мечтал рассмотреть ее поближе каждый раз, когда проезжал этот город в этот час, при этом освещении,— а на него здесь почти всегда можно рассчитывать,—

но ты ни разу не сошел в Пизе, тебе всегда было некогда.

Ты всегда торопился в Рим, не задерживаясь на промежуточных станциях,— тебя ждали дела, тебя ждала Сесиль.

Но сегодня Сесиль не знает, что нынче ночью ты едешь к ней; Скабелли не знает, что ты едешь в Рим.

По прямым, залитым солнцем улицам Ливорно — ты вскоре по ним проедешь, но их не увидишь — тянулась погребальная процессия. На платформе что-то выкрикивал разносчик газет (сейчас там не будет никого, кроме железнодорожных служащих), от допотопного паровоза валил густой дым. Снаружи веяло теплым, свежим воздухом, пропитанным запахом соли, канатов и угля; луч солнца ласкал твой чисто выбритый подбородок.

В темной комнате все замерло, и ты почувствовал, как твоя голова тоже запрокидывается назад.

В лиловый провал круглого окна порывами врывался ветер, приносивший песок, пыль и запах тления.

Все погрузилось в синеватый сумрак, он сгустился настолько, что ты уже не различал лиц стражников, сидевших на стульях вдоль стен друг против друга, и казалось, они мало-помалу уходят в глубь этих стен; но при этом ты слышал их равномерное дыхание, все более громкое, все более жесткое, все заметнее окрашенное призвуком металла.

Ты чувствовал, что ноги тебя больше не держат, что они уже больше не стоят на земле, а постепенно отрываются от нее и твое распро-

стертое тело начинает вращаться в пространстве перед закрытыми глазами сидящих людей.

Теперь ты не видел уже ничего, кроме свода, под которым ты поплыл, словно внутри туннеля, а стражники с той же скоростью начали перемещаться вдоль стен, не двигая при этом ни руками, ни ногами.

Теперь ты знал, где находишься: следы краски, остатки гипсовой лепнины, подтеки, красноватые светильники, вокруг которых стены изъедены огромными вязкими зелеными пятнами,— это подземелья Золотого Дома Нерона.

По временам в круглые отверстия видно ночное небо. Вдруг туннель расширяется, и все, что было в движении, замирает.

Поезд стоял у платформы (остановка, наверное, уже была, и Ливорно уже позади), это все еще был Ливорно (света в Ливорно не зажгли), сквозь клубы дыма над ливорнским вокзалом сверкало солнце (в купе появился новый пассажир, и Аньес вернулась на свое место, а ты даже не проснулся), ты был в купе один; перевесившись через открытое окно, ты купил газеты у разносчика, а когда поезд отошел от ливорнского вокзала, стал глядеть на залитые утренним солнцем (в Тоскане в начале ноября оно еще палит вовсю) деревни, холмы, пустынные пляжи с рядами синих и белых купальных кабин — на тот самый пейзаж, который ты сейчас проезжаешь ночью, погрузившись в тяжелый, прерывистый и мучительный сон.

В окнах прохода за морем показался мыс Пьомбино, остров Эльба.

Когда поезд проезжал Маремму, ты завтракал в первую смену в вагоне-ресторане, напротив тебя сидела высокая римлянка, ты глядел на нее и вспоминал Сесиль.

И снова над головой Аньес, в стекле невидимого снимка, где изображены парусники у набережной в маленьком порту, искаженное отражение луны напоминает след какой-то ночной твари, и не просто отпечаток лапы, а самые когти, которые то прячутся, то показываются снова, словно им не терпится кого-то схватить; отражение перемещается к краю зеркала, к окну, но вот за стеклом выплывает сам круглый диск луны, вздрагивая, утверждается посредине стекла и вдруг заливает купе таким ярким светом, что между твоими ботинками оживают, начинают поблескивать ромбовидные чешуйки металлического отопительного мата.

Приближаясь к Пизе, при синеватом свете ночника ты смотрел, как она спит, точно это была незнакомка, встреченная тобой в поезде, вроде женщины, дремлющей рядом с тобой,— ее великолепные плечи бурно поднимаются и опускаются, а волосы щекочут тебе пальцы, все еще сжимающие книгу, которую ты так и не открыл,— и во сне она не поникла на сиденье, а осмелилась прижаться к тебе, а ты воспользовался ее сном и осмелился привлечь ее к себе, хотя она не обмолвилась с тобой ни словом, хотя ты не слышал звука ее голоса;

и убеждал себя: я не знаю ее имени, не знаю, кто она, не знаю ни того, итальянка она или француженка, ни того, когда она села в поезд, я, наверное, спал, а проснувшись, увидел, что к моей шее прильнуло прекрасное лицо, моя рука лежит на ее бедре, ее колено ласково касается моего, а закрытые глаза почти у самых моих губ.

Штора была опущена только на окне, но не на перегородке, к которой ты прижимался виском, и по усеянному каплями стеклу с той стороны прохода можно было догадаться, что хлещет осенний дождь.

Ты устал от пребывания в Париже, устал от дороги, от попыток подтасовать парижские воспоминания, перекроить их в тайниках души;

тебя изредка пробирал озноб, и на трепет твоего тела отзывалось трепетом тело Сесиль, но она тут же успокаивалась вновь, вновь начинала свободно дышать, и казалось, на твои разбитые члены, на твои шрамы, врачуя мучительную изжогу, ломоту в суставах и нервный зуд, проливается целительный бальзам — мягкий, теплый, затаенный свет, хмельной и ласковый, излучаемый римским воздухом, римскими стенами, шагами, речами и названиями, к которым ты приближался.

Поезд шел без остановок от самого Ливорно; проехали Маремму; ты пытался задремать; в Чивита-Веккии Сесиль проснулась.

Все, что было в движении, замерло; наверху прямо перед собой ты увидел изображение Потопа; и вдруг все твои спутники, мужчины и женщины, стали расти у тебя на глазах, подниматься вдоль стен и под самым потолком изогнулись, повторяя линию свода.

Ты был распростерт в воздухе, а по обе стороны от тебя двигалась процессия в кардинальских шапках и мантиях, и каждый кардинал, поравнявшись с тобой, шептал тебе на ухо: «С чего ты взял, что ненавидишь нас? Разве мы не римляне?»

Потом, на sedia gestatoria [1], несомый четырьмя гигантами из черного мрамора с янтарными глазами, покачиваясь в такт их шагам, среди огромных опахал из перьев, под балдахином белого и золотистого шелка, в перчатках, унизанных кольцами, и в тиаре появился папа; у него было усталое лицо, глаза прятались за толстыми стеклами круглых очков, и в то мгновение, когда его ноги почти коснулись твоих, он голосом, идущим словно из глубины могил и глухо повторенным живыми стенами, очень медленно, очень печально возвестил:

«О ты, что недвижимо застыл в воздухе у моих ног и не в силах пошевелить губами или хотя бы смежить веки, чтобы не видеть меня,

ты, который хотел бы уснуть, прильнув к земле, но ныне отторгнут от нее,

ты, преследуемый сонмом образов, с которыми не можешь совладать и которым не можешь дать имя,—

с чего ты взял, что ты любишь Рим? Не есмь ли я тень императоров, из века в век посещающих столицу своего рухнувшего и оплакиваемого мира?»

Но вот голова папы становится серой, потом его облачение окрашивается в синеватые тона, и он тает в воздухе, и посредине зала остается только сгусток более яркого света.

Кто-то из пассажиров, собираясь сходить, зажег свет, чтобы снять чемодан с багажной сетки. Разбуженная Сесиль не понимала, где находится, и пока поезд стоял, все смотрела на тебя, не узнавая, с таким видом, точно ей приснился дурной сон и она пытается его прогнать, хотя с виду она спала спокойно.

Когда ты брился, на тебя из зеркала смотрело усталое, бледное лицо.

Ты остался стоять в проходе — она сидела в купе, неподвижно, с открытыми глазами, на том месте, с которого ты встал,— и глядел в окно сквозь потоки дождя на пригородные станции, мимо которых вы проезжали: Рим-Трастевере, потом река и мост, по которому, подпрыгивая, катился молочный фургон, отражаясь фарами в черной бурной воде, Рим-Остьенсе, потом темные крепостные стены, а над ними угадывался свет медленно пробуждающегося города, площадь Зама, Виа Аппиа, Нуова, Рим-Тусколана.

Она встала и, держа шпильку в зубах, пыталась привести в порядок прическу. Пассажиры волокли по проходу свои чемоданы. Потом проехали Порта-Маджоре и храм Минервы Целительницы. Поезд прибыл в Рим.

[1] Папские носилки *(итал.)*.

Луна скрылась за краем оконной рамы, но ты видишь ее заметно потускневший отсвет в зеркале между головой Пьера и нового пассажира — его лица ты рассмотреть не можешь,— отсвет луны, отраженной уже от стекла фотографии с видом зубчатых стен и башен. Поезд проезжает Гроссето.

С какой силой впиваются в твою плоть невидимые когти, как сжимают твою грудь невидимые оковы и какими тугими кольцами обвились вокруг твоих ног невидимые змеи.

Ты медленно вертишь головой и вытягиваешь вперед сжатые кулаки, но ты ведь держал в руках книгу, где же она? Наверное, упала на пол; согнувшись в три погибели, ты шаришь по отопительному мату между чужими ботинками и вздрагивающими лодыжками,— книги нигде нет.

Книга лежит на сиденье под пальцами твоей соседки,— тебе хочется легонько укусить эту женщину в шею, чтобы она, не просыпаясь, повернула голову, протянула тебе губы и ты обнял бы ее, лаская рукой ее грудь,—

потом книга выскальзывает из-под ее пальцев, при каждом толчке съезжает все дальше к краю сиденья, и ты подхватываешь ее в последнюю секунду.

Тот, чье лицо тебе так и не удалось разглядеть, выходит, закрыв за собой дверь; полоса оранжевого света ложится на его твидовый пиджак, на кисть твоей руки, на твое колено; и снова — синеватый сумрак.

А когда сгусток рассеялся, в глубине зала показался Верховный Судия с воздетой кверху рукой, и все огромные фигуры под сводом запрокинули головы и закрыли глаза.

«При первых же звуках моего голоса твое тело начнет извиваться в конвульсиях, точно его уже гложут черви. Это не я выношу тебе приговор, это те, кто сопровождает меня, и их пращуры, это те, кто сопровождает тебя, и их потомки».

Стену, на которой он явился, прорезали зигзаги молний, и от нее начали отваливаться громадные куски.

В густом синеватом свете из-под полуопущенных век ты глядишь на запрокинутые головы, покачивающиеся в такт движению поезда, на закрытые глаза, а прямоугольник ночи за окном между старухой итальянкой и хорошенькой посеребренной Аньес стал тем временем, пожалуй, чуть-чуть более серым, а под самым потолком тянется сетка — в ней лежат пожитки этих мужчин и женщин, которых ты никогда прежде не видел и, наверное, никогда больше не увидишь;

но вот просыпается тот, кого ты назвал Пьером; оторвав плечи от спинки и упершись в колени локтями, он разглядывает убегающий клочок сумеречного пейзажа, а та, которой ты дал имя Аньес, тоже очнулась от сна и, взяв мужа за запястье, пытается при свете луны разглядеть стрелки на его часах

(— ...до приезда в Рим.

— Да, примерно, ты еще успеешь вздремнуть.

— Мне хочется выйти в коридор поразмяться);

и оба встают, стараясь не потревожить тебя; он берется за ручку двери, пробует открыть ее как можно бесшумнее, и полоса света ложится на его и на твои руки, на разметавшиеся волосы твоей соседки; а ты пытаешься сесть поудобнее, прижавшись лбом к шторе, но нет, так заснуть не удается, и ты снова запрокидываешь голову.

Теперь твои глаза устремлены на синеватую жемчужину, скрытую в плафоне, ты шаркаешь ногами по отопительному мату, пытаешься поставить их поудобнее между ногами старика итальянца и чувствуешь, как повисшая рука молодой женщины легонько ощупывает и поглаживает твою лодыжку, точно силится опознать какой-то предмет.

Дождь барабанил мощными струями по прозрачной крыше вокзала Термини, громыхая, как поезд на ходу, пока вы стояли вдвоем в баре, торопливо глотая caffelatte, а вокзальная площадь была вся в лужах, и колеса такси взметали фонтаны брызг; порывы шквального ветра врывались под громадный навес, где вы ждали вдвоем в кромешной тьме неподвижно, молча, подняв и потуже стянув воротники пальто, и только первые троллейбусы говорили о том, что скоро рассветет.

Ты донес чемоданы Сесиль до ее площадки на улице Монте-делла-Фарина и торопливо простился с нею, не поцеловав ее, и только шепнул, как бы для очистки совести: «Значит, до вечера»; потом ты слышал, как она повернула ключ в замке и хлопнула дверью.

В отеле «Квиринале», на верхнем этаже, в маленькой комнатке с балконом ты поставил на стол чемодан, извлек из него первый том «Энеиды» в серии, издаваемой Бюдэ; открыл жалюзи; сквозь ленточки воды начал просачиваться дневной свет, потом в груде облаков над крышами улицы Националe очистилась светлая прогалина.

Прохладным вечером — воздух был все еще чуть влажен, а на небе еще упрямо догорал уходящий день,— после утомительного и скучного совещания у Скабелли — оно затянулось гораздо дольше, чем предполагалось, и час свидания, назначенного на площади Фарнезе, уже давно миновал — ты медленно брел, останавливаясь перед витринами, то и дело переходя с одного тротуара на другой, и нарочно сделал крюк через площадь Пантеона,

словно всячески старался не дойти до площади Фарнезе (но ноги сами несли тебя туда, и в тебе поднималась даже какая-то злость на эту дурацкую неизбежность), надеясь, что там ты ее уже не застанешь, что ее терпение лопнуло, особенно после минувшей ночи в поезде и первого дня на службе,

и твердил себе: она наверняка не дождалась меня, скоро семь часов, должно быть, она вернулась домой, поужинает сандвичем и ляжет пораньше;

но нет, она сидела на своем обычном месте, перелистывая модный журнал, и даже не выказала признаков досады.

Ты едва удержался, чтобы не спросить ее, как она съездила в Париж, точно ты и впрямь сказал правду, представляя ее Анриетте, точно она и в самом деле твоя добрая знакомая, с которой ты встречаешься в Риме и которой ты многим обязан.

Она сказала:

— Я умираю от голода, сегодня утром на Ларго Арджентина я заметила новый ресторан, что̀ если мы сходим в него для пробы, а потом я пойду спать.

На этот раз ты даже не проводил ее до дверей квартиры, не назначил ей встречи на завтра. Она, зевнув, сделала прощальный знак рукой, а ты пешком, поеживаясь от холода, вернулся в «Квиринале» и почти до полуночи читал стихи Вергилия.

От стены в глубине стали отваливаться громадные куски, а центральная фигура окрасилась в синеватые тона и стала таять, и там, где она была, остался только сгусток более яркого света, а за ним малопомалу открылась панорама ночного города.

Огромные фигуры, склонившиеся над тобой, что-то шептали, листая страницы своих огромных книг.

Ты думал о Сесиль и твердил себе: «Это было просто небольшое приключение, я встречусь с ней спустя некоторое время, и мы останемся добрыми друзьями»; но на другой день вечером — небо слегка хмурилось — ты не выдержал; выйдя от Скабелли, ты чуть ли не бегом помчался к дворцу Фарнезе.

Вначале ты старался не попасться ей на глаза; ты следовал за ней

под покровом римских сумерек, а она торопливой, нервной походкой шла не на улицу Монте-делла-Фарина, а куда-то в сторону, и ты стал нагонять ее, думая: «Неужели она идет к другому?» Потом ты поравнялся с ней, некоторое время шел рядом, не в силах оторвать от нее глаз; наконец она тебя заметила, остановилась, вскрикнула, выронила сумку и, даже не подобрав ее, бросилась в твои объятья.

Ты поцеловал ее в губы; ты сказал ей:

— Я не могу без тебя.

— Если бы я знала, что мы увидимся, я приготовила бы обед дома.

Казалось, и воспоминание о поездке в Париж, и горький осадок от нее — все растаяло, улетучилось. Ты снова был молод, Сесиль снова была с тобой, ты вернулся в Рим.

После ужина в маленьком ресторанчике, выходящем на остров Тиберино, вы пошли пешком до круглого храма Весты, миновали арку Януса, поднялись на Палатин, прошли вдоль парка на Целии, прижимаясь друг к другу, то и дело целуясь и не говоря ни слова, до самых развалин Золотого Дома Нерона (площадь Колизея в этот час еще кишмя кишела машинами и мотороллерами),— надпись на нем гласила, что он открыт для посетителей только по четвергам.

— Вот почему я в нем никогда не была.

— Завтра я осмотрю его за нас обоих.

Теперь луна освещает в упор голову старухи итальянки и висящий над нею маленький блестящий прямоугольник стекла — снимок Каркассона. Ручка двери, на которой лежат твои пальцы, зашевелилась: дверь открывается; какой-то человек просунул голову в купе, потом снова задвинул дверь.

Две нижние петли шторы отстегнулись, и от толчков она мало-помалу поднялась вверх, образовав щель, которая становилась все светлее, все шире и через которую ты видел полоску римской Кампаньи; заря окрасила ее сначала в серый, потом в зеленый, а потом в желтый цвет; потом над полями и виноградниками в расщелинах среди холмов проглянули треугольники светлого неба.

Один из пассажиров поднял штору доверху, и на повороте дороги солнце окунуло в стекло свою медную кисть и покрыло узкими пластинками раскаленного светящегося металла щеки и лбы спящих.

Над крышей какой-то фермы взметнулась целая стая ворон, а за окнами прохода солнечная кисть выписала в море каждую волну.

— Приехали,— сказала Анриетта, открывая глаза.

— Сейчас будет Чивита-Веккиа.

Город не был разрушен. Это было до войны. По перрону шли дети в черных рубашках.

Ты предложил ей пойти причесаться и немного освежить лицо одеколоном, но она продолжала сидеть рядом с тобой, опершись рукой на твое плечо, и щурила глаза, не отрывая их от восходящего солнца, которое рассеивало причудливые облака позади сосен и вилл.

Перед старинным зданием вокзала Термини, построенным в тяжеловесном стиле прошлого века, не было ни мотороллеров, ни троллейбусов, а только извозчики, вы позавтракали в старомодном, унылом и темном буфете и сели в фиакр.

В ту пору ты еще не говорил, а только читал по-итальянски, ты еще не служил у Скабелли. Тебя восхищало все,— твоего восторга не могли отравить даже мундиры, даже выкрики «Viva il duce!»[1].

[1] Да здравствует дуче! *(Итал.)*.

Ты спросил ее, не хочет ли она отдохнуть в вашем номере в отеле «Кроче-ди-Мальта» на улице Боргоньоне, неподалеку от площади Испании, но нет, она желала только одного — ходить, смотреть, и вы вдвоем отправились по улицам, которые постепенно оживали, осматривать знаменитые холмы.

Гигантские пророки и сивиллы захлопывают свои книги; их падающие складками покрывала, плащи и туники колышутся, вытягиваются, теперь они похожи на громадные черные перья, и становятся все тоньше; и вот над твоей головой уже нет ничего, кроме множества мелькающих черных крыльев, сквозь них все явственней проглядывает ночное, туманное небо, и его купол отступает все дальше.

Ты чувствуешь, что опускаешься вниз; ты коснулся травы. Озираясь направо и налево, ты видишь торчащие обломки серых колонн, аккуратно посаженные кусты, а в глубине огромную полуразрушенную кирпичную нишу.

И вот по воздуху почти над самой твоей головой к тебе приближаются маленькие бронзовые фигурки с железными украшениями.

«Я — Ватикан, бог первого крика ребенка».

«Я — Кунина, богиня его колыбели».

«Сейя — брошенных в землю семян».

«Первых всходов».

«Завязи».

«Распускающихся листочков».

«Молодого колоса».

«Его усиков».

«Его еще зеленых цветов».

«Их белизны».

«Созревшего колоса».

Дотошные маленькие идолы древней Италии, боги расчлененного времени и действия, пепел, из которого проросло римское право.

«Югатин, соединяющий руки мужчины и женщины».

«Домидук, сопровождающий новобрачную к ее новому жилью».

«Домиций, опекающий ее в этом доме».

«Мантурна, блюдущая ее для супруга».

«Виргиненс, развязывающая ей пояс».

«Партунда».

«Приап».

«Венера»,—

тело ее все растет, а сама она удаляется и, выросши до колоссальных размеров, вся светлая и золотистая, она оборачивается к тебе в просторной нише, поднимая на ладони всех своих спутников.

Над ее головой появляются три огромные статуи: одна бронзовая, другая железная, третья, гораздо более темная, из черной глины — Юпитер, Марс и Квирин.

И тут со всех сторон начинают стекаться люди в тогах, в доспехах или в пурпурных плащах, на них все больше золотых украшений, короны, драгоценные камни, а на плащах богатая вышивка. Ты узнаешь их одного за другим — это вся череда императоров.

Вы вдвоем бродили по улицам и осматривали знаменитые холмы, не выпуская из рук синий путеводитель, в ту пору еще совсем новый.

После полудня вы побывали в Форуме и на Палатине; вечером, когда уже запирали ворота, поднялись в храм Венеры и Ромы.

— Вон там пониже в глубине,— объяснял ей ты,— по ту сторону Колизея — развалины Золотого Дома Нерона, внизу справа — триумфальная арка Константина, дальше за деревьями виднеется цоколь храма Клавдия, ведь императоров почитали как богов.

Вокруг Амфитеатра уличное движение было довольно оживлен-

ным, но по сравнению с прошлым годом или с нынешним машины двигались очень медленно. В ту пору только что закончили и открыли улицу Фори Империали, разбив сад среди развалин храма.

В этот пьянящий вечер, сидя рядом с тобой на скамье, она вдруг спросила:

— Но почему Венеры и Ромы? Что между ними общего?

Ты так сильно запрокинул голову назад, что видишь, как над тобой поблескивает прямоугольником стекла снимок Триумфальной арки. Замелькали лампы какого-то вокзала; должно быть, это Тарквиния.

Ты говоришь себе: главное, не шевелись, по крайней мере хоть не шевелись, избегай лишних движений; хватит и того, что от движения поезда разболтались и со скрежетом трутся друг о друга — словно детали заржавленного механизма — все твои былые внутренние скрепы.

Но сопротивляться бесполезно, мускулы руки сами собой расслабляются. Точно ты натягивал лук и вдруг отпустил тетиву — твоя кисть скользнула в сторону, пальцы разжались; тыльной стороной они коснулись щеки твоей соседки и тотчас отдернулись, будто обжегшись, а женщина села теперь совершенно прямо, и ты рассматриваешь ее лицо и открытые глаза.

Правую кисть ты опять положил на дверную ручку, а та снова пришла в движение; показалась полоска оранжевого света, в щель просовывается ботинок, потом колено,— на сей раз это Пьер, он уходил не за тем, чтобы побриться, потому что руки у него пустые, он протискивается в купе, половина его подбородка освещена, она грязная, точно Пьер плавает в чернилах,— он шарит руками, склонившись вперед, поворачивается направо, налево, медленно и высоко поднимает то одну, то другую ногу и наконец, сделав поворот кругом, опускается на сиденье.

Теперь ты видишь половину платья Аньес, потом ее поднятую ногу, нога неуверенно описывает дугу, ее носок трепещет, точно стрелка гальванометра, над коленями твоих скрещенных ног; и перед самыми твоими глазами, точно огромное крыло фазана, раскрывается кусок юбки в складку, освещенный лучом из коридора. Аньес опирается рукой на твое плечо, потом на спинку сиденья рядом с тобой. Она делает пол-оборота, повернувшись на каблучке, который ей удалось поставить на пол, подол ее юбки раскинулся на твоих брюках, твои колени стиснуты ее коленями; и на ее лице, теперь почти полностью погруженном в синеватую тьму, появляется гримаска; потом второе крыло фазана складывается, она делает еще пол-оборота, опирается обеими руками на плечи Пьера, перекатывается на свое место и теперь сидит совершенно прямо, слегка вытянув шею и глядя на черный с синевой пейзаж и редкие пятна огней на стенах.

Она даже не сделала попытки закрыть за собой дверь; старик итальянец дотянулся до ручки, подержался за нее, потом снова убрал руку; на твоих коленях и на коленях твоей соседки лежит оранжевый свет.

«Боги и императоры Рима, разве я не пытался вас постигнуть? Разве мне не удавалось иной раз вызвать вас к жизни на поворотах улиц и среди руин?»

Множество лиц, огромных и полных ненависти, нависает над тобой, ты лежишь навзничь, точно жалкая козявка, а вспышки молний освещают эти лица, с которых клочьями слезает кожа.

Твое тело вдавлено в мокрую землю. В небе над тобой вспыхивают молнии, сверху сыплются огромные комья грязи и покрывают тебя с ног до головы.

На твоем запястье оранжевый свет. Проведя рукой по бедру, ты

высвобождаешь из-под манжеты часы: ровно пять. Улицы; в окнах кое-где уже виден свет; это, наверное, Чивита-Веккиа. Ты поднимаешь штору справа от себя, и тогда на темном фоне выступает светлым пятном лицо твоей соседки-римлянки и ее черные волосы.

Больше тебе не уснуть. Надо подняться, снять чемодан, положить его на сиденье, открыть, вынуть туалетные принадлежности и снова захлопнуть крышку.

Попытаться до конца раскрыть дверь, хотя ты еле держишься на ногах.

Надо выйти.

IX

Ты стоишь в купе, в духоте, в спертом воздухе, среди враждебных запахов, держишь в руке влажный и прохладный нейлоновый мешочек в белую и красную полоску, в котором лежат кисточка, бритва, мыло, лезвия, флакон одеколона, зубная щетка в футляре, наполовину выдавленный тюбик зубной пасты, гребенка — все те предметы, которые ты только что раскладывал на полочке возле маленького умывальника (его кран не закрывается и выбрасывает воду толчками),— проводишь указательным пальцем по подбородку, почти совсем гладкому, и по шершавой, с царапинами шее, смотришь на капельку крови, которая сохнет у тебя на кончике пальца, потом поднимаешь крышку чемодана, прячешь в него туалетные принадлежности и, заперев два замка из тонкой латуни, раздумываешь, стоит ли класть его наверх в багажную сетку и не лучше ли выйти заранее в коридор, чтобы быть наготове, когда поезд подойдет к Риму; пожалуй, нет, осталось еще почти полчаса — ты смотришь на часы,— ровно двадцать пять минут.

Решено — ты кладешь чемодан наверх. Завалившись в щель между спинкой и сиденьем, лежит книга, которую ты купил перед отъездом; ты ее не прочел, но всю дорогу хранил как свой опознавательный знак, ты забыл о ней, когда только что выходил из купе, а во сне выпустил ее из рук, и она оказалась под тобой на сиденье.

Ты берешь ее в руки и думаешь: «Я должен написать книгу; только так я смогу заполнить возникшую пустоту, свободы выбора у меня нет, поезд мчит меня к конечной остановке, я связан по рукам и ногам, обречен катиться по этим рельсам.

А значит, я по-прежнему буду бессмысленно тянуть лямку у Скабелли ради детей, ради Анриетты, ради себя самого, буду по-прежнему жить на площади Пантеона, номер пятнадцать — наивно было думать, что мне удастся оттуда вырваться; а главное — и я это знаю,— приехав сюда снова, я не смогу отказаться от встреч с Сесиль.

Вначале ей ничего не скажу, ни словом не обмолвлюсь об этой поездке. Она будет удивляться, почему я целую ее с такой печалью. Но исподволь она начнет понимать то, что, впрочем, понимала всегда: тропинка нашей любви не ведет никуда, и по мере того, как мы оба будем стареть, она обречена затеряться в зыбучих песках времени».

Поезд минует станцию Мальяна. За окнами прохода уже видны предместья Рима.

Еще несколько минут — и вы подъедете к прозрачному вокзалу, он так хорош на восходе солнца — и как раз на восходе к нему подъезжает этот поезд в другое время года.

Будет еще совсем темно, и сквозь огромные стекла ты увидишь огни фонарей и голубые вспышки троллейбусов.

Ты не пойдешь в отель «Квиринале», а отправишься прямо в бар

и там, читая купленную свежую газету, закажешь caffelatte, а тем временем мало-помалу начнет заниматься, разгораться, шириться, крепнуть утренняя заря.

С чемоданом в руке ты выйдешь на рассвете из здания вокзала (небо совершенно очистилось, луна исчезла, все обещает на завтра прекрасный осенний день), перед тобой, во всем великолепии своего темно-красного цвета, откроется город, и так как тебе нельзя идти ни на улицу Монте-делла-Фарина, ни в отель «Квиринале», ты остановишь такси и попросишь подвезти тебя в отель «Кроче-ди-Мальта», на улицу Боргоньоне неподалеку от площади Испании.

Ты не пойдешь к окнам Сесиль поджидать, когда откроются ставни; ты не увидишь, как она выходит из дому; и она тебя не увидит.

Ты не будешь ждать ее у дверей дворца Фарнезе; ты пообедаешь в одиночестве; все эти дни ты будешь завтракать, обедать и ужинать в одиночестве.

Стараясь держаться подальше от ее квартала, ты будешь совершать одинокие прогулки, вечером одиноко возвращаться в гостиницу и в одиночестве засыпать.

И вот в одиночестве своего номера ты начнешь писать книгу, чтобы заполнить пустоту этих дней, проведенных в Риме без Сесиль, от которой ты себя отлучил.

А в понедельник вечером, в заранее намеченный час, ты поедешь на вокзал к заранее намеченному поезду,

так и не увидевшись с ней.

За окнами прохода проплывает огромный нефтеперегонный завод, с его факелом и лампочками, расцвечивающими алюминиевые вышки, точно рождественскую елку.

С книгой в руке ты все еще стоишь лицом к своему месту, к снимку парижской Триумфальной арки, но вдруг кто-то дотрагивается до твоего плеча, это новобрачный, которого ты окрестил Пьером, и ты садишься, чтобы дать ему выйти, но он имел в виду другое — он протягивает руку и зажигает свет.

Все твои соседи по купе таращат глаза, на всех лицах появляется озабоченное выражение.

Пьер берет один из чемоданов, лежащих над головой его жены, ставит на сиденье, открывает и ищет в нем туалетные принадлежности.

А ты думаешь: «Не будь этих людей, не будь этих предметов и образов, давших моим мыслям толчок, под действием которого во время этой необычной, нарушившей размеренное течение моей жизни поездки у меня в мозгу заработал какой-то механизм и сдвинулись, наплывая друг на друга и разрывая меня на части, разные пласты моего существования;

не будь этого стечения обстоятельств, этой раскладки карт, быть может, в эту ночь мою душу еще не рассекла бы зияющая трещина и мои иллюзии продержались бы еще какое-то время;

но раз уж трещина обнаружилась, нет никакой надежды, что она затянется или что я забуду о ней — ведь она доходит до тех пустот, которые уже давно образовались во мне и вызвали эту трещину и которые мне уже не заполнить, потому что они связаны с гигантской исторической трещиной.

У меня нет никакой надежды спастись в одиночку. Я растрачу всю свою кровь, все песчинки своих дней в тщетных усилиях найти опору в себе самом.

Но если я — скажем, с помощью книги — подготовлю почву, попы-

таюсь расчистить путь грядущей, недосягаемой для нас свободе, внесу хоть самую скромную лепту в закладку ее основ,—

я использую единственную возможность насладиться хотя бы отблеском этой свободы, прекрасным и пронизывающим,

и не буду пытаться при этом разгадать загадку, какой предстает Рим и нашему сознанию, и сфере бессознательного, или понять хотя бы в общих чертах, что являет собой это средоточие чудес и тайн».

Поезд проезжает станцию Рим-Трастевере. За окном по улицам навстречу друг другу тянутся первые освещенные трамваи.

Было уже совсем темно, и фары машин отражались в асфальте площади Пантеона. Сидя у окна, ты снял с книжной полки послания Юлиана Отступника, и в эту минуту вошла Анриетта, чтобы узнать, будешь ли ты ужинать.

— Ты же знаешь, я предпочитаю вагон-ресторан.

— Все твои вещи в чемодане на кровати. А мне надо готовить ужин.

— До свиданья. До понедельника.

— Мы будем ждать тебя к обеду. Я поставлю для тебя прибор. До свиданья.

Тебе хотелось поскорей вырваться из дома; дождь перестал, в облаках над бульваром Сен-Мишель показалась луна, а по бульвару двигался разноплеменный поток окончивших занятия студентов; ты остановил такси, и оно свернуло за угол разрушенного дворца, создание которого приписывают парижскому императору Юлиану.

На Лионском вокзале ты купил сигареты, запасся еще на перроне талончиком на ужин во второй смене, вошел в вагон первого класса, занял место в купе, где уже сидел толстяк твоих лет, куривший маленькие сигары, и положил на багажную сетку чемодан и светлый кожаный портфель, набитый бумагами и документами, предварительно вынув оттуда оранжевую папку с материалами реймского отделения.

Так начиналась твоя обычная служебная поездка, и, однако, ты уже успел мимоходом навести в Париже справки о работе для Сесиль; ничто еще не разорвало основы твоей размеренной жизни, и, однако, твои отношения с этими двумя женщинами уже близились к кризису, и его итог — эта выходящая из ряда вон поездка, которая вот-вот завершится.

Когда поезд тронулся, ты вышел в коридор и стал смотреть в окно на молодой месяц над крышами и на пригородные газгольдеры.

За окном диск луны уже больше не виден, зато у стены Аврелиана все чаще мелькают мотороллеры, и лампы одна за другой зажигаются на всех этажах домов-новостроек.

Тот, кого ты зовешь Пьером, возвращается в купе, свежевыбритый, взгляд у него прояснился, он улыбается; теперь, захватив с собой большую сумку, выходит та, кого ты зовешь Аньес; твоя соседка с лицом римлянки встает, оправляет на себе пальто и, небрежно приведя в порядок прическу, снимает с багажной сетки свой чемоданчик.

Ты думаешь: «Что же такое случилось с того вечера в среду, со времени той последней обычной поездки в Рим? Как это вышло, что все изменилось, как я дошел до этого?»

В тебе уже давно назревал взрыв, он произошел,— и ты решился на эту поездку, но взрывная волна пошла вглубь, и на пути к осуществлению твоей заветной мечты ты понял, что твоя любовь существует под знаком гигантской звезды — Рима и ты хочешь поселить Сесиль в Париже именно для того, чтобы при ее посредничестве каждый день ощущать Рим рядом с собой; но оказалось, что, приехав туда, где про-

текает твоя будничная жизнь, Сесиль утрачивает свою власть посредницы и становится женщиной как все, еще одной Анриеттой, и в совместной жизни с ней — ты представлял себе эту жизнь как некий суррогат супружества — возникли бы те же трудности, только еще более мучительные, так как ты постоянно вспоминал бы о том, что город, который она должна была приблизить к тебе,— далеко.

Впрочем, Сесиль не виновата в том, что лучи Рима, которые она отражает и собирает в фокусе, гаснут с той минуты, как она оказывается в Париже; виноват тут самый миф Рима — при малейшей попытке, пусть даже самой робкой, облечь его плотью он выявляет свою двойственность и выносит тебе приговор. Неудовлетворенный парижским бытием, ты втайне уповал на возвращение к Pax Romana, к имперской системе мира, организованного вокруг некой столицы, это мог бы быть даже не Рим, а, скажем, Париж. Все свои слабости ты оправдывал надеждой, что две эти жизненные линии могут слиться воедино.

Другая женщина — не Сесиль — в этих условиях также утратила бы всю свою власть; другой город — не Париж — также привел бы ее к утрате этой власти.

Так в твоем сознании исчерпывается один из величайших периодов истории, эпоха, когда мир имел центр и не только земля была центром сфер Птоломея, но и у земли был свой центр — Рим; потом он переместился, после падения Рима пытался утвердиться в Византии, а значительно позднее — в императорском Париже, и черная звезда железных дорог Франции стала как бы тенью звезды римских императорских дорог.

Но воспоминание об империи, столько веков владычествовавшее над воображением европейцев, отныне уже не в силах влиять на судьбы грядущего мира — границы мира раздвинулись для каждого из нас, и он поделен теперь совсем по-новому.

Вот почему, когда ты сделал попытку приблизить к себе мир империи, его образ распался; вот почему, когда Сесиль приезжает в Париж, небо, сияющее над ней в Риме, тускнеет и она становится похожей на других женщин.

Ты думаешь: «Хорошо бы показать в этой книге, какую роль может играть Рим в жизни человека, живущего в Париже; эти два города можно представить себе как бы наложенными один на другой — один как бы в подполье другого, а между ними потайные лестницы, знают их лишь немногие, и ни один человек не знает их все, а стало быть, при переходе из одного места в другое могут неожиданно обнаружиться кратчайшие и окольные пути, стало быть, расстояние от одной точки до другой, путь от одной точки до другой может оказаться различным, смотря по тому, насколько ты осведомлен, насколько ты освоился в другом городе, а стало быть, все будет существовать сразу в двух ипостасях, и план Рима будет для каждого в большей или меньшей степени видоизменять план Парижа — то скрещивая далекие пути, то расставляя ловушки».

Старик итальянец напротив тебя встает, с усилием снимает с багажной сетки большой черный чемодан и выходит из купе, делая жене знак следовать за ним.

Пассажиры уже тянутся по проходу с багажом в руках и толпятся у выхода.

Поезд минует станцию Рим-Остьенсе с белым острием пирамиды Цестия, чуть выступающим из темноты, а внизу виднеются первые пригородные поезда, прибывающие на станцию Рим-Лидо. Отопительный мат — его ромбы напоминают идеальный график железнодорожного грузооборота — как бы инкрустирован пылинками и мелким мусором, накопившимся за минувший день и минувшую ночь.

На другое утро, в четверг, ты пошел осматривать Золотой Дом Нерона, как обещал Сесиль,— накануне в полночь ты проводил ее на улицу Монте-делла-Фарина, номер пятьдесят шесть, и она, поглядев на тебя и прочитав в твоем взгляде желание, сказала, что в этот час тебе к ней зайти нельзя: семейство Да Понте еще не спит; а в четверг вечером ты ужинал с ней в ее комнате среди четырех видов Парижа и старался на них не глядеть, потому что они мешали тебе рассказывать.

Ты смог описать ей свое посещение Дома Нерона только тогда, когда вы погасили лампу и легли в постель, а в открытое окно проникал свет луны, легкий ветерок, отсвет ламп из соседних домов, да еще мотороллеры, шумно разворачиваясь на углу, отбрасывали на потолок оранжевый отблеск своих фар.

Ты ушел от нее, как всегда, после полуночи и вернулся в отель «Квиринале»; рана начала затягиваться, но рубец был еще совсем свежий; от малейшей неосторожности она могла раскрыться; вот почему ты ни словом не обмолвился о вашей совместной поездке в Париж, вот почему на другой день в пятницу, вопреки твоим опасениям, она не заикнулась о ней ни во время обеда в ресторане на площади Терм Диоклетиана, ни прощаясь с тобой на платформе, когда она неотрывно глядела на тебя и махала тебе рукой, а поезд отходил от перрона.

Ты завоевал ее вновь; казалось, все забыто. Вы оба никогда не возвращались к этой теме, но из-за этого-то молчания болезнь неизлечима, из-за этого обманчивого, преждевременного заживления в глубокой ране развилась гангрена, и она так страшно нагноилась теперь, когда ее разбередили толчки, встряски и ухабы этой дороги.

— Прощай! — крикнул ты, и она бежала за поездом, улыбаясь и тяжело дыша, и была так прекрасна в короне черного пламени своих волос. И у тебя мелькнула мысль: «Я боялся, что потерял ее, но я обрел ее вновь; я дошел до края пропасти, об этом никогда нельзя заговаривать; но отныне я сумею ее удержать — она моя».

На отопительном мате ты видишь собственные ботинки, испещренные серыми бороздками.

В твоем мозгу отдается: «Прощай, Сесиль», слезы разочарования подступают к твоим глазам, и ты говоришь себе: «Как сделать так, чтобы она поняла и простила мне то, что наша любовь оказалась обманом,— пожалуй, тут может помочь только книга; пусть Сесиль предстанет в ней во всей своей красоте, в ореоле римского величия, которое она так полно воплощает.

Но, пожалуй, самое разумное — не пытаться сократить расстояние, разделяющее эти два города, и сохранить в неприкосновенности все станции и пейзажи, которые лежат между ними. Каждый желающий сможет отправиться из одного города в другой, но помимо обычных путей сообщения между ними будут существовать еще непосредственные переходы и точки соприкосновения, и они будут обнаруживаться в определенные минуты под действием законов, познать которые можно лишь постепенно.

И тогда герой книги, прогуливаясь в один прекрасный день неподалеку от парижского Пантеона и свернув за угол хорошо знакомого дома, сможет очутиться совсем не на той улице, на какой предполагал, она будет освещена совсем по-другому, и все надписи будут на другом языке, и он увидит, что это итальянский;

и вспомнит улицу, по которой он когда-то уже бродил, и поймет, что это одна из улиц неподалеку от римского Пантеона, и встретит там женщину, и будет знать, что для того, чтобы увидеть ее снова, достаточно поехать в Рим, как туда может поехать кто угодно и когда угод-

но, были бы время и деньги,— поехать хотя бы, например, поездом, потратив на это известное время и миновав все промежуточные станции;

и точно так же эта римлянка время от времени будет являться в Париж; совершив длительное путешествие, чтобы увидеть ее вновь, он узнает, что она — случайно, конечно,— была в том самом месте, какое он только что покинул,— он узнает об этом, ну хотя бы из письма друга, в котором друг опишет эту женщину;

а стало быть, все эпизоды их любви будут обусловлены не только законами связи между Римом и Парижем — эти законы для них могут в чем-то не совпадать,— но и степенью познания ими этих законов».

Молодая женщина, которую ты назвал Аньес,— ты не знаешь о ней ничего, даже ее имени, знаешь только, как она выглядит и что она едет в Сиракузы,— возвращается в купе, садится рядом с мужем и глядит на мотороллеры, летящие навстречу друг другу на фоне темной стены Аврелиана, которая исчезает вдали за насыпью и домами площади Зама.

Поезд углубляется в город под мостом Виа Аппиа Нуова.

Проплывает станция Рим-Тусколана. Какой-то человек заглядывает в купе и озирается по сторонам, точно проверяя, не забыл ли он чего, может, это и есть тот самый пассажир, который ночью несколько часов просидел на свободном месте напротив тебя, но ты не мог разглядеть даже его лица, поскольку было темно, да к тому же ты погрузился в мучительную дремоту, в череду мучительных сновидений, и в твоей душе медленно и неумолимо зарождались и созревали вопросы, терзающие тебя сегодня с самого утра, погрузился в смятение и ужас, охватившие тебя перед разверзшейся пустотой, перед пропастью, которая будет становиться все шире и глубже, как только через несколько мгновений ты прибудешь в Рим (эта пропасть мало-помалу поглотила все воздвигнутые тобою замки, а сама оказалась единственным надежным прибежищем и тихой пристанью).

Все было для вас внове в ту весеннюю римскую ночь, когда вы возвращались к отелю «Кроче-ди-Мальта».

В ту пору не было еще ни метро, ни троллейбусов, ни мопедов, а только трамваи, такси с вертикальными полосками и редкие фиакры.

Анриетта, как ты, смеялась над священниками, молодыми и старыми, которые прогуливались стайками, подпоясанные разноцветными поясами.

Не выпуская из рук синего путеводителя, в ту пору совсем нового,— он становился с годами все менее точным, но ты брал его с собой в каждую поездку, пока не начал постоянно встречаться с Сесиль и пользоваться ее экземпляром (а свой ты и сейчас оставил на площади Пантеона, номер пятнадцать, на полке, где стоит небольшая посвященная Риму библиотека) —

оба совершенно неутомимые (наутро в своем номере, пока ты брился, а она причесывалась, вы перебрасывались фразами из итальянского разговорника),—

на другой день вы отправились в Ватикан, бродили вокруг его стен, потешаясь над грошовыми реликвиями, которыми торгуют местные лавчонки, потом наскоро пробежали по галереям, забитым плохими античными статуями и преподношениями современных властителей,

и с нежностью оглядывали людей, улицы, памятники, оба убежденные в том, что это лишь первое ваше с ними знакомство.

А потом после нескольких дней, промелькнувших слишком быстро и заполненных упоительной беготней, в полном единодушии шепотом проклиная бесчисленных молодчиков в форме, которые попадались вам на

каждом шагу,— вы сели в поезд на стареньком, невзрачном и грязном вокзале Термини, совершенно недостойном Рима, и когда поезд тронулся, оба прошептали вслед городу: «Мы вернемся снова — как только сможем».

Еще какой-то человек просовывает голову в дверь и озирается по сторонам (может быть, это именно он сидел несколько часов на сиденье рядом с новобрачным).

Ты говоришь себе: «Обещаю тебе, Анриетта, мы вернемся в Рим вместе, как только сможем, как только улягутся волны от этой встряски, как только ты меня простишь; мы с тобой еще не так стары».

Поезд остановился; ты в Риме на новом, современном вокзале Термини. Еще совсем темно.

В купе остались только ты и молодая чета — они едут дальше, до самых Сиракуз.

Ты слышишь выкрики носильщиков, свистки, прерывистое пыхтенье и скрежет других поездов.

Ты встаешь, надеваешь пальто, снимаешь чемодан, берешь книгу.

Бесспорно, самое лучшее — сохранять между этими двумя городами их реальное географическое расстояние

и попытаться оживить для читателя решающий эпизод твоей жизни — сдвиг, который совершился в твоем сознании, пока твое тело перемещалось от одного вокзала до другого, мимо мелькавших за окном пейзажей,

по пути к той будущей, неизбежной книге, каркас которой ты держишь сейчас в руках.

Коридор пуст. Ты оглядываешь толпу на платформе. Выходишь из купе.

Что же изменилось?

Мы закончили чтение — и спрашиваем себя: а что же, собственно, произошло? Что же изменилось в судьбе действующих лиц? Леон Дельмон не покинет семью, не уйдет от жены к любовнице, все останется, как было. Герой романа, который намеревался было внести «изменение» в свою жизнь, в конечном счете изменил это намерение. Слово, поставленное в заголовке, имеет, таким образом, двойной смысл,— и смысл этот не лишен горькой иронии. Перед нами человек, который и не хочет, и не может радикально изменить свою жизнь. Перед нами общественный и бытовой уклад — застывший, застойный, затягивающий человека и подчиняющий его себе.

Роман Мишеля Бютора, который, появившись в 1957 году, был отмечен премией Ренодо, привлек внимание французской критики в первую очередь своей необычной, экспериментальной формой,— с интересом читается и сегодня и, при мало-мальски вдумчивом подходе к нему, обнаруживает в себе определенное социально-критическое содержание.

О французской «школе нового романа», к которой привыкли причислять и М. Бютора, на страницах нашего журнала говорилось не раз [1]. Однако положение М. Бютора в этой группе писателей несколько особое; это отмечалось и в статьях С. Великовского, и в книге Т. Балашовой «Французский роман 60-х годов». «Призыв к формальному новаторству», «новаторству во что бы то ни стало», отмечает Т. Балашова, «хотя и поддержанный Бютором, довольно часто в его критических статьях уступает место раздумьям о гражданском долге художника, об отношениях людей в обществе и т. п., то есть интересы Бютора идут от проблем художественно-технических к общечелове-

[1] Напомним две обстоятельные статьи С. Великовского, специально ей посвященные: «Разрушение романа (О «новой школе» французской прозы)» — 1959, № 1 и «На холостом ходу» — 1963. № 1. Ко второй из этих статей были приложены «Литературные иллюстрации» и среди них были даны страницы из романа М. Бютора «Ступени».

ческим». И критик приводит слова Бютора из статьи, опубликованной в 1961 году: «С помощью романиста реальность познает себя, критикует, преображается» [1].

Эти слова существенно иметь в виду при оценке романа «Изменение». Здесь, как и в других своих книгах, Бютор затрачивает немало сил на выработку изощренной повествовательной техники,— эта изощренность иной раз затрудняет читателям доступ к его прозе. Однако проблемы художественной техники для Бютора ни в коем случае не самоцель. Потребность познать реальность и подвергнуть ее критике, живой интерес к насущным вопросам современной человеческой жизни сказался в романе Бютора «Изменение», быть может, более отчетливо, чем в других его книгах.

Действие романа происходит не в «некой» стране, как это бывает у Роббе-Грийе,— тут встает современная Франция, разнообразные реалии ее повседневного быта, встает (в мыслях и воспоминаниях героя) и облик Рима, воссозданный наглядно и отчетливо. Автор отнюдь не отказывается от образов-характеров, не строит «повествование без персонажей», каким является, например, известная советскому читателю книга Натали Саррот «Золотые плоды»,— перед нами конкретная человеческая судьба, современный француз, раскрывающийся в своих семейных, деловых, социальных связях и отношениях. Парадоксальное, озадачивающее на первых порах пользование местоимением «ты» вместо «я» или «он», если вдуматься, оправдано содержанием романа. Бютор непрерывно обращается к читателю, как бы приглашая его поставить себя на место героя («ты вошел в это купе»... «справа от тебя сидит человек»... и т. д.),— и читатель незаметно поддается художественному гипнозу романиста, начинает воспринимать впечатления, переживания, трудности и проблемы героя романа как свои собственные. Наперекор многим и многим литераторам модернистского склада, которые воздвигают всевозможные преграды между искусством и жизнью,— Бютор предпринимает свой эксперимент именно с целью разрушить эти преграды.

Повествование замкнуто в предельно узкие рамки — не только временные (меньше суток), но и пространственные (купе поезда),— многое, что остается за пределами этих рамок, не входит в поле зрения автора. Скрупулезно-дотошное описание купе, его пассажиров, всех мельчайших перипетий путешествия временами утомляет или даже раздражает читателя своей монотонностью — получается словно бы затянувшаяся замедленная съемка. Но и в этой медлительности, в этой монотонности есть своя художественная логика. Они мотивированы той ситуацией, в которой находится герой. Вынужденное бездействие в пути — и вместе с тем то состояние тягостной неуверенности, в котором находится Дельмон,— обостряет его наблюдательность, его внимание ко всяческим мелочам, будь то яблочное семечко, лежащее на отопительном мате, или бледно-голубой цвет чашек в вагоне-ресторане. Повторяемость этих и многих других деталей создает своеобразный ритм, неторопливый и завораживающий. Романист воспроизводит ход мыслей своего героя с наплывами воспоминаний то о недавнем, то о более далеком прошлом, зыбкое взаимодействие раздумий и случайных впечатлений, неуловимые переходы от ясности сознания к сонному полузабытью: именно так может двигаться мысль человека, пытающегося убежать от постылой повседневной жизни к сомнительному счастью, все более отчетливо осознающего призрачность, зыбкость этого счастья — и притом находящегося в состоянии вынужденной неподвижности, в окружении чужих ему людей, чужих вещей, в тесноте и духоте вагонного купе, которое само по себе становится здесь символом отупляющего стандарта, равнодушия, несвободы.

Леон Дельмон хочет разобраться в самом себе: его жизнь, и прошлая, и настоящая, предстает перед читателем все яснее,— и содержание романа раздвигается. Становится все более очевидным, что суть тут не просто в семейном, любовном конфликте. Ничейный исход этого конфликта по-своему закономерен. В нем обнаруживается не столько характер героя, сколько характерные свойства общества, в котором он живет. Леон Дельмон, судя по всему, человек вовсе не инертный, не слабовольный,— ведь он преуспевает по службе, ведь он умеет проявлять деловитость в своей коммерческой сфере. Но самодеятельность его личности замкнута в строго очерченные границы. **Несвобода** — вот главная доминанта его жизни. Даже мельчайшие его поступки — это все более отчетливо осознает сам Дельмон — как бы предопределены, запрограммированы: «Механизм, который ты сам привел в движение, теперь начинает действовать чуть ли не помимо твоей воли». Несвобода в личной жизни, как и в жизни социальной,— все это взаимосвязано. Мимоходом мы узнаем, что Дельмон, человек не первой молодости, занимающий солидное положение в солидной фирме, вынужден опасаться, как мальчишка, как бы о его любовных делах не узнали хозяева: гнев владельцев фирмы грозит ему гораздо большими опасностями, нежели ревность жены. Чувство зависимости, скованности все более резко выступает наружу по ходу размышлений Дельмона. Он сознает, что его «я» стало разрушаться, что хозяева вынуждают его попирать это собственное «я» и постоянно защищать не свои, а чужие интересы.

Социально-психологическая характеристика героя мало-помалу становится все более отчетливой. Перед нами — своего рода новый Бэббит современного западноевропейского капиталистического общества. Дельмон — как герой известного романа

[1] Т. Балашова. «Французский роман 60-х годов», М., 1965, стр. 70—71.

Синклера Льюиса — занят **мнимым** делом. Его работа не заключает в себе ничего творческого, ничего действительно полезного людям,— она не имеет отношения к созданию каких бы то ни было ценностей, ни материальных, ни духовных. Дельмон, подобно Бэббиту, ничего не производит («ни масла, ни башмаков, ни стихов», как сказано у С. Льюиса). «...Твоя задача сводится к тому, чтобы люди покупали пишущие машинки фирмы «Скабелли», а не «Оливетти» или «Гермес», для чего, разумеется, нет сколько-нибудь серьезных оснований, это игра — иногда забавная, а иногда и утомительная, не дающая тебе ни минуты покоя, прибыльная игра, которая могла бы тебя извести, словно какой-нибудь порок». Дельмон — один из миллионов на Западе — пользуется относительным материальным благополучием, но он духовно нищ и обездолен, его жизнь лишена смысла, и любовь к Сесиль — в любом случае обреченная на увядание — служит ему своего рода «эрзацем» той свободы и счастья, которых он начисто лишен.

Бютор заставляет своего героя осознавать типичность собственной безрадостной судьбы. Дельмон обращается в мыслях к своим соседям по купе, молодоженам. Сейчас они влюблены и счастливы. «Что останется от всего этого, когда у вас появятся дети, когда ты, Пьер, сделаешь карьеру на своем поприще, может быть, таком же нелепом, как мое, а может быть,— и того хуже, когда в подчинении у тебя окажется энное количество служащих и ты будешь платить им гроши — иначе дело прогорит... И сохранится ли в твоем взгляде, Аньес, прежняя заботливость или, наоборот, в нем появится то недоверие, которое мне так хорошо знакомо, а в твоем, Пьер, та внутренняя опустошенность, которую я замечаю каждое утро, глядя в зеркало, во время бритья?..»

Читателям нашего журнала известен ряд новых произведений западноевропейской литературы, где — в различных формах и на различном жизненном материале — развертывается тема «овеществления» человека, гнетущей несвободы личности в современном капиталистическом мире. Материальная обеспеченность, даже благополучие, все атрибуты сытости и комфорта не спасают от духовной опустошенности, от омертвения личности. Об этом пишет Гоффредо Паризе в романе «Хозяин», Жорж Перек в повести «Вещи», Кристиан Гайслер в романе «Холодные времена». Об этом же, по сути дела, написал и Мишель Бютор в романе, который только что прочитан нами.

Т. МОТЫЛЕВА

Нет — войне во Вьетнаме

■

Перевод с английского О. Кириченко

ФЕЛИКС ПОЛЛАК

Монолог героя

Я не хотел идти —
Завербовали.

Не хотел умирать —
Назвали желтым.

Пытался удрать —
Пригрозили трибуналом.

Отказался стрелять —
Обозвали слюнтяем.

А повели в атаку —
Получил пулю в живот.

От боли застонал —
Отправили в тыл.

Там отдал богу душу —
Над трупом дали залп.

Отметили крестиком имя —
И крестом могилу.

Потом возносили в речах —
Лили лживый елей.

Мол, я пожертвовал жизнью —
Я же хотел сберечь ее.

Мол, я явился примером —
Я же пытался удрать.

Мол, все гордятся мною —
Мне было стыдно за них.

Мол, мать должна гордиться —
Мать горько рыдала.

Мне очень хотелось жить —
Меня обозвали трусом.

А умер как трус —
Тогда погребли как героя.

РОБЕРТ ДЖОЗЕФ ЗИГМУНД

Глашатай войны

Я вступаю в ряды солдат,
я хочу быть добровольцем,
довольно трескотни
и болтовни —
рядом умирают люди,
рядом шагают убийцы.
Ты, поэт-дальтоник,
примкнувший к синим беретам,
вступающий в мертвеющие
людские джунгли,
встань рядом со мной!
Мы сомкнем боевые ряды,
и нашим оружием станут
Торо,
Ганди,
Мертон,
Фромм
и те слова, что градом пуль,
выпущенных из ружей поэзии,
пронзают сердца.
Мы обрушим напалм нашего гнева
на королей экономики,
на уолл-стритовцев всего мира,
пусть пеплом станут их акции.
И тогда
станет явным безумие этих лжецов.
ТАК ВСТАНЬ ЖЕ РЯДОМ,
и я низвергну на мир
бурлящую силу в миллионы мегатонн:
ЛЮБОВЬ.

ЭВЕЛИН ТОРН

Просто рассказ

Мой друг, когда-то преподававший в Азии, пишет в письме: «Сюда, в долину Гудзона, по холмам яростно несется золотая осень. Я иду под градом осенних листьев, вдыхаю морозный воздух, и мне кажется, что я счастлив. Но вдруг, о боже, врывается мысль — там, в краю, ставшем мне близким, зверски расправляются с прекрасным народом, истребляют людей с загорелыми лицами и благородным взглядом, с грациозной походкой лани и тихими голосами. А мой дом — здесь, в стране-убийце».

ЧЖАН ТЯНЬ-И

Записки из мира духов

ПОВЕСТЬ

Перевод с китайского Л. ЧЕРКАССКОГО

Письмо по поводу «Записок из мира духов»

Дорогой друг, несколько дней я пробыл в мире духов и все виденное там описал в дневнике. Мои записи, за исключением немногих маловажных сокращений, перед тобой.

Я ничего не преувеличил, ничего не выдумал. Не было в том надобности. Ведь меня не причислишь к людям ученым, да и роман я писать не собираюсь. А ради сомнительного удовольствия подшутить над друзьями стоило ли тратить силы? Пожалуй, я был там в роли корреспондента и все, что видел и слышал, с усердием заносил в дневник. Только и всего.

Повадки и манеры обитателей потустороннего мира, о которых я здесь пишу, могут показаться тебе несколько необычными, даже до некоторой степени смешными. На самом же деле там все разумно и целесообразно, дела они решают быстро и четко. И в этом, если угодно, есть особая прелесть.

Верь мне! Я не гонялся ни за сенсациями, ни за каламбурами. Намерения мои были совершенно серьезны. Я и тебя прошу отнестись к моим писаниям сообразно этому.

Хань Ши-цянь.
Год, месяц, день.

День любой...

Когда-то очень давно мне довелось изучать спиритизм, и вот мне пришло в голову в качестве эксперимента побывать в потустороннем мире, дабы убедиться, что чудеса и в самом деле существуют. Я попросил друзей отнести «мое тело» в условленное место, куда я должен буду впоследствии вернуться, и сжечь надо мной письмо к старинному другу Сяо Чжун-но, скончавшемуся десять лет назад, с просьбой меня встретить.

Итак, я приступил к осуществлению эксперимента. Я шел во мраке по пустырю. Вдруг впереди показались двое. В одном, несмотря на темень, я сразу признал Сяо Чжун-но.

Он не выказал при виде меня особой радости, не стал предаваться воспоминаниям. Только сказал:

— Скорей прикрой это!

— Что «это»? — не понял я.

Он ткнул пальцем в собственный нос. На носу г-на Сяо красовался тонкий белый чехол.

— Скорее! Скорее! — торопил он. Я прикрыл нос левой рукой.— Не годится! На вот, держи!

Он бросил мне чехол, точь-в-точь как его собственный, только синего цвета, с шелковыми лентами по краям. Этими лентами чехол привязывали к ушам, чтобы он не свалился с носа. В чехле было два круглых отверстия для воздуха. Когда, наконец, я нацепил свой чехол, он обратился к спутнице:

— Позволь, моя крошка, представить тебе господина Ханя.

«Крошкой» оказалась весьма красивая женщина. Ее нос тоже был спрятан под чехлом, только шелковым, узорчатым, куда изящнее наших. Сяо объяснил мне, что это его невеста. Неужели в мире духов тоже существуют браки? Впрочем, у меня не было времени поразмыслить над этой проблемой — не давали покоя загадочные чехлы на носах.

— Почему нос надо непременно прятать?

На лице Чжун-но появилось выражение крайнего замешательства. Отчаянно жестикулируя, он дал мне понять, чтобы я замолчал. А крошка, залившись краской, бросила на меня взгляд, полный презрения. Чжун-но поспешил заговорить о другом:

— Хань, я все устроил. Тебя ждет отличная комната. С пропиской, можно сказать, все в порядке, осталось лишь заполнить анкету, и ты— полноправный обитатель верхнего яруса.

Мы вышли на улицу, где нас ждала машина. Крошка бросила шоферу:

— На улицу 365.

— В чем дело? — спросил Сяо.— Почему ты решила вернуться? Неужели из-за господина Ханя? Но, крошка, войди в его положение, он ведь новенький и не знает наших порядков.

— Я ведь новенький и не знаю ваших порядков,— повторил я сконфуженно.

— Нет, я просто занята.— Ее лицо стало непроницаемым.

Машина тронулась. На улице 365 крошка покинула нас, и мы вдвоем поехали к Сяо Чжун-но. Машина мчалась с такой скоростью, что рассмотреть все как следует было невозможно. Мелькали ровные красивые улицы и переулки, не спеша прогуливались мужчины во фраках, сверкали драгоценностями женщины в роскошных нарядах. Под стать людям были и дома. Интересно, случайность это или в мире духов повсюду богатство и великолепие? Поживем — увидим.

Отведенная мне комната была в самом деле отличной. Сяо Чжун-но нажал кнопку. Пол раздвинулся, и из небольшого квадратного отверстия появился человек в ливрее.

— Отныне здесь будет жить господин Хань. Ты обязан прислуживать ему со всем усердием.— Говоря это, Сяо Чжун-но почему-то уставился в потолок.

— Да, господин.— И человек юркнул вниз. Отверстия как не бывало.

Мистика какая-то. Впрочем, в тот же день, несколько позже, я узнал, в чем тут дело. Узнал и многое другое.

Г-н Сяо рассказал мне историю с носами. Оказывается, нос у них— вещь непристойная, его следует прятать, особенно от женщин. Исключение составляют врачи. Никто не осмелится назвать нос носом, разве что какой-нибудь мужлан из низов. Если же в разговоре никак нельзя обойти эту щекотливую тему, нос называют «верхним местом», то есть прибегают к эвфемизму. Даже дети обязаны помнить, что «нос» под строжайшим запретом, не то им грозит суровое наказание. Едва ребенку исполняется месяц, ему на нос надевают чехол.

— В чем смысл этого обычая?

— Право, не знаю. Но это давнишнее правило, которое поражает только новичков вроде тебя. Так сказать, этическая норма. Тех, кто не прикрывает «верхнее место», мы считаем недодухами, ибо обычай наш свидетельствует о высокой нравственности мира духов.

Его тирада не удовлетворила моего любопытства. Хотелось узнать первопричину столь странного обычая, о чем я не преминул ему сказать. Но он ответил, что не очень в этом разбирается; кажется, в какой-то книге сказано, будто нос — символ мужского начала, а прикрытие мужского начала — не что иное, как проявление способности человека испытывать стыд; вот, собственно, почему и прикрывают «верхнее место».

Попутно он мне объяснил появление слуги из отверстия в полу, заметив при этом, что в их мире хоть и нет восемнадцати кругов, как в буддийском аду, но два яруса все же наличествуют. В нашем ярусе, именуемом верхним, живут верхи общества. Нижний ярус отведен для низов. И ничего нет странного в том, что человек в ливрее, которого я только что видел, и комната, где я нахожусь, столь разумно приспособлены для выполнения своих функций.

Впрочем, в один раз всего не расскажешь. Он пообещал постепенно ввести меня в курс дела.

День любой...

До полудня г-н Сяо улаживал всякие формальности, связанные с моим прибытием. Он взял у местной администрации регистрационный лист, заполнил его и отправил курьера за «Удостоверением обитателя верхнего яруса», которые выдавались по представлению регистрационного листа. Помимо обычных пунктов (имя и фамилия, место рождения, возраст и пол) я обнаружил в регистрационном листе и нижеследующее:

Общественное положение — из верхов
Материальное положение — весьма солидное
Социальное положение — из шеньши [1]
Род занятий — в стадии выбора
Взгляды — ортодокс
Семейное положение — бездетный
Есть ли ответственный за сведения,
сообщенные выше,— да
Фамилия ответственного — Сяо Чжун-но

(Печать)

Несколько раньше я ознакомился с «Выборками из кодекса владеющих «Удостоверением обитателя верхнего яруса» и должен сказать, что в случае со мной г-н Сяо нарушил эти правила.

Глава первая, параграф второй: «Обитатели верхнего яруса должны принадлежать к верхам...»

Параграф четвертый той же главы: «Вышеуказанный выходец из верхов обязан обратиться в местную администрацию с просьбой его зарегистрировать. При этом ему надлежит внести в казну 500 юаней за право въезда в город, а также заполнить регистрационный лист... Для проверки точности сообщенных сведений власти высылают чиновников. Разрешение на пребывание в верхнем ярусе получает каждый, удовлетворяющий всем предъявленным требованиям».

[1] Традиционное сословие докапиталистического Китая, монополизировавшее большую часть государственного аппарата. Дословно шеньши — ученые мужи, облеченные властью.

Но я же не подхожу ни по одному пункту!

— Ты — дело другое,— пояснил он.

В обществе г-н Сяо пользуется авторитетом и может себе позволить роскошь поступать не по правилам. Любые другие просители, заполнив регистрационные листы, терпеливо ждут в специально отведенном месте результата проверки. Проверка — тонкая процедура, она может продлиться полгода, и все это время проверяемый фактически лишен свободы. Прежде всего чиновники проверяют доходы и недвижимое имущество просителя, интересуются, соответствуют ли манеры и поведение проверяемого лица манерам и поведению человека из верхов общества. После проверки по решению администрации просителю выдается удостоверение.

— А если решение отрицательное, не означает ли это, что проверяемого вообще высылают за пределы страны? — полюбопытствовал я.

— С тобой этого не случится.

— Я говорю не о себе.

— Если решение отрицательное, они поступают иначе: отправляют самозванца на нижний ярус.

Я попросил его рассказать о верхнем и нижнем ярусах подробнее.

— Весь мир,— начал он,— разделен на два яруса. Мы, обитатели верхнего яруса данной страны, общаемся с обитателями верхнего яруса других стран. Нижние ярусы поступают так же. Но, разумеется, тех и других разделяют государственные границы. Во время войны обитатели нижнего яруса, подданные каждого государства, выступают, движимые патриотическим чувством, плечом к плечу с соотечественниками из верхнего яруса.

— А что происходит на нижнем ярусе?

— Здесь моя осведомленность оставляет желать лучшего. Ни один из наших туда не спускается, разве только по причине деловых контактов.

— А почему бы всем не расселиться на одном ярусе?

Любезнейший г-н Сяо внезапно посерьезнел, выпрямился и произнес тоном лектора, выступающего перед широкой аудиторией:

— История вопроса насчитывает несколько столетий. Обратись к ее анналам, и тебе все станет ясно. В эпоху феодализма простой народ, подобный нам, обитал на нижнем ярусе. Мы совершили революцию, свергли аристократов, узурпировавших верхний ярус, и сами забрались наверх. Так мы обрели равноправие, свободу и славу. Наши ближайшие предки оставили нам в наследство свое величие. Однако же... однако же низы... не могу тебе сказать точно... за последние века... этнологическая Комиссия в результате кропотливых исследований доказала, что причины, в силу которых низы остаются низами, коренятся в самой их природе. Низы грубы, неотесанны и тому подобное. На основании доклада Комиссии правительство расселило духов на двух ярусах. Поступи оно так, как ты предлагаешь, и помести всех вместе, верхи общества постоянно наталкивались бы на отвратительные сцены. К тому же возникла бы опасность «онизения» верхов. Все эти обстоятельства и побудили правительство создать два яруса. Впрочем, так даже удобнее.

— А как насчет личности?

Он покачал головой.

— Проблема личности меня не беспокоит. Меня вообще не волнует социология. По этому поводу мне сказать нечего. Я только литературовед.

Позже я разыскал «Новейший Свод городских законов в одном томе». Для новичка это было весьма полезное чтение. Некоторые параграфы я выписал.

Параграф пятый: «Обитатель верхнего яруса должен принадлежать к верхам».

Параграф шестой: «Верхи обязаны быть воспитанными, обладать спокойным и уравновешенным характером, в одежде и украшениях ценить строгость и целесообразность... не следует употреблять бранных слов... тот, кто обнажает нижнюю часть тела или «верхнее место», подвергается наказанию независимо от того, преднамеренным или случайным было совершенное им деяние».

Далее в качестве дополнения перечислялись основные принципы восхождения низов на верхний ярус.

Статья третья: «Наличие особо важного дела, требующего безусловного пребывания лица из низов на верхнем ярусе, должно быть засвидетельствовано одним из его обитателей, а само лицо обязано обратиться к местным властям с просьбой выдать ему временное свидетельство, которое является документом для восхождения на верхний ярус».

Статья 399: «Взойдя на верхний ярус, лицо, имея при себе свидетельство, обязано обратиться в полицию за спецодеждой. Переодевшись и приведя себя в надлежащий вид, лицо может передвигаться по верхнему ярусу, не задерживаясь и не глазея по сторонам».

Статья 555: «Необходимо предварительно вымыться и пройти осмотр. Признанное чистым, лицо допускается на верхний ярус».

«Без надобности не разговаривать, своеволия не допускать, не появляться в парках и других общественных местах...»

И далее: «Нарушившие данный закон приговариваются к тюремному заключению на разные сроки или к более суровому наказанию согласно Уложению о наказаниях».

После обеда Сяо Чжун-но потащил меня на прогулку. Неестественно румяные мужчины бродили по улицам в элегантных, хорошо отутюженных фраках. Женщины выглядели великолепно. У входов в лавки висело множество объявлений и реклам. Улицы были покрыты асфальтом шириной около чжана [1] — ни дать ни взять Дамалу в Шанхае!

Завернув за угол, мы очутились в небольшом переулке.

Мое внимание привлекла медная дощечка, на которой каллиграфическим почерком в древнем стиле было начертано:

МОЧИТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО

Сия надпись есть почтительнейший дар
профессора лингвистики местного Университета
Ли Ян-бина.

(Печать)

Впереди я увидел две двери; на одной из них было написано: «Гигиенический пункт для женщин», на другой — «Гигиенический пункт для мужчин».

Г-н Сяо разъяснил мне, что это место, где облегчают носы. Рядом с первыми красовались еще две надписи: «Место отдохновения для женщин» и «Место отдохновения для мужчин». Сяо снова пришел мне на помощь. Так у них в соответствии с нормами эстетического благозвучия назывались уборные.

Уже было одиннадцать, когда мы с г-ном Сяо и его крошкой приступили к ужину.

[1] Чжан — 3,2 м.

Рано утром явилась крошка. Она уже оправилась после перенесенного потрясения.

Невеста и жених были крайне возбуждены; они обменивались друг с другом непонятными фразами, видимо, таящими особый, сокровенный смысл; их души, казалось, слились в единое целое, точно клей с резиновой подметкой.

— Вы, наверно, очень давно знакомы,— заметил я.

В ответ они вдруг стали хохотать, как безумные, а крошка г-на Сяо лепетала:

— Простофиля... простофиля...

Г-н Сяо утер слезы и наконец перевел дух:

— Мы знакомы с крошкой с прошлой субботы.

Как же это так?

— Не торопись, завтра все узнаешь.

Принесли визитную карточку.

— Немедленно проси.— Сяо Чжун-но встал. И ко мне:— Встретим его. Неплохо бы тебе с ним подружиться.

Следуя за хозяином в гостиную, я заглянул в визитную карточку.

Удостоверение
Регистрационный номер р. 1882
Специалист по декадентской литературе
СЫМА СИ-ДУ

Г-н Сыма был в фиолетовом фраке и в светло-зеленых брюках. Его лицо было обсыпано белой, точно рисовая мука, пудрой, а шея была почему-то черной. Чжун-но познакомил нас.

— Я, Сыма Си-ду, намерен подружиться с господином Ханем.

Мы обменялись рукопожатием.

— Привет господину Сыма! — воскликнула крошка г-на Сяо, когда мы вошли в комнату.

— Дабы не отстать от современности, желаю крошке господина Сяо одряхления нервов! — напыщенно ответствовал Сыма Си-ду.

Завязался светский разговор.

Не помню уж, каким образом разговор зашел о выборе профессии. Сяо Чжун-но похлопал меня по плечу:

— Было бы недурно подобрать специальность и для господина Ханя.

— Пока я решительно ничего не могу придумать,— защищался я.— А чем ты занимаешься?

— Я литературовед. Добрая половина всех, кто пришел после меня, литераторы.— Чжун-но вытащил папиросу, зажег спичку и продолжал: — Мне думается, ты тоже пойдешь по этой стезе. Главное — выбрать правильное литературное направление. Твое мнение, Сыма?.. Тьфу!

Зажженная спичка обожгла ему палец.

— Но я в литературе профан.

— Ладно, не скромничай. Если ты согласен, я улажу все формальности с регистрацией.

Да-да, регистрация. Это слово я прочел на визитной карточке Сыма. Стало быть, это называется «регистрацией».

Писатели обязаны зарегистрироваться в Министерстве просвещения, для чего необходимо поручительство крупного литератора. Убедив-

шись на соответствующих экзаменах в достоинствах претендента, официальные лица выдают ему искомое удостоверение на право публикации своих книг. Лица, не окончившие высшие учебные заведения, но пожелавшие стать известными литераторами, либо те, чей талант засвидетельствован справкой «Простолюдинов», также могут добиться удостоверения.

— Простолюдинов?

Сяо Чжун-но рассмеялся:

— Так у нас называют самых крупных предпринимателей.— И добавил:— О твоей профессии мы еще поговорим.

— Надо подумать. Не будем торопиться.

Вскоре мы разговорились с Сыма Си-ду. Он был духом общительным и после обеда поведал мне историю своего нелегкого пути.

По его словам, он обладал талантом декадента и уже в пять лет твердо решил стать специалистом по декадентской литературе. Но, к несчастью, Сыма обладал завидными здоровьем и силой; чтобы идти в ногу с веком, он должен был во что бы то ни стало истощить свою нервную систему, но система никак не желала истощаться. Сыма был неплохим спортсменом. Пришлось немедленно отказаться от спорта. Затем он ухватился за идею систематического недосыпания. На эту мысль его натолкнули врачи. Ночные бдения менее чем за год увенчались ощутимым результатом: нервная система была несколько подорвана. Исподволь он начал пить. Но гаоляновая водка оказалась слишком едкой, коньяк слишком горьким, от пива пучило живот. Он перешел к сладким винам и наконец к спирту. Немалое значение придавалось «большому маку», то есть опиуму, с которым Сыма познакомился отнюдь не через поэзию Бодлера или Артюра Рембо. Он считал курение опиума важным звеном в цепи проводимых мероприятий. Правда, его тошнило, но огромным усилием воли он заставил себя продолжать начатое дело. Труды девяти с половиной лет завершились блестящим успехом.

— Верю, специалист-литератор, конечно, должен обладать талантом,— говорил он с чувством морального превосходства над окружающими.— Но преуменьшать значение длительного и трудного процесса воспитания характера тоже нельзя. Разве я тому не пример?

Крошка г-на Сяо сочувственно вздохнула:

— Да, нелегко стать литературоведом!

Сяо Чжун-но оживился и заявил, что хочет заказать ужин. Затем он позвонил по телефону и пригласил некоего Хэй Лин-лина.

— Он тоже литературовед,— объяснил он мне.

Около семи часов предо мной положили визитную карточку Хэй Лин-лина. Там было написано: «Специалист по новейшему символизму».

— Господин Хэй, почему с таким опозданием?

— Ибо дух карандаша моего мгновение тому погружался в очаровательную навозную кучу.

Я решил, что это шутка, но те, остальные, сохраняли полнейшую невозмутимость. К счастью, я не люблю смеяться. Иначе была бы совершена вторая бестактность.

Чжун-но представил нас друг другу. Г-н Хэй воззрился на меня:

— Уши господина Ханя способны заворожить душу, хотя они и не похожи на куриные перья, даже будучи квадратными, но танцуют они лучше, нежели соленая утка.

Я не ответил. Кто знает, хвалил он меня или ругал.

— Лично я этого не заметил,— бросил г-н Сыма.

— А почему? Ибо, понимаешь ли, репа на кошачьей голове демонстрирует тонкость соловья. Теперь ясно? Ведь это ароматные узоры, выгравированные на ящерице.

— Да, в самом деле. Теперь ясно,— сказал Си-ду.

Лично я из сказанного Хэй Лин-лином не понял ни слова и очень рассчитывал, что в ответах Сяо и Сыма услышу что-нибудь ободряющее. Но, увы, этого не случилось.

День любой...

Во второй половине дня г-н Сяо и его крошка отправились в кино. Я считал неудобным идти с ними, да они меня и не приглашали.

— Хань, ты извини нас...

— О чем речь. Я бы все равно не пошел.

Когда они дошли до дверей, он обернулся:

— Если станет скучно, разыщи господина Сыма. В письменном столе найдешь адрес. Или что-нибудь почитай.

Посыльный принес для библиотеки г-на Сяо стопку новинок. Наугад я выудил оттуда одну. Это оказался сборник стихов Сыма Си-ду «Курю опиум и стремлюсь к прекрасному». Я прочел несколько стихов и ничего не понял. Тогда я взял газеты, но и там обнаружил много непонятного: придется спросить у Сяо. На полосе сверху я натолкнулся на сообщение о литературной премии.

ВРУЧАТ ЛИ ВАН МИН-ДЭ ПРЕМИЮ ГОДА?!

Премия научного общества будет вручена на сессии после голосования. Согласно полуофициальным сообщениям, члены Комитета склонны присудить ее автору повести «Кризис», ученому-литератору Ван Мин-дэ. Корреспондент пишет: Ван Мин-дэ обеспечена поддержка простолюдина Янь Цзюня. Идеология автора книги крайне ортодоксальна. Нашим соотечественникам писатель хорошо известен. Его новая повесть «Кризис» является бестселлером года. Если премия будет вручена господину Вану, верхи всего мира проникнутся уважением к проницательности членов Комитета.

Знаменитую книгу мне удалось разыскать на книжной полке.

Повесть я прочел, однако особых достоинств в ней не обнаружил. Вот ее содержание. Под натиском импорта отечественная пряжа упала в цене и не находила сбыта. Крупные фабрики были остановлены, обнаружились тенденции серьезного кризиса. Простолюдин такой-то (то бишь, крупный предприниматель) воззвал к верхам и низам, пытаясь пробудить в них патриотические чувства и убеждая пожертвовать своим достоянием во имя спасения родины и возрождения фабрик хлопчатобумажной пряжи. Этот простолюдин был готов себе в убыток снизить цены на экспортные товары, чтобы добиться восстановления прежней здоровой конъюнктуры. От непосильного труда он надорвался и умер, соотечественники, даже низы с их дурным нравом, оплакивали кончину великого гражданина... Автор откровенно любовался своим блистательным героем. Был он восьми чи и пяти цуней [1] ростом. Прочел все на свете книги, постиг языки разных народов, проявил недюжинные способности к науке, собрал богатый урожай на ниве художественной литературы. Преуспел он также в военном деле, сильной его стороной был спорт, он мог за двенадцать минут проплыть 1200 морских миль. С успехом пилотировал самолет, рисовал, писал стихи, а также мог на скаку выстрелом из пистолета поразить летящую муху... Таким было это выдающееся произведение.

В газете я вычитал еще одно сообщение: «Премия по антропологии присуждена». И подзаголовок: «Ее вручат И Чжэн-синю». Далее газета знакомила читателей с новым лауреатом и его заслугами. И Чжэн-синь доказал, что мозг индивидуума из низов имеет на 2 клетки «А» меньше, чем мозг представителя верхов, и, стало быть, удел первого, вследствие

[1] Чи — 0,32 м, цунь — 3,2 см.

необратимости явлений,— вечно оставаться внизу. У способного индивидуума на $^1/_5$ клетки «А» больше, чем у обычного субъекта, а если сравнить его с индивидуумом из низов, то разница будет еще заметнее. У трех простолюдинов на $^1/_4$ клетки «А» больше, чем у обычных субъектов. Низы, как правило, лишены добродетелей; те же из них, кто ими обладает, несомненно связаны кровными узами с верхами. Достоинства верхов и низов находятся в прямо пропорциональной зависимости от количества клеток «А», поэтому таланты всегда отличаются наивысшими добродетелями.

Была еще одна крупная новость, на которую я не обратил внимания. Речь шла об истечении сроков полномочий Генерального Президента и об его переизбрании. Подобные вещи никогда не вызывали во мне интереса. Я достаточно далек от них.

Уже было одиннадцать часов. Не дождавшись г-на Сяо, я вернулся к себе. Мне хотелось спать.

День любой...

Во время завтрака зазвонил телефон. Попросили Чжун-но. По мере разговора лицо его мрачнело.

— Что?.. Что?.. Это правда?..— Повесив трубку, он пробормотал: — Какая жалость! — и снова принялся за еду. Вид у него был задумчивый и печальный.— Один мой приятель покончил с собой,— сказал он, не ожидая моего вопроса.

Самоубийцу звали Ян. В прежние времена семья его жила в достатке, но с годами все переменилось. Когда родился господин Ян, дом его отца находился в плачевном состоянии, но семья оставалась в верхах общества. Получить образование Яну не удалось, он окончил среднюю школу и на этом остановился, ибо закон гласит: «В высшее учебное заведение принимаются лица, внесшие налог в размере свыше пятидесяти юаней...»

— Что значит «свыше пятидесяти юаней»? — перебил я.

— Э, да, да,— сказал он.— Сумма налога пропорциональна размеру домашнего имущества претендента: владелец крупного состояния выплачивает соответственно и больший налог.

— То есть?..

— Э, не перебивай. Об этом мы еще поговорим... Так вот...

И он продолжал.

Бедняге Яну поступить в университет не удалось, и в доме все пошло прахом. Уйма детишек, а служба не обеспечивает семью. На работу с более высоким жалованьем не берут: нет высшего образования. Протекции тоже нет, и некому замолвить за него словечко. В довершение ко всем бедам недавно за какую-то оплошность его уволили. На прошлой неделе он взял у г-на Сяо взаймы двадцать юаней. Положение стало угрожающим. Один неосторожный шаг — и все кончено. Пронюхай кто-либо о его бедственном положении и донеси куда следует, административные власти, не задумываясь, отправили бы его в нижний ярус. А кто это перенесет? Такой позорный конец?! Вот почему Ян предпочел наложить на себя руки.

— Наложить на себя руки,— грустно повторил Сяо Чжун-но.— А ведь он герой: умер, но не поставил себя на одну доску с низами.

Меня интересовало другое: оказывается, в мире духов тоже существует смерть. В таком случае, куда держат путь умершие? Может быть, они снова возвращаются в солнечный мир?

— Этого не знает никто.

Вечером г-н Сяо сообщил мне, что через три дня собирается пригласить на обед известного в стране общественного деятеля.

— Я литературовед,— разглагольствовал он,— и мне чужд социаль-

ный инстинкт. Я не стремлюсь якшаться со знаменитостями. Но для дружбы с этим простолюдином есть особая причина. Я, понимаешь ли, его поручитель, и кроме того, в издательских кругах он пользуется неограниченной властью — довольно одного его слова, чтобы сбыть любую книгу или, наоборот, задержать ее продажу.

Он показал мне именной список приглашенных. С некоторыми из них я уже был знаком или слышал о них. Список открывал, разумеется, Лу Юэ-лао. Далее следовали Хэй Лин-лин, Сыма Си-ду, Ван Мин-дэ, И Чжэн-синь.

День любой...

Весь день г-н Сяо что-то писал. Он сказал, что завтра мы посетим учебные заведения города.

А пока упомяну о двух газетных сообщениях. Одно было набрано крупным шрифтом. Речь шла о вероятном преемнике Генерального Президента. Сообщалось, что Янь Цзюнь желал бы видеть на этом посту Дунфан Даня, Лу Юэ-лао и Пань Ло, напротив, склоняются к кандидатуре Ба Шань-доу, лидера партии восседающих. Далее следовали разъяснения: «Простолюдины Лу Юэ-лао и Пань Ло выступают сообща, и поэтому Янь Цзюню вряд ли удастся удержать свою позицию; в установленное законом время простолюдин Янь будет вынужден отказаться от своего кандидата». Во втором сообщении анонсировалась публичная лекция доктора юридических наук на тему: «Основные положения 42 комментария к 73 параграфу 6 главы Конституции». Лекция состоится сегодня в помещении городского университета.

Оба сообщения требовали разъяснений.

Во-первых, что такое партия восседающих и, во-вторых, почему Генерального Президента не выбирают, а выясняют, к какой кандидатуре склоняются простолюдины?

Второе сообщение вынудило меня взять текст Конституции и найти в ней соответствующий комментарий к соответствующему параграфу 6 главы. Там я прочел следующее:

«Каждый, проживающий на территории политического района свыше одиннадцати месяцев и четырех дней, обязан проникнуться чувством глубокой преданности к данному району и считать своим долгом:

1. пропагандировать превосходство данного района перед другими и скрывать от них омерзительные стороны жизни, наличие которых может бросить тень на данный район;

2. защищать интересы простолюдинов;

3. относиться к аборигенам данного района как к братьям, радушно и гостеприимно;

4. пропагандировать искреннюю любовь к данному району;

5. при возникновении конфликта между обитателями данного района и иноземцами считать своим долгом идти на самопожертвование и сражаться вплоть до вторжения на территорию пришельца во имя защиты данного политического района;

6. . . . . .»

Да, было над чем подумать.

Вечером я засыпал г-на Сяо вопросами. Он заявил, что все дело в методе. По сути все одинаково, будь то выборы Генерального Президента в их мире или избрание депутатов в представительские органы в мире людей.

Его логика (Logic) была такова: обитатель района обязан любить данный район. Каждый находящийся в районе свыше одиннадцати месяцев и четырех дней должен считаться обитателем данного района. Поэтому каждый находящийся в районе свыше одиннадцати месяцев и четырех дней должен любить данный район.

— Разве вы в мире людей не любите свою страну? — сказал он.— Любовь к своей стране естественна. В нашей Конституции записано: не «страна», а «данный политический район». Заменены лишь несколько иероглифов. Не более того.

— Но почему именно одиннадцать месяцев?...

— Вот, например, у вас, в мире людей, закон гласит, что гражданином данного государства считается тот, кто прожил на его территории пять или десять лет. У нас дни короче, только и всего.

Тут я вспомнил непонятный термин «партия восседающих». Он сказал, что так называется парламентская партия. А всего в Парламенте две партии: партия восседающих и партия корточкистов.

Странные названия!

— Ничуть,— бросил г-н Сяо.— Названия у партий разные, и Парламент соответственно разделен на два лагеря, но политическая платформа тех и других почти одинакова и основана на политике простолюдинов.

— В таком случае, какая нужда в двух группировках?

— А вот какая. Политическая программа у них одна, это верно, но в быту кое-какие различия есть. Скажи-ка, в месте отдохновения для мужчин ты восседаешь на стульчаке или присаживаешься на корточки?

— Присаживаюсь. Но что из этого?

Любезнейший г-н Сяо рассмеялся:

— В таком случае ты должен поддерживать партию корточкистов. Члены этой партии призывают соотечественников совершать естественные отправления, сидя на корточках, ибо такая поза наилучшим образом соответствует принципам санитарии и гигиены. Партия восседающих, напротив, склоняет граждан к восседанию на стульчаке, утверждая, что требованиям санитарии и гигиены отвечает именно эта поза. Нынешний Генеральный Президент является лидером партии корточкистов. После вступления на высокий пост он реконструировал общественные и частные уборные страны, приспособив их к нуждам корточкистов. Первой акцией будущего кабинета министров партии восседающих будет несомненно новая реконструкция уборных для создания нормальных условий восседающих на стульчаке.

Выдержав паузу, он добавил:

— И, пожалуйста, Хань, не удивляйся. Я не вижу решительно никакой разницы в парламентской системе у нас и в мире людей.

День любой...

После полудня мы посетили государственный университет литературы и искусства и государственный городской университет.

Профессора и студенты университета литературы и искусства славились чудовищной распущенностью. При входе в сие заведение мы сразу же натолкнулись на лозунги, занимавшие все стены и заборы и гласившие: «Жизнь служителя искусства — раскованность», «Даешь жизнь не по правилам!», «Раскованность — символ современности!» На выбеленной стене были выписаны огромные квадратные черные иероглифы: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ...»

В сопровождении служащего университета мы вошли в актовый зал. Вокруг кафедры в ужасающем беспорядке стояли стулья. Но не только они. Были здесь невысокие кресла, скамейки, диваны, походные койки, узкие табуретки, похожие на домино, глубокие кресла из коричневого сандалового дерева, большие тяжелые камни. Пол был усеян работами Родена из «Собрания гравюр XIX века», репродукциями картин. В других аудиториях было то же самое. Студии почти не отличались от аудиторий. Во внутренних двориках и в других местах были разбросаны книги.

— А теперь,— пригласил сопровождающий,— попрошу господ Сяо и Ханя в комнату нашего ректора.

Ректором был г-н Чжао Шэ-линь, крупный мастер современного искусства. На дверях его комнаты висела бумажная табличка, на которой было написано: «Милости просим».

— Пожалуйста, входите, наш ректор, инициатор раскованной жизни, рад приходу гостей. Правда, наш ректор только что вышел, о чем я очень сожалею.

Войдя внутрь, мы стали свидетелями следующей картины. Ватные одеяла свисали на пол с двух кроватей. Стулья были опрокинуты. На полу ножками кверху лежал письменный стол из персикового дерева. Зато этажерка стояла так, как надо. Правда, книг на ней не было: нижнюю полку украшал ночной сосуд. На одеяле лежала палитра и валялись крайне несвежие носки в полоску.

Между тем радушный служитель университета продолжал:

— Наш ректор по утрам целых три часа приводит комнату в порядок, он отдается этому делу всей душой.

Мы направились к общежитиям. По обеим сторонам аллеи стояли дома, где жили студенты. Нам в глаза бросился номер дома. «966.740.021».

— Ну и ну! Сколько же здесь домов! — изумленно воскликнул г-н Сяо.— Ведь только на Z больше 900 миллионов номеров.

На самом деле, разъяснил наш сопровождающий, домов немного.

Рядом с домом с немыслимым номером был другой — «Цзе-2»; соседний с ним — «R-5642», далее следовал дом под номером «Чжоу-11».

— Это идея нашего ректора. Он считает, что расположение домов по порядку удручает своим однообразием.

— Сколько же у вас домов в действительности?

— Двадцать четыре корпуса, включая столовую, гигиенические пункты и места отдохновения.

Городской университет почти ничем не отличался от учебных заведений в мире людей. Любопытны были названия факультетов. Гуманитарные факультеты ничем не отличались от наших, зато прикладные дисциплины включали в себя, кроме техники, агрономии и медицины, также науку по воспитанию местной администрации, науку по воспитанию добродетелей (специально для лиц женского пола), науку по выращиванию спортивных чемпионов, а также коммерческий факультет.

В остальном ничего примечательного, кроме уведомления на доске объявлений о заседании студенческого совета:

«Установлено, что студент факультета общественных наук.... в этом семестре не внес плату за обучение; согласно докладу специальной Комиссии, вышеназванный студент... внести плату безусловно не может. Следовательно, студент...— представитель низов, обманным путем пробравшийся на верхний ярус. Пятьдесят второе внеочередное заседание студенческого совета в своей резолюции постановило просить администрацию университета во избежание опасности «онизения» личного состава вышепоименованного студента... из университета исключить, объявив об этом громогласно, дабы обратить на данный факт всеобщее внимание».

День любой....

С утра г-н Сяо был занят подготовкой к обеду; слуги, обычно находившиеся на нижнем ярусе, взбежали на верхний, чтобы прислуживать на приеме.

Первыми гостями были рекордсмен по прыжкам через барьер ни-

зиной в 220 метров У Цзы-цян и Мао Юань, специалист по упражнению с мечом; оба они были зарегистрированы правительством.

Позже г-н Сяо объяснил, что спортсмены находятся на содержании государства, их задача — прославлять район во время межрайонных состязаний. Истинные патриоты! Всегда занимая первые места, они возвеличивают свою державу.

Не прошло и трех минут после их появления, как, задыхаясь, ввалился очередной гость.

— Я увидел вас издалека,— обратился он к рекордсменам,— поднажал, но догнать не смог.

На его рубашке красовался номер 250, голову украшал шлем для игры в бейсбол, в руках он нес ракетку из стальных нитей, а на ногах были надеты туфли для баскетбола. Это был «специалист-комментатор соревнований с мячом и по совместительству вольнослушатель городского университета». Таков был его полный титул. По слухам, этот дух никогда не занимался спортом, он специализировался на его комментировании. Поэтому он был непременным участником любой спартакиады, где проходили соревнования с мячом. Позже в газетах появлялись спортивные заметки, где отмечалось, что имярек не владеет искусством распасовки, а другой игрок, напротив, мастер своего дела.

Этот дух тоже был зарегистрирован правительством, хотя жалованья от него не получал. Имени его я не запомнил, а его визитная карточка у меня не сохранилась.

Вскоре явились мои старые знакомые Сыма Си-ду и Хэй Лин-лин. Лицо г-на Сыма было серым, руки совсем зелеными.

— Господин Хань,— обратился он ко мне,— вчера я страдал от бессонницы. Всю ночь курил опиум и писал стихи. Я достиг одряхления нервной системы и неумолимо приближаюсь к могиле. Я протягиваю к ней руки.

Хэй Лин-лин, как обычно, выражался туманно:

— Господин Хань, сегодня ты другой, ты хлопаешь крыльями в форме замка по душе стакана для полоскания рта у соловья с осадком ста душ.

Я уставился на него.

— Непонятно, гм, ибо лимон кричит ночью при соловьях.

Между тем гостей становилось все больше. Почти все духи были мне незнакомы. Имя И Чжэн-синя я где-то встречал.

Окруженный большой группой гостей, антрополог разглагольствовал о нетождественности таланта и заурядности. Им изобретено отражательное зеркало, которое он надеется в скором времени внедрить в производство. Зеркало способно подсчитывать количество клеток «А» в мозгу данного индивидуума и определять степень талантливости и добропорядочности последнего с тем, чтобы в конечном счете делать выводы о его «склонизме». Профессор пояснил, что принцип действия зеркала основан на использовании ультрафиолетовых лучей. Вероятно, месяца через три он сможет провести заключительный эксперимент, основываясь на им же открытой формуле: число отраженных единиц находится в прямо пропорциональной зависимости от суммы клеток «А». Для решения формулы следует первую величину подставить вместо соответствующего иероглифического эквивалента. К сожалению, вздохнул ученый, он не очень сведущ в математике, и поэтому всяческие формулы вообще не вызывают у него энтузиазма.

В заключение г-н И Чжэн-синь заверил слушателей, что его зеркало сможет также доказывать необходимость и целесообразность различных инстинктов и свойств индивидуумов. Так, вскоре будет подтверждена идея о том, что прикрывание носов — проявление врожденной способности индивидуума испытывать стыд.

В оживленной беседе осталось почти незамеченным появление Чжао Шэ-линя, знатока позднего импрессионизма, ректора университета литературы и искусства, а также глашатая раскованной жизни. Хотя в его комнате всегда царил невероятный беспорядок, о его одежде этого сказать было нельзя: принадлежность к верхам обязывала.

Познакомился я еще с одним духом, старшим братом крошки г-на Сяо, Жао Санем, личностью довольно известной, секретарем местной политической администрации.

В 12 часов без 10 минут в гостиную вбежал полицейский чин и, став навытяжку, гаркнул:

— Докладываю! Простолюдин Лу Юэ-лао прибыл!

Стало тихо. Разговор и смех прекратились. Одни поспешно стряхивали с одежды пепел, другие поправляли галстуки и приглаживали на голове волосы. Торжественно и строго, с выражением вежливой почтительности, быстрыми шагами, но не теряя при этом достоинства, свойственного верхам, гости устремились к воротам, куда подкатили пятнадцать машин.

Наш друг г-н Сяо скромно подошел к первой машине и открыл переднюю дверцу. Показался Лу Юэ-лао. На вид ему было чуть больше сорока лет. Поджарый. Сойдя с машины, он поклонился гостям и всем пожал руку. Пожал и мне. Рука у него была горячая, как огонь. Держался он на редкость непринужденно. Истинный характер простолюдина!

Захлопали дверцы других машин. Во второй находились личный инженер простолюдина и два его секретаря, в остальных тринадцати машинах прибыло сто телохранителей.

Слуги г-на Сяо мгновенно расстелили узкий и длинный ковер от ворот до зала; на ковре было выткано: «Да здравствует простолюдин Лу». Улыбаясь, Лу Юэ-лао проследовал по ковру в зал.

— Э,— говорил он на ходу,— у нас равноправие, я всего лишь простолюдин, к чему такие церемонии, ха-ха!..

— Сие есть проявление нашего уважения к столпу района,— быстро проговорил г-н Сяо.

— Не привык я ко всему этому, и баста. Ну, спрашивается, на кой мне эти телохранители, а поди ж ты, сверху нажимают, пусть, говорят, торчат тут на всякий случай, и все тут! Я привык к простой жизни. А? Верно?

— Правительство,— вставляет Жао Сань,— прониклось глубоким пониманием того факта, что в лице простолюдина Лу имеет крупного государственного деятеля, поэтому оно выделяет людей для личной его охраны.

— Ну, брат, и хватил же ты, ха-ха-ха!

Тут все заговорили наперебой, отмечая истинную простоту характера Лу Юэ-лао, отсутствие в нем высокомерия и чванства, и это при столь высоком общественном положении!

Присутствующие стали в круг, а в середине зала с метлой в руках расположился высокий гость. Тридцать секунд столп района подметал идеально чистый пол, после чего метлу унесли. Кто-то из гостей воздел вверх правую руку и прокричал:

— Простоте характера слава, слава, слава!

И все неистово захлопали в ладоши.

Во время приема Лу Юэ-лао сидел за чайным столиком и беседовал с Жао Санем. На столе были чай, папиросы, спички.

Неожиданно Лу Юэ-лао нажал кнопку звонка. Вошел лакей.

— Пить,— приказал он.

Лакей обеими руками поднес чашку к его рту.

Через некоторое время вызов повторился.

— Стряхни с рукава пепел!

Вскоре Лу Юэ-лао поднялся. Перед ним снова расстелили ковер. Гости проводили крупного государственного деятеля до ворот, и пятнадцать машин, напоминая своим видом сколопендру, тронулись с места.

Когда гости разошлись, я поинтересовался, в чем смысл подметания полов. Оказывается, этот акт выражает простоту и демократизм Лу Юэ-лао. Согласится ли богач подметать пол? Но в основе политики района лежат идеи простолюдинов, и, следовательно, богачи должны быть просты и демократичны. Ритуал соблюдается на каждом крупном приеме.

— А ковер?

— Ковер? Хочешь в обществе иметь вес, поддерживай связь с простолюдинами. Я связан с Лу. Каждый встречает своего простолюдина точно так же. Это домашний ковер... Его держат даже в доме Генерального Президента.

Вечером г-н Сяо отправился с крошкой смотреть звуковой фильм.

День любой...

— Сегодня мы поедем обедать к Жао Саню, а потом отправимся в любопытнейшее местечко,— сказал г-н Сяо.

— Куда именно?

— Не задавай лишних вопросов. Не пожалеешь.

Он заглянул в газету и вдруг вскочил как ужаленный.

— Ба! Да ведь сегодня с утра гражданская панихида по профессору Вэню!

— А это кто?

— Почтенный профессор Вэнь — ученый с мировым именем. Его называли всемогущим. Он написал уйму книг по самым разным отраслям знаний. Я не знаю ученых крупнее его.

После такой рекомендации мне страшно захотелось побывать на панихиде.

Г-н Сяо заверил меня, что это легко устроить.

— Нет, ты только подумай,— сокрушался он,— забыть о панихиде! — И он в сердцах хлопнул себя по лбу.— Поехали!

Машина была подана незамедлительно.

В актовом зале городского университета собралось около 300 тысяч духов, в том числе Генеральный Президент и все три простолюдина.

Маститые ученые, простолюдины и Генеральный Президент произносили на редкость однообразные и шаблонные речи о славе и величии профессора Вэня.

Пожалуй, на общем фоне выгодно выделялся доклад, посвященный жизни и деятельности покойного. Профессор Вэнь был поразительным эрудитом, ибо прадед его представлял верхушку верхов общества. В детстве будущая знаменитость получила разностороннее образование, равное нынешнему университетскому. В двенадцатилетнем возрасте Вэнь написал докторскую диссертацию, одобренную покойным великим вождем простолюдинов Дун Хаем и принесшую ему искомую степень. До самой смерти Вэнь был профессором городского университета. Наиболее известными считаются десять его трудов:

1. От абсолютизма к теории относительности.
2. Подлинный смысл политики простолюдинов.
3. Учение о физиогномии Маи.
4. Начальное пособие по баскетболу.
5. Компендиум по кулинарии.
6. Общий очерк философии.
7. Ночная песнь пустыни (сборник стихов).

8. Критическое исследование восьмидесятиглавого любовного романа «Лавка пудры и помады»[1].

9. Способы лечения заболеваний кожи.

10. Рассуждение об «Абсолюте».

Было распродано свыше пятидесяти тысяч экземпляров его книг, особенно третьей, восьмой и десятой.

К одиннадцати часам панихида закончилась. Я почувствовал голод и стал торопить Чжун-но.

— Куда ты торопишься?

— Я голоден.

Г-н Сяо предостерегающе поднял руку и приказал мне замолчать. В машине он объяснил:

— Хорошо, что тебя никто не слышал. Ты был на грани катастрофы.

— Не понимаю.

— Ты когда-нибудь слышал, чтобы добропорядочный верхнеярусник обедал в одиннадцать часов? Любой посторонний вправе сделать вывод, что ты не привык к обычаям верхов; тобой заинтересуется полиция и сыщики: не самозванец ли ты из нижнего яруса? Я уж не говорю об этической стороне вопроса. Ты живешь в моем доме, и могут заподозрить, будто я не накормил тебя досыта утром. В следующий раз...

Шофер на мгновение повернулся к нам, и мой приятель замолчал, боясь, что тот его услышит.

На обеде у Жао Саня, кроме нас, была возлюбленная г-на Сяо, а также Сыма Си-ду со своей возлюбленной.

После обеда Жао Сань предложил, не мешкая, трогаться в путь.

— Но куда же, в конце концов? — допытывался я.

— Сам все узнаешь,— ответил г-н Сяо.

Но Жао Сань сжалился надо мной:

— Поедем искать для меня возлюбленную, ибо я теперь один.

— Что такое?

— Элементарно,— бросил г-н Сяо.— У него нет крошки, сегодня он ее получит. Там ты все поймешь... Куда поедем?

Последнее относилось к Жао Саню.

— В «Согласие». Многие хвалят.

Четверть часа спустя машина остановилась у ворот, на которых красовалась табличка: Дом знакомства «Согласие».

Нас проводили в большой зал, напоминающий зал заседаний, где уже находилось несколько десятков прекрасно одетых, красивых молодых женщин с номерами на груди. В центре зала возвышалась трибуна, где восседал старик с молотком в руках. Перед ним лежала куча деловых бумаг.

Жао Сань извлек из кармана записку, передал ее старику на трибуне и стал медленно обходить зал.

— Номер 13,— произнес он.

— Номер 13,— повторил распорядитель и, взяв бумагу Жао Саня, громко объявил: — господин Жао Сань выбрал номер 13. Коротко представляю господина Жао:

Жао Сань, гражданин данного политического района, 32 лет, окончил государственный городской университет по курсу делопроизводства высших чиновников. В настоящее время служит секретарем местной политической администрации, жалованье 613 юаней 4 мао 6 фэней в месяц, прочие ежемесячные доходы составляют сумму в 1920 юаней. Дом господина Жао обставлен мебелью из красного дерева и черной березы. Много ковров, зубных щеток и полотенец.

1 Роман конца XVIII века. Автор неизвестен. Первое издание относится к 1797 году.

Господин Жао состоит в родстве с простолюдином Лу Юэ-лао. Названная младшая сестра мачехи жены его старшего брата вступила во второй брак с двоюродным братом дяди простолюдина Лу. Господин Жао желает ежемесячно расходовать со своей возлюбленной 10 тысяч юаней. Кроме взноса в сумме 23.623 юаня 4 мао при заключении брачного контракта господин Жао желает выделить 60 тысяч юаней в качестве свадебных денег.

Став его возлюбленной, барышня У будет всенепременнейше счастлива. Советую не упустить случая.

Закончив речь, распорядитель повернул голову в сторону номера 13, однако номер безучастно молчал.

— Вы согласны? — спросил старик.

Номер 13 отрицательно покачал головой.

— Почему?

— Не люблю политиков, предпочитаю литераторов.

— Господин Жао, может быть, посмотрите еще? Барышня У не хочет политика.

— Как-нибудь загляну в другой раз,— вежливо ответил Жао Сань.

И мы двинулись к выходу.

— К «Трем справедливостям»,— бросил Жао Сань шоферу.

Но здесь ему никто не понравился, и мы поехали дальше, в Дом знакомства «Правдивость».

— Номер 52!

После описанной выше процедуры номер 52 выразил согласие.

Теперь распорядитель ознакомил присутствующих с жизнеописанием номера 52.

— Ли Вань, гражданка данного политического района, пятнадцати лет, закончила 1-й университет физкультуры по курсу подготовки чемпионов спортивных состязаний. Из богатой семьи, отец известный специалист по теннису профессор Ли. Барышня Ли крепкого здоровья, прелестна внешне. В обращении мягка и ласкова, в ведении хозяйства искусна. С мужем внимательна и тактична...

Барышня Ли подошла к Жао Саню, кивнула ему головой и улыбнулась.

— Барышня Ли,— спросил распорядитель,— может быть, вы хотели бы что-то добавить?

— Нет, ничего. Пусть на свадьбе посаженным отцом будет Лу Юэ-лао. Да, и вот еще: кто свидетель?

— Я намереваюсь пригласить Ба Шань-доу,— ответил Жао Сань.

— Прекрасно,— кивнула головой девушка.

— Нет ли других пожеланий? — улыбнулся Жао Сань.

— Перед свадьбой желаю три дня подряд посещать звуковое кино, один раз сходить в ресторан; при заключении брачного контракта хочу кольцо с бриллиантом, после его заключения была бы рада приобрести комплект бальной одежды стоимостью не менее 7 тысяч юаней.

— Согласен со всем.

— Но это еще не все. Учтено ли в сумме, обозначенной в рекомендательном документе, удержание процентов?

— Да, 9 процентов,— Жао Сань закурил.

— 9 процентов?

— 9 процентов.

— А без удержания процентов нельзя?

— Нельзя. Если даже удержать 9 процентов, то сумма все равно будет весьма внушительной.

— Тогда я отказываюсь.— Девушка явно рассердилась.

— Нет, нет, нет, барышня Ли,— засуетился распорядитель. Он призывал стороны не горячиться и спокойно все обсудить.

Но тут рассердился Жао Сань:

— Ну и пусть отказывается! Эка невидаль!

Распорядитель всячески примирял стороны. Торговались до шести часов, после чего было принято решение: из суммы, обозначенной в рекомендательной бумаге, вычесть 9,5 процента.

Мужчина и женщина расписались на контракте.

Жао Сань выписал чек на 500 юаней и передал его в качестве комиссионных распорядителю. Второй чек был преподнесен барышне Ли.

— Поздравляю, отныне барышня Ли — твоя возлюбленная,— провозгласил распорядитель.

Раздались аплодисменты.

— А теперь излить чувства!— соблюдая церемониал, приказал распорядитель.

Жао Сань и девушка обнялись, прижимаясь щека к щеке, рот ко рту.

— Вань, моя Вань,— голос мужчины был сладок, глаза полузакрыты.— Я люблю тебя, всю мою жизнь, всю мою душу, все, чем владею, я отдам любви. Вань, когда я впервые увидел тебя, я тебя полюбил. Чувство мое клокочет, словно вулкан.

— О! То же самое творится со мной,— голос девушки был нежен и ласков.— Когда я впервые увидела тебя, я ощутила томление любви.— Сань, ты так прекрасен, так мужествен, ты единственный! Властелин Поднебесной, мой Ромео...

— О-о-о! Ты единственная красавица в мире: твои волосы, твой лоб, твое лицо, твой ротик... о, ты вся так прекрасна!...

И губы их вновь соединились.

Потом они заговорили разом:

— О-о-о! Наши души слились в одну, и мы стали единым целым. О-о-о! Love is best.[1]

Речи их были сладки и нежны, но им не хватало естественности, особенно когда они выступали дуэтом, как в театральном представлении.

«Излив чувства», молодые люди скромно и добропорядочно отошли в сторону, как будто только что стояли перед алтарем.

Затем они обменялись адресами, и мы покинули зал.

Перед уходом Жао Сань напомнил девушке:

— Завтра, крошка, я тебя разыщу.

Вернувшись домой, я спросил г-на Сяо:

— И это называется брачный контракт?

— Успокойся, ты был свидетелем самой обыкновенной сделки.

— Так оскорблять достоинство женщины! — вспылил я.

— Оскорблять? В чем же ты усмотрел оскорбление?

— Покупают женщину, как вещь...

— Не будь дураком, милейший Хань... Позволь тебя спросить: разве у вас там, в мире людей, брачные союзы освящаются только любовью?

— Нет... Но поступать так, как поступаете вы, просто немыслимо.

— Превосходно, не торопись. Стало быть, ты согласен, что экономически мужчина и женщина взаимосвязаны. Речь идет лишь о форме. У нас она удобнее и яснее. Вот и все.

— И такой процедуре подвергаются все?

— В конечном счете да. Некоторые до вступления в брак находятся в приятельских отношениях, но когда возникает надобность в контракте, обе стороны отправляются в Дом знакомства для уточнения условий.

— Твоя крошка тоже оттуда?

---

[1] Нет ничего прекраснее любви *(англ.)*.

— Разумеется.

— Скажи мне вот еще что. Неужели в Доме знакомства барышни так и сидят с утра до вечера? Могут ли они заниматься чем-нибудь другим?

— Они бывают там не каждый день, а лишь в определенные дни. Иногда, если тебе приглянулась барышня, ты можешь воспользоваться для ее оповещения об этом услугами администрации, а затем вы оба встречаетесь в Доме знакомства для уточнения условий.

Я был крайне удивлен и поражен всем услышанным, и мое возмущение растаяло, как лед. Но тут я вспомнил кое-что еще:

— Послушай, этой Ли всего пятнадцать лет!

Г-н Сяо рассмеялся:

— Гм! Видишь ли, по правилам, женщине сбавляют шесть лет. Если бы ей действительно было 15 лет, в ее рекомендательном документе было бы записано «9 лет». Разве в мире людей нет такого обычая? Только у вас в каждом отдельном случае сбавляют по-разному.

Что-то мне еще хотелось у него спросить, да всего не упомнишь.

День любой...

Сегодня я свободен.

Близок день выборов Генерального Президента. Газеты только об этом и пишут. По слухам, выбран будет Ба Шань-доу. В его пользу говорит многое. Во-первых, нынешний Генеральный Президент Вэнь Хуань-чжи принадлежит к партии корточкистов, а городу до смерти надоела эта поза, и он желает ее переменить, примкнув к партии восседающих. Во-вторых, Ба Шань-доу поддерживают два простолюдина, а опорой партии корточкистов и их кандидата Дунфан Даня является лишь один Янь Цзюнь. Скорее всего, он потерпит поражение, но пока кандидатуру своего избранника он не снимает.

День любой...

Чжун-но радостно вручил мне записку, написанную рукой Лу Юэлао, где было сказано, что, мол, г-н Хань прибыл давно, а мы с ним еще не беседовали, а посему прошу вас обоих вместе с крошкой г-на Сяо пожаловать «в мое скромное жилище» на домашний обед.

— Почему это он заинтересовался моей особой? — удивился я.

— Ты мой друг,— объяснил г-н Сяо,— и он решил установить с тобой контакт. Вот и все.— Лицо моего друга излучало восторг и радость.

Заехав за крошкой, мы отправились дальше. На больших воротах дома Лу красовалась бронзовая доска:

> Трудовое жилище простолюдина Лу.
> Почтительнейше написано Дун Ци-чаном.

За воротами разместился караульный отряд. Стены были выложены из стальных плит толщиной с городскую стену. Наверху были сделаны отверстия, из которых торчали какие-то трубы. Очевидно, пушки.

Сперва мы попали в караульное помещение. Народу там было много. Кто-то принял визитную карточку Чжун-но и направился в кабинет, где отрапортовал:

— Докладываю, начальник, господин Сяо прибыл для встречи с простолюдином.

В кабинете все подвергались тщательнейшему осмотру. Выслушав рапорт, субъект во фраке отложил в сторону бумаги, которые держал

в руках, поднялся и предложил нам проследовать дальше в приемную, а сам доложил в дверь следующего кабинета, выходящего в приемную:

— Хэллоу! Начальник присутствия Хуан, господин Сяо прибыл. Принимайте гостя.

Из кабинета вышел сравнительно молодой дух. Он предложил нам присесть и велел разлить чай.

— Докладываю господину Сяо, у начальника присутствия срочное дело, виноват,— он сам себя называл начальником присутствия.

— А тот был какой начальник? — спросил я у г-на Сяо, когда молодой дух скрылся, бросив: «Прошу пройти во внутреннюю приемную».

— Тот был начальником караульной. А этот начальник приемной.

Молодой начальник сел в машину, за ним последовали другие, но не прошло и трех секунд, как они вернулись. Все это мы наблюдали из окна внутренней приемной.

Неожиданно со словами «Милости просим! Милости просим!..» появился Лу Юэ-лао.

Будучи с нами на дружеской ноге, он не стал задерживать нас в приемной, а повел во внутренние покои. В одной из комнат собралась уйма духов.

— Представляю вам Ба Шань-доу, лидера партии восседающих,— обратился ко мне Лу Юэ-лао. С г-ном Сяо они были знакомы давно.

Ба Шань-доу знакомил гостей с «Воззванием к соотечественникам политического района о положении дел с хлопчатобумажной пряжей на внутренних рынках». Лидер восседающих объяснил мне, что это воззвание публикуется в печати в качестве предвыборного документа.

Все присутствующие на приеме были видными фигурами в партии, но, к сожалению, обстановка для меня была слишком необычной, и я совершенно не запомнил фамилий.

Во внутренних покоях дома хранилось множество старинных, антикварных вещей. Особенно ценными были вещи, разложенные в библиотеке простолюдина. В рамке находилась головная шпилька, а рядом висел пояснительный текст: «Нефритовая головная шпилька Цуй Ин-ин, возлюбленной Чжан Цзюнь-жуаня [1]». Чуть поодаль — кисть Ван Сянь-чжи [2], которой он писал свою «Фею реки Ло». На кисти можно было разобрать выгравированные слова: «Лучшая кисть из заячьего хвоста, изготовлена под наблюдением Цзы-цзина». У книжного шкафа стояла палка для выколачивания платья, некогда принадлежавшая самому Лу Чжи-шэню [3].

— А это моя величайшая драгоценность,— произнес Лу Юэ-лао, извлекая из сейфа стеклянную коробочку, в которой лежал окурок папиросы. При тщательном рассмотрении можно было разобрать марку «Three Castles».

— Это...— на лице Лу Юэ-лао появилось выражение почтительности, как при упоминании имени епископа,— это...— повторил он,— окурок Cromwell. Только подумайте, когда-то великий герой держал его во рту!

Из других реликвий мне запомнилось перо Voltaire, которым он писал «Candide», бамбуковая корзинка Си Ши [4] и многое другое.

— Но это не все. Сейчас я вам покажу самое бесценное сокровище на свете. Да вот беда: не уверен я в подлинности экспоната.— И простолюдин Лу из того же сейфа извлек покрытый ржавчиной топорик,

---

[1] Персонажи «Повести об Ин-ин» Юань Чжэня (779—831).

[2] Литератор эпохи Цзинь (344—388) Второе имя Цзы-цзин.

[3] Персонаж из романа Ши Най-аня «Речные заводи» (XIV в.).

[4] Си Ши — знаменитая красавица V в. до н. э. Помогла вану царства Юэ победить царство У.

на котором было написано: «Топорик Паньгу[1] периода сотворения мира»...

Все уважительно стали рассматривать предмет, но вопрос о том, подделка это или оригинал, так и не был решен.

За обедом во внутреннем зале между Ба Шань-доу и крупнейшими деятелями партии восседающих завязалась оживленная беседа.

Ба Шань-доу был похож на европейца, и это впечатление не портил даже чехол на носу весьма внушительных размеров. В одном глазу Ба Шань-доу торчал лорнет. Кандидат на пост Генерального Президента поминутно таскал из кармана сигареты, слушая подошедшего к нему улыбающегося корреспондента, который, усаживаясь рядом, уже раскрывал записную книжку. Прессу интересовали перспективы развития внутреннего рынка. Каковы прогнозы? Внушают ли они опасения? Или наоборот?

— Если не случится непредвиденного,— отвечал Ба Шань-доу,— перед деловым миром откроются весьма радужные перспективы, ибо предприятия хлопчатобумажной пряжи различных районов сливаются в одно. Наш враг № 1 — Западный сосед. Тенденция появления конкурента усиливается. Впрочем, это не страшно. Нами заключено неофициальное соглашение о совместных действиях. Это соглашение следует считать прямым результатом переговоров нашего великого простолюдина Лу с деловыми кругами Западного района. Точка зрения нашей партии едина. Правительство должно подписать это соглашение, дабы усилить международные позиции нашего хлопчатобумажного производства.

Сделав паузу, он добавил:

— Деловое соглашение с Западным соседом Lampi благоприятно отразится и на состоянии наших военных дел, ибо, наладив хорошую рыночную конъюнктуру, верхи и низы района сосредоточат свои усилия в иных сферах, ведущих к процветанию родины. На этот раз мы формируем кабинет прежде всего во имя достижения этой важной цели. Или, если угодно, во имя этой цели мы формируем кабинет.

— Следовательно,— переспросил корреспондент,— можно утверждать, что избрание Вашего превосходительства на пост Генерального Президента непосредственно связано с желанием простолюдина Лу провести через правительство это соглашение?

— Именно так.

— Как вы расцениваете, Ваше превосходительство, деловую конъюнктуру в районе? — помолчав, задал корреспондент новый вопрос.

— В целом, но не без оговорок, оптимистически. Тебе следует знать,— добавил он доверительно,— что в районе положение осложнено попытками низов пробраться на верхний ярус. Они бесстыдны, их цель — ассимилироваться с верхами. Слабоумные дикари, животные, я их...

Он внезапно поперхнулся и побагровел.

— Господин корреспондент,— произнес он, придя в себя,— от имени простолюдина Лу, от имени членов партии восседающих, от имени всех верхнеярусников я серьезно вас предостерегаю: соотечественники из нижнего яруса намереваются проникнуть обманным путем на верхний ярус. Они невежественны, и мы должны быть к ним снисходительны, но не забывать о мерах предосторожности. В сущности, все упирается в проблему образования и воспитания. Как один из верхнеярусников, вы обязаны выполнить свой долг. Пусть пресса заговорит громким голосом. Ваши кровные интересы в опасности, обязательно принимайте меры предосторожности! И тогда слава навечно озарит наш полити-

[1] Паньгу *(миф.)* — существо с телом человека и головой собаки.

ческий район. И это будет великим счастьем для верхнего яруса и для всего района.

— Да, совершенно справедливо, это наш моральный долг, и мы не пожалеем сил, чтоб его выполнить,— корреспондент встал.— Искренне благодарен вам, Ваше превосходительство, за предоставленную ничтожному газетчику возможность проинтервьюировать вас.

Поднялся и Ба Шань-доу:

— Обращаю внимание господ корреспондентов города на настоятельную необходимость будоражить верхнеярусников через печать... Послезавтра прошу на чашку чая. Это приглашение простолюдина. Пожалуйста, приходите пораньше.

Корреспондент ретировался.

— Старина,— к г-ну Ба подошел Лу Юэ-лао.— Не сгустил ли ты краски насчет низов, прущих на верхний ярус?

— Бесспорно,— Ба Шань-доу рассмеялся.— Пусть корреспонденты побегают. Тем более что опасность все-таки существует.

Когда мы уходили, Лу Юэ-лао трижды напомнил нам о предстоящей послезавтра встрече за чашкой чая:

— И прошу пораньше.

День любой...

Помню, пришли Сыма Си-ду и Жао Сань. Уже на пороге Жао стал нахваливать свою возлюбленную. И нежна, и любвеобильна, и отличное здоровье!

— Очень рад,— перебил его г-н Сяо.— Давайте пригласим наших крошек на загородную прогулку.

Поэт-декадент думал иначе:

— Как же ты отстал, господин Жао. Ты восхищаешься здоровьем своей возлюбленной! Я, Сыма Си-ду, от имени поэтов-декадентов предостерегаю тебя: в наше время только больные нормальны. Тот, кто здоров, не современен.

— Славные речи, господин Сыма, но твоя возлюбленная вовсе не выглядит болезненной,— отпарировал Жао Сань.

На лице г-на Сыма появилось недовольное выражение:

— Враки! Я, Сыма Си-ду, не боящийся чумы, прошедший через дизентерию, утверждаю, что моя крошка страдает истощением нервной системы.

— Ладно, не будем спорить. Ходят слухи, что крошка господина Сыма здоровехонька! А болезни — это по части уважаемого поэта. А в общем-то мне все равно. Я знаю одно: возлюбленная политического деятеля должна быть здорова.

Сыма Си-ду нахмурился и против обыкновения промолчал.

— Хватит пустой болтовни,— вмешался г-н Сяо,— приглашаю всех на площадь Купания.

Площадь Купания была отличным бассейном с теплой водой. Там и сям стояли шезлонги со столиками. Разносили чай. Мы все быстро полезли в воду, за исключением г-на Сыма, на которого мои спутники не обратили ни малейшего внимания. Я был удивлен.

— Видишь ли,— Сыма сделал кислую физиономию.— Вначале я тоже собирался купаться, но опасаюсь, что купание может благотворно отразиться на моем здоровье. Я слишком известен и не могу идти на такой риск.

Мы с комфортом отдыхали в шезлонгах, наблюдая за танцами веселых парочек прямо под открытым небом. В беседке играл оркестр. У одной дамы я заметил на носу необычайно длинный чехол. Он был скроен из зеленого индийского шелка с белыми и фиолетовыми узора-

ми. Оказывается, это была городская знаменитость, госпожа Ван, прославившаяся именно благодаря своему чехлу.

— Когда-то,— начал г-н Сяо,— на ее верхнее место обратила внимание полиция, которая незамедлительно подала в суд жалобу, обвиняя госпожу Ван в пагубном влиянии на общественные нравы. Ввиду особой важности дела пришлось провести объединенное заседание суда и местных административных властей, которое в свою очередь было вынуждено передать дело на доизучение в комитет антропологов, который три месяца спустя опубликовал письмо, отрицавшее наличие состава преступления у госпожи Ван... Так вот она и прославилась.

Жао Сань вытащил блокнот, написал карандашом на первой странице «крошка» и пояснил:

— Я ведь тоже, господин Хань, пописываю стихи. Только не для печати. Да и лень хлопотать насчет удостоверения.— И он углубился в работу.

Г-н Сыма тем временем спросил вина и, попивая, любовался танцами.

Вдруг перед оркестром появился служитель. Он что-то сказал, и музыка стихла. Оркестранты один за другим скрылись в воротах. Исчезли и танцоры.

Что случилось?

Никто не знал.

У ворот оркестр заиграл с новой силой. Служащие бассейна выстроились в два ряда, словно для торжественной встречи.

— Вероятно, прибыло важное лицо,— сказал я.

Но г-н Сяо усомнился. Что-то не похоже. Не так торжественно. Впрочем, через мгновение все прояснилось: в ворота строем вошли шесть духов во фраках. Впереди двое других духов вели на поводках двух псов.

— А, это! — разочарованно пробормотал Жао Сань.— Фэй Фэй простолюдина Пань Ло.

— Какие Фэй Фэй?

— Собаки, воспитанницы простолюдина Пань Ло.

— Не может быть. Приветствия относились к тем шестерым.

— К тем шестерым? Да ведь они домашние рабы!

— Разумеется, встречали Фэй Фэй,— подтвердил г-н Сяо.— Это так естественно. Поскольку собак воспитывает Пань Ло, значит, животные — его представители.

Собакам, возлежавшим в шезлонгах, прислуживали лакеи, шестеро во фраках выстроились в два ряда. Во время купания появился специальный лакей, который тер псам спины. Один из псов был презлющий. После купания он пожелал покататься по земле; домашние рабы почтительно поддерживали его, снова усаживая в шезлонг и с поклоном уговаривая отдохнуть.

Затем собакам принесли суп из бычьих хвостов, сандвичи и отбивные.

Зрелище это произвело на меня тягостное впечатление.

Но, как всегда, г-н Сяо оказался на месте.

— В нашем мире,— начал он,— царят ясность и определенность. Тебе это просто непривычно. Попробуй во всем разобраться спокойно и беспристрастно. Разве твой мир не чужд тебе, разве там у тебя не возникает неприятных ощущений?

День любой...

Вечером, сделав записи в дневнике, я собрался было идти спать, но в это время принесли от простолюдина Лу пригласительные билеты на чашку чая. Нас ждали в 3.30 пополудни.

Я стал просматривать газеты. Бросилось в глаза сообщение о визите Фэй Фэй в бассейн. Заголовок был набран крупными иероглифами, текст — тоже броско. В заметке подробно описывалась вся процедура: выход из автомобиля, купание, прием пищи, возвращение. Последняя фраза гласила: «Простолюдин Пань остался весьма доволен».

Далее следовало сообщение, набранное петитом:

> В цехе завода Саньхэчжу обрушилась балка.
> Потери невелики. Ведутся восстановительные работы.
> В пятом цехе завода Саньхэчжу вчера ночью неожиданно рухнула балка. Все заволокло пылью, 7—8 рабочих задавлено насмерть, около десяти ранено. К счастью, машины и оборудование уцелели. На завод срочно прибыла восстановительная бригада. Не позднее завтрашнего дня цех сможет продолжить работу.

— Взгляни-ка на эту колонку,— Чжун-но протянул мне другую газету, где в разделе «Особые материалы» была напечатана статья «Современная обстановка в мире людей в Энском цивилизованном государстве» с подзаголовком: «Это ужасно!!!»

Цитирую отрывки из этой статьи.

«После смены династии в Энском цивилизованном государстве прошло 50—60 лет. Все преступники мира сбежались в эту страну, превратив ее в конце концов в скопище преступлений.

Жители страны (низы, конечно,— верхнеярусники вымерли все поголовно) привыкли есть человечину; в глухих переулках временами слышатся вопли и стоны жертв. Победитель отрезает куски от побежденного и жрет их в сыром виде. Новорожденные считаются у них лакомством; они пожирают даже собственных детей, правда, в жареном виде, что оговорено особым законом. Ужасно! С тех пор как существуют люди, мир не знал подобных злодеяний.

Раскапываются могилы, и поэтому жители страны предпочитают быть сваренными, точно они бычьи хвосты. Но самое неслыханное — это способ изготовления государственных флагов. В любой памятный день или праздник всем жителям надлежит вывешивать государственный флаг. Поэтому предварительно закалываются три человека и их кровью пропитывают полотнища, но так как кровь легко линяет, процедуру повторяют перед каждой памятной датой, и каждый раз убивают людей, и так без счета...

Женщины в этом государстве имеют обыкновение вступать с мужчинами в беспорядочную половую связь, после которой они оставляют своих избранников скопцами, а захваченные трофеи носят на передней поле халата, ибо доблесть сих женщин определяется количеством трофеев».

Больше я не в силах был сдерживаться и захохотал. Но г-н Сяо оставался серьезен:

— В чем дело?

— Да ведь это несусветная чушь! — сквозь смех с трудом выговорил я.

— Значит, есть доказательства!

— Совершенная галиматья! В мире людей нет такой страны!

— Нет, говоришь? А ты посмотри, кто автор статьи.

Ее автором был специалист-историк, создатель «Полной истории мира», «Истории развития вселенной», председатель Комитета изучения истории, заведующий кафедрой истории городского университета доктор Вэй Сань-шань. Заключительная фраза статьи, набранная мельчайшим шрифтом, на которую я вначале не обратил внимания, гласила: «13-й факт современной истории».

— Ну что? И ты смеешь утверждать, что статья лжива? — наседал г-н Сяо. Мне стало неловко.

— Может быть... Может быть, слухи дошли в искаженном виде?

— Слухи? Это сама история!

— Увы, это ошибка.

— Вэй — профессор истории. Крупнейший авторитет. И, конечно же, без веских оснований он не стал бы вводить в научный оборот этот новейший исторический материал.

Наши препирательства закончились ссорой, и за обедом мы оба не раскрывали рта.

— Господин Хань,— начал он первый,— в полемике побеждают факты, я надеюсь, им ты поверишь, ты должен поверить, во славу мироздания... А пока нас ждет простолюдин Лу на чашку чая. Пора ехать.

И мы снова прибыли в жилище Лу Юэ-лао, похожее на укрепленный лагерь. На этот раз, предъявив личное приглашение простолюдина, мы прошли сквозь строй канцелярий без всяких хлопот. Охрана дома была еще внушительнее; кроме сторожевого поста мы заметили восемь пулеметов с прислугой и группу солдат, стоящих неподвижной шеренгой с оружием наизготовку. По двору с решительным видом прохаживался офицер.

На совещание за чашкой чая явились лидеры партии. Кроме уже известных мне лиц я впервые увидел чрезвычайно важного духа, который оказался простолюдином Пань Ло. Он был худощавее Лу Юэ-лао, глаза его сверкали металлическим блеском. Каждому входящему он милостиво пожимал руку, явно не тяготясь тяжким бременем своего высокого общественного положения.

Совещание проходило во внешней приемной, где свободно могло разместиться свыше пятисот духов. В речах недостатка не было, но, к сожалению, мне трудно было вникнуть в их смысл. Обсуждались законопроекты для будущего кабинета. Разумеется, в качестве первого шага намечалось осуществить в масштабах всей страны перестройку мест отдохновения, приспособив их к нуждам восседающих. Этот законопроект был принят без обсуждений. Следующим на повестке дня стоял вопрос о ратификации Соглашения с государством Lampi. Соглашением предусматривалось создание единой компании по производству пряжи, что давало возможность держать в своих руках ее производство во всем мире. В политическом отношении обе стороны становились союзными государствами. Последним шел законопроект о новой системе образования. Консультация г-на Сяо была превосходна, и я все отлично понял. Это был важнейший из законопроектов, принятый после длительной дискуссии. Дело в том, что подобного законопроекта, опрокидывающего всю старую систему образования, еще не предлагала и не принимала ни одна политическая партия.

Так, одним из параграфов образование низов ограничивалось изучением тысячи общеупотребительных иероглифов. Низам запрещалось переходить из средней в высшую школу, ибо, чтобы уметь читать, вполне достаточно вышеуказанных знаний. Строгие правила вводились и в систему образования верхнего яруса. Владельцы имущества на сумму свыше трех тысяч юаней имели право учиться лишь в начальной школе, владельцы имущества на сумму свыше пятидесяти тысяч юаней — в средней школе первой ступени; на сумму свыше ста тысяч юаней — в средней школе старшей ступени; имущество на сумму свыше шестисот тысяч давало право на поступление в высшее учебное заведение; на сумму свыше трех миллионов — в научно-исследовательские институты. Впрочем, и без этих правил происходил примерно такой же естественный отбор, так как плата за обучение была непомерно высока, и, скажем, духу с имуществом на сумму ниже шестисот тысяч юаней нечего было и думать о высшем образовании. Новый законопроект вводил обязательное обучение, даже низам вменялось в обязанность учиться.

В нижнем ярусе намечалось широкое строительство начальных и средних школ. Решение было дальновидным и разумным. Во-первых, многие виды работ требовали определенного минимума знаний, без среднего образования для нижнеярусников обойтись было невозможно. Во-вторых, высокая плата за обучение гарантировала правительству немалые доходы...

Жаркие споры и сомнения вызвала кем-то оброненная фраза о пагубных последствиях среднего образования для низов. По этому поводу Ба Шань-доу сказал следующее:

— Получив среднее образование, нижнеярусники неизбежно нивелируются с определенной группой из верхов. Заметим, gentlemen, наше образование в целом основано на принципах верхнего яруса, иными словами, на принципах демократизма и политических идеалов парламентаризма. Будучи приобщенными к этим принципам, низы наверняка прекратят беспорядки и волнения. Возникнет новая тенденция. Какая? Тенденция устремленности низов на верхний ярус! Gentlemen, демократия — вот краеугольный камень нашей политики. И нам не следует препятствовать этому карабканью вверх, более того, мы должны всячески его поощрять, да, поощрять, gentlemen! Тенденция карабканья вверх — это свидетельство благонадежности. В мире людей в государстве Migo бывшие нижнеярусники стали столпами общества, выдающимися простолюдинами... А теперь, gentlemen, подумайте, опасно ли образование для низов? Самое народное, самое патриотическое, самое верхнеярусное! Нет, я не вижу предлога для спора. Напротив, для меня очевидно: образование низов — благо района.

Аудитория задумалась. Молчание было нарушено аплодисментами простолюдинов Лу Юэ-лао и Пань Ло. Вслед за ними овацией разразился весь зал.

Перечислю еще некоторые важные законопроекты:

1. На 45% увеличивался налог с игорных домов: все поступления предназначались для партии в период ее деятельности по формированию кабинета. (Победа партии восседающих не вызывала сомнений, поэтому законопроект был принят без колебаний.)

2. Дополнительно к ранее намеченной цифре предусматривалось строительство и спуск на воду военных судов общим водоизмещением в девятьсот миллионов тонн, а также строительство ста тысяч самолетов.

3. Учреждалась комиссия по перестройке мест отдохновения: предполагалось для работы в отхожих местах района пригласить от пяти тысяч пятисот одного до пяти тысяч пятисот трех специалистов. Накануне начала массовых работ Генеральному Президенту надлежало лично прибыть в городское место отдохновения № 1 для мужчин с целью закладки первого кирпича. Впоследствии при его участии должна была пройти «церемония открытия».

4. Владельцам частных мест отдохновения отныне запрещалось идти по стопам корточкистов.

5. За большие заслуги перед партией восседающих философу Лао Луну присваивался титул «священного философа».

После официальной части Лу Юэ-лао пустил по рядам корреспондентов лист, на котором они по очереди расписывались. Г-н Сяо объяснил мне, что корреспонденты обязались хранить в строгой тайне каждый параграф принятых законов и всеми силами пропагандировать их, когда на то придет время. В том же листе была проставлена цифра за услуги. Простолюдин Лу раздал корреспондентам чеки, и хотя г-н Сяо не знал точной суммы гонорара, но утверждал, что она превышает пять тысяч юаней.

Принесли чай. Г-н Сяо представил меня священнику Чжу Шэнь-

эню, последователю Христа, известному тем, что он мог непосредственно общаться с Иеговой и Христом.

Пань Ло подошел к священнослужителю и осведомился, не свяжется ли он с великим Христом, дабы выяснить, одобряет ли тот принятые законы.

— О сем предмете,— священник взглянул на кончик носа,— я беседовал с почтенным Старцем от имени приверженца всемилостивейшего нашего Христа. Он лично молвил: «Сын мой, политика ваша верна, объяви об этом миру от моего имени. И счастье придет к вам, если вы и впредь направите стопы ваши этим путем». Стало быть, Иисус Христос выразил одобрение свое.

К месту беседы уже поспешал с карандашом и блокнотом корреспондент.

— Father [1],— начал он,— прошу прощения, могу ли я у вас спросить: как Он там?

— Бесспорно можешь. Все еще носит терновый венец, одет в рубища, над головой его Halo [2],— в голосе священника были слезы. Осенив себя крестным знаменьем, он вытащил носовой платок и утер глаза.

— Father,— не отставал корреспондент,— могу ли я еще у вас спросить, на каком языке он глаголет?

Священнослужитель поднял глаза на прыткого корреспондента, нерешительно помолчал и изрек:

— На китайском.

— На китайском?

— Именно, сын мой. На кантонском диалекте.

Корреспондент обдумывал следующий вопрос, но интервьюируемый уже повернулся к Пань Ло и Лу Юэ-лао:

— Men [3], я обращаюсь к вам именем всемилостивейшего Христа. Добрые вести возрадуют Lord [4], ибо трудами всечасными несу народу благо...

— Понимаю, понимаю, чего там,— перебил его Лу Юэ-лао. И простолюдины передали ему чек.

— Да снизойдет на вас благодать божья: вручая мне чек, вы вручаете его все равно что сыну господа. Можете поцеловать мне руку.

Духи пили пиво, курили, но держали себя благопристойно и строго. Священник от предложенного бокала отказался, но после настойчивых просьб Пань Ло опустил голову, сотворил молитву и приступил. Пить он умел.

Вдруг в зале кто-то из присутствующих громко чихнул.

И тотчас же в лицо чихнувшего впились сотни глаз.

Чжу Шэнь-инь торжественно поднялся и возопил:

— Men, именем всемилостивейшего Христа нашего зову вас, внемлите: некто в этом зале чихнул, и с его верхнего места изверглась гнусная жидкость. Святотатство! Скопище смрада! О, мерзопакостное предвестие гибели верхнего яруса! Да поразит его громом Иегова! Men, внемлите: неправдою пролез на верхний ярус этот богоотступник! Он ниж!-не!-я!-рус!-ник!..

— Хватайте его! — завопило собрание.

С десяток полицейских набросились на чихнувшего и, надев на него наручники, выволокли из зала.

Священник перевел дух.

— И пусть хитростью и обманом проникают к нам нижнеярусники. Святое око, оно везде их найдет. Чиханье сие — знак, поданный нам

[1] Отец *(англ.)*.
[2] Нимб *(англ.)*.
[3] Здесь — мужи *(англ.)*.
[4] Здесь — бог *(англ.)*.

святым оком.— И он обратился к господу с благодарственной молитвой.

Духи стали расходиться. Нас Лу Юэ-лао оставил ужинать. За столом сидели также Пань Ло, Ба Шань-доу, Чжу Шэнь-энь.

Пань Ло просил священника отнестись к принятым законопроектам с должным вниманием и поручил ему разъяснить пастве из верхов и низов благие намерения великих простолюдинов, дабы паства с чистым сердцем защищала их.

— Прошу запомнить,— говорил Пань Ло,— законопроекты необходимо пропагандировать. И вот еще что: тебе поручается секретная миссия. Если возникнут беспорядки, ты должен уведомить нас, а также выявить главарей. За вознаграждением не постоим.

Священник отхлебнул вина, лицо его покраснело.

— Успокойте души свои, именем всемилостивейшего Христа ответствую: дело сие у меня здесь,— он ткнул себя в грудь.

Мы собрались уходить. Неожиданно простолюдин Лу протянул мне чек на десять тысяч юаней.

— Господин Хань, мало, мало тебе внимания уделил, хлопот полон рот, собирался послать папирос, вина, да все руки не доходили. Сам купи. Бери, чего там.

Этого еще не хватало! Я вежливо отказался.

— Бери, господин Хань,— стал меня уговаривать Чжун-но,— у простолюдина Лу щедрая и открытая душа.— Он так выразительно посмотрел на меня, что я повиновался.

В машине, по дороге домой, г-н Сяо сказал:

— Простолюдин Лу считает нас своими людьми, и пренебрегать этим не следует; его дела — наши дела, его тайны — наши тайны. А?

— Ладно, хватит. Нечего кружить вокруг да около. Я давно все понял.

Чжун-но крепко стиснул мою руку и принужденно рассмеялся.

— Прости, я забыл о твоем благородном сердце.

День любой...

Приближались выборы. Все оживленнее становилось на газетных полосах. Жирные иероглифы на первой полосе кричали: «Осталась одна неделя!» Большинство газет пророчило победу Ба Шань-доу, и лишь одна-две упорно продолжали цепляться за кандидата партии корточкистов Дунфан Даня. Сообщалось, что через два-три дня типографии начнут печатать избирательные бюллетени по образцу, опубликованному заранее. В некоторых газетах расписывался весь церемониал выборов. Первый день — голосование, второй — спортивные состязания, третий — парадный банкет, а также многое другое, что мне не удалось запомнить.

Г-н Сяо и его крошка отправились в ресторан. Явились Жао Сань со своей новой подругой, немного поболтали и тоже исчезли, сообщив мне новость о предстоящей через пару дней свадьбе Сыма Си-ду. Кстати, получил ли я приглашение?

В три часа дня пришел врач со странной фамилией Цзян Соевая Подлива, «специалист по нервным болезням», как я прочел в его визитной карточке. Ему нужен был г-н Сяо, но он был не прочь познакомиться и со мной. Поговорили о выборах. Затем он намекнул мне, что, мол, ходят слухи, будто я на дружеской ноге с простолюдином Лу, и он, доктор, был бы счастлив видеть меня завтра у себя за столом. Он надеется услышать от меня много нового о прогрессе медицины в мире людей.

— Простите,— возразил я,— но я совершенный профан в медицине.

— Пустяки, пустяки. Расскажете о чем-нибудь другом. Я с радо-

стью приму вас в моем доме. Приходите пораньше вместе с господином Сяо и его крошкой.

— Боюсь, господин Сяо не сможет. Завтра они решили идти в звуковое кино.

Я пообещал ему быть в одиннадцать.

Что-то сегодня от гостей нет отбою. Не успел уйти Цзян Соевая Подлива, как в дверях показался корреспондент, отрекомендовавшийся Ба Фаном и заявивший, что именно я ему и нужен. Корреспондент-хроникер и по совместительству школьный учитель, он был родственником Ба Шань-доу. Признаться, этот неожиданный визит меня озадачил.

— Господин Хань, почитаю за честь говорить с вами,— начал он.— Я по поводу статьи Вэй Сань-шаня о ситуации в Энском цивилизованном государстве в мире людей. Мне бы хотелось услышать от Вашего превосходительства и другие удивительные факты из жизни данной цивилизации.

— Другие удивительные факты? — повторил я.— Но статья Вэй Сань-шаня не имеет ничего общего с фактами. Даже дикари в мире людей не столь жестоки и кровожадны, как это представляется доктору Вэю.

— Это ваша точка зрения? — ошеломленно пробормотал он.

— При чем тут точка зрения? Я говорю о фактах.

— Значит, вы утверждаете, что они не едят человеческого мяса, а их женщины...

— Все, что говорит доктор Вэй, вздор!

Хроникер почесал затылок и попятился к дверям.

Вечером я получил приглашение на свадьбу Сыма Си-ду и его крошки.

День любой...

Во всех газетах под заголовком «Хань Ши-цянь против Вэй Сань-шаня» появились статьи и заметки, где сообщалось о моем отрицательном отношении к научным изысканиям доктора Вэя. Часть газет, выражая, так сказать, общественное мнение, надеялась, что власти заинтересуются моей личностью, ибо я объективно играю на руку кровожадным и жестоким низам из мира людей, сам склонен к «онизению» и прочее и прочее.

— Ты что натворил? — просмотрев газету, вскричал Чжун-но.

— Отстаивал правду.— Я был рассержен.

Тогда он стал меня успокаивать, пусть вмешаются власти, не беда. С ним не пропадешь.

В одиннадцать часов за мной пришла машина от доктора. Из-за этих газет я совсем забыл о встрече.

— Простите,— Цзян Соевая Подлива поднялся мне навстречу,— я пригласил своего друга и не сообщил об этом вам. Он интересный собеседник, поэт.

Мы вошли в библиотеку. Там сидел Сыма Си-ду.

Обменялись рукопожатием. Поэт был явно расстроен.

— О, вы знакомы. Чудесно,— обрадовался хозяин.

Поэт-декадент повернулся к Цзяну, видимо, продолжая прерванный разговор:

— Прошу тебя, помоги. Я знаю, в литературных кругах у меня авторитет уже не тот, а все же какое-то положение я занимаю... Если это случится, моя репутация будет втоптана в грязь... ты не можешь оставить гибнущего друга в беде, нет, нет! Ты только подтверди, и все. Послезавтра моя свадьба. И я хочу все уладить заранее. Помоги.

— Я ведь не отказываюсь помочь тебе. Ты пойми, у меня имя, и

если заведомо здорового человека я назову больным... это неудобно... врачебная этика...

— Я, Сыма Си-ду, не боящийся чумы, прошедший через дизентерию, клянусь щедро отблагодарить тебя!

— Э, да разве в этом дело.

— Ты боишься, что ложь пошатнет твое положение?

— Да, боюсь.

— Но я же тебе говорю, никто об этом не узнает.

— Ладно, я подумаю.

Обед подали только к трем часам. Старая история. Теперь-то я постиг всю эту премудрость. Из уважения к гостям обед сколько возможно оттягивали, и закуски заблаговременно не подавали. Как же! Это могло обидеть Сяо Чжун-но: не накормил, мол, друга досыта. Будь я в гостях один — и это меня бы не спасло. Закуска, появившаяся на столе перед обедом, оскорбительно ухмылялась бы: глядите, как он беден, даже позавтракать досыта не в состоянии! И я хоть и был чертовски голоден, не проронил ни звука, боясь обнаружить плебейские наклонности.

За обедом хозяин все расспрашивал меня о мире людей. Он поинтересовался, правду ли говорят газеты, будто я отрицаю факты, изложенные в докладе Вэй Сань-шаня.

— Да, отрицаю, во имя фактов.

Он ответил, что по этому поводу ничего сказать не может. Он врач и в вопросах истории полный дилетант. Ему думается, что в докладе доктора наук ошибки быть не может, но и в моих возражениях, бесспорно, есть здравый смысл.

После обеда Сыма Си-ду снова заговорил о своем деле. Он так отчаянно умолял, становился на колени и плакал, причитая: «Спаси меня, спаси», что доктор в конце концов сдался.

«Настоящим,— написал он на листе бумаги,— я, невропатолог Цзян Соевая Подлива, свидетельствую, что крошка литератора-декадента Сыма Си-ду действительно страдает неизлечимым одряхлением нервной системы в резкой форме, аналогичной болезни Сыма Си-ду». И расписался.

Сыма Си-ду удовлетворенно поднялся со стула и бережно взял документ.

— Благодарю тебя. Во имя спасения друга ты принес в жертву свои принципы. Спасибо.

День любой...

Сегодня свадьба Сыма Си-ду.

Рано утром прибыли со своими подругами Сыма Си-ду и Жао Сань и стали нас торопить.

— Сегодня, надеюсь, ты станешь купаться? — шепотом спросил г-н Сяо жениха.

— Эх, была не была! Нарушу обет! — рассмеялся Сыма.

Мужчины захохотали. В это время раздвинулся пол и взошел слуга. Смеющиеся умолкли и приняли серьезный вид.

— А теперь в путь,— торжественно проговорил Сыма.

— Ты, Хань, отправляйся со всеми, я встречу мою крошку, и мы к вам присоединимся.

А почему она не пришла вместе с крошкой Жао Саня? Позже мне объяснили, что таков порядок: возлюбленный должен лично встречать свою подругу.

Свадьба состоялась в одном из двенадцати крупнейших городских отелей «Puk-duk» под председательством простолюдина Лу. На обед

были приглашены лишь самые близкие духи. Остальные гости подъехали во второй половине дня.

В торжестве приняли участие сливки общества: Чжао Шэ-линь, Хэй Лин-лин, И Чжэн-синь, Цзян Соевая Подлива и другие.

В три часа пополудни началась торжественная церемония. Свидетелем выступал г-н Ба Ба-сюн, секретарь партии восседающих, племянник Ба Шань-доу.

Когда молодые входили в отель, пол у дверей был усыпан лепестками мака. От входа до банкетного зала, образуя живописный коридор, в две шеренги стояли гости: с одной стороны — мужчины во фраках, с другой — женщины в легких одеждах. Каждый из гостей держал в руке трубку для курения опиума, подняв ее вверх и скрестив с трубкой духа, стоящего напротив. Таким образом, новобрачные шли как бы под крышей. Сыма Си-ду торжественно нес светильник для курения опиума, в руках невесты был букет искусственных цветов мака и бутылка спирта. На мой вопрос, у всех ли так проходит свадьба, г-н Сяо шепнул, что нет. Сыма Си-ду — декадент, поэтому подняты трубки для курения опиума. Если бы женился спортсмен, вместо трубок поднимали бы ракетки и биты. Врача встречают бутылями с микстурой, йодной настойкой и ватой. Будь моя свадьба, заключил Чжун-но, они подняли бы над головой соловья, рогатую сову и розу...

Но вот жених и невеста вошли в зал. Раздались аплодисменты. Женщины осыпали молодых цветами из черного шелка, как говорят, носящими название «цветы зла».

Заиграла музыка. Их песни совсем не походили на наши, китайские, обычные в мире людей.

Рекомендующим был сотрудник Дома знакомства «Правдивость».

— Великая любовь барышни Хай-хай и господина Сыма Си-ду,— проинформировал он собравшихся,— родилась 24 июня сего года в 3 часа 46 минут пополудни в Доме знакомства «Правдивость». Господин Сыма Си-ду поставил свою подпись под контрактом, где он обязался после брачной церемонии выплачивать барышне Хай ежемесячно 1867 юаней 9 мао и 6,4 фыня из расчета выплаты 85%, то есть 1587 юаней 7 мао и 7 фыней, не считая горячей пищи.

В остальном все было, как в мире людей. Обменялись обручальными кольцами, и Ба Ба-сюн огласил текст свидетельства о браке.

— Хай-хай и Сыма Си-ду, согласно 86 пункту 4 параграфа 36 главы «Закона о браке» в прошлом году, подписав брачный контракт, были обручены. Согласно процедуре, обусловленной вышеуказанным «Законом о браке», в настоящее время они вступили в брак.... Отныне и впредь они составляют единое целое. Мужчине запрещается в нарушение контракта останавливать выплату указанной в контракте суммы. Женщина не имеет права вступать в тайную половую связь с посторонними. Отныне наступает взаимопонимание и любовь. Дух и материя сливаются воедино. Нет ничего прекраснее любви. Love is best. В этом счастье мира духов...

Все расписались на свидетельстве, которое было заверено четырьмя крупнейшими адвокатами.

Снова грянула музыка. Песня называлась «An Opium Eater».[1] Когда молодожены покидали банкетный зал, гости снова выстроились в две шеренги, скрестив над головой трубки для курения опиума. Раздались аплодисменты. В руках у многих гостей появилось по одному рваному башмаку, наполненному рисом, лепестками черных цветов и окурками папирос. Все это было опрокинуто на молодых, которые от такого напора едва удержались на ногах.

[1] Курильщик опиума *(англ.)*.

Потом выпили по бокалу шампанского. Ужин прошел шумно и весело. Разошлись в одиннадцать часов.

День любой...

— Ну и заварил ты кашу,— добродушно заметил г-н Сяо, просматривая свежие газеты,— читай.

Я пробежал глазами отмеченные места. Статья была напечатана в верхней части полосы. В ней говорилось, что мое отрицание правдивости исторических материалов доктора Вэя внушает серьезное подозрение относительно меня самого. Не из низов ли я? В отделе хроники сообщалось, что пять газет во имя защиты верхнего яруса решили атаковать меня сообща. Они намерены возбудить против меня судебное дело, обвиняя в злонамеренном проникновении на верхний ярус. Я начинал злиться.

Но г-н Сяо заявил, что все это ерунда. Один звонок простолюдину Лу, и дело будет мирно улажено.

— Но я не хочу мирно! Я хочу бороться с этими невеждами!

— Э, господин Хань,— увещевал меня мой приятель,— в судебном разбирательстве мало хорошего. Успокойся. Я все беру на себя. Даю тебе слово, что завтра газеты запоют другую песню.

Он ушел звонить. Спустя четверть часа Чжун-но явился довольный и веселый:

— Все в порядке. Не обращай на них внимания. Они просто не разобрались, с кем имеют дело.

Вечером Чжун-но снова отправился к Лу Юэ-лао.

Вернувшись, он сказал мне:

— Простолюдин Лу решил от своего имени опубликовать в завтрашних газетах заявление, где будет сказано, что твоя позиция достаточно интересна. Подобная фраза способна уладить любое крупное дело.

И немного погодя весело добавил:

— Да, простолюдин Лу приглашает тебя в клуб простолюдинов.

— А что это такое?

— Там бывают только доверенные люди Лу и Паня. Оба они его и создали. Знаешь, Хань, а ведь простолюдин Лу действительно нам доверяет.

Мне хотелось побывать в клубе и увидеть все своими глазами.

— А ты член клуба?

— Разумеется,— самодовольно ответил он.

Вечером прислали избирательные бюллетени. Таков был порядок.

— Ты погоди писать,— предупредил г-н Сяо.— В день выборов я подскажу, что именно надо на нем написать.

День любой...

Как и следовало ожидать, газеты опубликовали заявление Лу Юэ-лао. Там между прочим говорилось, что слова доктора Вэя, конечно, абсолютной чепухой считать нельзя, но и аргументы г-на Хань Ши-цяня достаточно интересны. Лично для него предпочтительнее позиция последнего. Намерение газет передать дело в суд диктовалось исключительно их заботой о чистоте верхнего яруса и достойно всяческого уважения. Правда, вышеуказанные газеты хватили через край, и он бы, Лу Юэ-лао, посоветовал на этом поставить точку. В заключение наш высокий шеф предложил считать господ Вэй Сань-шаня и Хань Ши-цяня адептами двух направлений в исторической науке.

Эффект был мгновенный. Позиция прессы резко изменилась, а наиболее воинственные газеты, грозившие мне судом, публично извинились, сожалея о случившемся. Им, видите ли, раньше было неясно су-

щество проблемы. Они воздавали должное моему научному подвигу и смелости, с которой я выступил против доктора Вэя, и «от имени широких кругов журналистов «требовали» избрания Хань Ши-циня в члены Комитета исторических наук».

Так закончилось дело. А в Комитет входить я отказался.

Пришел Жао Сань. Последнее время он был занят, как никогда.

— Подготовка к выборам? — спросил я.

— К выборам готовиться нечего. Самое канительное — сопутствующие им торжества. Тут и конкурс младенцев, и соревнование литературных дам, и многое другое. И за все отвечает местная политическая администрация.

— Значит, надо будет пригласить Цзяна Соевую Подливу и У Ду-ду,— почему-то обрадовался г-н Сяо.

— Само собой. Главное — заручиться их согласием,— озабоченно подтвердил Жао Сань.— С остальными проще.

— А кто этот У Ду-ду?

— У Ду-ду — великий портной,— ответил г-н Жао.

— А зачем на выборах вам нужен один врач и один портной?

— Да нет, нам нужна армия врачей и портных. Эти двое будут главными.

— Непонятно.

— Все очень просто,— г-н Сяо был на месте.— Допустим, проходит конкурс младенцев. Интересно, смог бы ты определить без врача, какому младенцу обеспечивается лучший уход и самое калорийное питание? А кто лучше портного установит качество тканей, из которых сшита одежда маленьких граждан? Так-то. Первое место присуждается наиболее ухоженному и лучше всех одетому младенцу.

— Стало быть, первые места достаются детям обеспеченных родителей?

— Разумеется. Я уж не говорю о том, что подобный конкурс стимулирует наше движение вперед. А ты разве к этому не привык? — улыбнулся г-н Сяо.

Я задумался.

— Нет, это неплохо — устраивать конкурсы ухоженности и красоты младенцев!

Вечером посыльный Лу Юэ-лао доставил нам удостоверения на право участия в церемониях выборов. Позже позвонил он сам, дабы заручиться нашим согласием.

Мы, конечно, согласились.

День любой...

— Пошли, пошли,— в восемь часов стал торопить меня г-н Сяо.

Захватив удостоверения, мы отправились в Парламент. Для публики были отведены места на галерке, напоминающие театральные ложи. Внизу в центре зала стоял круглый стол с тремя глубокими креслами. Кресла были пусты. Вокруг главного стола находились квадратный стол президиума, за которым уже сидело два-три духа, и более десяти рядов стульев, расположенных дугообразно,— для членов Парламента. Ряды были заполнены.

В зале стояла торжественная тишина: все поглядывали на часы и напряженно следили за дверью, выходящей в зал. С улицы доносился радостный, многоголосый шум. Гремели оркестры. На площади собралась огромная толпа зевак. У многих в руках были разноцветные флажки. Все это было хорошо видно из окон на галерке.

Вдруг площадь потряс взрыв ликования. Гости, сидящие в ложах, повернулись к окнам.

На площади творилось невообразимое—духи размахивали флажками, кричали «ура»; клики толпы заглушались мощным звучанием оркестров: в конце улицы показалась вереница машин. Первая остановилась у дверей Парламента и тотчас же была осыпана живыми и бумажными цветами, серпантином. Народные массы выражали свой восторг. Из машин вышли Лу Юэ-лао и Пань Ло. За ними следовал Янь Цзюнь.

Три простолюдина опускаются в глубокие кресла. Гремит военная музыка. Члены Парламента аплодируют.

Начинается великий Акт.

Все, что описано ниже, я понял не сразу.

Председатель Парламента объявил заседание открытым и напомнил присутствующим имена кандидатов на пост Генерального Президента.

Первым на трибуну поднимается Янь Цзюнь. Он мотивирует свое решение о выдвижении на пост Генерального Президента г-на Дунфан Даня. Согласно новейшим исследованиям физиологов, сообщает он высокому собранию, поза корточкистов при совершении естественных отправлений гарантирует от запоров. Между тем, всем известно, что многие болезни вызваны именно этим недугом. Больной субъект, понятно, не может служить великому делу с полной отдачей. Во имя государственных интересов мы, патриоты, должны заботиться о здоровье, должны отправлять естественные потребности не иначе, как методом корточкистов, должны избрать на пост Генерального Президента деятеля партии корточкистов. Это более чем логично (logical).

Партия корточкистов, продолжает оратор, намерена развивать в стране нефтедобычу. Хлопчатобумажное производство достигло полной зрелости, нам удалось монополизировать эту отрасль промышленности, а нефтедобыча и переработка нефти находятся в зачаточном состоянии. Над этим следует поразмыслить, иначе с Glasgo нам конкуренции не выдержать и мы будем сметены...

Под аплодисменты части зала Янь Цзюнь сошел с трибуны.

Следующим был Пань Ло. Он подверг острой критике речь предыдущего оратора.

— ...Что касается методики корточкистов и восседающих, то с точки зрения санитарии и гигиены тут и спорить не о чем. Да будет известно всем, что и корточкизм не исключает запоров. (Движение в зале.) Соотечественникам старый способ надоел, они хотят переменить позу; если ничего не изменится, отвращение к старой позе будет обостряться и может перерасти в полную апатию, в нежелание исполнять свой долг... трудно даже предвидеть, господа, все последствия столь недальновидной политики... Во имя счастья и здоровья сограждан мы должны отстаивать политику партии восседающих...

Далее Пань Ло изложил свою точку зрения на развитие нефтедобычи. Да, производство нефти в стране незначительно, и радикальных перемен пока не предвидится. Поэтому, если пренебречь хлопчатобумажным производством в угоду нефтяному, стране будет грозить опасность утраты ключевых позиций в мировом производстве пряжи еще до того, как нефтяная промышленность достигнет высокого развития.

Речь Пань Ло была встречена аплодисментами другой части зала.

— Хлопай, хлопай,— возбужденно бормотал г-н Сяо, не жалея ладоней.

На трибуну взошел Лу Юэ-лао.

— Верно сказал простолюдин Пань. И положение нынешнее обрисовал точно. Подальше бы глядел простолюдин Янь, увидел бы, что ждет страну, и тогда бы не стоял на своем. Чего там! Мне больше сказать нечего. Мои взгляды — это взгляды простолюдина Паня...

Председатель Парламента подошел к креслу Янь Цзюня и вкрадчиво произнес:

— Простолюдин Пань Ло и Лу Юэ-лао выставляют кандидатуру Ба Шань-доу. Председатель Парламента надеется, что уважаемый простолюдин Янь Цзюнь откажется от своего кандидата...

— Отдаю должное благим намерениям уважаемого Председателя Парламента,— мягко возразил Янь Цзюнь,— но от своего кандидата я не отказываюсь.

— Вниманию господ шеньши,— Председатель Парламента поднял руку.— Простолюдин Янь благодарит Председателя Парламента за благие намерения, но от своего не отказывается... Начинаем состязания.

Зал притих.

Председатель Парламента вытащил из кармана колоду игральных карт и под звуки оркестра трижды их перетасовал.

— Отец Чжу, прошу снять колоду,— возгласил он.

Оказывается, Чжу Шэнь-энь сидел вместе с членами Парламента. Я его просто не заметил. Он быстро направился к центру, истово перекрестился, снял колоду и раздал карты трем простолюдинам.

— Обменяешь? — спросил священник Пань Ло.

— Обмениваю одну и кладу под нее 500 миллионов юаней.— Простолюдин выписал чек, под которым немедленно поставил свою подпись Управляющий государственным банком.

Обменял карту и Янь Цзюнь, выписав чек на один миллиард юаней. То же проделал Лу Юэ-лао. Пань Ло обменял еще две карты, Янь Цзюнь и Лу Юэ-лао — по одной.

Когда нужно было раскрыть карты, Пань Ло свои отбросил в сторону. Мне объяснили, что такова его тактика. Фактически Пань Ло и Лу Юэ-лао, имея на руках мощный капитал, играли сообща. Оба простолюдина взглянули на карты. Янь Цзюнь добавил 9.000.000.000.000.000.000.000 юаней! Простолюдин Лу добавил столько же и приписал еще 25 нулей. На каждом новом чеке Управляющий государственным банком должен был ставить свою подпись, иначе чек был бы недействителен. Янь Цзюнь добавил такую же сумму и заявил, что желает раскрыть карты. Но после небольшого колебания дописал еще девять нулей.

— Я, само собой, тоже хочу добавить,— улыбнулся простолюдин Лу и добровольно дописал пятьдесят два нуля.

— Ого! — зашептал кто-то.— Вся мировая война в мире людей обошлась гораздо дешевле.

Янь Цзюнь не желал сдаваться. Он решил добавить еще и раскрыть карты.

Но тут вмешался Управляющий банком:

— Прошу прощения, но у вас, ваше превосходительство, иссякли возможности.

Янь Цзюнь побелел, как полотно.

— Как?! Ставлю все свои предприятия!

— Нельзя, простолюдин. Как представитель банковских кругов страны, я не могу заверить подобный документ.

— Это конец! — и Янь Цзюнь бросил карты на стол.

Лу Юэ-лао и Пань Ло одержали победу.

— Избран Ба Шань-доу! — провозгласил Председатель Парламента.

Овация. Музыка. Председатель Парламента вновь взошел на трибуну и объявил по радио на весь мир духов об избрании Ба Шань-доу.

— А теперь можно голосовать! — удовлетворенно сказал г-н Сяо.

Все присутствующие стали вписывать в бюллетени имя Ба Шань-

доу. То же проделали три простолюдина. Вписывать другое имя означало идти против воли народа.

И все же, что это была за игра? У Янь Цзюня было три туза, два короля. А у Лу Юэ-лао только пара валетов. Но г-н Сяо объяснил мне, что игра в карты лишь форма. Главное — величина капитала. Ныне два простолюдина объединились, и Янь Цзюнь не смог с ними конкурировать. В прошлый раз двое не очень мощных простолюдинов тоже избрали своего человека...

— Выходит, Янь Цзюнь разорен? — спросил я.

— Не совсем так. Потерпевший поражение действительно становится банкротом, но все зависит от того, кто этот человек. Янь Цзюнь — единственный крупный знаток нефтедобычи и нефтепереработки в районе, а для Лу Юэ-лао это немаловажно, вот почему, как я подозреваю, простолюдин Лу вернет ему выигранные деньги. Дело в том, что Лу Юэ-лао,— добавил он,— собирается инвестировать крупный капитал в отечественную нефтяную промышленность.

Когда Акт выборов подходил к концу, в зале стали раздавать от имени секретариата Генерального Президента пригласительные билеты на завтрашний Большой банкет.

По слухам, там не бывает ничего особенного, но попасть туда нелегко.

— Тот, кто однажды был приглашен,— сказал г-н Сяо,— всю жизнь пользуется почетом и славой. Прошлый раз у меня еще не хватало необходимого стажа, и я получил «Пригласительный билет Ожидающего Вакансии».

— Как это понять?

— Билеты Ожидающего Вакансии выдаются лицам тоже весьма уважаемым; все дальнейшее зависит от выслуги лет. Однако, если кто-либо из официально приглашенных лиц не явится на банкет, его заменяет обладатель «Пригласительного билета Ожидающего Вакансии».

— Значит, теперь мы обязательно получим приглашение?

— Несомненно,— радостно заверил меня г-н Сяо.

По дороге домой Чжун-но купил книгу «Основные положения банкетного церемониала у Генерального Президента». Завтра она понадобится. Дома мой приятель углубится в чтение. Мне это было ни к чему: г-н Сяо всегда был рядом со мной.

День любой...

Роскошный банкет в честь выборов проходил в Зале приемов Генерального Президента. Впускали по билетам.

— Не торопись,— наставлял меня г-н Сяо,— делай только то, что делают другие.

В пять часов мы вошли в Зал приемов.

Военный чин при Генеральном Президенте выкрикивал имена прибывавших гостей. Когда он назвал нас, гости стали с любопытством на нас оглядываться. Но вскоре они возобновили прерванные разговоры, увидев, как сердечно пожимали нам руки Лу Юэ-лао и Генеральный Президент, дружески нас приветствуя.

— Интимные друзья беседуют не здесь,— улыбнулся Ба Шань-доу, увлекая нас в боковую дверь.

В укромном холле сидели члены Клуба простолюдинов; Чжу Шэнь-энь благословил нас. Теперь-то я знаю их порядки. До начала банкета Генеральный Президент не должен появляться в Зале приемов. Исключение делалось лишь для почетных гостей, в числе которых оказались и мы. Вот гости и прониклись к нам особым уважением.

В холле находился и Янь Цзюнь. Он о чем-то весело болтал; гово-

рили, будто простолюдины Лу и Пань вернули ему выигрыш, удержав лишь 8 процентов, и он может продолжать дело.

Мне хотелось рассмотреть всю резиденцию Генерального Президента, и вместе с г-ном Сяо мы вскоре покинули холл. Ба Шань-доу просил нас по сигналу вернуться в Зал приемов.

Остальные гости тоже разбрелись кто куда. Мы уселись у фонтана. Несколько духов, как нам показалось, усиленно за нами наблюдали и о чем-то горячо спорили. Наконец один из них подошел к нам.

— Если не ошибаюсь, Его Превосходительство Хань Ши-цянь?

— Да, он действительно Хань Ши-цянь,— опередил меня мой друг,— чему обязаны?

— Я, Чжун-Лун, из Союза корреспондентов, прибыл сюда, чтобы представить Хань Ши-цяню моего друга.

Он подал знак, и к нам подошел дух, как оказалось, старый знакомый г-на Сяо. Мужчины обменялись рукопожатием.

— Я не знал, что господин Хань — приятель господина Сяо,— произнес новый знакомый. Корреспондент помалкивал.

Короче говоря, г-н Сяо представил мне доктора Вэй Сань-шаня. Рукопожатие.

— Я не имел удовольствия быть знакомым с господином Ханем раньше,— начал доктор,— поэтому, узнав об отрицательном его отношении к моему докладу, решил объединить всех журналистов города для борьбы с ним. Но теперь я вижу, господин Хань, как и я, предан простолюдину Лу, и, таким образом, мы единомышленники. От всей души прошу простить мою ошибку. Мы должны рука об руку, единой поступью идти по пути простолюдинов Лу и Паня.

Я в ответ на эту тираду произнес несколько обычных вежливых слов.

В шесть часов прозвучал сигнал, и со всех сторон к Залу приемов устремились приглашенные.

Места были обозначены в билетах; к счастью, мое было рядом с г-ном Сяо. Рассевшись, гости выпрямились на стульях и замерли. Вошли простолюдины. Место Генерального Президента было в центре. Оно пустовало.

— Встать! Музыка! — рявкнул дежурный офицер-церемоний-мейстер.

Вошел Генеральный Президент.

— Сесть!

Были наполнены бокалы. И снова:

— Чокнуться!

Все встали со своих мест. Три простолюдина подошли к президентскому креслу. Спич произнес Пань Ло:

— Генеральным Президентом избран Ба. Это большое счастье для политики простолюдинов и для всего района. От имени народа всей страны Янь Цзюнь, Лу Юэ-лао, Пань Ло пьют до дна в знак уважения к Генеральному Президенту и желают ему десять тысяч лет жизни!

— Глоток! — раздался голос офицера.— Два глотка! Три глотка! Бокалы — ставь! Садись!.. Аплодисменты!

Все, как один, громко захлопали в ладоши.

Стали разносить еду.

— Пить суп! — командовал голос.— Глоток! Два глотка! Три глотка! Стоп!

Все отставили суповые ложки.

— Глоток вина!.. Съесть ломтик хребта! Пить! Глоток! Еще глоток! Еще глоток! Стоп! Музыка!

После музыки ели хлеб.

— Укус! Два укуса! Три укуса! Проглотить! Есть луковицу!

Я вовсе не привык к этому деликатесу, но делать было нечего. Если бы вчера я прочел «Основные положения банкетного церемониала у Генерального Президента», я бы наотрез отказался туда идти.

— Три минуты отдыха.

Это означало, что можно есть что угодно, о чем угодно говорить, а также пить и курить. Г-н Сяо шепотом осведомился о моем самочувствии. Он объяснил мне, что иначе нельзя, «если желаешь укреплять власть Генерального Президента и правительства». К тому же, добавил он, человек — животное, предрасположенное к этикету; причина, в силу которой человек — венец всего сущего...

— Начали! — перебил моего приятеля голос дежурного офицера.— Музыка!

Снова были подняты бокалы, но на этот раз обошлось без спичей трех простолюдинов от имени народа всей страны.

— Аплодисменты! Есть бифштекс! Укус! Еще укус!..

— Пир окончить! Гостям — вольно!

Зал зашумел, задвигался. Поднялся невообразимый шум.

Когда Генеральный Президент, простолюдины и гости отдыхали, куря, попивая кофе и беседуя, к Ба Шань-доу сквозь толпу протиснулся офицер с бледным и растерянным лицом.

— Докладываю: только что мной обнаружено на полу.— И офицер протянул простолюдину листок бумаги.

Все невольно взглянули себе под ноги: пол был усеян точно такими же бумажками.

Это были листовки. Они призывали выступать против политики азартных игр, против монополизации выборов рабами денег: «долой банкеты бюрократов, да пробудится народ района, да не станет он псом рабов денег...»

Ба Шань-доу изменился в лице.

— Чья работа?

— Не могу знать,— ответил офицер.

— Поднять на ноги сыщиков!

День любой...

Довольно долго не вел дневника. Просто в эти дни ничего не случилось примечательного. Вместе с Сяо Чжун-но, Жао Санем, Сыма Сиду и их крошками исправно посещал разнообразные состязания в честь великих выборов и развлекался с друзьями. Город буквально сошел с ума.

На состязании младенцев судьями были врачи и портные, на состязании красавиц — портные и ювелиры. Решения принимались тайным голосованием. Сегодня состоятся всерайонные (то есть государственные) спортивные состязания; рекордсмен по перетягиванию каната Фан Ху-шэн и его ребята шатались по городу, выкрикивали лозунги и горланили песни. Рекордсмен по прыжкам через барьер низиной в 220 метров У Цзы-цян выступал как главный арбитр состязания в беге, в витринах фотоателье красовались его портреты.

Увеличился тираж газет. Кроме регулярных номеров время от времени выпускались специальные листки со спортивными новостями. Не забывали и о государственных делах. Ход великих выборов освещался со всеми подробностями. Пресса отмечала единодушие народа, избравшего Генеральным Президентом Ба Шань-доу, «из чего явствует, с каким энтузиазмом народ поддерживает господина Ба». Здесь же была опубликована его краткая биография: «...предки нашего избранника участвовали в народной революции, и, стало быть, в его жилах течет кровь простолюдинов. Согласно физиологическим данным, г-н Ба — врожденный демократ. В свое время простолюдин Пань Ло сделал его

своим личным секретарем, позже он вступил в партию восседающих и постепенно приобрел имя. В разное время господин Ба занимал ответственные посты начальника местной политической администрации, министра финансов, министра промышленности и другие. В делах г-н Ба гибок, точен и быстр; и если иному духу для выполнения какого-либо задания требуется два-три месяца, г-ну Ба достаточно двадцати четырех часов».

Эпизод с листовками на Большом банкете в газеты не попал. Наоборот, сообщалось, что в городе циркулируют злостные слухи, будто в резиденции Генерального Президента кто-то разбросал листовки. Клеветника разыскивает Управление полиции. И последняя новость: Министерство иностранных дел опубликовало официальное опровержение в связи с сообщением иностранных агентств о тайном союзе нашей страны с Lampi.

День любой...

Сначала Сяо Чжун-но намеревался отправиться вместе с крошкой в театр, но из Генерального союза писателей пришло письменное извещение о предстоящем собрании.

После завтрака я просматривал книги в библиотеке приятеля.

В стеклянном шкафу-сейфе я обнаружил толстую книгу «Записки о скорби и радости господина Пань Чуань-пина». В ней было свыше восьмисот страниц. На титульном листе была напечатана маленькая фотография господина Паня, а также несколько иероглифов работы каллиграфа Чжао Мэн-фу. Фотография поразила меня. На ней был изображен годовалый младенец, совершенно голый, даже без чехла на носу. Он сидел в глубоком кресле и держал в руке не то кожаный мяч, не то яблоко,— предмет на фотографии получился несколько расплывчатым...

Я стал лихорадочно листать страницы. Оказывается, это был сын Пань Ло, который прожил в мире духов лишь одиннадцать месяцев. Ребенок страдал infantile paralysis[1], его лечили лучшие медики мира, но безуспешно. У простолюдина Ло с этим ребенком были связаны все надежды. Он видел в нем продолжателя дела, но его мечтам не суждено было сбыться: сын умер в младенческом возрасте. Это было горем для всей страны... Позже Парламент объявил день смерти Паня-младшего днем национального траура.

В книге подробно описывалась церемония похорон усопшего.

Пань Ло — уроженец города Манчэн, отстоящего от столицы на 120 ли и связанного с ней железнодорожной веткой. Там и проходили церемонии. Когда гроб с телом везли в Манчэн, Пань Ло за большие деньги арендовал железнодорожную ветку, по которой на один день было прервано всякое движение. Вдоль пути следования траурного поезда было сооружено сто шестьдесят четыре разноцветных арки; до ночи ярко пламенели сигнальные костры. На похороны съехались сливки общества, его отцы и радетели: Лу Юэ-лао, Янь Цзюнь, Вэнь Хуань-чжи. В городке скопилось более пятнадцати тысяч автомобилей и свыше двадцати тысяч музыкантов из военных оркестров; на похороны прибывали столичные учреждения, учебные заведения, суды и прокуратура. Приток духов продолжался сутки — с полуночи до полуночи. Хозяева гостиниц и трактиров на фасадах своих домов приспустили в знак траура флаги; было сооружено свыше шести тысяч алтарей для жертвоприношений... К началу церемонии Пань Ло снова арендовал дорогу между столицей и Манчэном, и присутствующие на похоронах, предъявляя билеты, усаживались в поезда. Билеты были двух классов, поэтому духи попадали в разные вагоны. Для простолюдинов и членов правительства был

[1] Детский паралич.

подан спецвагон Министерства железных дорог. Крупные отели Манчэна, уличные магистрали, народные дома заполонили столичные гости. Ежедневно горячая пища готовилась из расчета на семнадцать тысяч персон — четырехразовое питание по восемнадцать перемен. Вдоль железнодорожного полотна персонал столичного вокзала соорудил восемьсот разноцветных арок высотой в восемьсот чжанов каждая; от него же до резиденции Паня земля была устлана черным индийским шелком, расшитым цветами... Боясь нехватки обслуживающего персонала, Пань Ло распорядился перевести девять тысяч триста пятьдесят служащих различных учреждений в Манчэн, сгруппировав их в пяти отделах: в общей канцелярии, секретариате, в Отделе сообщений, в Бюро обслуживания и Бюро церемоний. Каждый Отдел возглавлял его начальник — министр; количество начальников подотделов не лимитировалось (подробнее см. в книге «Основные положения организации погребения г-на Пань Чуань-пина»)... Все это продолжалось более трех месяцев, так как на церемонию прибыли духи с окраин района, а также из-за границы. Повсюду были созданы отделения по организации похорон, и все было тщательно продумано...

Впоследствии в кулуарах строились догадки о причинах столь расточительных похорон. Несомненно, щедрость правительства сыграла здесь не последнюю роль. К тому же, вся эта роскошь должна была поощрить сограждан в их стремлении подняться до вершин, достигнутых простолюдином: смотрите, мол, какие почести воздаются умершему ребенку, которому и года-то не было от роду! А все потому, что простолюдин! Сограждане непременно станут страстно завидовать простолюдинам и мечтать им уподобиться.

В «Записках» цитировался текст, написанный на парных траурных полотнищах, обращения к умершему и другие малоинтересные вещи.

Вечером вернулся Чжун-но и сообщил мне новость. Согласно Указу Парламента писатели различных направлений объединяются в единую организацию. Задача нового общества пропагандировать идеи демократизма и тем самым нейтрализовать мерзкие и грязные теории низов. Ну и, конечно, держать в узде мятежников и предавать гласности имена зачинщиков бунта.

Он также сказал, что после совещания снова был у Лу Юэ-лао.

— У него я узнал две важные новости. Тайный договор с государством Lampi завтра будет подписан.

— А почему мы ничего об этом не знаем?

— Этого еще не хватало! Да если за границей пронюхают о нашем союзе, будет просто невозможно прибрать к рукам хлопчатобумажные предприятия других районов! И может вспыхнуть мировая война.

Он умолк.

— А другая новость? — напомнил я.

— Да, верно. Послезавтра будет обнародован Закон о перемещении духов. Ты ведь знаешь, в нашем районе имеется много крупных предприятий иностранных граждан, приносящих им немалые прибыли. Пора это пресечь.

— Нет ли у тебя экземпляра корректуры нового Закона?

— Завтра простолюдин Лу обещал прислать.

День любой...

Закон был весьма строг не только для вновь прибывающих, но и для тех иностранцев, которые уже проживали внутри района.

В основном положения Закона, не затрагивающие только дипломатов, сводились к следующему:

«...Переходящий границу обязан подготовиться к соответствующей процедуре:

1. через посланника по эмигрантским делам за два месяца уведомить правительство данного района о будущем переходе;

2. при пересечении границы внести переселенческий взнос в размере 78.569 юаней 2 мао и 1 фэня;

3. при прохождении досмотра внести досмотровый взнос в сумме 5 тысяч юаней; при неблагоприятном для переселенца исходе досмотра указанная сумма не возвращается;

4. посланник несет полную ответственность за проходящее через границу лицо и ручается за него;

5. переходящий границу обязан отвечать следующим условиям:

а) не болеть тяжелыми заболеваниями; б) не быть преступником по самой своей природе; в) быть ростом выше пяти английских футов, восьми цуней и шести фыней[1] и ниже шести английских футов, трех цуней и двух фыней, независимо от пола; г) кожа на губах не должна быть тонкой; д) указательный палец правой руки должен быть длиннее безымянного; е) диаметр пупа должен быть равен половине английского дюйма».

В случае, если претендент не отвечает данным критериям, он безусловно не имеет права пересечь границу. Было еще одно важное условие: за год число переселенцев в каждом пункте не должно превышать трех.

Корректуру Закона я спрятал в выдвижной ящик стола.

В сегодняшних утренних газетах появилась примечательная новость: «Лу Чуань-линь против Уголовного кодекса».

«Преподаватель средней школы при городском университете Лу Чуань-линь прочел учащимся лекцию по теории эволюции Дарвина, объясняющей происхождение человеческого рода от обезьяны. Священник Чжу Шэнь-энь, как сообщают, заявил, что подобная ересь не только не соответствует истине Священного писания, но и приходит в столкновение с параграфом Уголовного кодекса («запрещено разрушать строгость нравов»), а посему он намерен обратиться в суд».

Ниже следовал комментарий корреспондента:

«Настоящее столкновение произошло на прошлой неделе, но по каким-то причинам оно стало достоянием гласности только сейчас».

И далее:

«Среди наших соотечественников есть немало сторонников теории эволюции Дарвина. Демарш священника Чжу, возможно, вызовет нежелательную реакцию. Когда пишутся эти строки, в столице начало работу совещание Комитетов антропологов и биологов для обсуждения проблемы, куда приглашены священник Чжу и Лу Чуань-линь».

Из государственных новостей важным было сообщение о предстоящей отмене правительством Закона о смертной казни. В период президентства Вэнь Хуань-чжи эта статья Кодекса обсуждалась, но из-за робости старого Генерального Президента отменена не была. И только теперь новая администрация полна решимости довести дело до конца. Генеральный Президент Ба действует быстро: вероятно, завтра-послезавтра Закон будет отменен.

День любой...

Сегодня произошло два больших события:

1. введен Закон о перемещении духов;

2. отменена смертная казнь.

Действительно, нельзя было не подивиться оперативности и гибкости г-на Ба Шань-доу.

Назначен день и час диспута по теории эволюции. Приглашаются все желающие. Я пойду непременно.

[1] Фынь — 3,2 мм.

— Если ничего не случится, я, пожалуй, пойду с тобой,— сказал г-н Сяо.

— А что может случиться?

— Что? — г-н Сяо сразу посерьезнел.— Твой чрезмерный оптимизм излишен. Опасности подстерегают нас на каждом шагу.

После обеда, когда я отдыхал в своей комнате, вошел Чжун-но.

— Господин Хань,— заявил он,— непредвиденное, кажется, свершилось. Звонили из резиденции Лу. Клуб простолюдинов созывает экстренное совещание.

Я сел на кровати.

— Я тоже должен быть?

— Разумеется.

Совещание было посвящено весьма серьезному и острому вопросу. Докладывал священник Чжу. Трест боеприпасов Цзюньхо заслал в наш район группу агентов с целью выведать содержание тайного соглашения с Lampi. Вчера был схвачен подозрительный субъект. Правда, он ни в чем не признался. Улик нет.

— А сведения о шпионах достоверны? — спросил Генеральный Президент.

— Именем Христа, сущая правда. Мне об этом сообщил в шифровке священник из Lampi; он же заявил, что в резиденции Генерального Президента, возможно, затесался предатель.

Все изменились в лице и уставились друг на друга.

— Дознание! — приказал Лу Юэ-лао.— И ты, того, глаз с него не спускай.

— Можете на меня положиться,— священник стукнул себя в грудь.— Если появятся улики против захваченного лазутчика, я предам его смерти методом «сдирания шкуры со свиньи». Я уже приступил к организации «божественных разведотрядов» и с помощью силы небесной разгадаю дьявольские замыслы.

Все умолкли. Тишина была зловеща и сурова.

Вдруг отец Чжу икнул. Двумя секундами позже икнул вторично, тяжко, с надрывом, глядя на простолюдина Лу такими глазами, как будто чего-то от него ждал.

— Выпей вина,— понял тот.

— Э-э... шутите,— священник покосился в мою сторону и снова икнул.

— Пей, чего там. Здесь все свои.

Он нажал кнопку звонка, и лакей принес полдюжины виски.

Все слегка захмелели и потребовали привести «фальшивых крошек».

«Фальшивая крошка» — это разряженная, нарумяненная, напомаженная и напудренная женщина, тщетно пытающаяся скрыть серость лица и нездоровый цвет кожи. Те, у кого не было крошек, в том числе и я, здесь же, в сторонке, занялись картами.

Священник усадил крошку себе на колени и стал целовать. Потом он сорвал с ее носа чехол и, гладя его, приговаривал:

— Хе-хе, малютка, что за прелестный носик, что за носик, носик, носик!

Девушка стыдливо прикрывала нос рукой, но отец Чжу упорно отводил ее руку.

Лу, Пань и Ба хохотали, наблюдая за этой сценой. И тоже, подражая священнику, сорвали с носов своих подруг чехлы и стали их гладить, но чинно и спокойно.

Неожиданно я встретился глазами с Лу Юэ-лао. Он слегка покраснел.

— Ты уж извини, господин Хань, мы маленько того, развлекаемся.

— Ну что вы, что вы!

— Нам, понимаешь ли,— г-н Сяо тут как тут,— крайне необходима умственная разрядка.

Лу Юэ-лао приказал музыкантам играть, и все парами стали танцевать со своими крошками; потом снова началась попойка, музыка и танцы. Они прикончили еще две дюжины сбивающего с ног виски. Когда пришло время зажигать огни, мужчины потребовали от своих фальшивых крошек песен. Девушки стали раздеваться. И, обнаженные, пели и танцевали. Самой популярной была песенка: «Любимый братец, разве ты не знаешь, как я люблю тебя».

Потом женщины составили счет и каждая вручила его своему клиенту. Мне удалось прочесть счет отца Чжу.

Поцелуи	46 штук	9 юаней 2 мао
Поглаживание верхнего места	71 раз	21 юань 3 мао
Парные танцы	30 мин.	10 юаней
Песни и танцы	1 раз	20 юаней 6 мао
Итого		61 юань 1 мао
Священник Чжу		*Место печати*

— Все переписать на меня,— заявил Лу Юэ-лао,— но, барышни, понимать надо, мы ваши старые клиенты, можно бы скидочку для нас сделать.

— Не выйдет,— отрезала одна из фальшивых крошек,— никто из нас на это не согласится. Платите по прейскуранту.

— Э, не упрямьтесь же. Скиньте немного.

Девушки стояли на своем, как их ни уговаривали.

— Мразь! Сволочи! — вскипел Лу Юэ-лао.— Тягаться с нами захотели! А не желаете ли прогуляться в полицию!

Конфликт разрешил Пань Ло.

Получив деньги, девушки отправились на машинах восвояси. Они заикнулись было о чаевых, но им наотрез отказали.

Разошлись мы только после ужина. Простолюдин Лу похлопал священника по спине:

— Помни и гляди в оба!

— Да я... завтра небесный владыка с утра ниспошлет вам всем... бла... го... дать...

День любой...

Вчера Чжун-но вернулся что-то около часу, когда я уже спал.

— Произошло великое несчастье! — Мой приятель был в панике.

— Что случилось?

— Ужасные новости.— И он протянул мне лист бумаги.— Это иностранная газета.

В газете был напечатан текст тайного соглашения с Lampi. И еще одна важнейшая новость: узнав об этом соглашении, другие государства в панике стали принимать контрмеры — правительства Brologue, Velo, Mammon отправили войска для укрепления государственных границ; Velo расквартировало крупные войсковые контингенты в своей колонии Makette, боясь вторжения союзных войск.

— Недурная новость, не правда ли? — проговорил г-н Сяо.

— Это достоверно?

— Совершенно. Ба Шань-доу получил секретное донесение. Посланники трех стран, аккредитованные в нашем районе, завершают все дела, ожидая официального распоряжения покинуть пределы района. Правительство все еще не готово сделать такое заявление, и в газетах пока ничего нет...

А я даже не предполагал, какая здесь заваривается каша. Мне стало душно.

— Значит, война?

— И вспыхнуть она может в любой момент,— откликнулся он.— Тебе трудно понять... Я поделюсь с тобой одной новостью весьма конфиденциального свойства, о ней проинформирован самый узкий круг лиц. Так вот, тем трем районам и нашим двум союзным державам столкновения всегда выгодны, и рано или поздно война все равно разразится. Мы готовились к ней более двадцати лет, совершенно уверены в победе и только ждем приказа о мобилизации. Ты явился к нам извне, и тебе все это непонятно.

Он снова понизил голос:

— Мы уже подтянули два полка к западным границам Makette.

День любой...

Сегодня административные власти всех степеней начали всеобщие розыски. Штаб жандармерии, управление полиции, тайная полиция и офицерская школа действовали сообща, проводя поголовную проверку населения. Гражданам города, кроме простолюдинов и государственных служащих высших рангов, запрещалось хотя бы на шаг отходить от ворот своих домов. Обстановка чрезвычайно напряженная. Мы от проверки были освобождены, так как имели охранные грамоты Секретариата Генерального Президента. В настоящее время проверка завершена, по подозрению в шпионаже схвачено более тысячи шестисот духов.

За двадцать четыре часа весь город был проверен, что несомненно свидетельствовало об оперативности властей.

День любой...

Атмосфера накаляется день ото дня. Так я, чего доброго, не сумею вернуться в мир света.

Крупные контингенты войск перемещаются в разных направлениях внутри района. Нижнеярусники готовятся к мобилизации. Тайно создаются военно-этапные пункты, в столицу непрерывно прибывали важные лица из военных ведомств Lampi. Последние три дня в газетах стали появляться сообщения о совместных военных действиях Velo и двух других стран. Правительство Velo уже отдало приказ о назначении главнокомандующего. Пресса выбивалась из сил, внушая населению провокационную мысль о враждебных намерениях трех держав; сообщалось о выступлении перед соотечественниками премьер-министра кабинета Velo: «пока мы не покорим союзные державы, мы не покорим союзные державы и наша промышленность не выйдет из состояния застоя».

Позавчера г-н Сяо снова был на собрании писателей; они приняли решение объединить литераторов страны для пропаганды патриотизма.

На улицах беспорядок и хаос.

День любой...

В час дня пополудни состоялась дискуссия по теории эволюции видов. Мы отправились к месту собрания на машине вместе с крошкой Сяо Чжун-но.

На улицах была масса народу, и машина продвигалась с трудом. На стенах домов повсюду расклеивали лозунги и призывы вроде «Решается вопрос жизни и смерти, существования и гибели наших духов», «Соотечественники должны сражаться во имя высшей справедливости». Хотя положение было серьезным и на лицах застыло соответствующее

моменту выражение, одеты все были аккуратно и строго. Двигались духи степенно, разговаривали, соблюдая этикет.

Нашей машине преградила путь толпа.

Продавали экстренные выпуски газет. Накупили разных. Сообщения и заголовки были примерно одинаковы:

«Ха-ха?? Извольте полюбоваться на сердца военных из Velo, любящих свой район?!?!?!?!?!»

Подзаголовок гласил: «Правительство Velo может подавать в отставку». Далее следовало семь вопросительных знаков, тринадцать восклицательных и одни кавычки.

В самой статье сообщалось, что отправленные правительством Velo в Makette пехотные части и команды трех военных кораблей восстали, заняли город, изгнали оттуда местных чиновников и заявили, что не намерены с кем бы то ни было вступать в военный конфликт.

Было еще одно известие. Наши послы, посланники и дипломаты, аккредитованные в Velo и других районах, отзываются на родину.

— Официально,— заявил я г-ну Сяо,— вы находитесь в состоянии войны, и я не могу не вернуться в мир света.

— Почему? — Он был удивлен.— Разве не славно понаблюдать за всем этим шумом и гамом?

— Но подобные наблюдения небезопасны!

— Чепуха! Можешь не волноваться, война опасна не для нас...

Наша машина всюду попадала в заторы, и на дискуссию мы прибыли с опозданием на три четверти часа.

Начала ее мы не слышали. Я был огорчен. Первым выступал Лу Чуань-линь, но, когда мы вошли в зал, в спор уже вступил Чжу Шэньэнь. Он был в черном, на его груди висел золотой крест, лицо было строгим и благостным, напоминая лик Христа, когда тот в последний раз сел за трапезу со своими учениками.

— Вздорные россказни,— начал он свое опровержение.— Мы, мир духов, благородный мир духов, никак не можем происходить от обезьян, быть потомками обезьян! В Библии ясно написано, что мы ведем начало от Адама и Евы... нет, сначала надо называть имя Евы, ибо культурный дух уважает особ женского пола... Ева и Адам — вот чьи мы потомки. Адам... нет! Ева и Адам — от них пошел наш мир, а не от семени макаки или собачьего мяса!.. (Аплодисменты.) Они — основа мира, созданного царем небесным Иеговой... (Аплодисменты.) Это научно, ибо известно, что теология — тоже наука.

Он отхлебнул глоток чая.

— Естественные науки требуют доказательств. Наша теология тоже доказуема, у нее с естественными науками одна и та же правда. Наши эксперименты не похожи на опыты естествоиспытателей, которые подогревают на спиртовках красную и зеленую водицу. С почтительностью и прямотою свидетельствую: на прошлой неделе в 2 часа 43 минуты пополудни я лицезрел царя небесного Иегову. Он как раз собирался на дневную трапезу, и Авраам подавал ему нож и вилку. Прочитав мою визитную карточку, Иегова явил радость, и тогда я спросил его о происхождении мира нашего. Хлопнув меня по голове, он рек: «О любимый из бесчестных внуков моих, в Библии нет ни слова лжи». (Аплодисменты.) Вот что мне лично сказал Иегова, а вы, защитники семени макаки, еще смеете раскрывать рот! Тьфу!.. (Аплодисменты.)

На трибуну вторично поднялся Лу Чуань-линь. Он заявил, что священник Чжу обманывает самого себя. Не более того.

— Он обманывает самого себя, но, возможно, и сам не верит своим словам... (Аплодисменты.) Он признался, что видел Иегову. Подобными баснями трудно обмануть даже ребенка старше трех лет, а он приводит их в качестве доказательства своей правоты! (Аплодисменты.)

Я весьма сожалею о прочитанном ранее научном докладе, так как речи, подобные только что произнесенной священником Чжу, ничего общего с наукой не имеют. (Аплодисменты.)

Вторичные контрдоводы священника отличались крайней простотой: неверующие не имеют права высказываться. Многие аплодировали.

Затем начались выступления, и мнения разделились.

Итоги диспута подвел антрополог И Чжэн-синь. Как только он взошел на трибуну, зал разразился аплодисментами, и все стали ждать того мгновения, когда он исчерпывающе охарактеризует великую дискуссию. Он был авторитетом в антропологии, и одного слова его было достаточно, чтобы определить, кому победа, кому поражение.

Он начал свою речь скромно. И когда говорил, в зале стояла необычайная тишина. Существуют, сказал он, три теории происхождения мира. Диспут вели представители двух теорий, но он, И Чжэн-синь, верит, что среди присутствующих найдутся и сторонники третьей теории.

Первую теорию представлял священник Чжу, который верует во все, написанное о сотворении мира в Библии, где говорится, что владыка небесный создал одного мужчину и одну женщину, от коих произошли все мы.

Вторую теорию представлял Лу Чуань-линь, продолжал антрополог. Лу верит в учение Дарвина, гласящее, что все мы произошли от животного.

Наконец, необходимо познакомить собравшихся с третьей теорией, ибо сегодня в этом зале суждения о ней высказаны не были. Суть ее в следующем. Когда земной шар был еще бездушен, однажды пошел сильный снег и появились два индивида мужского пола. Мужчины стали заниматься педерастией и родили много сыновей и дочерей, таким образом и появился современный мир. Физиологические отправления индивидов отличались особыми свойствами, поэтому педерастия вела к деторождению.

Итак, кому из трех учений мы отдадим предпочтение?

— Впрочем,— заметил И Чжэн-синь,— истина не обязательно однозначна. Например, два плюс два равняется четырем, и это истина; но два плюс три равняется пяти — и это тоже истина; восемь минус пять равняется трем, и это истина. Вещи разные, и все они истинны, и каждую мы должны принять. Возвращаясь к трем теориям, следует сказать, что каждая из них неоспорима, и поэтому нам следует признать их все... (Аплодисменты.)

Его вывод сводился к тому, что во всех трех теориях заключен определенный смысл, что все они — суть теории одного порядка, не противоречащие друг другу, и следует только приветствовать комбинированное учение о происхождении мира.

— Говоря научно, эти три теории взаимосвязаны и взаимообусловлены... Обратите внимание, господа, мы отнюдь не собираемся основывать четвертую партию, мы лишь приводим к гармонии великий успех истины. Мы можем назваться партией примирения или партией истины, ибо наша цель — стремление к истине, а не служение распрям... (Аплодисменты.) Эти три партии, в сущности, близки друг другу, но духи, как это ни печально, всегда спорят и упорствуют в своей неправоте...

Последние слова оратора потонули в буре аплодисментов.

Так был разрешен спор. Оказывается, точка зрения Лу Чуань-линя приемлема, в словах Чжу Шэнь-эня есть смысл, и нет необходимости оспаривать третью теорию.

День любой...

Позвонили из резиденции простолюдина Лу и предложили г-ну Сяо немедленно явиться на срочное совещание.

— Господин Хань, ты поедешь со мной.

— Да, но...

— А в чем дело?

— Может быть, это неудобно.

— Не будь таким щепетильным. Звоня мне, простолюдин Лу, несомненно, рассчитывал и на твой приезд. В настоящее время люди его круга опираются только на своих.

Прибыв в резиденцию простолюдина Лу, мы сразу же услыхали дурную новость. Телеграмма из штаба войск гласила: «Семнадцатый и Восемнадцатый полки, направленные в Люйинь, сегодня на рассвете, войдя в город, подняли бунт, перерезали железную дорогу, телефонную линию и арестовали главнокомандующего Гао Гун-чэна; по слухам, он уже расстрелян».

— Где находится Люйинь? Он имеет большое стратегическое значение? — спросил я.

— Само собой,— ответил простолюдин Лу.— Люйинь — один из важных оборонительных рубежей района. Если с этим пунктом произойдет беда, союзные войска Velo смогут беспрепятственно двинуться на столицу.

— Их наверняка подкупили! — Священник Чжу стукнул кулаком по столу.— Собачьи потомки! Семя макакино!

— Спокойнее! — промолвил простолюдин Лу.

Затем был разработан план действий: курсантов офицерской школы города Манчэн направить на подавление беспорядков в Люйине. К счастью, у восставших не было никаких резервов.

Когда я дописал свои записки до этого места, снова позвонили от простолюдина Лу.

На этот раз я отказался сопровождать Сяо Чжун-но и решил ждать его возвращения. Если новости будут столь же неутешительны, я непременно вернусь в мир людей.

В двенадцать часов г-н Сяо Чжун-но возвратился.

— Ну как? — спросил я.

— Курсанты Манчэна уже прибыли в Люйинь.

— И это все?

— Это новость второстепенная. Главная новость всех нас очень огорчила.

Я молчал, зная, что он не выдержит и все выложит сам.

Так и случилось.

Он сказал, что Velo и его союзники направили нам телеграмму, в которой предлагалось, чтобы обе стороны отменили приготовления к войне, дабы, как было сказано, «в самом зародыше» ликвидировать опасность.

Меня эта телеграмма успокоила.

Г-н Сяо также сказал мне, что в Манчэн прибыл простолюдин Янь Цзюнь для личного руководства подавлением мятежа.

— Простолюдин Янь Цзюнь действует более умело, чем Лу Юэлао. Своим красноречием он может разбудить мертвых.

— Почему же тогда он потерпел поражение на выборах?

— Всякое бывает. Воля судьбы. Просто тогда банковские круги поддерживали партию восседающих.— И тихо добавил: — Простолюдин Янь рассчитывает взять реванш в следующий раз.

День любой...

Целую неделю не вел дневника. Положение было чрезвычайно напряженным: пополз слушок, будто многие бунтовщики просочились в столицу. По словам Чжун-но, это, пожалуй, могли быть вражеские ла-

зутчики. Нагнетали страх и такие мало приятные разговоры: некой стороне мешают простолюдины Лу и Пань, и не исключена возможность их похищения с целью получения выкупа.

— У нас это делают мастерски,— присовокупил Чжун-но.

Однако никто не знал, кто скрывается под этой «некой стороной».

Газета опубликовала Заявление правительства Gretago, обращенное ко всем районам, в котором декларировалась приверженность Gretago миру. Конфликт между Velo и Lampi, говорилось в Заявлении, необходимо передать на рассмотрение третейского суда, созданного из представителей объединений различных районов.

— Gretago в панике,— сделал вывод г-н Сяо.

— А чего они боятся?

— Правительство Gretago имеет в Lampi и Velo капиталовложения на сумму 1 млрд. 200 млн. золотых юаней. И если эти районы будут втянуты в войну, одна из сторон непременно окажется обескровленной, независимо от исхода кампании.

Вчера стало известно, что Объединенный Союз районов, получив Заявление Gretago, решил направить уполномоченных для изучения дела на месте. На это время объявлялось перемирие.

«Мировая печать в один голос твердит о реальности благоприятного разрешения конфликта. Активно готовившиеся к войне два Союза в ожидании арбитров прекратили военные действия. Многообещающее предзнаменование мира! В будущем объединения районов приведут мир к вечному миру».

Сегодня утром мы вновь получили приглашение от простолюдина Лу. Там собрались корреспонденты, адвокаты, профессора университета, знаменитости. Старые знакомые тоже были в сборе. Сыма Си-ду, Хэй Лин-лин, И Чжэн-синь, Чжао Шэ-линь, Цзян Соевая Подлива и многие другие. Не затевается ли банкет? Напряжение последних дней развеялось, как дым.

Лу Юэ-лао показывал гостям свою коллекцию древних реликвий. Один из специалистов-исследователей стал обнюхивать топорик Паньгу периода сотворения мира.

— Ну и как? — осведомился простолюдин Лу.

— Боюсь, подделка,— помедлив, произнес ученый.—Согласно моим исследованиям, Паньгу любил курить tobacco, а этот топорик пахнет сигарой.

Люди во фраках дюжинами разносили шампанское.

— Господа,— провозгласил Пань Ло,— наступил мир... Повеселимся, господа.

— Господа, всего несколько слов.— Генеральный Президент Ба Шань-доу потер руки.— Речь идет о добром имени нашего района.

Я прислушался.

— Господа, ваша деятельность широко известна, поэтому, господа, вам следует...

Он заявил, что следует созвать объединенное заседание учащихся и научно-технических работников, чтобы выработать Обращение к духам всех районов, выразив свое стремление к миру, а также требование к правительству — впредь не совершать актов агрессии.

Данное мероприятие втайне преследует три цели:

1. оно убедит всех в том, что отказ от войны в настоящее время продиктован не угрозами предателей-солдат, но волей народа;

2. оно убедит всех в том, что отказ от войны вызван отнюдь не боязнью военной мощи Gretago;

3. оно выразит истинную любовь духов района к миру, а всю вину за создание военной напряженности в прошлом возложит на противную сторону. К тому же правительство, согласившись с этим требованием,

приобретет добрую репутацию правительства истинно народного, движимого высокими помыслами.

Сяо Чжун-но, Сыма Си-ду, Хэй Лин-лин и я совещались о том, когда созвать объединенное собрание.

— Пожалуй, завтра,— предложил после раздумья г-н Сыма.

— Мне видится,— вставил Хэй Лин-лин,— что сегодня после полудня следует уронить внутренности мух золотого цвета на соловья, к тому же надо пойти посмотреть, овладел ли юмор с золотыми зубами белой розой в портфеле, овладел ли он флаконом чернил матери девятихвостой лисы.

— Превосходно,— воскликнул г-н Сяо.— Совершенно точно.

— После обеда и начнем. — Сыма Си-ду взял Хэй Лин-лина за руку: — Господин Хань, вы с Сяо — одна группа, да, именно так. Я пойду. Желаю одряхления нервов.

Но его задержал простолюдин Лу. Он пригласил всех собравшихся на обычный обед. Мы вчетвером сидели в углу гостиной и болтали. Г-н Сыма сказал, что собирается посоветоваться с Цзяном Соевая Подлива. Дело в том, что ему хотелось бы сделать себе подкожную инъекцию спирта, но он не знает, возможно ли это...

— Не господин ли это Вань? — Чжун-но перебил Сыма.— Господин Вань!

— Э! Вот вы где! — Г-н Вань подошел к нашему столику.

— Ты когда явился?

— Только что...

Лицо г-на Ваня было покрыто пудрой, в галстук была воткнута какая-то штука длиной в два цуня, напоминающая стрелу.

— Господин Вань, позволь представить тебе господина Ханя,— познакомил нас г-н Сыма.

Г-н Вань вытащил визитную карточку:

Специалист по любовным рассказам
По совместительству поэт
По совместительству счастливый мужчина
Регистрационный номер
удостоверения
V69 ВАНЬ СИН

— Что там слышно с премией Elbon? — спросил Чжун-но.

— Решение принято давно. А ты не знаешь?

— В газетах еще не сообщали.

— Не волнуйся, завтра-послезавтра весть об этом облетит мир. Многие редакции уже в курсе дела. Когда мы с крошкой выходили из машины, корреспонденты забросали ее вопросами.

По дороге домой я спросил г-на Сяо, что означают слова «счастливый мужчина».

— Его крошка — знаменитая госпожа Ци-ци. Поэтому он считается счастливым мужчиной и занесен в правительственные списки. Его крошка получит премию Elbon.

После полудня я никуда не выходил. Чжун-но где-то пропадал.

Со стен сорваны провокационные лозунги, призывающие к войне.

День любой...

Меня очень интересовало, чем кончилось дело с волнениями солдат в Люйине, но газеты хранили молчание. Чжун-но тоже ничего не знал, кроме того, что Янь Цзюнь, лично занявшийся этим, прибыл в Люйинь.

— Не имеет значения,— сказал г-н Сяо.— Боюсь, дело еще не закончено... Однако нам пора на собрание...

На собрании единогласно постановили включиться в движение за мир.

Тот день оказался поистине счастливым. Была послана открытая телеграмма с волеизъявлением мира, выдвинуты требования к правительству, правительство одобрило требования. На улицах появились свежие лозунги:

«Мирмирмирмирмир...»

«Да здравствует мир!!!!»

Повсюду шла подготовка к Конференции Мира; в ней активное участие принимали низы, однако они должны были все поголовно надеть установленную форму одежды и соблюдать правила, предписанные местной администрацией.

— Теперь ты можешь быть спокоен.— Г-н Сяо улыбнулся.— И еще несколько дней поразвлечься у нас. Откровенно говоря, даже если бы война началась, то и тогда было бы не страшно, одно удовольствие. Мир, гм...— говорил он сам себе.

День любой...

Вчера господин Вань Син пригласил нас на обед. Вместе с нами было несколько знакомых. Цзян Соевая Подлива по обыкновению занимал всех гостей увлекательным разговором. Слуга, с которым он явился, стоял за его спиной, сжимая под мышкой портфель.

— Марш отсюда,— набросился на слугу Цзян Соевая Подлива.— Порядков не знаешь! Твое место внизу, там, куда ушел слуга господина Ваня.

Слуга поспешил на нижний ярус.

— Простите его, господа, этот болван из новеньких и не знает порядков.

Незадолго до начала обеда перед Цзяном Соевая Подлива возник слуга г-на Ваня.

— Один больной хочет встретиться с господином,— и он обеими руками протянул визитную карточку.

— Эге! Это он. Позови-ка моего слугу.— И после того, как появился слуга с портфелем, распорядился: — Дай больному вкусную хину.

— Слушаюсь!

— Что вкусного в хине? — спросил г-н Сяо.

— Хина горька? А как вы ее, господа, принимаете? Я беру хину, варю ее вместе с куриным соком, соком говядины, соей и зимним грибом и уж тогда принимаю.

Он передохнул.

— Нынешние пациенты становятся все изнеженнее. Вчера, например, ко мне явилась барышня делать предохранительные прививки от менингита и требовала во что бы то ни стало общей анестезии...

— Простите, господа,— в разговор вмешался хозяин дома г-н Вань.— Ко мне пришло inspiration [1], очень сожалею, но позвольте записать схему рассказа.

Он подошел к столу, сел, вытащил из выдвижного ящика бумагу. Но писать не стал. Быстрым движением он извлек из кармана две игральные кости и кинул их на стол. Пробормотав что-то вроде «э, недурно», Вань взялся за перо. Не отрываясь, он исписал примерно три страницы и перевел дух.

Я взглянул на игральные кости, но, к своему удивлению, обычных цифр — один, два, три, четыре, пять, шесть — на них не нашел. На гра-

[1] Вдохновенье *(англ.)*.

нях костей было написано: на первой — актриса; очень печальная и очень больная девушка; поэтесса; принцесса; студентка; проститутка; на второй — актер; очень печальный и очень больной юноша; поэт; принц; педагог; министр.

Г-н Вань объяснил мне, что, приступая к созданию любовного рассказа, он кидает кости, чтобы найти своих героев. На этот раз ими будут поэтесса и министр...

После обеда г-н Вань пригласил нас на спектакль. Он сказал, что его крошка завтра-послезавтра вернется и тогда они пригласят и крошек уважаемых господ. Перед уходом он снова воткнул в галстук палочку длиной в два цуня.

— Что это такое? — спросил я.

— Стрела,— ответил он просто.

По дороге Сыма Си-ду и Цзян Соевая Подлива беседовали о возможности подкожной инъекции спирта.

День любой...

Большая пресса в районе и за его пределами была заполнена информацией о выступлениях простого народа в пользу мира. Газеты славили подобное миролюбие. Объединения района были совершенно удовлетворены.

Еще сообщение: специалист-антрополог доктор Tamaati заявил, что «имеет точные данные о безусловном прогрессе мира духов за последние два месяца... Интенсивная деятельность организаций района по пресечению военной опасности и движение за мир деятелей других держав, изученные нами, настраивают на чрезвычайно оптимистический лад...»

Еще известие: «Премия Elbon будет вручена госпоже Ци-ци!!!!!!!!!!»

«Госпожа Ци-ци, крошка господина Вань Сина, специалиста по любовным рассказам, окончила факультет добродетельных женщин городского университета. Затем она основала «Журнал благородного духа». Много писала по проблемам добродетельных женщин университета Gretago. На этот раз премию добродетельных женщин Elbon решено вручить ей... Поистине безгранична слава родного государства...»

Рядом с текстом красовался портрет г-жи Ци-ци и г-на Ваня с подписью: «Госпожа Ци-ци, специалист по проблемам добродетельных женщин (справа), и ее счастливый мужчина господин Вань Син (слева)».

Во второй половине дня явился Жао Сань и потащил нас к Лу Юэлао. Все эти дни у ворот резиденции соблюдались чрезвычайные меры по обеспечению безопасности. Сегодня было заметно некоторое послабление. Это обстоятельство вносило в душу успокоенность.

Простолюдин Лу напомнил Жао Саню, что в ближайшее время состоится Конференция Мира, а он, Лу, даже не знает, как к ней подготовилась местная администрация.

— Так точно, уже готова,— почтительно доложил Жао Сань. Он заметил некоторую сдержанность патрона.

Простолюдин Лу вызвал секретаря.

— Прошу пригласить Ба Ба-сюна.

Затем он вызвал слугу и велел попотчевать гостей кое-чем любопытным марки «Наследник престола».

— Эту вещь мне прислал Управляющий банком из Lampi. Дорогая: небось каждая штука стоит пятнадцать золотых долларов. Я вам пока не скажу, что это такое.

Неужели этот предмет съедобен? На бумажном пакетике был искусно напечатан чей-то портрет, вероятно, того самого «наследника престола». Под оберточной бумагой оказалась тонкая крошечная бумажная

коробочка красного цвета, крышка которой была сделана с большим искусством и выдумкой, и если бы простолюдин Лу не открыл ее сам, я бы этого сделать не смог. Когда крышку открыли, изнутри ударил запах сандалового дерева. И ничего съедобного, лишь крошечный пакетик золотого цвета. Вскрыли и его. Внутри еще одна коробочка, на этот раз бронзовая, на ней выгравирована обнаженная женщина, упиравшаяся ногами в два шара. Сбоку я заметил совсем крошечное ушко, на котором висел таких же размеров ключик: только им можно было отпереть коробочку. Внутри лежало нечто похожее на чехол для носа из шелка, перевязанное шелковой лентой. Когда была развязана и лента, я увидел предмет, напоминающий лепесток розы.

— Это еда? — спросил Чжун-но.

Простолюдин Лу только ухмылялся.

Действительно, из лепестков я извлек что-то завернутое в тонкую бумагу, маленькое-маленькое, не более ноготка. Развернул бумагу и наконец увидел его — семечко! Одно-единственное семечко!

Я не поверил своим глазам. Но отправив семечко в рот, больше не сомневался: не сладкое, не соленое, без какого-либо запаха, обыкновенное семечко, какие мы постоянно покупаем.

— Я тоже такое ем впервые,— сказал простолюдин Лу.— Нравится? Не правда ли, прекрасно на вкус?

Я заметил, что в этих местах семечки чрезмерно дороги.

— Нет,— сказал простолюдин,— один цзинь можно купить за пять фэней. А это семя — каждая штука стоит пятнадцать золотых долларов. Само собой, и по вкусу оно другое. Обычно я не люблю грызть семечки.

Он вручил мне еще один пакетик. На этот раз я разжевывал семечко очень тщательно, прислушиваясь к ощущениям. Но ничего не почувствовал. Семечко как семечко.

— Съел и ничего не уразумел,— г-н Сяо улыбнулся мне.

— А ты ощущаешь необычный вкус?

— Конечно,— он сделал паузу и повторил: — Конечно.

Съев третье семечко, я признал себя побежденным.

Г-н Сяо улыбнулся:

— Ты, господин Хань, просто не можешь разобраться в своих ощущениях...

Вошел Ба Ба-сюн. Простолюдин Лу попотчевал и его диковинным семечком. Тот потратил минут десять на процедуру отправления семечка в рот, но мнения своего не высказал.

— Что думает простолюдин Пань о сроках созыва Конференции Мира? — спросил простолюдин г-на Ба.

— Он сказал, что надо подождать приезда делегатов от Ассоциаций районов. Получены телеграммы, что уполномоченные уже выехали.

— Ладно, не имеет значения. Я думаю открыть Конференцию после совершения обряда в день столетия священного философа Луна.

— Местная администрация уже подготовилась к совершению обряда... Верно, значит, послезавтра.— Ба Ба-сюн бросил взгляд на Жао Саня.

— Местная администрация готова к обряду,— быстро включился Жао Сань.— Телеграмма с приглашением доктора Гао отослана.

Ба Ба-сюн поспешил откланяться:

— Я изложу ваши соображения простолюдину Паню.

Когда мы уходили, простолюдин Лу вручил нам троим шесть семечек, по два на брата.

День любой...

Уполномоченные Ассоциаций районов прибыли в столицу. Генеральный Президент отправил для приема гостей Ба Ба-сюна.

В газетах появилось сообщение о благополучном исходе конфликта с мятежниками в Люйине. И дополнительное известие, опубликование которого по ряду причин было задержано на несколько дней. Разнузданность мятежников весьма опасна. Курсанты офицерской школы окружили город, пробились, согласно диспозиции Янь Цзюня, к верным жителям внутри города, атаковали мятежников, вынудив их сложить оружие. В нужный момент подоспела помощь со стороны Velo, за что наш район выражает искреннюю признательность. «В этом акте слились воедино прекрасные качества миролюбия и великодушия, свойственные правительству Velo и духам нашего района. Кто говорит, что добродетель нам не повинуется!»

Три события волновали город: подготовка к Конференции Мира, завтрашний обряд по случаю столетия священного философа Луна и третье событие, всколыхнувшее лишь ученые круги,— присуждение г-же Ци-ци премии Elbon.

Была еще одна новость, на которую едва ли стоило обращать внимание: сегодня в одиннадцать часов в столицу прибывает доктор Гао. Я не знал, кто он такой; вероятно, исследователь учения священного философа Луна. Г-н Сяо помалкивал, он лишь намекнул, что завтра я сам все узнаю. И, возможно, буду поражен.

Явился Жао Сань со своей крошкой. Они притащили свежий номер «Здоровья», печатного органа партии корточкистов.

— Похоже на то, что партия корточкистов выразит вотум недоверия правительству,— сказал Жао Сань.

— Вранье,— г-н Сяо покачал головой.

— Ну, а если?..

— Что «если»?..

— А если они догадаются, что простолюдин Пань вертит Янь Цзюнем, то, пожалуй, решатся...

— Кто знает,— Чжун-но говорил почти с надрывом.— Если даже мы, доверенные лица, строим предположения, где уж тут разобраться посторонним. Ясно одно: Янь Цзюня надо дискредитировать, но как это сделать, мы не знаем. Возможно, им известно, что в дураках останется Янь Цзюнь, но они не могут разобраться в игре простолюдинов Лу и Пана; если бы газета вознамерилась предать дело гласности, она бы не нашла фактов.

— А как он им вертит? — Жао Сань перешел на шепот.— Ты ничего не слыхал?

— Похоже на то,— собеседник тоже заговорил тихим голосом,— что если подвести Янь Цзюня к банкротству, то можно будет зацапать его нефтяные предприятия.

— Но ведь после великих выборов Лу и Пань вернули Янь Цзюню его проигрыш. И ты говорил, что Янь Цзюнь еще понадобится?

Я не понимал их логики.

— То тогда, а то теперь: Янь Цзюнь становится слишком опасным. Промедление может привести к тому, что Лу с Панем уже его не одолеют... К тому же и они иногда ошибаются в расчетах.

— А те деньги надо будет любым способом отобрать. Они понадобятся для подкупа определенных кругов. Своей цели мы достигли. Генеральным Президентом избран наш дух.

Вдруг Чжун-но рассмеялся и хлопнул меня по плечу.

— Не делай такой серьезной мины. Все это излишние опасения. На худой конец, если что-нибудь выплывет наружу, на конференции поднимется шум, зазвучат пустые речи... и на том все кончится. Политические проблемы — вот что действительно серьезно.

— А я вовсе ничего такого...— пробормотал я.

День любой...

Торжественная церемония в честь столетия священного философа Луна происходила в актовом зале городского университета.

На церемонию прибыли Генеральный Президент и весь военно-политический аппарат, представители ученого мира и местных организаций, простолюдины. Простолюдин Янь Цзюнь прислал телеграмму, в которой сообщил, что лично прибыть не может ввиду того, что Люйиньский инцидент еще не исчерпан, и поэтому посылает в качестве своего представителя члена Парламента от партии корточкистов Хао Цзюня.

Г-н Сяо со своей крошкой и я тронулись в путь в 9 часов. По дороге мы прихватили Сыма Си-ду.

У входа в университет была установлена мемориальная декоративная арка, с обеих сторон которой свисали черные шелковые полосы с иероглифами, вышитыми белыми нитями: «Жертвоприношения в честь столетия священного философа Луна».

В извещении, полученном нами, мы прочли:

«Научное заседание, посвященное учению священного философа Луна. Извещение о жертвоприношениях по случаю столетия священного философа Луна.

Следуя распоряжению правительства и требованиям различных культурных организаций, настоящее собрание,— говорилось в извещении,— совершит обряд жертвоприношения в честь столетия священного философа Луна. Однако напряженность обстановки, несколько ослабевшая в последние дни, не позволила всесторонне подготовиться к обряду; поспешность привела к тому, что не всех удалось вовлечь в торжества, за что просим господ извинить великодушно. Впрочем, два дела сделаны, и, мы, не стыдясь, объявляем об этом во всеуслышанье:

1. Согласно телеграфному уведомлению, в столицу для совершения обряда оплакивания прибыл знаменитейший доктор Гао;

2. Особо объявлено, что руководителем оркестра будет специалист по музыке с цифровыми нотами магистр Бэй.

Вышеуказанные господа смогут в полной мере раскрыть величие священного философа. Полагаем, что население района глубоко проникнется важностью события».

В центре актового зала университета возвышался алтарь для жертвоприношений. Сверху был установлен выполненный маслом небольшой портрет священного философа Луна; черты лица его с задних рядов рассмотреть было трудно. Впереди алтаря ввысь устремились двенадцать огромных свечей, каждая длиной в пять чи. Перед свечами была сооружена трибуна для ораторов. Слева от алтаря в виде полукруга разместился оркестр. Все оркестранты были в черном. Перед ними уныло прохаживался взад-вперед дух несколько старше тридцати лет с Baton [1] в руках. Это был магистр Бэй, о чем мне шепотом сообщил г-н Сяо.

Справа от алтаря другим полукругом расположилось около тридцати духов, тоже в черном, среди них тринадцать-четырнадцать женщин. В руках у них не было никаких музыкальных инструментов. Перед ними с Baton в руках стоял белобородый старик и что-то говорил.

— Господин Хань,— прошептал Чжун-но,— видишь того старика с короткой палочкой?

— Тот, кто о чем-то говорит?

— Да, да. Это доктор Гао.

— У доктора Гао от природы страдальческое выражение лица,— вставил Сыма.

— Погодите,— рассмеялся г-н Сяо,— Хань ведь еще не знает, чем занимается доктор Гао.

[1] Здесь — дирижерская палочка *(англ.)*.

Часы в актовом зале пробили десять.

И тотчас же зазвучали все часы города, и звуки ударов понеслись далеко-далеко, как салют.

В зале вдруг наступила тишина. Стоящий у алтаря церемониймейстер провозгласил:

— Играть траурную мелодию...

Магистр Бэй, специалист по музыке с цифровыми нотами, взмахнул дирижерской палочкой, и полились торжественно-скорбные звуки.

— Оплакивать!

Доктор Гао поднялся во весь свой рост и поклонился собранию:

— Капелла плакальщиков вышла из бедных хижин,— он указал на мужчин и женщин справа от алтаря, которые, улыбаясь, смотрели на него.— Да, из бедных хижин... И если их представление не удовлетворит господ, нижайше просим прощения,— он вновь согнулся в поклоне.

Затем доктор Гао повернулся к своей капелле и поднял Baton, призывая к вниманию.

Взмах!

И вдруг все тридцать одетых в черное мужчин и женщин стройно зарыдали:

— Аааа, ааа! ааааа...

Душераздирающий вопль. Льющиеся рекой слезы. У некоторых даже из-под чехлов выступила влага.

Доктор Гао отбивал такт. Это напоминало оркестр с его четырьмя ступенями гаммы.

— А, а, ааа...

Иногда в плач вплетались слова:

— Аааaа, великий священный философ Лун... ай-я... мир духов утратил звезду... ааааа...

Некоторые из плачущих почти теряли сознание.

Казалось, плач разыгрывался по нотам. То в нем участвовал весь хор в тридцать душ, то его вели три-четыре голоса, а затем вступали остальные, и начиналось общее рыдание. Как раз сейчас солировали три женщины:

— Оооо, утрачена звезда, ооо, мир духов блуждает... оооо...

В их причитания вошел мужской бас, а женские голоса перешли на раздельное «а-а-а».

— Аааа...— включилась вся капелла, двигая плечами.

Наконец, выдохнув последнее «а!», точно полоснув ножом, капелла умолкла.

Отплакавшись, тридцать душ утерли слезы, пот, влагу под носами и с безмятежными улыбками расселись по своим местам.

Остальные номера программы включали официальные жертвоприношения и речи. Я очень надеялся узнать что-либо определенное о священном философе Луне, но все выступавшие говорили по шаблону, как будто читали одни и те же стихи. Кое-что я смог почерпнуть лишь из выступления ректора городского университета.

Священный философ Лун при жизни был известен как поэт, но вовсе не как философ. Почему?

— Потому что священный философ Лун при жизни не писал диссертаций и статей,— сказал ректор.— Он писал стихи, представляющие целостную философскую систему. Философ Лун — приверженец Ницше. Но вот что странно: священный философ никогда не наказывал своим последователям и ученикам искать в его стихах философский смысл. Напротив, он отрицал его. Однако этот смысл был обнаружен великим покойным Генеральным Президентом Бо Ши. Так обнаруживают вдруг, что простой камень вовсе не камень, а драгоценная яшма. Генеральный Президент Бо был не только политиком, но и ученым, и к тому же те-

стем простолюдина Пань Ло. Генеральный Президент исследовал философские воззрения поэта Луна...

Для разъяснения своих мыслей оратор процитировал стихи: «Любимая, душу свою, свою жизнь, все, что есть у меня, я тебе дарю, я тебе дарю». В данной строке, комментирует ученый, под словом «любимая» подразумевается «парламентская политика», и, следовательно, все, чем владеешь, ты отдаешь ей, политике. Еще строка: «Солнце садится на равнине». Солнце — свет, равнина — политика простолюдинов. Стало быть, фразу следует понимать так: «Свет озаряет политику простолюдинов». Еще пример:

Злой демон схватил соловья,
Черные руки заслонили звезду:
О девушка,
Что за зловещий пейзаж!

Это значит, что если кто-либо борется против партии восседающих, то он усугубляет мрачность «зловещего пейзажа», ибо, как открыл Генеральный Президент Бо, священный философ самым активным образом поддерживал партию восседающих. Вот почему у него есть такие слова: «Одухотворенность и поэзия — мои добрые друзья». Или иначе: «Политика партии восседающих — моя добрая подруга».

— Подобные объяснения,— резюмирует оратор,— великое открытие! В нем связь с эпохой! Я не стану злоупотреблять вниманием господ и приводить новые примеры. Отсылаю желающих к труду Бо Ши «Толкование стихов Луна». Однако еще находятся духи, особенно некоторые представители младшего поколения, которые выступают против нашего толкования и отрицают философский смысл, заложенный в стихах их Учителя. Впрочем, к большому сожалению оппозиции, ее потуги тщетны: большинство населения славит поэта Луна, и еще в большей степени священного философа Луна...

Снова зазвучал траурный марш и послышались рыдания, вселяющие ужас. Через несколько минут под звуки марша все тридцать духов неожиданно, как по команде, повалились на пол и завопили пронзительными голосами:

— Аааа, моя скорбь разрывает кишки, аааааа...

Потом так же неожиданно они поднялись и удобно расселись по своим местам.

Обряд жертвоприношения кончился. Было три часа пополудни. Я страшно проголодался, но молчал.

— Разве это не мерзость — сопли из носу? — спросил я г-на Сяо.— Почему у оплакивающих было мокро под носами?

— Скорбь,— отвечал он,— чувство всепоглощающее. Скорбящий ни на что не обращает внимания, иногда во время рыданий справляет малую и большую нужду.

Помолчали.

— Доктор Гао специализируется на ритуальном плаче? — спросил я снова.

— Угу. Он специалист. За что он и получил степень доктора. Вероятно, он принадлежит к иудейской партии.

— Иудейской?

— Этих ученых партий слишком много, всех не упомнишь. Он принадлежит к иудейской.

— А какие еще есть партии?

— Право, не знаю. Я в этом не очень силен.

После ужина Чжун-но ушел для переговоров по поводу проведения Конференции Мира. Я остался дома и, чтобы скоротать время, читал. Подумал было разыскать «Толкование стихов Луна», но книги не нашел.

День любой...

Решил просмотреть газету партии корточкистов и велел слуге Сяо Чжун-но купить ее мне.

Это не была газета «Здоровье», которую мне накануне показывал Жао Сань. Печатный орган назывался «Ежедневные официальные новости».

В разделе внутренних новостей колонка была посвящена конференции партии корточкистов, на которой было принято решение обратиться к правительству с запросом относительно Люйиньского инцидента.

Далее было сказано:

> Комиссия по обследованию состояния санитарии и гигиены вышеуказанной партии представила Конференции доклад следующего содержания: с тех пор как победила на выборах партия восседающих и места отдохновения района были реконструированы, соотечественники, не могущие привыкнуть к предложенной позиции, стали страдать от запоров. Только по подсчетам Комиссии, число страдающих от этого недуга превысило 79% населения. А, как известно, запоры ведут к желудочно-кишечным заболеваниям, головокружению, резким болям в брюшной полости и др. Все это крайне тревожные сигналы. Просим правительство ответить, почему оно игнорирует эту проблему, связанную с жизнью и смертью, с существованием и гибелью родного района.

В колонке новостей того же номера газеты я прочел сообщение о том, что премия Elbon, присужденная госпоже Ци-ци по категории добродетельных женщин, доставлена в столицу. Комитет по присуждению премии Elbon обратился телеграммой к И Чжэн-синю с просьбой провести церемонию вручения премии в качестве официального представителя вышеуказанного Комитета.

— А это очень торжественная церемония?

— Нет, очень простая.

Явились Хэй Лин-лин и Сыма Си-ду, оба чем-то чрезвычайно недовольные.

— Что случилось? — спросил Чжун-но.

— Тьфу! — Хэй Лин-лин был вне себя от негодования.— Душа и плоть окурка омываются в ночном сосуде цвета малахита, а на персидском ковре не написаны стихи о черных тучах, осведомленных о птице. Это возмутительно!

— Да? — Чжун-но сделал большие глаза.

— Ну посуди сам, жестянка сигарет соловья все еще не окрашена тишиной в один чжан и три чи!

—Но что же произошло? — Я ничего не мог понять.— Пожалуйста, объясните мне обычными словами.

— Так вот,— поспешил на выручку друга Сыма Си-ду.— Ассоциация наших поэтов послала великому поэту Kitan телеграмму с просьбой прочесть для Ассоциации цикл лекций. Поэт ответил согласием и сообщил, что незамедлительно отправляется в путь. Однако на пограничном пункте произошло непредвиденное, и поэт был вынужден повернуть обратно.

— Почему?

— Почему? Он, оказывается, не отвечает требованиям, предъявляемым к приезжающим иностранцам! Его рост и диаметр пупа не соответствуют установленным нормам, и потому ему запретили въезд в наш район.

— Не волнуйся,— перебил его г-н Сяо.— Позволь мне все это уладить.

— Но Ассоциация уже потеряла свое лицо! И неизвестно, согласится ли поэт после всего случившегося приехать к нам!

— И все-таки об этом деле я, где надо, скажу.

— Ладно, мы на тебя надеемся. До свиданья. Желаю пристраститься к курению опиума.

День любой...

Вручение премии Elbon по разряду добродетельных женщин взбудоражило ученые круги. Театр оперетты «Небесные моральные принципы» был набит до отказа специалистами в различных областях культуры, профессорами, учащимися.

И Чжэн-синь прочел лекцию о добродетельных женщинах и о клетках «А», которых, как он сообщил, в мозгу госпожи Ци-ци поразительно много. Далее он заявил о своих представительских правах. Он извлек откуда-то чек, положил его на стол, а затем зачитал полученную от Комитета по присуждению премии Elbon телеграмму:

«Настоящий Комитет выполняет волю г-на Elbon и проценты от оставленного им капитала распределяет в виде ежегодных премий самым образованным, эрудированным ученым и лицам, оказавшим наиболее заметное влияние на ход мировой истории. Комитет решил премию добродетельных женщин этого года присудить специалисту по добродетельным женщинам госпоже Ци-ци. Надеемся, что доктор И Чжэн-синь лично прибудет в Комитет или в наш филиал для получения назначенной суммы согласно установленным правилам.

Всего посылаем 1 юань 2 цзао 9 фэней и 7 ли. (Остальная сумма идет на погашение накладных расходов, перевода и пр.)»

Кончив чтение, И Чжэн-синь поклонился публике и сошел с трибуны.

Под аплодисменты всего зала на сцену поднялась госпожа Ци-ци. Не доходя двух шагов до стола, она остановилась, с величайшим почтением трижды поклонилась чеку и произнесла:

— Я, госпожа Ци-ци,— она сама себя называла «госпожой»,— от всей души, с глубочайшей искренностью благодарю за поддержку в виде этой премии. Приложу еще больше усилий в дальнейшем.

Аплодисменты.

Она снова трижды поклонилась чеку. Затем на трибуну опять взошел И Чжэн-синь. Он взял чек обеими руками и передал его госпоже Ци-ци. Награжденная трижды поклонилась и, обеими руками приняв чек, повесила его на грудь и опустила голову. После некоторой паузы она осторожно опустила чек в карман.

— Ура! — завопило собрание.

— Ура премии! Ура добродетельной женщине!

— Десять по десять тысяч лет госпоже Ци-ци!

Когда процедура закончилась, г-н Вань Син и госпожа Ци-ци подошли к нам поздороваться.

— Мы наблюдали за вашим триумфом издалека,— любезно поздравил их Чжун-но.

— Мы должны немедленно ехать в типографию печатать визитные карточки,— заторопила она счастливого мужчину.

Ци-ци вытащила свою старую визитную карточку и над многочисленными своими титулами и званиями дописала автоматической ручкой: «Лауреат премии Elbon по категории добродетельных женщин».

Это событие было подробно освещено корреспондентами в вечерних газетах.

Были новости и об очередных демаршах партии корточкистов. На сессии Парламента представители от партии корточкистов сделали запрос о Люйиньском инциденте и о проблеме запоров. Парламент был распущен, корточкисты не добились желаемых результатов. На днях возможны бурные дебаты.

— Ну а как обстоят дела у поэта с нестандартными габаритами?

— Я все передоверил Ба Ба-сюну, просил его дать телеграмму в бюро по вопросам перемещения иностранцев и уладить недоразумение. Возможно, он телеграмму уже послал.

День любой...

Неожиданно было получено извещение о заседании исторического научного общества. Я очень сожалел, что ввязался в их дела, и теперь общество считает необходимым приглашать меня на заседания. Начиналось оно в два часа. Боюсь, что они звонили либо присылали курьеров, но мы с г-ном Сяо и его крошкой ходили в звуковое кино.

Чжун-ню спросил меня, выбрал ли я себе специальность.

— Ты снова поднимаешь этот вопрос,— сказал я.— Не вижу никакой необходимости.

— Ты мог бы стать критиком.

Я промолчал.

День любой...

Позавчерашний вечер с гулянием едва не закончился грандиозным скандалом. В тот день выступали многие знаменитости. Деятели культурных Ассоциаций рассказывали об истоках нового движения, выражали сердечную благодарность правительству за его чуткость и отзывчивость на требования масс. Генеральный Президент Ба разъяснял, почему они пошли на урегулирование конфликта с Velo и другими районами.

— Наши соотечественники любят мир всей душой, но во имя обороны родного района надо быть готовыми ко всяким неожиданностям... В настоящее время Velo и другие районы подчинены нам морально и нравственно, иными словами, мы перевоспитали их. Процесс перевоспитания был усилен и ускорен известным арбитражем. Все эти меры заставили их отменить военные приготовления. Лучи всеобщего покоя вновь засияют в мире духов!

Слово взял член партии корточкистов. Смысл его речи сводился к серьезным обвинениям восседающим. Его слушали внимательно и вдруг, перебивая оратора, кто-то громко выкрикнул:

— Долой Лу Юэ-лао! Долой Пань Ло!

— Кто кричал? — голос принадлежал начальнику полицейского Управления Ма.

В ответ поднялся невообразимый шум.

Порядок был нарушен. Начальник полицейского Управления разрешил применить силу.

— Долой партию восседающих!

— Молчать! Иначе стреляем! — вопили полицейские.

— Долой Ба Шань-доу!

Полиция врезалась в толпу, и началось побоище.

Участники встречи, мужчины и женщины, в панике бросились к выходу.

Впрочем, этот инцидент, происшедший у нас на глазах, газеты описали несколько иначе:

«Вчера на вечере в честь мира какой-то хулиган стал выкрикивать лозунги низов, чем нарушил нормальный ход собрания и вынудил многих удалиться. Начальник полицейского Управления Ма, полагая, что в нарушителя вселился дьявол (только этим он и объяснял проступок виновного), стал молиться, дабы изгнать дьявола. Одновременно он поручил полиции путем увещевания вернуть заблудшего на путь истины. Осознав свою вину, нарушитель был отпущен с миром, что свидетельствует об огромном человеколюбии и гуманности начальника полицейского Управления Ма».

Пресса корточкистов обвинила правительство восседающих в том,

что «на вечере в честь мира, где должна была царить сдержанная радость, разыгралась драма. Вот к чему приводит зазнайство и чванство правительства восседающих. Увы и ах! Увы и ах! Трижды увы и ах!»

В близких к правительству кругах предполагали, что инцидент был безусловно инспирирован оппозиционной партией, чтобы использовать его в борьбе против правительства восседающих.

«Недоверие к правительству — вещь обычная. А корточкисты в грязных своих махинациях не брезгуют даже подонками... стыдно перед миром...»

«Лозунги были достаточно целенаправлены. Слышалось «Долой простолюдинов Паня и Лу и Генерального Президента Ба», но никто не кричал «Долой Янь Цзюня»; все это неопровержимо доказывает корточкистское происхождение лозунгов».

Сегодня Сыма Си-ду явился вместе с Цзянем Соевая Подлива; они обсуждали с г-ном Сяо происшествие, но ни до чего не договорились.

Г-н Сяо и Цзян Соевая Подлива тяготели к партии восседающих, Сыма Си-ду склонялся к корточкистам. Стороны спорили до хрипоты. Назревала ссора. В конце концов обратились ко мне, но я им ничем не мог помочь.

— Хватит унылых споров.— Сяо Чжун-но хлопнул Си-ду по плечу.— Не будем омрачать нашу дружбу.

Они пожали друг другу руки, и на этом спор прекратился.

— У господина Ханя может сложиться неверное представление,— улыбнулся Сыма Си-ду.— Нас эти разговоры просто развлекают. Мы ведь литераторы и политики не касаемся.

— А что слышно о знаменитом поэте? — вспомнил я.

— Он прислал телеграмму с отказом. Мол, вторично испытывать судьбу не станет. У Kitan несколько странный характер.

Делаю выборку из сообщений вечерних газет. Уполномоченные Ассоциаций района свою миссию выполнили и сегодня в 4 часа пополудни отбывают на скоростных самолетах для доклада на местах. В интервью корреспондентам двое уполномоченных заявили, что исход дела произвел на них весьма благоприятное впечатление и они вполне удовлетворены, ибо еще больше уверовали в правосудие района и в то, что народ испытывает глубочайшее отвращение к войне и всеми силами души стремится к миру, и прочее и прочее.

День любой...

Чжун-но ворвался в мою комнату, когда я еще лежал в постели.

— Скорее одевайся.

— Что случилось?

Он засмеялся:

— Чрезвычайное событие. С утра звонил простолюдин Лу.

— Опять собрание?

— Не совсем. Лу просил нас присутствовать на сессии Парламента: сегодня выродки-корточкисты намереваются официально выразить вотум недоверия правительству и обратиться к нему с запросом. И не с одним. Партия готова дать им достойный ответ. Простолюдин Лу просит нас поддержать партию в качестве наблюдателей.

Я стал не спеша одеваться.

— Скорее, скорее! — торопил он.— Сегодня предстоит жаркий денек. Вот увидишь. Для вящей убедительности Пань Ло пригласил пятьсот военных, сочувствующих партии восседающих.

Мы явились за четверть часа до начала заседания. Все выглядело торжественно и внушительно: у входа в Парламент вытянулась вооруженная военная полиция, она же заполнила зал заседаний — личная охрана Генерального Президента Ба, как мне разъяснили. Особенно много

духов набилось в ложи для наблюдателей и гостей. Женщин было немало. Количество военных не ограничилось пятьюстами; корточкисты тоже позаботились об усилении своих рядов: на головах их переодетых парней красовались круглые шапочки с бахромой, на ногах были надеты туфли для баскетбола или бутсы. В руках они держали флажки. Пань Ло и Лу Юэ-лао находились среди наблюдателей. Несколько сот корреспондентов метались по зданию.

Бой часов. Начинается.

И тотчас же член Парламента от партии корточкистов делает запрос:

— Сегодня в Парламенте какая-то странная атмосфера, в высшей степени оскорбительная для почтенных парламентариев...

— Rah, Rah! — вопят переодетые военные от корточкистов.

Оратор продолжает:

— В чем двусмысленность положения? В них!—И он указывает на вооруженных полицейских.— Господа! Члены Парламента не настолько дурны, чтобы против них принимались меры предосторожности!..

Поднимается Ба Ба-сюн:

— Это охрана Генерального Президента Ба.

— Неужели Генеральный Президент опасается покушений со стороны членов Парламента?

Некий огромного роста детина в черном, член Парламента от партии восседающих, орет:

— Дитя мое, ты этих дел не касайся. Делай свой запрос, и тебе подробненько ответят.

Другой корточкист взвивается от возмущения: он считает подобную манеру речи недостойной члена Парламента.

Между тем первый оратор продолжает говорить: его запрос касается главного. Если на него не будет дан удовлетворительный ответ, обсуждение остальных проблем бессмысленно.

— Ну-ка, ну-ка, дитя мое,— субъект в черном, выпятив грудь, встал перед оратором,— давай повтори еще раз!

— В чем дело? Уж не собираешься ли ты меня бить?

— Именно! Как отец свое неразумное дитя!

Хряст!

Член Парламента от партии корточкистов отлетает в сторону на несколько шагов, чехол от удара срывается с носа и падает на пол, ленточки, которыми он привязывался к ушам, рвутся. Пострадавший в крайнем замешательстве: на его лице, ничем не прикрытом, торчит громадный желтый — нос!

Парламент взрывается хохотом, некоторых от смеха скрючивает, другие изо всех сил хлопают в ладоши.

Гости — дамы в ложах для наблюдателей в силу врожденной стыдливости заливаются краской и, прикрыв глаза платочками, устремляются к выходу.

— Славно! Славно!.. Верхнее место!

— Что за чудо оно у него!

Все вперемежку — хлопки, хохот, улюлюканье.

— Hurrahhurrahhurrah! Hurrah, Hurrah, Hurrah! Rahrahrah...—это стараются ребята Пань Ло.

Овация.

— Хахахаха, давайте-ка детально изучим могучее верхнее место члена Парламента Пу!

Несчастный Пу судорожно хватает с полу чехол, желая водворить его на место, но обидчик в черном вырывает чехол у него из рук и рвет в клочья.

И тогда, громко ругаясь, корточкист кидается на восседающего.

— Rah rah rah...

Вдруг кто-то из восседающих громким голосом запевает:

Отобрали чехол, как вернуть его...
О, мужчина,
Убеждаем не учиться у низов...

— Хороша! Хороша песня!

— Encore! Encore!..[1]

Посрамленного парламентария тесным кольцом окружают коллеги. Восседающие норовят прорваться: они вытягивают руки, стараясь дотронуться до носа г-на Пу, и громко хохочут.

Стороны дубасят друг друга, кричат военные из обоих лагерей.

— Утихомирьтесь! — на трибуну торжественно входит Чжу Шэнь-энь.— Именем всемилостивейшего Христа нашего взываю: утихомирьтесь!

Только через некоторое время он может начать свою речь.

— Я не держу ничью сторону, я не вхожу ни в какую партию и потому желаю сказать несколько слов... Сегодня собрание наше, к горю нашему, снова прошло бесплодно; и к тому же мы лицезрели постыдное действо, невиданное с сотворения мира. В сане своем, именем всемилостивейшего Христа нашего взываю: возродите величие члена Парламента...

Он делает паузу.

— Ныне в сем зале совершено деяние нижнеярусников. Мы обязаны за это покарать... Член партии корточкистов потерял чехол и обнажил верхнее место. Вязать наглеца! Схватить и арестовать должно и того, кто сбил чехол...

Под улюлюканье и ругань собрание расходится.

Тех двоих, о которых пекся Чжу Шэнь-энь, схватить в зале было невозможно, так как это могло оскорбить достоинство парламентария. За порогом здания их связали, как свиней, и унесли.

Члены Парламента, награждая друг друга тумаками и оплеухами, выбирались из зала. Пятеро-шестеро в штатском расчищали дорогу для простолюдинов Лу и Паня. Однако у самых дверей они замешкались, кто-то подскочил к Лу Юэ-лао и влепил ему пощечину.

Г-на Сяо чуть не хватил удар, его лоб стал мокрым.

— О небо, пощечину простолюдину Лу!

В суматохе преступника опознать не удалось; вероятно, это был кто-нибудь из корточкистов.

— Дело идет к великому хаосу,— бормотал Чжун-но,— публично дать пощечину, какой позор!

Тут только он обнаружил, что мы уже сидим в машине.

— В резиденцию простолюдина Лу,— приказал он шоферу.

— И часто в Парламенте бывают драки?

— Скандалы бывают, но то, что случилось сегодня, беспрецедентно. В довершение ко всему, пощечина простолюдину Лу!.. Я должен выразить ему сочувствие.

Он нахмурился:

— Поезжай быстрее!

В резиденции простолюдина Лу собрались крупные деятели партии, были тут и Пань Ло, и Чжу Шэнь-энь.

— Как самочувствие? — спросил г-н Сяо.

— Шуму много.— Простолюдин был в ярости.— Никогда меня так не срамили, никогда.

— Обсудим, все обсудим.— Тон Пань Ло был спокойный.— В конце концов после роспуска Парламента все станет на свои места.

[1] Еще *(франц.)*.

— Осмелюсь ручаться, все станет на свои места,— влез в разговор Чжу Шэнь-энь.

— Неслыханное дело! — это говорил Пань Ло.— Публично оскорбить простолюдина, неслыханное дело!

Пань Ло в задумчивости кружил по комнате. Через несколько минут он неожиданно остановился и отчеканил:

— Решено, издадим Указ о роспуске Парламента.

Ба Ба-сюн приказал секретарю составить проект Указа. Через два часа Генеральный Президент поставил свою подпись, и Указ был готов. Было решено от имени простолюдинов Лу и Паня, возглавлявших соотечественников, просить правительство одобрить Указ о роспуске Парламента.

С лица простолюдина Лу сошла грусть. Он приказал главному Начальнику кухни распорядиться насчет банкета; Начальнику погребка выдержанных вин было велено извлечь четырехтысячелетнее вино, которое изготовил сам император Юй[1]. Это, конечно, тоже была одна из достопримечательностей его уникальной коллекции.

В ожидании банкета Лу Юэ-лао потчевал нас семечками марки «Наследник престола».

— Получена шифровка,— доложил начальник радиошифровального Отдела и протянул простолюдину Лу пакет.

Пань Ло приблизился и вместе с Лу Юэ-лао прочел телеграмму.

Черная туча легла на их лица.

— Что будем делать? — Простолюдин Лу был в смятении. Он стал барабанить пальцами по пакету, а потом швырнул его на пол.

— Спокойнее, спокойнее! — раздался голос Пань Ло.

Простолюдин Лу поднял телеграмму и передал ее нам.

«...Янь Цзюнь расширяет нефтяные промыслы в Цзиньшане, все подготовлено для начала работ. Банковский консорциум инвестирует капитал на сумму 300 миллиардов юаней. Соответствующие подписи на документах поставлены...»

Все погрузились в глубокое раздумье.

— У меня есть план,— нарушил молчание Ба Шань-доу.— Надо пустить слух, что этим банкам грозит катастрофа. Вкладчики бросятся за своими вкладами, возникнет паника, мы быстро скупим их акции и станем хозяевами положения.

Чжу Шэнь-энь задумался.

— Отменно, отменно. Дело это я возлагаю на себя.

— Но это еще не все,— заявил Пань Ло.— Пошлем своих эмиссаров в зону нефтяных промыслов Янь Цзюня для подкупа нужных нам лиц и для распространения слухов о скором банкротстве нефтяной компании.

— Первейшее дело — обойти консорциум,— добавил Лу Юэ-лао.

— Надо изыскать пути для подкупа начальника бухгалтерии Янь Цзюня. И пусть тот намекнет где надо о крупных убытках нефтяного дела.

Задача была двусмысленной и щекотливой. Слухи о банкротстве банков следовало обсудить с министром финансов, то есть, иначе говоря, слухи должны были исходить от Министерства финансов. Простолюдины передали Чжу Шэнь-эню официальный документ.

Перед нашим уходом простолюдины вручили нам чек на 20 тысяч юаней в счет издержек при оказании им помощи.

— Если этого не хватит, дадим еще,— пообещали они.

Мне было неясно, почему развитие нефтяных промыслов Янь Цзюня так пугает Лу и Паня.

— Тут дело в связях с банкирами,— начал свое объяснение

[1] Юй считается основателем династии Ся (2205 г. до н. э.).

Чжун-но.— Лу и Пань рассчитывали вложить значительный капитал в собственные предприятия. Казалось, дело было на мази, но ситуация неожиданно изменилась. Непостижимо. Вероятно, банки предпочли нефтяные предприятия, потому что те дают более высокие проценты прибыли.

Подумав, он добавил:

— Лу и Пань действуют не слишком остроумно. Их стратегия в высшей степени пассивна и только вызывает противодействие.

— Если ты придумал что-нибудь получше, почему же молчал?

— Э, ничего я не придумал. Одним словом, плохо дело.

День любой...

Несколько дней подряд только и разговоров, что о новом Указе. Действия партии корточкистов против восседающих становятся все решительнее и активнее. Пришел Жао Сань и рассказал, что дело заходит далеко: некоторые места отдохновения уже переоборудованы по методу корточкистов.

Г-н Сяо с ног сбился. Я тоже устал от этой беготни. Надо будет пораньше лечь спать.

. . . . . .

Приготовился было ко сну, но вдруг выяснились новые пугающие обстоятельства, которые пришлось взять на заметку.

Г-н Сяо вернулся домой, тяжело дыша.

— Влипли, попались-таки на удочку этому дьяволу Янь Цзюню! — И не переводя дыхания, выпалил:— Это Чжу Шэнь-энь посоветовал распустить Парламент!

Запрос партии корточкистов, выражение вотума недоверия и все прочее исходили от Янь Цзюня. Более того. Даже драка в зале заседания Парламента была запланирована заранее. А субъект в черном, выступавший якобы от имени восседающих, был трижды презренным псом Янь Цзюня, в определенных целях втершимся в ряды восседающих. Срыв чехла был по их замыслу главным трюком. Они намеренно нагнетали в зале атмосферу вражды, испытывая терпение правительства и вынуждая его прибегнуть к пресловутому Указу.

— А какая им польза от роспуска Парламента?

— Погоди, я тебе все объясню.

С одной стороны, в сутолоке им удалось ударить Лу Юэ-лао по физиономии, приведя его в ярость, а когда он совсем потерял голову, Чжу Шэнь-энь, воспользовавшись благоприятным моментом, влез со своей идеей роспуска Парламента. И действительно, простолюдины клюнули на приманку, и Указ стал фактом. Это была ловушка. Чжу Шэнь-энь действовал заодно с Янь Цзюнем...

— Как? И Чжу Шэнь-энь?

— Да, он прихвостень Янь Цзюня, его тайный агент...

— А ведь он тогда в зале требовал ареста обоих парламентариев. И как искусно играл свою роль! Выходит, оба противника только подыгрывали ему. Да-ааа!

Чжун-но велел слуге налить ему молока и залпом осушил стакан[1].

— И все-таки ты мне не объяснил, в чем для них выгода роспуска Парламента.

— Дело в том, что эта акция незаконная, и, стало быть, у них появляется отличный предлог для атаки. Ловушка с Парламентом лишь вспомогательный маневр в их далеко идущих планах. Главное не в этом.

Главным козырем в игре Янь Цзюнь считал предание гласности тех махинаций, с помощью которых простолюдины Лу и Пань пытались при-

[1] Китайцы пьют молоко крайне редко.

жать его к стенке. Эти материалы докажут полную зависимость правительства от двух простолюдинов. Текст открытой телеграммы известен, и уже отовсюду идут отклики. Завтра-послезавтра он появится в газетах.

— Самыми подлыми оказались банкиры, они приняли сторону Янь Цзюня... Но это только план-минимум. Главная их цель — довести простолюдинов Лу и Паня до банкротства. Они скупят по дешевке все предприятия Лу и Паня, и тогда Янь Цзюнь станет единовластным сверхвладыкой. Вот какова их цель.

— И это реально?

— В их руках банки. Этим сказано все.

Я понял: и западня с роспуском Парламента, и выступления против партии восседающих, и открытая телеграмма — все это делается только для того, чтобы за бесценок приобрести предприятия Лу и Паня.

— Да, именно так.

— Что же будет? С тобой, с другими?

— Со мной? Я литературовед, и меня это не касается.

И все же ему было не по себе.

День любой...

Атмосфера неприязни к правительству партии восседающих ощущалась повсюду.

В газетах появился текст совместного заявления Янь Цзюня и объединения банкиров. Атака началась. Они заявили, что вовсе не стремятся осложнить положение правительства, их цель — вскрыть темные делишки Лу и Паня, которые, сделав правительство своим послушным орудием, изменили политическим принципам простолюдинов.

В отделе новостей подробно излагалось интервью, данное Янь Цзюнем группе корреспондентов в Люйине. По сообщениям, простолюдин разоблачил гнусные замыслы Лу и Паня, вознамерившихся его разорить; доказательства налицо, но до поры до времени он их не станет предавать гласности — пусть пока Лу и Пань тешатся своей доброй репутацией!

День любой...

Великие перемены!

Прошла всего неделя, а Лу Юэ-лао и Пань Ло стали банкротами. Их акции больше не стоили ни гроша. Созданный объединением банкиров, их бывшим кредитором, Комитет по ликвидации дела свою работу завершил. С позавчерашнего дня имущество Лу и Паня пошло с торгов. Стало известно, что Янь Цзюнь принял меры, чтобы львиная доля обесцененных акций двух простолюдинов попала в его руки.

— Никогда не думал, что катастрофа может произойти так стремительно,— сказал я.

— Об этом позаботились банки,— вздохнул Чжун-но.— Передумай они, одного расчерка пера было бы довольно, чтобы простолюдин Лу и Пань не только вернули свое состояние, но даже приумножили его.

Все эти дни Чжун-но не ел, не спал, он чувствовал себя прескверно. Еще бы — вдруг лишиться опоры, и какой опоры! Но более всего его угнетала мысль о возможных неприятностях. Он ни на шаг не покидал своего дома. Идти к простолюдинам боялся; впрочем, особой необходимости в этом и не было.

Вчера приходили Сыма Си-ду, Хэй Лин-лин, Жао Сань, Цзян Соевая Подлива. Они его успокаивали.

— Вот увидишь, все образуется,— говорил Цзян Соевая Подлива,— у тебя положение, ты занимаешься культурой, и тебе не смогут сделать ничего дурного.

— Совершенно верно,— подтвердил Сыма Си-ду. Он говорил убедительно и сердечно.— В крайнем случае мы поможем тебе, или я со своими одряхлевшими нервами схвачусь насмерть с этой жизнью и опиумной трубкой размозжу им головы.

Сегодня пришло еще более печальное известие. В городском суде слушается дело по обвинению Лу Юэ-лао и Пань Ло в узурпации политического курса и в измене политике простолюдинов. Обвинения выдвинуты Янь Цзюнем, Чжу Шэнь-энем, объединением банкиров, а также офицерским корпусом и многими другими организациями. Общественность требует ареста всех прихвостней Лу и Паня!

Г-н Сяо упаковывал вещи, намереваясь скрыться, чтобы переждать бурю.

Мне тоже следовало прощаться с миром духов и уходить к своим.

Пришел Хэй Лин-лин и еще какие-то трое. Совещались недолго.

Жао Сань сказал, что беспорядками воспользовались бандиты, но их быстро привели в чувство. Действия Янь Цзюня довольно умеренны.

— Во всем новшества: в кабинете министров произведены замены, места отдохновения переоборудованы полностью.

Положение г-на Жао упрочилось: после реорганизации кабинета министров кое-кто из старых знакомых уцелел. Видимо, убрать их было нельзя.

— А каковы твои планы, господин Хань? — спросил меня Жао Сань.

— Вернусь в мир света.

— А зачем? Пожил бы у меня.

— Прошу ко мне.— Сыма Си-ду был трогательно настойчив.— Даю тебе гарантию: три дня жизни в моем доме — и твои нервы придут в негодность.

— Нет, даже если бы всех этих событий не было, мне все равно надо было бы вернуться.— Я поблагодарил всех.

Чжун-но был подавлен происходящим, но после разговора немного повеселел.

— Твои ногти похожи на легкие стрекозы,— Хэй Лин-лин улыбнулся мне.

— Я не боюсь,— говорил Чжун-но.— Но после всей этой встряски мне что-то не по себе. Лучше куда-нибудь на время уехать. Мне ведь путешествовать полезно. Моя крошка отправится вместе со мной. Господин Жао, у нее все готово к отъезду?

Жао Сань утвердительно кивнул.

Друзья договорились завтра его проводить.

День любой...

Сегодня я вернулся в мир света.

Они провожали меня. После проводов Сяо Чжун-но должен был отправиться на вокзал.

— Счастливого пути,— сказал Чжун-но.

Мы обменялись рукопожатием.

— При случае загляну к вам в гости. Как видно, я недурно овладел искусством спиритизма.

— Желаю счастья!— воскликнул Жао Сань.

Сыма Си-ду положил мне руку на плечо.

— Я, Сыма Си-ду, желаю господину Ханю стать современным индивидом. Для этого необходимо постепенно изнурять нервную систему, курить опиум, пить спирт, ночами терзать себя бессонницей.

— Господин Хань,— голос Хэй Лин-лина звучал проникновенно и мягко.— Отвага вентилятора покрывает душу стального пера; и не обрести зрачка земляного червя из полудрагоценного спичечного камня,

и только смотришь на матерь романтических золотых зубов — и все это таится в бутыли чернил. До свиданья.

— До свиданья.

— До свиданья.

Снова рукопожатия. И я пошел прочь из мира духов.

Сейчас вокруг меня люди, мужчины и женщины, и ни у кого из них нет на носу чехла: на каждом лице, ничем не прикрытом, в самом его центре торчит нечто мясистое, и мне это действительно кажется смешным. После полудня меня навестили два моих друга, но я не решался взглянуть им в лица, боясь расхохотаться. Сам я, конечно, тоже отказался от чехла, поэтому всякий раз, глядя в зеркало, смущался, как девица.

Потом я стал выходить на улицу, намеренно выбирая людные места. Встречался с друзьями, знакомыми, и мой стыд от лицезрения обнаженного носа постепенно исчезал, хотя еще некоторое время я все это находил комичным. Правда, уже не прыскал при виде носа, как в первое время после возвращения.

Вспоминаю свое путешествие в мир духов и ловлю себя на мысли, что ко многому у них я так и не смог привыкнуть. Теперь-то я разгадал, в чем дело. Виной была их инфантильность и мое непонимание исходных принципов их поведения. Конечно, многое для меня так и осталось непонятным, но, мне кажется, в мире духов все радовало глаз.

Живые и призраки

Случается, что вниманием читателя завладевают уже первые шаги писателя, самые ранние его произведения. Так бывает с художниками, творчество которых словно озаряется каким-то новым светом, привлекает своеобычными чертами. Вчера еще неизвестное имя начинает занимать сегодня достойное место в литературном процессе, в духовной жизни страны, а нередко и за ее рубежами. И вряд ли можно объяснить явление это какой-либо одной удачно найденной причиной. Оно скорее кажется чудом. Чудом таланта. Это такая же истина, как и то, что все писатели оставляют миру произведения, но не все произведения оставляют миру писателей.

Так было и с Чжан Тянь-и: интерес читателя вызвал уже первый его рассказ «Сон трех с половиной дней». Выход в свет рассказа «Двадцать один» в 1931 году был едва ли не единодушно признан критикой как рождение нового писателя в Китае. О Чжан Тянь-и заговорили повсюду, громко, восторженно. О нем рассказывали легенды. Легенды удивительные, невыдуманные, как о человеке поразительной скромности и столь же поразительной одаренности.

Критикой подчеркивалась оригинальность его творчества, новизна форм, самоочевидный отход его от старой, традиционной манеры письма с его пассивностью, индивидуализмом, пессимистическими настроениями. В произведениях Чжан Тянь-и заметно обозначились новые литературные традиции, связанные с известным историческим движением «4 мая» 1919 года, антифеодальным и антиимпериалистическим по своему социальному существу и своим задачам: рушилось и безвозвратно уходило в небытие то, что казалось вечным и незыблемым. То был период возникновения революционной литературы. И революционной литература эта стала не только потому, что была порождена революцией, но прежде всего потому, что она этой революции служила, была одним из ее существенных факторов.

Традиция реалистического письма для Чжан Тянь-и представляла собой постоянный творческий процесс, непрекращаемый поиск и выявление новых возможностей для образного выражения окружающей человека действительности.

Современная жизнь явилась основой литературного творчества Чжан Тянь-и. И жизнь эта была многосложной и многоплановой: в ней обнаруживались самые острые социальные явления, своеобычные общественные и частные отношения, разноречивая практика людей. Писатель отлично видел уродливые стороны жизни, острому их обличению посвящены его рассказы, его повести и романы. Позиция писателя, его мировоззрение, глубина и сила познания реальности позволили ему вынести суровый приговор гоминьдановскому Китаю.

О Чжан Тянь-и можно сказать, что он входил в китайскую литературу в те дни, когда настроения прогрессивной интеллигенции, приобщавшейся к марксистскому уче-

нию, искали свое выражение в литературе. В творчестве Чжан Тянь-и привлекала ясность моральных принципов, обличение фальши и лицемерия, простой и чистый облик народа, целеустремленность трудовых масс.

Герои рассказа «Двадцать один», например, предстают перед читателем людьми бесхитростными, открытыми и искренними, людьми с твердыми, не меняющимися под воздействием обстоятельств убеждениями и принципами. В этом и в последующих произведениях Чжан Тянь-и вновь и вновь утверждает те же мысли и делает те же выводы, писатель не устает говорить нам: верьте, читатель, в мире есть такие люди! И это не могло не вызывать доброго отклика, активных устремлений к лучшей, достойной человека участи, ибо хозяин тот, кто трудится. В произведениях Чжан Тянь-и эта мысль воспринимается не как популярный афоризм, но как неотразимый довод.

Примечательны черты героев, нашедшие свое выражение в таких произведениях писателя, как «Переселение», «Саньлао и Гуйшэн», «Месть» и др. Уже в этих ранних рассказах смело и ярко отображены умонастроения передовой китайской интеллигенции бурного и тревожного времени, показаны противоречия и колебания людей, сурово осуждены фальшь и обман, ничтожные, низменные поступки человека, особенно старого феодального интеллигента. Широкую известность получили персонажи первого рассказа писателя «Сон трех с половиной дней», исполненные чувства отвращения к окружающему их миру, но бессильные поколебать вековые его устои.

Наиболее из них упорные начинают постигать смысл настоящей жизни, но усталость и растерянность лишают и их способности сопротивляться: слишком безжалостны удары той, ненавистной им, жизни. И нередко мы видим в людском океане терзаемого сомнениями и противоречиями одиночку. Поистине крылатыми стали слова писателя: «Живет в человеке нерв, который физиологами не обнаружен, имя ему — нерв противоречий». За каждой дверью — свой обособленный мир. Лишь окно напоминает о существовании других, таких же одиноких в своей унылой и зловещей отчужденности людей. Тем большей убедительностью обладают герои Чжан Тянь-и, проявляющие яростное желание понять правду трагедии своего существования, осмыслить истинность предназначения человека в общественном развитии.

Чжан Тянь-и создана целая галерея портретов людей, гонимых нескончаемыми противоречиями, терзаемых сомнениями, разочарованиями, обрушивающимися на них трагическими испытаниями.

Чжан Тянь-и весьма искусен в построении своих произведений, композиционной их структуре. Сюжеты его рассказов чрезвычайно просты, жизненны, и герои неизменно олицетворяют социально и психологически определенных персонажей. В его произведениях нет людей абстрактных. Каждый человек конкретен, индивидуален, реален; его действия и поступки раскрываются естественно и мотивированно. Чжан Тянь-и — великолепный художник характеров, порожденных самой гоминьдановской социальной действительностью. В своих рассказах автор как бы формулирует свой кодекс морали: как более невозможно и как следует поступать людям в условиях изменяющейся жизни, в создании новых общественных отношений. Не быть равнодушным созерцателем, не скрываться от общественных бурь в тихой келье своего дома. Писатель как бы говорит нам, что мы сами выбираем образ жизни и от нас зависит, каким он будет. И обаяние, и интеллект, и высокое личное мужество — все это содержится уже в ранних произведениях художника. В этом самобытность психологии, особенность духа этих произведений, которые завоевывали Чжан Тянь-и все большую популярность, расширяли читательскую его аудиторию.

Но Чжан Тянь-и не просто обладает даром живописи словом. Наиболее яркой особенностью писательского дарования Чжан Тянь-и является, несомненно, сатирическая направленность лучших его произведений. Чжан Тянь-и казнит смехом, считая, что поистине ни в чем так не проявляется природа людей, как именно в том, что находят они смешным и жалким. В конечном итоге сатира — это не столько смех, сколько искрящийся человеческий разум. Смех, как отмечал еще Салтыков-Щедрин,— оружие очень сильное: ничто так не обескураживает порок, как сознание, что он угадан и что по поводу его уже раздался смех.

Острая обличительная критика Чжан Тянь-и, нередко обращенная не против каких-либо частностей, отдельных недостатков или общечеловеческих слабостей, но против самого социального и политического устройства гоминьдановского Китая, требовала от писателя крайней осмотрительности и тщательно взвешенных средств выражения. Общеизвестно — отмечал это впоследствии и сам писатель,— что ранние произведения Чжан Тянь-и создавались в годы гоминьдановской реакции, в обстановке суровой цензуры, отсутствия свободы словы, свободы литературного творчества, и это часто заставляло автора переделывать создаваемые им произведения.

Чжан Тянь-и прекрасно сознавал, однако, что вторжение в действительность с помощью сатирического оружия может вызывать ответную реакцию читателя только в том случае, когда оружие это обладает острой обличительной силой. Смех нейтральный вызывает у читателя лишь ощущение бессодержательности, пустоты. Сатирические рассказы и повести Чжан Тянь-и утвердили за ним в литературном мире славу крупнейшего мастера смеха; произведения писателя сыграли важную роль

в общественной жизни китайского народа, в его сражении за национальное и социальное раскрепощение.

Излюбленные сатирические герои Чжан Тянь-и — различные персонажи из среды зажиточной интеллигенции. Именно они становятся объектом осмеяния, презрения, беспощадной критики. В рассказе «1924—1934», в котором отражена многосложность жизни тех лет, один из типичных персонажей непрестанно восклицает: «Революция — наша единственная светлая широкая дорога». Но проходили годы, одно событие следовало за другим, а он рабски продолжал гипнотизировать себя и окружающих безудержным своим пустословием. Так продолжалось все десятилетие, в течение которого герой этот, обманывая себя и других, не уставал повторять громкие фразы о своем твердом решении «идти по пути революции», которая открывает перед ним «новую жизнь, стремительную, как ураган, как буря. И, вступая в нее, я должен прежде всего глубоко изучить и познать современный век, чтобы обрести компас в революционной жизни». При этом он с неменьшим постоянством заверял других, что «крики — дело бесполезное. Лишь практическая деятельность достойна величия», «что за польза от напрасных криков!» Но он так и не переступил порога собственной своей кельи, не найдя в себе мужества ни для чего иного, кроме вздоха обреченности: «Прощай, моя серая, ничтожная, старая жизнь!»

Создавая социально значительные образы и характеры в литературе, Чжан Тянь-и выдвигает на первый план наиболее типические черты героев, заостряя тем самым весь характер, общественное его лицо. Стремясь заставить «сердца и разум» своих героев изменяться к лучшему, автор порой ставит их в условия исключительные, критические.

В рассказе «Переселение» Чжан Тянь-и создает психологически и эмоционально насыщенный образ девушки Сан Хуа, слабая воля которой сделала ее не способной переносить мерзости жизни. Но вот на ее глазах умирает мальчик Сяю Ху, не видавший светлого дня, не знавший детства, умирает от скоротечной чахотки в жалкой темной каморке. Трагический случай этот глубоко потряс Сан Хуа, которая под впечатлением пережитого словно перерождается. В сознании ее происходит перелом, который помогает героине обрести цель своей жизни. В разработке этой темы несомненно проявилось творческое восприятие и развитие традиции великого Лу Синя.

В годы антияпонской войны прогрессивные китайские писатели-патриоты своими книгами способствовали повышению сознательности и воли народа, сражавшегося с ненавистным врагом. Чжан Тянь-и создает в тот период замечательные произведения — «Новую жизнь», «Деятельность господина Тань Цзю» и многие другие. Огромную популярность завоевал его рассказ «Господин Хуа Вэй», принадлежащий к числу наиболее выдающихся произведений писателя. С особой яркостью в нем раскрылся сатирический талант Чжан Тянь-и, который подверг беспощадному обличению краснобаев и демагогов из гоминьдановских «комитетов национального спасения».

Для того, чтобы сатира была действительно сатирою и достигала своей цели, отмечал Салтыков-Щедрин, надобно, во-первых, чтоб она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец ее, и, во-вторых, чтобы она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого направлено ее жало. Сатирический образ Хуа Вэя, олицетворяющий распространенный тип «дюжего доброхота» и политического фразера, явил собой продукт общественной патологии периода гоминьдановского господства. Рассказ этот, вызвавший острую и незатихающую полемику, сверкает неожиданными, озаренными метафорами. Исполненный большой социальной значимости «Господин Хуа Вэй», имя которого стало нарицательным, вошел весьма существенным вкладом в сокровищницу современного китайского литературного творчества.

К числу сатирических произведений Чжан Тянь-и принадлежит и созданная им повесть «Записки из мира духов», в которой в своеобразной художественной форме живописуется старый Китай с его политиканами и служилыми вельможами, страшной коррупцией бюрократического аппарата, лицемерием, обманом. История словно замедлила свое движение, чтобы произвести на свет целый сонм унылых и бездарных гоминьдановских деятелей, тупых неучей, воинствующих невежд. И необычность ситуации — развертывание событий в мире духов — отнюдь не заслоняет зримые черты современной писателю действительности. Невольно на память приходят слова Чехова: «Зачем Гамлету было хлопотать о видениях после смерти, когда самое жизнь посещают видения пострашнее». Однако кажущаяся абсурдность ситуации — условность, литературный прием, продиктованный автору не в последнюю очередь цензурными соображениями. Писатель прибегает в своей повести к гиперболе, к стилистической фигуре явного и намеренного преувеличения, имеющего целью усилить выразительность повествования. Для художественного воплощения этого мира призраков, разумеется, потребны более тонкие и сложные средства психологического выражения. Он создает систему парадоксов — парадоксальны рассуждения героев, их действия, их поступки. В мире призраков герои ведут себя весьма своеобразно и часто пользуются туманными эвфемизмами, метафорами. Казалось бы, здесь должны быть важны лишь высшие, неземные заботы. Может быть, все это — иллюзия, продукт больного, патологического воображения? Не самообман ли это, наконец?

Вводя читателя в мир призраков, автор, выступающий в лице добросовестного корреспондента Хань Ши-цяня, который все виденное заносил в дневник, поясняет, что повадки и манеры обитателей потустороннего бытия могут показаться несколько

необычными, даже до некоторой степени смешными. В действительности же там все разумно и целесообразно, дела они решают быстро и четко... И это, добавляет он не без симпатии, «имеет, если угодно, особую прелесть». При этом отмечает, что намерения его были «совершенно серьезны» и потому к писаниям его следует отнестись должным образом. Именно так и были встречены «Записки из мира духов», впервые увидевшие свет в 1931 году.

«Записки из мира духов» — произведение о борьбе за власть. И хотя в повести, для которой характерна резкая сатирическая направленность, поднимаются многие проблемы, наиболее существенно здесь беспощадное обличение автором жаждущих власти, одержимых идеей господства над другими. Запечатленные в повести явления и события как бы представляют собой нечто, вычлененное из пестрой сумятицы окружавшей писателя реальности. При этом пафос отрицания старого соприкасается у Чжан Тянь-и с иронией, едкой насмешкой над действительностью. Автор философски осмысливает старую истину о том, что мертвые хватают живых и не так-то просто освободиться от этой поистине мертвой хватки!

Предмет сатиры Чжан Тянь-и в «Записках из мира духов» тот же, что и в его рассказах, памфлетах, пародиях, посвященных явлениям реальной жизни. Писатель насмехается над чванством, родовитостью, сословностью, над уродливым воспитанием, своекорыстием. И делает это художник со свойственным ему мастерством, тонко, остроумно. Так, появление слуги из отверстия в полу послужило причиной объяснения того, что в мире духов хоть и не восемнадцать кругов, как в буддийском аду, но «два яруса все же наличествуют». В ярусе, именуемом верхним, живут верхи общества, а нижний ярус отведен для низов. И потому нет ничего странного в том, что человек в ливрее, появившийся снизу, «столь разумно приспособлен для выполнения своих функций». Весь мир, поясняет далее потусторонний житель, разделен на два яруса: обитатели верхнего яруса данной страны общаются с обитателями верхнего яруса других стран; обитатели нижнего яруса, естественно, общаются с обитателями нижнего яруса других стран. При возникновении военной ситуации, добавляет рассказчик не без сарказма, обитатели нижнего яруса, подданные данного государства, выступают, движимые патриотическим чувством, вместе с соотечественниками из верхнего яруса.

Не менее примечательны и строки о том, что этнологическая комиссия в результате кропотливых исследований доказала, что причины, в силу которых низы являются низами, коренятся в самой их природе: «низы грубы, неотесанны и тому подобное». И потому «правительство расселило человечество на двух ярусах». Согласно новейшему своду законов в одном томе «верхи обязаны быть воспитанными, обладать спокойным и уравновешенным характером... им не следует употреблять бранных слов... тот, кто обнажает нижнюю часть тела или «верхнее место» (то есть нос.— **Н. Ф.**), подвергается наказанию...» И здесь самоочевидно, что ироническому осмеянию автор подвергает в действительности не потусторонний мир призраков, а мир реальный, гоминьдановское общество с его антинародной идеологией, обветшалой конфуцианской моралью, диковинным эгоистическим самодовольством. И требования гоминьдановских ортодоксов к другим похожи на нелепые претензии, причуды невежества. Но они постоянно обнаруживаются на поверхности, заявляют о себе и действуют как блюстители общественной нравственности, предписывая всем свои нормы и правила, вековые прописи, моральные окаменелости.

Рисуя обстановку борьбы за власть, Чжан Тянь-и в острых сатирических красках изображает противоборство двух парламентских партий — восседающих и корточкистов. Вот как эти партии характеризуются:

«— Странные названия! — заметил пришелец.

— Ничуть,— бросил господин Сяо.— Названия у партий разные, и Парламент соответственно разделен на два лагеря, но политическая платформа тех и других почти одинакова и основана на политике простолюдинов.

— В таком случае, какая нужда в двух группировках?

— А вот какая. Политическая программа у них одна, это верно, но в быту кое-какие различия есть. Скажи-ка, в месте отдохновения для мужчин ты восседаешь на стульчаке или присаживаешься на корточки?

— Присаживаюсь. Но что из этого?

— В таком случае ты должен поддерживать партию корточкистов. Члены этой партии призывают соотечественников совершать естественные отправления, сидя на корточках, ибо такая поза наилучшим образом соответствует принципам санитарии и гигиены. Партия восседающих, напротив, склоняет граждан к восседанию на стульчаке, утверждая, что требованиям санитарии и гигиены отвечает именно эта поза».

Нужны ли тут комментарии? Едва ли может быть более уничтожающая сатира на пресловутую парламентскую систему с ее фарисейским демократизмом. Во всем здесь безошибочно угадываются черты двухпартийной американской системы, которую Чжан Тянь-и как бы приложил к гоминьдановской действительности, ибо в Китае двадцатых годов было немало сторонников заимствования этой системы и применения в китайских условиях. Подтверждается это и названием государства Migo, которое есть не что иное, как транскрипция иероглифического обозначения Америки. И в мире духов пропаганда твердит о принципах «равных возможностей» всех граждан, «верхов» и «низов», о «совершенной демократии». И предвыборная лихорадка, подобно аме-

риканскому фарсу выборов, охватывает страну духов. Тут также кандидаты двух партий ведут бешеную охоту за голосами, обрушивают на голову избирателей тысячи заманчивых обещаний, выбрасывают самые неожиданные лозунги, оглушают потоком пустых слов. В общенациональном масштабе разыгрывается спектакль, основные действующие лица которого находятся за кулисами, а на сцене выступают политические марионетки, рвущиеся к популярности и высоким должностям. Балаганная эта комедия проходит по всем каноническим правилам бродвейских шоу. Здесь и показная помпезность, и музыкальное сопровождение, и драматические коллизии, и даже покушения. «...На площади творилось невообразимое — духи размахивали флажками, кричали «ура»; клики толпы заглушались мощным звучанием оркестров: в конце улицы показалась вереница машин. Первая остановилась у дверей Парламента и тотчас же была осыпана живыми и бумажными цветами, серпантином. Народные массы выражали свой восторг. Из машин вышли Лу Юэ-лао, Пань Ло. За ними следовал Янь Цзюнь».

«Простолюдины». Что это? Конечно, ирония и пародийность. В лике «простолюдинов» писателем выведены всесильные магнаты, мультимиллионеры, стремящиеся превратить экономическое и финансовое свое могущество в политическую активность, которая, разумеется, менее всего преследует цели облагодетельствования простого народа, обитателей нижнего яруса. Их философия пошлого практицизма всецело направлена на упрочение их собственного господства над всеми остальными, на сохранение незыблемости угодного им порядка вещей. Социальная сущность их обнажается, в частности, в крайней озабоченности «простолюдинов» поведением народа. В районе, доверительно сообщил представителю прессы кандидат на пост Генерального Президента, положение осложняется «попытками низов пробраться на верхний ярус. Они бесстыдны, их цель — ассимилироваться с верхами. Слабоумные дикари, животные, я их...»

На фоне остервенелой этой ненависти «простолюдинов» и их адептов к народным массам особенно контрастно проявляется ханжество того же Лу Юэ-лао, который демонстрирует свою «истинную простоту и демократизм» подметанием в течение тридцати секунд идеально чистого пола. Подметание пола, не без яда замечает автор, символизирует «благородную устремленность верхов», соблюдающих этот ритуал на каждом крупном приеме.

Беспощадны сатирические краски в изображении писателем «великого Акта» — выдвижения в парламенте кандидатов на пост Генерального Президента. Мотивируя решение о выдвижении кандидата от партии корточкистов, «простолюдин» Янь Цзюнь указал, что, согласно новейшим исследованиям физиологов, «поза корточкистов при совершении естественных отправлений гарантирует от запоров»,— а так как страдающий субъект, понятно, не может в полной мере служить великому делу, поэтому «мы, патриоты, должны заботиться о здоровье...»

В условиях квазипарламентского демократизма каждый «простолюдин» имеет легальное право излагать свое представление о человеческих идеалах. Тем примечательнее, что персонажи повести, медленно наливаясь злобой, устрашают друг друга понятиями из политического и нравственного лексикона. Выступая с критикой «научно обоснованной» концепции корточкистов, «простолюдин» Пань Ло решительно заявляет, что «корточкизм не исключает запоров. Соотечественникам старый способ надоел, они хотят переменить позу; если ничего не изменится, отвращение к старой позе будет обостряться и может перерасти в полную апатию, в нежелание исполнять свой долг... трудно даже предвидеть, господа, все последствия такой близорукой политики...»

После обмена программными речами джентльмены, не добившись уступок противоборствующей партии, переходят, как это принято на выборах в респектабельном обществе, к яростной картежной схватке, в которой они зловеще и страшно звереют и в которой решается судьба нового Генерального Президента. Игра в карты лишь форма. Победил главный бог — капитал, те магнаты, что сделали ставку на баснословные свои деньги: «вся мировая война... стоила куда дешевле».

«— А теперь можно голосовать! — удовлетворенно произнес один из духов, и все присутствующие стали вписывать в бюллетени имя Ба Шань-доу».

Триумф, однако, был недолгим. Прошла всего неделя, а победители Лу Юэ-лао и Пань Ло стали банкротами. Жестокая борьба финансовых и промышленных воротил привела могущественнейших магнатов к ошеломляющему падению — столь знакомому явлению в американской действительности.

Изображаемая в повести борьба, быть может, имеет пределы. В своем сатирическом повествовании автор почти не выходит за частокол противоборства двух партий. В рамках такой методологии соперничество, происходящее между всесильными магнатами, сводится к противопоставлению друг другу своекорыстных планов, почти не связанных с живой тканью социальных процессов, с логикой классовой борьбы, с диалектикой общественной жизни. И в этом известная узость «Записок».

Но темой борьбы за власть повесть Чжан Тянь-и не исчерпывается. С великолепным знанием предмета писатель воспроизвел идеологическую атмосферу, царившую в мире духов и способствовавшую активной деятельности поразительных по своему нравственному и духовному уродству корточкистов и восседающих.

Вопреки заверениям обитателя мира духов Сяо Чжун-но, читатель проходит по всем восемнадцати кругам буддийского ада, где истязают, впрочем, не обычными банальными способами, но более изощренно и продуманно — орудиями пыток выступают фарисейство и кликушество, невежество и тупость, ханжество и лицемерие.

Чжан Тянь-и беспощаден. Он выставляет на суд презрения и смеха целую галерею «мертвых душ» от науки, культуры, искусства, хорошо знакомых ему «по жизни». Вот историк Вэй Сань-шань, наделенный высокими титулами и званиями, проповедующий под видом «новейших открытий» ни с чем не сообразную чушь и галиматью. Рядом с ним — злобный и невежественный мракобес И Чжэн-синь, «крупнейший авторитет в области антропологии»; мы узнаем также о титанической деятельности «величайшего из эрудитов», покойного профессора Вэня, автора книг «От абсолютизма к теории относительности», «Начальное пособие по баскетболу», «Компендиум по кулинарии», «Способы лечения заболеваний кожи» и тому подобных.

Герои Чжан Тянь-и с серьезным видом обсуждают проблемы прикрывания чехлами носов, высчитывают количество каких-то нелепых клеток «А» в мозге индивидуума из верхов, выдвигают «теории» происхождения мира, находящиеся на грани полного идиотизма.

Законы и принципы мира духов бессмысленны и абсурдны: крючкотворство и софистика заменили в нем здравый смысл; фальсификация стала нормой мышления; иерархия, прикрываемая фиговым листиком ханжества, легла в основу общественных и личных отношений. Но, как это и свойственно лицемерам, «ученые духи» во имя соблюдения приличествующего декорума стремятся к благозвучию и красоте. Уборные они называют «местами отдохновения», публичный дом именуют Домом знакомства «Правдивость», театру присваивают имя «Небесные моральные принципы», журнал величают «Журналом благородного духа».

Особую ненависть Чжан Тянь-и вызывали литераторы, служители чистого искусства в «мире духов». Автор представляет читателям «специалиста по декадентской литературе» Сыма Си-ду, прославившегося яростной борьбой с собственной нервной системой, ибо декадента с нормальными здоровьем и психикой он себе не мыслил; «специалиста по любовным рассказам» Вань Сина, к чьим услугам всегда были две игральные кости с начертанными на их гранях амплуа действующих лиц будущих произведений; наконец, «специалиста по новейшему символизму» Хэй Лин-лина, речь которого напоминала нечто среднее между тарабарщиной и абракадаброй. Единственно понятной для читателей фразой из всех, произнесенных Хэй Лин-лином, была фраза, «высветленная» Чжан Тянь-и не случайно: «ибо дух карандаша моего мгновение тому погружался в очаровательную навозную кучу». Как и все коллизии в повести Чжан Тянь-и, линия «изящной словесности» имела реальную основу в китайской действительности 20-х и 30-х годов.

Китайские символисты отразили состояние безысходности и тупика, характерное для определенной части интеллигенции. Культ скорби и печали о прошлом становился убежищем смятенного человека. «Жизнь всего лишь улыбка на губах смерти»,— писали они. Такие поэты, как Ли Цзинь-фа или Шао Сюнь-мэй, были певцами неуловимых эмоций, причудливых символов, эротических грез.

Поэзия декаданса вызывала резко отрицательную реакцию прогрессивных литераторов Китая. Изображая своих героев, Чжан Тянь-и стремился подчеркнуть противоестественность поэзии декаданса с точки зрения целей и задач литературы, призванной, как учил Лу Синь, лечить больное общество, а не усугублять его болезнь.

Мир духов, таким образом, показан автором в ограниченном круге, в сфере «верхнего яруса», а потому развитие ситуации завершается лишь сменой одного властителя другим, одного клана «простолюдинов» — другим. В этом, разумеется, нет ничего удивительного, поскольку автор, как можно видеть, ставил перед собой конкретную цель — критику старого, отжившего, реакционного, а не утверждение нового! И с этой точки зрения «Записки из мира духов» представляют собой уничтожающую сатиру, необычная форма которой, конечно, не помешала читателям увидеть зловещие черты современной им действительности. Как говорят китайцы: вести беседу о постороннем, дабы сказать о сокровенном.

Н. ФЕДОРЕНКО

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР
АЛЬБЕР КАМЮ

Реквием по монахине

ПЬЕСА В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ,
СЕМИ КАРТИНАХ

Перевод с французского ТАМАРЫ ЕРОФЕЕВОЙ

Говоря о «Святилище», Андре Мальро заявил, что Фолкнер соединил здесь полицейский роман с античной трагедией. Так ли это? Но ведь в любой трагедии (и в «Гамлете», и в «Царе Эдипе») есть что-то от полицейского романа. И Фолкнер, который знает это, не постеснялся заимствовать своих злодеев и своих героев из сегодняшних газет. «Реквием по монахине», по-моему, тоже является одной из таких редких современных трагедий.

«Реквием по монахине» в оригинале не пьеса. Это роман в диалогах. Однако с напряженным драматическим сюжетом. Во-первых, потому, что перед вами постепенно раскрывается тайна и вы находитесь в непрерывном ожидании трагической развязки. И во-вторых, потому, что конфликт, в котором персонажи сталкиваются со своей судьбой возле трупа ребенка, может быть разрешен лишь приятием этой судьбы.

У меня возникло желание инсценировать «Реквием» не только потому, что я считаю Фолкнера крупнейшим американским писателем наших дней, но еще и потому, что проблема раскрытия современной трагедии техническими средствами сцены интересует меня на театре. Этим своим произведением Фолкнер приближает то время, когда трагедия, творящая свое дело и в нашей истории, выйдет на подмостки наших сцен.

Герои «Реквиема» современны, но их, подобно античным героям, преследует тот же рок, который сокрушил Электру или Ореста. Только великий художник мог в нашем современном жилище заговорить языком такой боли и унижения. Не случайно и то, что олицетворением своеобразной веры Фолкнера в этой пьесе является негритянка — убийца и проститутка. Этот контраст лишь подчеркивает глубину гуманизма «Реквиема» и всего творчества Фолкнера.

АЛЬБЕР КАМЮ

Действующие лица

СУДЬЯ	ТЭМПЛ СТИВЕНС	ПИТЕР
НЭНСИ МЭННИГО	ГОУЕН СТИВЕНС	М-Р ТАББС
ГЭВИН СТИВЕНС	ГУБЕРНАТОР	

Действие первое

Картина первая

Суд. Тринадцатое ноября, 17 часов 30 минут. Занавес еще не поднят. Постепенно освещается рампа.

Мужской голос *(за занавесом)*. Обвиняемая, встаньте!

Занавес поднимается, одновременно встает в своей загородке подсудимая. Перед зрителями возникает судейский стол на возвышении, занимающем не всю сцену, а только левую, приподнятую ее половину, правая же, нижняя половина, остается в темноте. Видимая сторона сцены выделяется еще и лучом прожектора. Словом, показана лишь часть зала заседаний — до перил, отделяющих судей от публики; видны судья, присяжные заседатели, судебные пристава, прокурор и адвокат Гэвин Стивенс Обвиняемая стоит. Это негритянка тридцати лет. Впрочем, ей может быть и двадцать, и сорок лет; лицо ее спокойно, непроницаемо, почти задумчиво. Она кажется очень высокой, так как возвышается над залом. Все взгляды устремлены на нее, но она ни на кого не смотрит, пристально вглядываясь куда-то вдаль, словно вокруг нее никого нет.

В зале мертвая тишина. Все наблюдают за ней.

Судья. Нэнси Мэнниго, прежде чем огласить приговор, суд спрашивает вас: хотите ли вы сказать что-нибудь в свою защиту?

Нэнси не отвечает. Стоит не шелохнувшись, как будто не слышала вопроса.

Судья. Напоминаю: закон не разрешит вам говорить после оглашения приговора. Если вы хотите что-то сказать, говорите сейчас.

Нэнси молчит.

Мистер Стивенс, растолкуйте вашей подзащитной мои слова. Она уже нарушила порядок в начале процесса, показав, что подтверждает свою виновность. А ведь вы заявили, что будете доказывать ее невиновность. Вам так и не удалось добиться от нее желательных для вас ответов. Разъясните, пожалуйста, что после оглашения приговора ей уже ничего не позволят сказать.

Стивенс. Нэнси, суд предупреждает вас, что после вынесения приговора вы уж ничего не сможете сказать. Если вы хотите что-то заявить суду, надо сделать это сейчас.

Нэнси молчит.

Поймите, Нэнси, у суда свои законы. Я знаю, почему вы ответили «виновна», хотя я твердил вам, что надо отвечать «невиновна». Но вот процесс закончен. Теперь в тюрьме вы можете думать и говорить все что угодно, все, что у вас лежит на сердце, а я хорошо знаю и понимаю, что вы чувствуете. Но после оглашения приговора вы должны молчать. Таков закон. Если вы хотите что-то сказать, говорите сейчас. Вы меня понимаете?

Нэнси смотрит на него и молчит.

Судья *(нетерпеливо)*. Она поняла?

Стивенс. Она поняла, ваша честь, как может понять страдающая и доверчивая душа.

Судья. В таком случае я оглашаю приговор: «Принимая во внима-

ние, что Нэнси Мэнниго тринадцатого сентября сего года умышленно и с заранее обдуманным намерением убила младенца супругов Стивенс, проживающих в городе Джефферсоне, суд приговаривает ее к смертной казни через повешение, каковой приговор будет приведен в исполнение через четыре месяца, то есть тринадцатого марта следующего года, в тюрьме главного города нашего штата, куда ее переведут сразу же после суда. Да смилуется господь над ее душой».

Нэнси *(очень спокойно, не обращаясь ни к кому, голосом, который звенит в тишине)*. Да, господи. Благодарю тебя, господи!

Слышен гул изумленных восклицаний невидимых зрителей в зале суда. Нэнси, по-видимому, ничего не замечает. Судья стучит по столу молотком. В зале слышен женский голос — стон, может быть рыдание.

Судья. Прошу соблюдать спокойствие! Спокойствие! Освободите зал.

Раздается пронзительный звонок. Занавес быстро опускается.

Картина вторая

Тринадцатое ноября, 18 часов. Занавес плавно поднимается, открывая гостиную в доме Стивенсов. Посредине комнаты — стол, на котором стоит лампа, вокруг — стулья. В глубине слева — диван, торшер. Налево дверь в холл. В глубине открыта двухстворчатая дверь в столовую. Направо — газовый камин с искусственными поленьями. Слышны приближающиеся шаги, потом вспыхивает свет — кто-то при входе повернул выключатель. Дверь слева открывается, появляется Тэмпл в сопровождении своего мужа Гоуена и адвоката Гэвина Стивенса. Тэмпл — молодая женщина, лет двадцати пяти, элегантная, изящная; на ней расстегнутое меховое манто, в руках перчатка и сумочка. Видно, что она расстроена, но владеет собой. Тэмпл подходит к столу и останавливается. Гоуен года на три — на четыре старше жены. Таких, как он, немало развелось на Юге Соединенных Штатов Америки между двумя мировыми войнами; единственные сыновья богатых родителей, эти люди с детства пользовались всяческими благами, в студенческие годы жили с комфортом в меблированных квартирах и отелях больших городов, учились в лучших университетах Юга и Востока страны, состояли членами самых модных спортивных клубов. Затем обзавелись семьей, без особых хлопот занимали видные посты в деловом мире и прилично справлялись со своими обязанностями в сфере финансов, валютных и биржевых операций. Гоуен и Стивенс оба в пальто, шляпы держат в руках. Стивенс, войдя в комнату, останавливается, Гоуен бросает шляпу на диван и направляется к жене, которая стоит у стола, стягивая с левой руки перчатку.

Тэмпл *(берет сигарету из коробки на столе. Видно, что она тщетно старается подавить в себе нервное возбуждение. Начинает говорить, подражая обвиняемой. Голос ее срывается от волнения)*. «Да, господи», «Виновна, господи», «Благодарю тебя, господи». Если это все, что подсудимая способна сказать, когда ее собираются повесить, то как же может учтивый судья противиться ее желанию?

Гоуен. Довольно, Тэмпл. Помолчи. Я сейчас принесу тебе выпить и разожгу камин. *(Стивенсу.)* Но, может быть, дядя Гэвин захочет наконец принести какую-нибудь пользу и разожжет камин, пока я буду играть роль метрдотеля.

Тэмпл *(берет зажигалку)*. Да, да, принеси выпить. А я займусь камином сама. Дядя Гэвин, конечно, не намерен остаться. Думаю, что он желает только одного — произнести на прощанье краткую речь: «Я усердно защищал на суде убийцу вашей дочери, но не мог добиться оправдания женщины, удушившей мою маленькую внучатую племянницу... А теперь я вас покидаю. До следующего раза!» Не правда ли, дядя Гэвин? Будем считать, что вы нам это уже сказали. Можете теперь отправляться домой. *(Она подходит к камину с зажигалкой в руке, становится на колени и поворачивает газовый кран.)*

Гоуен *(с беспокойством)*. Тэмпл!

Тэмпл *(зажигая огонь)*. Смогу я, наконец, напиться или нет?

Гоуен. Хорошо. *(Стивенсу.)* Снимите пальто и бросьте его куда-нибудь.

Уходит в столовую. Стивенс стоит неподвижно, пристально глядя на Тэмпл.

Тэмпл *(все еще на коленях, повернувшись спиной к Стивенсу)*. Если вы намерены остаться, садитесь. Если не хотите оставаться, уходите. На вашем месте я бы приняла второе решение. Справедливое возмездие за муки матери, радость при мысли, что злодейство отомщено, удовольствия такого рода приятнее смаковать в одиночестве. Вы не находите?

Стивенс смотрит на нее. Затем подходит к ней, вынимает из кармана носовой платок и подает ей. Тэмпл рассматривает платок, затем поднимает глаза на Стивенса. Лицо ее абсолютно спокойно.

Тэмпл. Зачем?

Стивенс. Это хороший платок. Он вам может понадобиться.

Тэмпл. Для чего? Закрываться от искр, вылетающих из паровозной трубы? Но мы будем путешествовать на самолете. Гоуен вам не говорил? Мы улетаем из Мемфиса в полночь. Завтра утром будем в Калифорнии. В Калифорнии!

Стивенс. Тем не менее оставьте у себя платок.

Тэмпл *(поворачиваясь к нему)*. Если вы пришли, чтобы увидеть меня плачущей, то я лучше сразу скажу: вы слез от меня не добьетесь. Ни слез, ни чего-либо другого. Не знаю, право, для чего вы пришли сюда. А впрочем, мне наплевать. Но что бы там ни было, вы своего не добьетесь.

Стивенс. Понимаю.

Тэмпл. Значит, вы мне не верите? *(Прислушивается.)* Он идет. Сейчас он тоже спросит вас, чего вы хотите. Почему вы нас проводили до самого дома?

Стивенс. Сказать ему правду?

Тэмпл. Послушайте. Я хочу задать вам только один вопрос. Что вам в точности известно?..

Входит Гоуен, и Тэмпл сразу переводит разговор на другое с такой непринужденностью, что никто бы со стороны и не заметил ее маневра.

Прежде всего вы ее адвокат. Она должна была вам сказать. Даже такая женщина, как Нэнси, не могла не испытывать чувства вины и угрызений совести, когда она убивала ребенка.

Гоуен. Я уже просил тебя не говорить больше об этом. *(Он держит в руках поднос, на котором стоят сифон с содовой водой, ведерко со льдом, три пустых бокала и три стакана с виски. Из кармана пальто выглядывает бутылка виски. Он подходит с подносом к Тэмпл.)* Возьми, пожалуйста. Я тоже хочу выпить. Первый раз после восьмилетнего перерыва. А почему бы и нет?

Тэмпл. Почему бы и нет?

Она берет стакан с виски. Гоуен предлагает Стивенсу, тот берет второй стакан, затем Гоуен ставит поднос на стол и третий стакан берет себе.

Гоуен. За восемь лет не выпил ни капли спиртного. Целых восемь лет! Не малый срок. Верно? *(Стивенсу.)* Пейте, пейте до дна. Может, немного разбавить содовой?

Ставит свой стакан на поднос, так и не пригубив его. Наливает содовой в бокал и протягивает его Стивенсу. Но Стивенс уже выпил свой стакан и ставит его на поднос. Тэмпл так же, как и муж, не притронулась к своему стакану.

А теперь, мэтр Стивенс... быть может, адвокат защиты объяснит нам, зачем он сюда пожаловал?

Стивенс. Твоя жена уже сказала тебе: я пришел проститься с вами. До свидания.

Гоуен. Ну что ж! До свидания. Выпьем прощальную чарку. Мы знаем обычаи. А затем, надеюсь, вы уйдете?

Тэмпл. Конечно. К тому же у него и не было намерения оставаться. Он пил, даже не сняв пальто.

Гоуен *(вытаскивает бутылку виски из кармана и смешивает в бокале виски с содовой для Стивенса)*. А почему бы ему и не остаться? Раз у него хватило мужества поднять руку в зале суда, чтобы принести присягу и защищать негритянку, которая убила его внучатую племянницу, он, конечно, может протянуть ту же руку и чокнуться с матерью убитого ребенка. Но не лучше ли поговорить и все выяснить, чтобы мы от этого избавились, по крайней мере на какое-то время?

Тэмпл *(внимательно смотрит не на Гоуена, а на Стивенса, который, в свою очередь, сурово смотрит на нее)*. Ну что ж, поговорим. Располагайтесь поудобнее. Надеюсь, дядя Гэвин чокнется также и с тобой, мой дорогой, с отцом убитого ребенка?

Гоуен *(смешивая виски с содовой)*. Ну, разумеется, чокнется. Ничто ему не помешает. Да и почему он должен питать жалость к отцу? В глазах закона мужчинам не полагается страдать. Закон милостив только к женщинам и детям. Особенно к женщинам, особенно к цветным проституткам, к тем, кто убивает детей, рожденных белыми. *(Протягивает стакан Стивенсу.)* Итак, почему мистер Стивенс, адвокат защиты, должен жалеть мужчину или женщину, которые по чистой случайности являются его родственниками, а также родителями убитого ребенка!

Тэмпл *(строго)*. Довольно, Гоуен!

Гоуен. Прости. *(Поворачивается к ней и видит, что в руках у нее ничего нет.)* Ты не пьешь?

Тэмпл. Нет, благодарю. Мне бы хотелось молока.

Гоуен. Молока? Очень хорошо. Горячего, конечно?

Тэмпл. Да, если можно.

Гоуен. Разумеется, можно. Я уже поставил на огонь кастрюлю, когда ходил за виски. Как видишь, я думаю решительно обо всем. *(Направляется в столовую.)* Кстати, не выпускай дядю Гэвина, пока я не вернусь. Если понадобится, запри дверь на ключ.

Гоуен выходит. Тэмпл и Стивенс сидят молча, пока не хлопает дверь в буфетной.

Тэмпл *(быстро, строго)*. Так что вам известно? *(Еще быстрее.)* Только не лгите! Вы же знаете, время не ждет.

Стивенс. Время не ждет? Почему? Потому что ваш самолет улетает сегодня вечером? Но у Нэнси еще есть время. Четыре месяца. Ее повесят только тринадцатого марта.

Тэмпл. Вы прекрасно понимаете, что́ я хочу сказать... Вы — ее адвокат, вы можете видеть ее ежедневно... Какая-то негритянка и вы, белый... Вы могли заставить ее говорить... Запугать ее. Подкупить щепоткой кокаина или стаканом спиртного. *(Внезапно она умолкает, пристально смотрит Стивенсу в глаза с удивлением и каким-то отчаянием; голос ее понижается до еле слышного шепота.)* Боже мой! Неужели она вам ничего не сказала? Не верю. Вам, значит, ничего не известно, и, стало быть, это я, я должна рассказать?.. Нет, нет, не могу поверить. Это невозможно!..

Стивенс. Невозможно? Почему же? Нет, она мне больше ничего не сказала.

Тэмпл. Я вам не верю. Но это ничего не меняет. Что вы хотите узнать? Скажите мне только, как, по-вашему, все это произошло.

Стивенс. В ту ночь у вас был мужчина.

Тэмпл *(прислушивается, затем делает шаг к Стивенсу)*. Вот как?! Нет, у меня не был мужчина в ту ночь. Я могу это доказать, слышите? Я вам уже говорила это, и вам не удастся ничего из меня вытянуть. Разумеется, вы могли бы потащить меня в суд, привести к присяге. Хотя ваши присяжные заседатели не очень-то любят забавы ради устраивать подобное испытание матери, на которую обрушилось такое горе. Но вы на это были бы способны. *(Меняя тон.)* Простите, дядя Гэвин. Мне очень жаль, но, видите ли, это невозможно; я не смогу говорить. Нет! О нет, я не в силах рассказать. *(Хлопает дверь буфетной.)* Сейчас я оставлю вас наедине с Гоуеном. Да, я уйду сейчас наверх и буду ждать в своей комнате. Я уверена, у вас найдется о чем поговорить.

Она умолкает. Входит Гоуен, неся маленький поднос со стаканом молока. Подходит к столу.

Гоуен. О чем вы говорили?

Тэмпл. Ни о чем. Я сказала дяде Гэвину, что в его манерах есть что-то от прежних вирджинских джентльменов, что-то такое, что есть и у тебя. Должно быть, вы оба унаследовали это от своих предков. *(Смотрит на них.)* Прекрасное наследство. Пойду приготовлю Бюки ванну и накормлю его ужином. *(Дотрагивается до стакана, чтобы проверить, горячее ли молоко.)* Спасибо, мой дорогой.

Гоуен *(Стивенсу)*. Видите,— самая подходящая температура. Великолепный сервис! Вот как меня выдрессировали!

Он внезапно умолкает, наблюдая за Тэмпл: она стоит безучастная, застыв со стаканом молока в руке. Гоуен подходит к ней и целует. Она вся сжимается, принимая его поцелуй. Затем, со стаканом в руке, идет к двери, ведущей в холл.

Тэмпл *(Стивенсу)*. Всего хорошего, дядя Гэвин. Мы не увидимся до июня.

Стивенс. До тринадцатого марта, может быть?

Тэмпл. Нет, до июня. Бюки пришлет вам открытку, вам и Мэгги. Но если вы случайно узнаете что-то новое, что может помочь Нэнси, что-то такое, для чего вам может понадобиться мое свидетельство, напишите мне. Хотя я, право, не знаю, при чем тут я. *(Краткая пауза.)* Если вы только что-нибудь узнаете...

Стивенс. Вы сами должны мне сказать то, чего я еще не знаю.

Тэмпл *(помолчав)*. Но почему я, дядя Гэвин? Зачем мне говорить, когда другие молчат? Если кому-то хочется, чтобы его отправили на виселицу, кто я такая, чтобы этому помешать? Спокойной ночи.

Она выходит и закрывает за собой дверь. Стивенс, очень озабоченный, поворачивается и ставит виски на поднос.

Гоуен. Сущее удовольствие слушать вашу откровенную и дружескую беседу: сразу видно, что дядя и племянница нежно любят друг друга и ничего друг от друга не таят. *(Внезапно вспылив.)* Да когда же вы, наконец, допьете свой стакан? Мне еще надо пообедать и уложить вещи.

Стивенс. А ты свой стакан даже и не начинал. Давай-ка со мной за компанию.

Гоуен *(берет полный стакан)*. Ну, что ж, почему бы и не выпить. Но лучше вы бы все-таки ушли поскорее и оставили нас одних утешаться возмездием, которое суд даровал нам взамен нашего погибшего ребенка.

Стивенс. Дай бог, чтобы вы нашли в этом утешение.

Гоуен. Да, я молю об этом бога. Молю. Возмездие! Око за око, а? Какие бессмысленные слова! Но чтобы понять это, нужно лишиться ока.

Стивенс. Вы еще не отомщены. Надо, чтобы Нэнси умерла.

Гоуен. Ну и пусть умрет. Потеря не велика. Уличная девка, черномазая пьяница...

Стивенс. Нищая, падшая, влачившая беспросветную жизнь вплоть до того дня, когда мистер и миссис Стивенс просто из гуманности подобрали ее в сточной канаве, чтобы заронить в ее душе надежду на спасение.

Гоуен сидит неподвижно, вертит в пальцах стакан. Стивенс наблюдает за ним.

И вот, в благодарность за это она...

Гоуен. Довольно, Гэвин. Ступайте домой. Или убирайтесь к дьяволу. Куда угодно, но вон отсюда!..

Стивенс. Сейчас уйду, погоди. *(Помолчав.)* Гоуен, ты в самом деле хочешь, чтобы Нэнси повесили?

Гоуен. Я? Нет. На что мне это? Я даже, как говорится, не ропщу. Какое я, в сущности, имею к этому отношение? Только то, что считаюсь отцом ребенка, которого... Какой прохвост выдает это пойло за виски?

Швыряет стакан с виски в ведерко со льдом, хватает пустой бокал и наполняет его. Сначала он не произносит ни звука, но вскоре начинает смеяться, а через некоторое время уже истерически хохочет, потеряв над собой контроль, и льет виски в переполненный бокал. Стивенс протягивает руку и, схватив бутылку, останавливает Гоуена.

Стивенс. Перестань! Сейчас же перестань!

Вырывает бутылку из рук Гоуена, ставит ее на стол, отливает из бокала часть виски в другой бокал и протягивает его Гоуену. Тот берет бокал и, овладев собой, перестает смеяться.

Гоуен *(держит в руке стакан, но не пьет)*. Восемь лет! Восемь лет не брал в рот спиртного. И вот награда! Мой ребенок убит грязной негритянкой, которая даже и не подумала сбежать, а ведь тогда какой-нибудь полицейский шпик или еще кто-то мог бы пристрелить ее как бешеную собаку. Ясно вам? Восемь лет я не пил и вот получил награду за свое воздержание. Получил то, что заслужил за свою добродетель. Ну что ж, теперь я расплатился. И могу снова пить. Но у меня больше нет желания пить. Зато я могу, по крайней мере, смеяться. Одно другого стоит, верно? Ведь как обстояло дело? Я впутался помимо воли в неприятную историю. Мне пришлось расплатиться, но по сходной цене. У меня было двое детей, а в уплату взяли только одного. Один мертвый ребенок и одна публично повешенная негритянка — вот и все, чем мне пришлось заплатить...

Стивенс. За что заплатить?

Гоуен. За свое прошлое. За свое сумасбродство и за ту попойку, которая была восемь лет назад, вам это хорошо известно. За свою трусость, если хотите... О да! Есть над чем посмеяться. Но не очень весело. И не очень громко, не правда ли? Тсс! Тише! Не надо ворошить прошлое. Тревожить мисс Дрейк, например. Мисс Тэмпл Дрейк, теперешнюю миссис Стивенс. Не надо вспоминать ни о молодой девушке, ни о том вертопрахе, каким я был тогда. Трусость, да? А что же иное? Трусость — это верное слово. Но как оно звучит неприятно! Скажем просто: переутомление.

Стивенс. Кто вспоминает это прошлое?

Гоуен. В самом деле? Разве, мой дорогой дядя, вы не вспоминаете? Гоуен Стивенс, присутствующий здесь, был вымуштрован в Вир-

джинии и обучен вести себя по-джентльменски. Даже если он пьян. Однажды, напившись, как десять джентльменов, он похитил молоденькую девушку из провинциального колледжа, без сомнения невинную,— да, да, почему бы и нет? И отправился с ней на прогулку в автомобиле, чтобы посмотреть футбольный матч, напился, как двадцать джентльменов, сбился с дороги, накачался спиртом, как целый полк джентльменов, разбил свою колымагу и, мертвецки пьяный, потерял сознание. За это время девушка, все еще, конечно, невинная, как вы можете предполагать, была похищена неким сумасшедшим развратником и упрятана в дом терпимости в Мемфисе... *(Сквозь зубы бормочет какие-то ругательства.)*

Стивенс. Как?

Гоуен. Да, да! Придется все-таки назвать тогдашнее мое поведение подлостью, даже если это звучит плохо.

Стивенс. Но ведь женитьба на ней не была подлостью.

Гоуен. Конечно! Жениться на девице, побывавшей в борделе! Какое великодушие, какой благородный поступок! Настоящий рыцарь из Вирджинии! Чего и говорить. Могу поспорить благородством с целой армией джентльменов.

Стивенс. Во всяком случае, намерение было джентльменское. Она была упрятана в дом терпимости и... Я не расслышал...

Гоуен *(быстро протягивает руку к стакану Стивенса)*. Бросьте этот брандахлыст.

Стивенс *(отводит свой стакан)*. Что ты сказал насчет Тэмпл?

Гоуен. Что сказал, то и сказал. Вы же слышали.

Стивенс. Ты, кажется, добавил: «И это ей нравилось»? Да?

Пристально смотрят друг на друга.

Вот чего ты никогда не сможешь ей простить. Ведь она была невольной виновницей страшных дней в твоей жизни — этого ты никогда не сможешь ни забыть, ни объяснить, ни искупить, ты и до сих пор об этом все думаешь и думаешь... Главное: потому, что это событие не доставило ей душевных мук,— наоборот: ей, как ты сам говоришь, «там нравилось». А ты из-за нее лишился свободы, потерял достоинство мужчины, почитаемого женой и ребенком. Слишком дорогой ценой ты расплачиваешься, по-твоему, за один этот час своей жизни. А твоя жена будто и не утратила ничего, ни о чем не сожалеет и даже не чувствует своей ущербности. И из-за этого, скажи мне, Гоуен, из-за этого несчастная, сбитая с толку негритянка должна умереть?

Гоуен. Уходите отсюда!

Стивенс. Если это так, то лучше уж пусти себе пулю в лоб! По крайней мере, перестанешь ворошить все время то, чего ты не в силах забыть. Покончи с собой — и не будешь больше вспоминать, не будешь просыпаться по ночам весь в холодном поту, потому что ты не хочешь и не можешь выбросить из памяти прошлое! Или же посмотри хоть раз правде в лицо. И скажи мне, что произошло в течение того месяца, когда этот сумасшедший держал ее пленницей в публичном доме в Мемфисе. Что произошло, о чем никто не знает, кроме нее и тебя? А может быть, даже и ты не знаешь?

Гоуен *(не сводя глаз со Стивенса, решительно ставит стакан на поднос, берет бутылку и поднимает ее над головой. Из горлышка льется виски. Струя течет по рукаву Гоуена на пол. Он словно не замечает этого. Хриплым голосом невнятно бормочет)*. Ох! Господи, помоги мне, да помоги же ты мне!

Стивенс не спеша ставит свой стакан на поднос, поворачивается и, взяв с дивана шляпу, уходит. Гоуен некоторое время стоит с пустой бутылкой

в руке. Затем жадно глотает воздух и, всхлипнув, приходит в себя, ставит пустую бутылку на поднос, замечает свой, еще не тронутый стакан виски, берет его, держит некоторое время и швыряет в камин. Стакан разбивается о раскаленные язычками газа искусственные поленья. Свет гаснет.

Картина третья

Гостиная Стивенсов. Одиннадцатое марта, 22 часа. Обстановка в комнате точно такая же, какой она была четыре месяца тому назад. Лишь настольная лампа зажжена и диван переставлен на другое место — повернут теперь к публике. Дверь в столовую закрыта. В углу, справа, на маленьком круглом столике,— телефон. Дверь в столовую отворяется. Входит Тэмпл в сопровождении Стивенса. На Тэмпл длинный пеньюар, волосы схвачены на затылке лентой. Кажется, что она приготовилась ко сну. Стивенс в пальто и шляпе.

Тэмпл. Прикройте дверь. Бюки спит в детской.

Стивенс. Вы привезли его с собой?

Тэмпл. Да.

Стивенс. И он спит в той комнате?..

Тэмпл. Да.

Стивенс. Лучше бы его здесь не было.

Тэмпл. Но он здесь.

Стивенс *(смотрит на нее)*. Как хотите, Тэмпл, но это шантаж. Вы нарочно его привезли. И все-таки мы поговорим.

Тэмпл. Шантаж? А почему бы и нет? Разве женщина не может обратить своего ребенка в надежный щит против нападения?

Стивенс. Тогда зачем же вы вернулись из Калифорнии?

Тэмпл. Хотела найти покой. *(Подходит к столу.)* А его все нет и нет! Верите вы в совпадения?

Стивенс. Могу поверить.

Тэмпл *(берет со стола сложенную телеграмму и разворачивает ее)*. Вы мне послали эту телеграмму восьмого марта. В ней сказано: «Еще пять дней до тринадцатого. Точка. А куда вы поедете потом?» *(Складывает телеграмму.)*

Стивенс наблюдает за ней.

Стивенс. Ну и что же? Сегодня одиннадцатое. Это и есть совпадение?

Тэмпл. Нет. Совпадение в другом. *(Садится, бросает телеграмму на стол и поворачивается к Стивенсу.)* Восьмого после обеда мы с Бюки были на пляже. Я читала, вернее, пыталась читать, чтобы забыть о телеграмме, а малыш играл и что-то лепетал. И вдруг он спрашивает: «Мама, Калифорния далеко от Джефферсона?» Я, не отрываясь от книги, говорю: «Да, мой дорогой». А он спрашивает: «Сколько времени мы еще здесь пробудем?» Я отвечаю: «До тех пор, пока нам не надоест, мой дорогой!» Тогда он посмотрел на меня и ласково спросил: «Мы будем здесь жить, пока не повесят Нэнси?» Поздно уж было придумывать, я растерялась. Я, не найдя ничего другого, сказала: «Да, мой дорогой». И он задал мне вопрос, который задают, конечно, все дети: «А потом, мама, куда мы поедем?» Точно так же, как вы: «А куда вы поедете потом?» И вот мы вернулись первым же самолетом. Я дала Гоуену снотворное и уложила его спать. Надеюсь, он спит. А я позвонила вам. Что вы на это скажете?

Стивенс. Ничего.

Тэмпл. Ну хорошо. Ради бога, поговорим о чем-нибудь другом. *(Пододвигает стул.)* Я здесь. Не важно, чья это ошибка! Садитесь. Хотите выпить чего-нибудь? *(Но она ничего ему не предлагает и не ждет ответа.)* Надо все-таки спасти Нэнси! Вы заставили меня вернуться, вы и Бюки заставили меня вернуться. Вы, дядя Гэвин,

думаете, будто есть что-то такое, о чем я вам не сказала. Но почему вы думаете, что есть еще что-то, о чем я вам не сказала?

Стивенс. Потому что вы вернулись из Калифорнии.

Тэмпл. Это недостаточное основание. А еще почему?

Стивенс. Потому что вы все время были там... Ну, на суде.

Повернув к нему голову, Тэмпл шарит рукой по столу и ощупью находит коробку с сигаретами, берет одну, затем нащупывает зажигалку и кладет то и другое себе на колени.

Да, вы все время были на суде, с первого дня, и по целым дням...

Тэмпл *(все еще избегая смотреть на него, говорит с безразличным видом, не вынимая изо рта сигареты, которая пляшет при каждом звуке)*. Разве я не была безутешной матерью?..

Стивенс. Безутешной матерью? Несомненно.

Тэмпл. Пришедшей насладиться своей местью, тигрицей, жаждущей крови, тигрицей, распростертой на трупе своего ребенка...

Стивенс. Но у безутешной матери не хватило бы сердца и на горе, и на месть. И как она только могла смотреть на ту, которая убила ее ребенка?

Тэмпл щелкает зажигалкой, закуривает сигарету и кладет зажигалку на стол. Стивенс пододвигает к ней пепельницу.

Тэмпл. Спасибо. Послушайте, Гэвин, вы подозреваете, будто я что-то скрываю. Но ведь совсем не важно, что именно я скрываю. Вам не для чего это знать. Вам необходимо только одно: иметь свидетельское показание, данное под присягой и утверждающее, что Нэнси сумасшедшая... сумасшедшая уже много лет.

Стивенс. Я думал об этом. Но теперь уже поздно. Пять месяцев назад — может быть... А теперь приговор вынесен. Она признала себя виновной, она осуждена. В глазах закона Нэнси Мэнниго больше не существует.

Тэмпл. Даже если я подпишу заявление?

Стивенс. А что вы напишете в этом заявлении?

Тэмпл. Вы мне скажете, что надо написать. Ведь вы все-таки адвокат, хоть и не сумели спасти свою подзащитную. А если вы ничего не можете придумать, я просто заявлю, что знала в течение многих лет, что она сумасшедшая. Если я, мать, скажу это, кто осмелится сомневаться?

Стивенс. А тяжкое оскорбление суда?

Тэмпл. Какое оскорбление?

Стивенс. После того как обвиняемой вынесен приговор, вы только подумайте: главный свидетель обвинения — вы слышите,— обвинения,— вдруг появляется вновь и заявляет, что допущена ошибка и что дело надо пересмотреть!

Тэмпл *(невозмутимо)*. Скажите им что-нибудь: что я забыла, что теперь я одумалась или что прокурор заплатил мне за мое молчание!

Стивенс. Тэмпл!

Тэмпл. Скажите им, что мать, у которой задушили ребенка в колыбели, была способна на все, чтобы отомстить. Но, добившись мести она осознала, что не может довести свою месть до конца и принести ей в жертву человеческую жизнь, хотя бы даже жизнь чернокожей проститутки.

Стивенс *(смотрит на нее. Пауза)*. Стало быть, вы не хотите, чтобы она умерла?

Тэмпл. Я вам уже сказала. Оставьте вы это, ради бога. Разве невозможно то, о чем я прошу?

Стивенс. Итак, Тэмпл Дрейк хочет спасти Нэнси?

Тэмпл. Миссис Стивенс хочет ее спасти. *(Она пристально смотрит на*

него. Медленно вынимает сигарету изо рта и, не сводя глаз со Стивенса, тушит ее в пепельнице.)

Стивенс. Очень хорошо. Итак, мы появляемся вновь и под присягой даем показание о том, что убийца в момент совершения преступления была невменяема.

Тэмпл. Да. И, может быть, тогда...

Стивенс. А где доказательства?

Тэмпл. Доказательства?

Стивенс. Какие доказательства вы приведете?

Тэмпл. Откуда мне знать, что пишется в свидетельском показании? Что́ необходимо в нем указать, чтобы оно было действительно? *(Она пристально глядит на Стивенса; он молча смотрит на нее, пока у нее не вырывается тяжелый вздох, почти стон.)* Ох! Ну, чего вы от меня еще хотите?

Стивенс *(спокойно)*. Хочу знать правду. Ведь только правда может сделать достоверным свидетельское показание.

Тэмпл. Правда? Мы пытаемся спасти приговоренную к смерти убийцу, чей адвокат уже признал, что он провалился. Чему может помочь здесь правда? *(Быстро, с горечью.)* Я говорю: «Мы пытаемся». Но нет, это я, мать убитого младенца, пытаюсь ее спасти. Не адвокат Стивенс, а миссис Стивенс, мать! Но не воображаете же вы, что для ее спасения я сделаю все что угодно! Все что угодно!..

Стивенс. Вы сделаете все, за исключением одного, хотя именно это могло бы спасти Нэнси. Забудем, что она должна умереть. Смерть — это ничто. Страшна несправедливость. И только правда, одна лишь правда может смело выступить против несправедливости. Правда или же любовь.

Тэмпл *(жестко)*. Любовь! О, бог мой! Любовь!

Стивенс. Назовите это жалостью, если хотите. Или мужеством. Или честью, или просто правом на спокойный сон.

Тэмпл. Вы мне говорите о сне, мне, которая в течение шести лет... Ах, прошу вас, оставьте меня!

Стивенс. Тэмпл, я защищал Нэнси против моих близких родственников, против всех, кого я люблю, я защищал ее во имя справедливости. И только от вас одной, от той, какая вы есть, от Тэмпл Дрейк, я жду этой справедливости.

Тэмпл. А я говорю вам, что ни правда, ни справедливость ничего не дадут, и я ничем не могу быть вам полезной. А ведь когда вы обратитесь в Верховный суд, вам нужна будет не голая правда, которой никто не поверит, а чувствительное заявление под присягой, заявление, которое никакой трибунал не сможет оспаривать.

Стивенс. Мы не будем обращаться в Верховный суд.

Тэмпл пристально смотрит на него.

Слишком поздно! Если бы это было возможно, я бы занялся этим еще четыре месяца назад. Мы пойдем к губернатору. Сегодня же вечером!

Тэмпл. К губернатору?

Стивенс. Да. Я с ним знаком. Он нас выслушает. Но даже и он не уверен, что сможет ее спасти.

Тэмпл. Тогда зачем же идти к нему? Зачем?

Стивенс. Я вам уже сказал. Во имя правды.

Тэмпл. Ах, какие пустяки! Сказать правду только для того, чтобы она была сказана, отчетливо, громким голосом, тем количеством слов, которые для этого потребуются? Только для того, чтобы она была сказана и услышана? Чтобы кто-то, не важно кто, ее услышал? Какой-то посторонний человек, которого это дело совсем не касается

и даже не интересует, будет иметь право выслушать эти слова,— только потому, что он изъявит желание их выслушать? Ну что ж, приступайте к делу, заканчивайте вашу возвышенную проповедь, научите, что я должна говорить для своего душевного спокойствия.

Стивенс. Я уже вам сказал, что́ вы должны говорить, чтобы вернуть себе право спокойно спать.

Тэмпл. А я вам ответила, что вот уже шесть лет, как я перестала отличать бессонницу от сна и день от ночи. *(Смотрит ему в глаза. Он молчит и тоже смотрит на нее. Она колеблется. Затем показывает на дверь в детскую и понижает голос.)* Вы хорошо знаете, что я не могу говорить, если бы даже захотела: надо, чтобы ребенок, который спит там, мог по-прежнему жить спокойно. Я привезла его для того, чтобы вы по справедливости подумали о нем, об его покое. Но вы хотите и его лишить сна...

Стивенс. Нет, он будет спать, если сон вернется к вам.

Тэмпл. Я этому не верю. Самое лучшее для спокойствия Бюки и для его будущего — это казнить убийцу его сестры. Время все изгладит из его памяти!

Стивенс. Безразлично, какими средствами и какой ложью?

Тэмпл. Ложь умерла вместе с прошлым.

Стивенс. Вы не верите в то, что говорите.

Тэмпл возвращается к столу, закуривает сигарету, затем решительно поворачивается к Стивенсу.

Тэмпл. Ну что ж! Продолжайте. Бейте. Задавайте вопросы.

Стивенс. Мужчина, который приходил к вам в ту ночь, кто он?

Тэмпл. Гоуен, мой муж.

Стивенс. Гоуена не было дома. В шесть часов утра он уехал с Бюки в Новый Орлеан.

Они смотрят друг на друга.

Гоуен сам невольно выдал вас. Я понял, что вы устроили это путешествие для того, чтобы он и Бюки отсутствовали в эту ночь. Я был искренне удивлен, что вы не удалили и Нэнси,— и ее тоже. *(Он останавливается, словно вдруг сделал открытие.)* Погодите: вы хотели, вы пытались ее удалить, но она не ушла. Да, я в этом уверен. Кто был этот мужчина?

Тэмпл. Докажите сначала, что он был.

Стивенс. Не могу. Нэнси наотрез отказалась говорить что-либо об этой ночи.

Тэмпл. Она отказалась? Тогда слушайте, слушайте внимательно. *(Она стоит перед Стивенсом, выпрямившись, напряженная, и глядит ему прямо в глаза.)* Тэмпл Дрейк умерла. Та девушка, какою я была, умерла шесть лет назад,— еще до прихода Нэнси Мэнниго. И если у Нэнси Мэнниго нет никого другого, кто бы мог спасти ее от виселицы, тогда пусть она возлагает надежды только на господа бога. А сейчас — убирайтесь вон! *(Она пристально смотрит на него.)*

Пауза. Стивенс встает, не переставая наблюдать за Тэмпл, затем делает шаг к двери.

Спокойной ночи.

Стивенс *(после короткой паузы)*. Если вы измените свое решение, позвоните мне. Но помните, что казнь состоится через два дня. Спокойной ночи!

Он возвращается, берет свое пальто и шляпу, направляется к двери, ведущей в холл, и выходит.

Как только Стивенс вышел, в дверях неслышно появляется Гоуен, без пиджака, без галстука, в рубашке с расстегнутым воротом. Он смотрит

на Тэмпл. Она сжимает руками виски и некоторое время стоит неподвижно. Затем опускает руки и решительно направляется к телефону. Гоуен продолжает наблюдать за ней. Она снимает трубку.

Тэмпл *(по телефону)*. Триста двадцать девять, пожалуйста.

Она все еще не видит Гоуена. Он приближается, держа что-то в руке. Он подходит к ней, когда на другом конце провода ей отвечают по телефону.

Алло, мне хотелось бы поговорить с мистером Гэвином Стивенсом... Да, я знаю. Но он сейчас придет. Как только он появится, будьте любезны передать ему, чтобы он позвонил миссис...

Гоуен хватает ее за руку, держащую телефонную трубку, и прерывает разговор. Другой рукой бросает на стол тюбик с таблетками.

Гоуен. Вот твое снотворное. Почему ты мне ничего не рассказываешь о мужчине, который, по словам Гэвина, был в доме той ночью? Ну же! Тебе не понадобится больших усилий. Скажи, например, что это был дядя Бюки и что ты мне позабыла об этом сказать.

Тэмпл *(вначале озадаченная, потом как будто успокоившись)*. Ты можешь мне поверить, если я тебе скажу, что никого не было?

Гоуен. Ну конечно! Я поверю всему, что ты мне скажешь. Я всегда тебе верил, не правда ли? И вот к чему это нас привело. До сегодняшнего дня я даже ухитрялся верить, что мне самому пришла в голову великолепная мысль отправиться на рыбную ловлю в Новый Орлеан. Я бы и сейчас был в этом уверен, если бы не подслушал вашу милую беседу с дядей Гэвином и если б он, совсем того не желая, не проинформировал меня... Без сомнения, все кругом в курсе дела,— все, за исключением меня, конечно. Но это очень хорошо. Приятно сознавать, что я один такой дурак, единственный... Ну что ж, спасибо и на том. Сделай, однако, усилие и попытайся хотя бы раз в жизни сказать правду. Может быть, Гэвин прав, может быть, он имеет дело не с моей женой, а с некой Тэмпл Дрейк,— мы с тобой хорошо ее знали, и вот, оказывается, она вернулась из прошлого, не так ли! Может быть, мужчина, который был здесь, и есть настоящий отец Бюки, который очень хотел, чтобы я поверил, будто мальчик действительно мой сын, и который в этот самый вечер случайно, проездом, оказался в нашем городе...

Тэмпл *(поворачивается в сторону детской)*. Гоуен, замолчи!

Гоуен. Нет, нет, не бойся. Я не подниму шума, будь уверена. Я не ударю тебя. Я никогда не ударил в своей жизни ни одной женщины, даже потаскухи, даже потаскухи из Мемфиса или бывшей потаскухи из Мемфиса. Однако я знаю, что есть два сорта женщин, которых мужчине разрешается бить: свою жену и потаскуху. И видишь, как мне везет: я мог бы угостить обеих разом одной оплеухой. *(Он умолкает, поворачивается к ней спиной. Затем, изменившимся голосом.)* Хочешь, я приготовлю тебе что-нибудь выпить?

Тэмпл *(напряженно)*. Нет.

Гоуен *(протягивает ей пачку сигарет)*. Тогда возьми сигарету. Не важно что, но делай что-нибудь, не стой, как истукан.

Она берет сигарету и держит ее, бессильно опустив руку. Стоит неподвижно, как в столбняке.

Одно очко в мою пользу: я сумел сдержаться. Теперь продолжим разговор. Конечно, если мы будем в состоянии понять друг друга. Сегодня вечером потоком хлынули сенсационные сообщения. Не удивительно, что у нас в голове все перепуталось и мы не можем прийти к соглашению. Даже если речь идет о самых банальных вещах, например: отчего мать и достойная супруга вдруг повела себя

как отъявленная шлюха, какой она прежде была, и таким поведением, по всей вероятности, вызвала убийство своего ребенка.

Тэмпл. Хорошо. Продолжим разговор, скажем то, о чем до сих пор умалчивали, и покончим на этом.

Гоуен. В самом деле? Ты думаешь, мы можем на этом покончить? Ты в самом деле уверена, что таким образом за все расплатишься, отдашь свой долг в этом мире — весь до последнего гроша, который могли бы с тебя и не спрашивать? Ты, видимо, полагаешь, что могла бы и не платить за то, что с твоей стороны было только ошибкой? Да, да, это была всего лишь ошибка, не правда ли? Простая ошибка. Так посмеемся, ради христа! Ну, смейся же! Смейся!

Тэмпл *(исступленно)*. Довольно, Гоуен!

Гоуен. Отлично. Дай мне пощечину, ударь меня. И тогда я, возможно, ответил бы тебе пощечиной, и ты могла бы простить меня: простить мне все одно за другим, и прежде всего эту попойку восемь лет назад, когда я напился — не потому, что у меня было желание напиться, но потому, что я боялся. Потому что я, первый фанфарон в колледже, самый светский студент, который ни в чем не знал поражений, президент университетского клуба в Шарлотсвилле, который мог назвать по имени всех обольстительниц из чайных салонов Нью-Йорка, я испугался, я не знал, что делать с семнадцатилетней провинциалочкой из Миссисипи, не знал, как говорить с молоденькой девушкой, которая никуда не выезжала из колледжа до выпускных экзаменов. Да, я напился, чтобы набраться храбрости и уговорить тебя убежать из этого проклятого экскурсионного поезда.

Тэмпл. Ты же не тянул меня насильно.

Гоуен. Что?

Тэмпл. Ты не тянул меня насильно. Ты мне предложил, и я охотно согласилась. Ты не несешь никакой ответственности.

Гоуен. Можешь ты помолчать? Скажи, ты можешь помолчать? Я несу ответственность! Я беру это на себя. Дай мне покаяться, раз уж мы заговорили об этом. Предоставь мне страдать одному в полное свое удовольствие. Попробуй пострадай сама, и ты увидишь, какое это доставляет удовольствие. И погорюй над тем, над чем, как ты полагаешь, я горевал восемь лет, думая, что, не будь тебя, я мог бы жениться на хорошей, разумной и достойной девушке, у которой никогда бы не разгорелись страсти, пока муж не просветил бы ее... *(Он останавливается, закрывает лицо руками.)* О! Мы должны были полюбить друг друга. Ты и я, мы должны были полюбить друг друга! Неужели ты этого не помнишь?

Тэмпл. Да.

Гоуен. Что да?

Тэмпл. Мы должны были полюбить друг друга.

Гоуен *(протягивает к ней руку)*. Подойди! Не стой так далеко от меня.

Тэмпл *(не двигаясь)*. Нет.

Гоуен *(опомнившись)*. Очень хорошо. Тогда получай все сполна. Говори, был той ночью мужчина у нас в доме?

Тэмпл. Не было никого.

Гоуен *(не слушая)*. Хотя дяде Гэвину и неизвестно, кто он такой, я полагаю, что в Джефферсоне его знают все за исключением меня, конечно. Пока я еще не знаю, какие отношения у него были с убийцей. Может быть, Нэнси застала тебя с ним в постели и убила ребенка — со злости, или от сексуального возбуждения, или чего-то в этом роде. А может быть, это не Нэнси была возбуждена. В пылу вашей грязной страсти вы просто забыли убрать с кровати ребенка и в разгар всей этой мерзости... Ты понимаешь? Видишь, что́ я способен сказать?

Тэмпл *(машинально качает головой, она на грани истерики)*. Нет, нет, нет...

Гоуен. В самом деле — нет? Можно тебе верить? Скажи правду! Скажи, был или не был у тебя в ту ночь мужчина!

Она молчит.

Ты что же, не можешь это опровергнуть?

Она молчит.

Очень хорошо. Так даже лучше, так яснее! Тем не менее ты не сказала Гэвину, что произошло в ту ночь. Я же лично ничего не хочу знать. И пусть никто этого не узнает. Никогда. Я тебе запрещаю звонить дяде Гэвину. Ты не должна соглашаться что бы то ни было рассказывать губернатору или кому-либо другому. Ты сказала — и сказала совершенно правильно,— что если Нэнси ждет спасения от тебя и рассчитывает на твою помощь, то пусть уж лучше уповает только на господа бога. Поняла?

Тэмпл. Нет.

Гоуен. Нет поняла. Я даже могу сказать тебе нечто более убедительное. Видишь, я умею страдать сдержанно, как воспитанный человек. Я не только безропотно переношу испытания, которые проклятое небо с бесконечной заботливостью посылает мне, но я этим пользуюсь, дабы возвыситься душой и научиться прощать ошибки своим ближним,— настоящий ягненок, а? Так вот! Ягненок надеется, что у него еще осталась капля крови, которую ты не отдашь в уплату за свои грехи. Поэтому ты не дотронешься до телефона, и все еще будет можно исправить. Но если ты это сделаешь, я уйду, уйду навсегда.

Тэмпл медленно поворачивается к телефону.

Подожди. Ты могла бы все уладить в любое время за эти шесть лет. Ты и сейчас еще можешь. Ты свободна. Но если ты позвонишь дяде Гэвину, то будет слишком поздно и я уйду. Ты хочешь, чтобы я ушел?

Она не отвечает.

Скажи, что ты не позвонишь дяде Гэвину. Скажи, умоляю тебя!

Тэмпл. Я не могу.

Гоуен. Скажи, Тэмпл! Ведь когда-то мы любили друг друга.

Тэмпл. Должно быть, любили.

Гоуен. Тогда докажи это. Если Нэнси должна быть повешена, пусть она умрет. Если что-то произошло в ту ночь, она одна это знает, она и ты. И если она сама не хочет говорить о том, что случилось, если она не хочет быть спасенной, тогда для кого же ты?..

Тэмпл. Я не могу.

Гоуен. Тэмпл!

Она поворачивается и решительно направляется к телефону. Гоуен обгоняет ее и кладет руку на аппарат.

Я тебе сказал: я уйду.

Тэмпл *(до странности спокойным голосом)*. Прошу тебя, Гоуен, убери руку.

Они смотрят друг на друга. Он отводит руку. Тэмпл берет трубку, подносит к уху, ждет, устремив взгляд в одну точку.

Триста двадцать девять, пожалуйста.

Занавес

Действие второе

Картина четвертая

Кабинет губернатора штата. Два часа ночи с одиннадцатого на двенадцатое марта. Массивный письменный стол. Позади него тяжелое кресло с высокой спинкой. На стене высоко над креслом государственная эмблема штата — орел, весы, возможно, девиз на латинском языке на фоне знамен. Перед столом поставлены еще два кресла. Кабинет занимает приподнятую половину сцены так же, как зал суда в первой картине.

Губернатор стоит за письменным столом, под государственной эмблемой. Видно, что его подняли с постели; на нем халат, хотя он в галстуке и аккуратно причесан.

Тэмпл и Стивенс только что вошли. На Тэмпл меховое манто и шляпа, как во второй картине. Стивенс одет так же, как в третьей картине, шляпу держит в руке.

Они подходят к креслам.

Стивенс. Спасибо, что вы нас приняли, Генри.

Губернатор. Вы желанные гости. Садитесь. *(К Тэмпл, которая садится.)* Миссис Стивенс курит?

Стивенс. Да, спасибо.

Губернатор предлагает Тэмпл сигарету и дает прикурить. Затем он садится в кресло, руки кладет перед собой на стол, продолжая держать зажигалку. Стивенс садится в кресло напротив Тэмпл.

Губернатор. Мой друг Гэвин уверял меня по телефону, миссис Стивенс, что вы хотите сделать какое-то важное сообщение.

Тэмпл. Да.

Губернатор. Я вас слушаю.

Тэмпл. Мне хотелось бы знать, с чего я должна начать.

Губернатор. Не понимаю.

Тэмпл. Если бы вы мне сказали, что́ вам уже известно, я бы знала, что мне еще добавить.

Губернатор. Вы приехали издалека, в два часа ночи. И вы, несомненно, знаете лучше меня, что именно заставило вас так поступить.

Тэмпл. Конечно, знаю. Но то, что я хочу сказать, так мучительно!.. Чересчур мучительно... Прошу вас, помогите мне, чтобы это было менее мучительно.

Губернатор *(смотрит на нее)*. Ну, хорошо. Расскажите мне о Нэнси Мэнниго. Ее так зовут, верно? Или как там ее имя пишется?

Тэмпл. Она никак его не пишет. Она же не умеет ни читать, ни писать. Вы ее повесите под именем Мэнниго, и возможно, это ее настоящее имя. Но когда ее повесят, какое это будет иметь значение?

Губернатор. А все же начните с рассказа о ней.

Тэмпл. О ней нечего сказать, разве только то, что она была проституткой, мы с мужем подобрали ее в сточной канаве, сделали ее няней наших детей. Она убила одного из них. Завтра ее должны повесить. Мы, я хочу сказать, ее адвокат и я, приехали просить вас спасти ее!

Губернатор. Да, я все это знаю. Но почему же ее надо спасать?

Тэмпл. Почему я прошу вас, я, мать убитого ею ребенка? Потому что я простила ее!

Губернатор смотрит на нее внимательно. Стивенс тоже. Они ждут. Тэмпл пристально смотрит на губернатора, без вызова, просто настороженно.

Простила, потому что она сумасшедшая!

Губернатор наблюдает за ней, она курит короткими затяжками сигарету.

Я вижу, вас совсем не это интересует. Вы, конечно, хотите знать, почему я наняла подобную женщину для ухода за моими детьми.

Ну, хорошо. Скажем, это давало ей какую-то возможность исправиться. Все ж таки она человек.

Стивенс. Нет, Тэмпл, это не настоящая причина.

Тэмпл *(очень просто)*. Да, это не настоящая причина. Почему я не могу перестать лгать, как человек перестает бежать, когда устанет, или пить воду, или есть сладости, потому что уже наелся досыта? Но, видно, люди никогда не устают лгать. Хорошо. Так и быть, сейчас я скажу вам настоящую причину, почему я наняла Нэнси. Настоящая причина в том, что я нуждалась в ней. Мне нужно было с кем-то говорить. *(Пауза.)* И сейчас я должна открыть остальное. Почему я нуждалась в ней, почему изысканная женщина Тэмпл Дрейк Стивенс могла найти общий язык только с проституткой, с чернокожей...

Губернатор. Да. Скажите нам — почему.

Тэмпл *(гасит сигарету и выпрямляется: она говорит твердым голосом, немного отрывисто, но не проявляя внешне волнения)*. Проститутка, осужденная на вечные муки, которая, без сомнения, жила только для того, чтобы рано или поздно совершить убийство и умереть на виселице; пропащая женщина, на которую никто в городе не обращал внимания. И вот однажды, валяясь в сточной канаве, она оскорбила какого-то белого, и он принялся топтать ее ногами, выбил ей зубы каблуком, чтобы заглушить ее крики. Вы помните, как его звали, Гэвин?

Стивенс. Забыл. По-моему, это был кассир из банка. *(Губернатору.)* Он старательно разыгрывал роль добродетельного человека. *(К Тэмпл.)* Но разве об этом надо рассказывать?

Тэмпл. Да, да. В тот самый понедельник, утром, Нэнси, еще пьяная, неожиданно появилась, когда он отпирал дверь банка; у входа стояло человек пятьдесят и все ждали его. Откуда-то вынырнула Нэнси, пробилась к нему через толпу и закричала: «Эй, белый, где мои два доллара?» Кассир обернулся, ударил ее, сбросил с тротуара в канаву и с остервенением начал избивать ногами, чтобы заглушить ее голос, а она все вопила: «Где мои два доллара?» Он бил ее до тех пор, пока толпа, опомнившись, не отняла у него эту чернокожую. Изо рта у нее текла кровь, выбитые зубы выпали, а она все бормотала: «Вы должны мне два доллара за тот раз, две недели назад. А потом вы еще раз приходили». *(Пауза. Тэмпл на мгновение закрывает лицо руками, затем отводит их.)* Что ж, надо все сказать. На чем я остановилась?

Губернатор. Нэнси кричала: «Вы должны мне два доллара»...

Тэмпл. Два доллара, да. Но зачем столько слов? Гораздо лучше, если я сразу открою всю правду. *(Она глубоко вздыхает, словно пловец перед прыжком в воду.)* Два доллара — это тариф Нэнси Мэниго. А я, я жила в доме свиданий, где за вход брали значительно дороже. *(Пауза. Она сидит неподвижно, напряженно глядя на них. Затем с усмешкой.)* Очень приличная дама, верно? И вдруг такое признание! Вот что мы собой представляем, мы, богатые наследницы, женщины из хорошего общества. *(Пауза.)* Во всяком случае, прыжок сделан. Теперь я уже не смогу ни остановиться, ни пойти на попятный. Теперь надо продолжать *(Пауза.)* Почему вы молчите? Помогите мне. Отзовитесь. Или уж раструбите новость по всему штату — пусть слышат все, у кого есть уши. Никогда бы я не подумала, что какая-либо причина — даже убийство моего ребенка, даже казнь презренной негритянки — может заставить меня сказать то, в чем я сейчас признаюсь.

Губернатор молча смотрит на нее. Она делает едва заметный молящий жест.

До чего же я должна дойти в своих признаниях? Как далеко я должна зайти, чтобы добиться, наконец, отмены приговора и чтобы мы могли вернуться домой, заснуть спокойно или попытаться заснуть? Да! Что я должна еще сказать, как мне унизиться, чтобы вы снизошли к моей мольбе?

Губернатор. Смерть тоже бывает унижением.

Тэмпл. Сейчас мы не говорим о смерти. Мы говорим о стыде. Нэнси Мэнниго не страдает от стыда. Она страдает только от того, что должна умереть. И вот, чтобы она избежала этого недолгого страдания, я, Тэмпл Дрейк, терзаясь стыдом, пришла сюда в два часа ночи.

Стивенс. Продолжайте, Тэмпл.

Тэмпл. Он еще не ответил на мой вопрос. *(Губернатору.)* До чего же я должна дойти? Не говорите только, что я обязана сказать все. Об этом мне уже говорили!

Губернатор. Я попытаюсь вам помочь. Я знаю, кем была Тэмпл Дрейк. Молодой студенткой, которая однажды утром, восемь лет назад, покинула колледж, не так ли? Поехала специальным поездом со своими товарищами на футбольный матч в другой колледж и в пути исчезла. Она появилась вновь через полтора месяца в качестве свидетельницы на процессе по делу об убийстве в Джефферсоне,— привлеченная адвокатом человека, который, как стало тогда известно, похитил ее и в течение всего этого времени держал взаперти.

Тэмпл. В доме терпимости в Мемфисе, не забудьте этого!

Стивенс. Одну минутку. Разрешите мне рассказать губернатору о том, что произошло. Для вас так будет легче. В тот день Тэмпл вышла из экскурсионного поезда и убежала с молодым человеком, который ждал ее на платформе. Они сговорились поехать на футбольный матч вдвоем. Но к этому времени молодой человек уже выпил, чтобы быть на высоте положения, как я полагаю. Дорогой он напился еще больше, разбил свою машину и остановился с Тэмпл в доме бутлегеров, торговавших контрабандным спиртом. Вскоре молодой человек был мертвецки пьян, и пока он отсыпался после попойки, в этом притоне было совершено преступление. Тот, кто его совершил, похитил Тэмпл, которая видела убийцу, и увез ее в Мемфис. Там он ее поместил в публичный дом, как уже было сказано. Вот и все. Надо, однако, добавить, что молодой человек, который сопровождал Тэмпл на футбольный матч и который должен был ее защищать, затем женился на ней и таким образом попытался восстановить свою порядочность. Это мой племянник.

Тэмпл. Не обвиняйте его. Я сама хотела этого тайного бегства.

Губернатор. Почему?

Тэмпл. Почему нас влечет дурное? Вероятно, потому, что запретный плод сладок, слаще всего на свете, и человек к нему тянется. Во всяком случае, меня лично дурное очень соблазняло, вот я и согласилась уехать одна с молодым человеком, хоть он мне и не очень нравился.

Стивенс. Возможно. Но он обязан был охранять вас.

Тэмпл *(жестко)*. Из-за этого он на мне и женился. Но неужели он должен дважды платить за одно и то же? За это не стоило платить и один раз.

Губернатор. Вы позволите задать вам вопрос?

Тэмпл кивает.

Почему вы не привели его с собой?

Тэмпл. Кого?

Губернатор. Вашего мужа. Вы с ним так тесно связаны. Ему бы следовало быть здесь, рядом с вами, для того, чтобы в вашей жизни все стало сразу ясным, правдивым и чтобы он мог попытаться вместе с вами спасти Нэнси Мэнниго.

Тэмпл. А разве мы здесь для того, чтобы спасти Нэнси? Не знаю, не знаю. Мне скорее кажется, что мы приехали и разбудили вас для того, чтобы разговор с вами стал для меня поводом для новых страданий. Вы понимаете, что я хочу сказать. Мне все время приходится страдать. И даже не из-за чего-то определенного, а просто страдать, страдать безотчетно, вот так же, как дышишь. При чем же здесь мой муж?

Губернатор. Возможно, он пожелал бы разделить с вами страдания, если он в самом деле ваш муж?

Тэмпл. Для этого надо, чтобы он все разделил со мной.

Они смотрят друг на друга.

Губернатор. Если я правильно понял ваши слова, есть что-то такое, чего он не знает.

Тэмпл. Да.

Стивенс. Не лучше ли рассказать ему обо всем, Тэмпл? Нельзя жить восемь лет во лжи.

Губернатор. Сказали бы вы ему все, если бы он был здесь?

Тэмпл пристально смотрит на губернатора. Стивенс делает незаметное движение, ускользающее от нее. Позади Тэмпл тихо появляется Гоуен, которого она не видит. Он стоит неподвижно в амбразуре окна, затем наполовину скрывается за гардиной.

Вообразите себе, что он здесь, на моем месте.

Тэмпл. Он уехал. Я его больше не увижу.

Губернатор. Но если бы он был здесь, стали бы вы рассказывать при нем?

Тэмпл. Да, конечно! А сейчас разрешите мне говорить. *(Пауза.)* Пожалуйста, дайте сигарету — хочется закурить. *(Губернатор дает ей сигарету, которую она, однако, не закуривает, а кладет на пепельницу. Пауза.)* Итак, я видела, как совершилось убийство, или, вернее, видела тени и убийцу. Его звали Пучеглазый. Он увез меня в Мемфис на старой машине. Я могла бы поднять тревогу и созвать людей на улице любого города, через который мы проезжали. Но я не сделала этого. Точно так же я могла бы не поехать с Гоуеном или уйти от него после того, как мы налетели на дерево и разбили автомобиль. Да, я могла бы остановить проезжий грузовик или легковую машину, и меня довезли бы до ближайшей станции, или до моего колледжа, или даже привезли бы домой, к отцу и братьям. Они-то хорошо знали, что дурно, а что хорошо. Но я этого не сделала. Нет, я, Тэмпл, этого не сделала. Должно быть, я бездумно, бессознательно выбрала порок. Короче, я уехала с Пучеглазым. Всю дорогу я молчала, и он тоже молча вел машину. Мне запомнился его пронзительный взгляд и прилипшая к губе сигарета.

Стивенс *(губернатору)*. Да, это было существо омерзительное, как само зло. Маленький, смуглый, похожий на таракана, тощий, черный и злой. И к тому же психически неуравновешенный, ненормальный. Она должна вам это тоже сказать.

Тэмпл *(Стивенсу)*. Дорогой дядя Гэвин! Да, да, и это тоже. Я об этом скажу. Я предпочла остаться с убийцей, словно не могла, просто не могла расстаться с ним. Он привез меня в Мемфис. Я покорно следовала за ним. Он запер меня в доме терпимости на улице Манюэль. Распоряжалась там женщина с орлиным взглядом, более

зоркая, чем любая мать: а черная служанка охраняла дверь, когда эта особа уходила туда, куда в дневные часы ходят хозяйки публичных домов: в полицию — заплатить штраф или попросить там протекции, или в банк, или в другие дома терпимости. И это всегда было приятно, потому что служанка отпирала тогда дверь моей комнаты, входила, и мы могли *(она замялась)* поболтать. У меня было вволю духов. Выбирала их, конечно, хозяйка,— запахи все крепкие, но тем не менее духи у меня были. Попи купил мне также меховое манто,— но где я могла его носить, если он не разрешал мне выходить из дому? Вот так. У меня было манто, и нарядные пеньюары, и белье, выбранное по вкусу Пучеглазого, что не всегда соответствовало моему вкусу. Он хотел, чтобы я была довольна. И не только довольна,— ему хотелось, чтобы я была счастлива. Вот, наконец, мы подошли к тому, что... Сейчас я должна... *(Она перестает говорить, протягивает руку, достает из пепельницы нетронутую сигарету, видит, что она не зажжена.)*

Стивенс берет зажигалку и приподнимается. Губернатор, не отрывая взгляда от Тэмпл жестом останавливает Стивенса. Стивенс опускается в кресло и пододвигает зажигалку к Тэмпл. Тэмпл берет зажигалку, чиркает, закуривает сигарету, закрывает зажигалку и ставит на место. После первой же затяжки она снова кладет сигарету в пепельницу и, выпрямившись, возобновляет свой рассказ.

Кстати, я могла бы в любую минуту бежать, соскользнуть вниз по водосточной трубе. Но я этого не сделала. Я выходила из своей комнаты поздно вечером, когда Пучеглазый приезжал за мной в автомобиле, напоминавшем катафалк. Он и шофер — впереди, мы с хозяйкой сзади. Часа полтора мы носились за городом или катались по улицам квартала, освещенного красными фонарями. Кстати сказать, ничего другого, кроме этих фонарей, я там не видела. Попи даже не разрешал мне заглядывать к другим обитательницам дома, чтобы посидеть с ними, послушать их рассказы, когда они подсчитывали свои деньги или ничего не делали — просто сидели на кроватях. *(Она умолкает, затем снова говорит.)* Мне тогда вспоминались наши дортуары в колледже. Тут была та же атмосфера — молодые женщины мечтали о мужчине, не о каком-то определенном мужчине, о том или другом, а о «мужчине» вообще. Только те женщины, в Мемфисе, думали об этом спокойнее,— вот и все. Они были менее возбуждены, сидели на своих кроватях, какие-то опустошенные, и обсуждали трудности своего ремесла. Но не со мной — меня держали взаперти, и мне оставалось только важно расхаживать по комнате в модном меховом манто или в кричащих, ярких пеньюарах, и никто меня не видел, за исключением зеркала и чернокожей служанки, которая смеялась от восторга, щупая шелк моих сорочек. Я была изолирована от всего мира, как будто меня погрузили в водолазном колоколе в море. О да, Пучеглазый делал все, чтобы я была довольна. Но мне хотелось чего-то большего. Я не желала быть только довольной. И он старался изо всех сил, чтобы я втрескалась, как говорили мои сестры-потаскухи.

Губернатор. Полюбили?

Стивенс. Да.

Губернатор смотрит на Тэмпл.

Она хочет рассказать о молодом человеке, которого Пучеглазый...

Тэмпл *(Стивенсу)*. Замолчите.

Стивенс. Нет, вы дошли до предела. Я должен вам помочь. Итак, Пучеглазый познакомил ее с молодым человеком. Этот молодой человек...

Тэмпл. Гэвин!

Стивенс. Этот молодой человек был известен в своем кругу под кличкой Рыжий. Он состоял вышибалой в ночном клубе в пригороде. Ну, вы знаете, что такое вышибала: мужчина с тяжелой рукой, который вышвыривает за дверь пьяных или строптивых клиентов. Клуб принадлежал Пучеглазому и был его штаб-квартирой. И вот... *(Он колеблется, затем — к Тэмпл.)* Пучеглазый пришел к вам с Рыжим. Не так ли? Нужно было бы его раздавить, как паука, этого Пучеглазого. Он не обратил ее в проститутку. О нет! Он ее не продал. Он ее отдал своему холую.

Губернатор. Гэвин! Может быть, не следует говорить дальше при миссис Стивенс?

Стивенс. Необходимо. Вы знаете еще не все...

Тэмпл. Нет. Дайте мне рассказать. Я встретила этого Рыжего и влюбилась в него. Какого рода любовью, я еще не знаю, но я все время писала ему письма.

Губернатор. Любовные письма?

Тэмпл. Да. Я была очень благодарна. Я хочу сказать: благодарна ему за любовь. Я ему писала каждый раз, как он должен был прийти или когда он почему-либо не приходил...

Губернатор *(к Тэмпл)*. Продолжайте, миссис Стивенс. Вы остановились на письмах.

Тэмпл. Письма. Да, это были прекрасные письма. Я хочу сказать... они были хорошо написаны. *(Все время пристально смотрит на губернатора.)* Вот все пытаюсь и никак не могу начать... Словом, письма были такого рода, что женщина, хотя она писала их любовнику восемь лет назад, не захочет, чтобы они попались на глаза ее мужу, какого бы мнения он ни придерживался о прошлом своей дорогой супруги. *(Заметно, что она делает над собой усилие.)* Отличные письма, несомненно лучше, чем можно было ожидать от «дебютантки». Не знаю, сколько я написала этих писем, но и одного было бы достаточно. Так все и началось.

Губернатор. И преступление Нэнси связано с этим?

Тэмпл. Да. Вы, несомненно, знаете, что такое шантаж. Письма появились вновь два года тому назад. Как, каким образом их выкупить? Женщины, подобные Тэмпл Дрейк, когда надо уничтожить улики, первым делом заводят роман с шантажистом.

Стивенс *(к Тэмпл, тихо)*. Да, все произошло именно так.

Тэмпл. Я писала письма. Человек, которому я их писала, умер. Я вышла замуж за другого, и жизнь моя устроилась, или, по крайней мере, я думала, что она устроилась. У меня было двое детей, и мне казалось, что я забыла историю с письмами. Но они вновь появились, и я поняла, что это не так.

Губернатор. А этот молодой человек, этот Рыжий,— отчего он умер?

Тэмпл. Естественной смертью. Я хочу сказать: естественной для людей его породы. Его убили выстрелом из машины в то время, когда он шел по переулку, чтобы забраться в мою комнату по водосточной трубе. Да, у нас было назначено тайное свидание, первое, о котором Попи не знал. Это был первый и единственный раз, когда мы думали, что встретимся без участия Пучеглазого. Нам хотелось забыть обо всем, что не касалось нашей любви.

Губернатор. Вашей любви? Рыжий любил вас?

Тэмпл. Да, он любил меня. Но его убили в тот момент, когда он шел ко мне, в тот самый момент, когда он больше всего думал обо мне, а я о нем, когда я ждала, что вот-вот, через минуту, он будет со мной, в моей комнате, где я принимала другого, не любимого. Дверь заперта на ключ, и, наконец, мы одни, никого больше, кроме нас двоих. И вот все кончилось! Как будто ничего и не было, никогда

не существовало ни публичного дома, ни девиц, ни Пучеглазого. *(Она говорит быстрее.)* Потом Пучеглазого арестовали по обвинению в убийстве и приговорили к смертной казни. Все, что случилось потом, мне было глубоко безразлично: встреча с отцом, с братьями. Я провела год в Европе, в Париже. Все мне было безразлично и там.

Стивенс. Но той же зимой Гоуен приехал в Париж, и вы поженились.

Тэмпл *(покорно)*. Да. В посольстве. И затем был прием в отеле «Крийон». Не говоря уж о новом лимузине и вилле в мавританском стиле в Кап-Ферра. Словом, все, что требовалось, чтобы выветрилось американское прошлое. Но, по правде говоря, выветрить его мы собирались с помощью чего-то другого. Мы думали, что достаточно будет самой свадьбы, самой брачной церемонии. Достаточно будет нам вместе преклонить колена: «Мы согрешили. Прости нас, господи». И тогда придет мир, забвение, любовь,— все то, в чем я потерпела неудачу. *(Она опять колеблется, затем говорит отрывисто, скороговоркой.)* Любовь... Но мы думали, что нас соединит нечто большее, чем любовь. Трагедия привязала нас друг к другу. К тому же я рассчитывала не только на трагедию и любовь. Есть еще одна сила, которая может соединить два человеческих существа,— это прощение. Да, я надеялась на взаимное прощение. Оказалось, что простить легко, но трудно согласиться быть прощенным.

Стивенс. Особенно когда мужчина наделен непомерным самолюбием.

Тэмпл. Гэвин!

Стивенс. Вы это хорошо знаете. Самолюбие вашего мужа способно разрушить все. Если вирджинский аристократ забывает закрыть за собой дверь и его застают сидящим в туалете, он страдает только из-за уязвленного самолюбия. Нет, Гэвину не свойственно прощать. Почти целый год он спрашивал себя, действительно ли он отец ребенка.

Тэмпл. Господи боже мой!

Губернатор. Пусть она сама расскажет, Гэвин.

Тэмпл. Расскажет... Вы называете это «рассказывать»? Почему же это так больно? Но сейчас будет легче, сейчас речь пойдет о Нэнси. Мы вернулись в Джефферсон. К себе, вы понимаете. Не боясь скандала, стыда, глядя на вещи очень просто. Ох! Нет, я больше не могу. Скажите ему сами об этом, дядя Гэвин.

Стивенс. Хорошо. *(Губернатору.)* Постарайтесь представить себе чету Стивенсов, молодых, общительных, и их новый дом в прекрасном квартале, их сугубо закрытый клуб, их место в самой богатой церкви. И вот на свет появляется сын, наследник, и мать нанимает Нэнси. Нэнси становится няней, воспитательницей, сестрой, помощницей — назовите ее как хотите. *(К Тэмпл.)* Так ведь? Ну же, Тэмпл, мужайтесь!

Тэмпл *(совсем разбитая)*. Да, я была принцессой, она — наперсницей. В доме не было мужчин, и я вслух мечтала, а Нэнси меня слушала. Представьте себе это: долгие послеобеденные часы, ребенок спит, и две сестры, две старые грешницы, говорят о своем прежнем ремесле, перебирают еще свежие воспоминания, попивая кока-колу в тихой кухне. *(Губернатору. Наконец расплакавшись.)* Нам всем нужен кто-то, перед кем можно высказаться. Не только те, с кем можно поговорить и кто тебя одобряет, а просто любой человек, который находился бы рядом и молча слушал. Убийцы, сумасшедшие, поджигатели, если бы кто-то мог их выслушать, возможно, не ста-

ли бы преступниками! А сейчас оставьте меня в покое, оставьте меня в покое! *(Совершенно подавлена.)*

Стивенс. Сейчас я расскажу, что было дальше. Еще задолго до рождения первого ребенка она обнаружила, что муж ничего ей не простил. И даже не хотел прощать Он был уверен, что сделал достаточно, женившись на ней, и без конца требовал от нее признательности. Она поняла, что все потеряно, ибо ее прошлое всегда будет давить на них. И тем не менее, когда родился первый ребенок, у нее возникла смутная надежда... Ведь в ее жизни произошло что-то, не имевшее отношения к ее вине. Что-то, чему она, наконец, могла отдаться всем сердцем. Она как бы заключила мир с богом, соглашалась на все страдания и лишения, отказывалась даже от самых скромных радостей ради того, чтобы невинный ребенок был избавлен от позора и ужаса. Она надеялась, что бог, по крайней мере, будет беречь ее ребенка.

Губернатор. Ребенок действительно был от мужа? Извините, миссис Стивенс.

Стивенс. Да, но мой племянник сомневался в этом,— так уж он настроил себя. А Тэмпл ребенок оторвал от общества и от мужа, напоминал ей об ее ошибке. Она больше не находила в нем забвения. *(К Тэмпл.)* Тогда вам и пришла мысль бежать?

Тэмпл утвердительно кивает головой.

Но появился второй ребенок, и она осталась. Однако она не в силах была жить в этой почтенной среде, где надеялась забыть свое прошлое. Она больше не могла переносить лицемерие этих светских людей, которые прощают, не прощая, и мило улыбаются, хотя на самом-то деле пьяны от злобы. Она ждала, ждала катастрофы, только не знала, в каком виде придет беда. *(Короткая пауза.)* Ну вот. Катастрофа приняла облик младшего брата Рыжего. Его звали Питер.

Губернатор. Понимаю. У него были письма, и он стал шантажировать.

Стивенс. Да. Он стал ее шантажировать. Но Тэмпл не удовольствовалась тем, что дала ему денег. Она отдалась ему сама.

Губернатор смотрит на Стивенса.

А ему только того и надо было. Он, без сомнения, понимал, что может лучше шантажировать Гоуена, обладая его женой. Она... *(Он колеблется.)* Ну, хорошо! Я полагаю, что она хотела покончить с этим раз и навсегда... Иначе говоря, она бросилась на шею этому Питеру и задумала бежать с ним.

Губернатор *(Тэмпл)*. Зачем вы собирались это сделать?

Тэмпл *(встает и говорит со все возрастающей силой)*. Ах, тут, по крайней мере, все понятно, и я могу это объяснить. С этим шантажистом я могла, наконец, отдохнуть. Да, отдохнуть. Отдохнуть от учтивости, респектабельности, от добрых чувств. После шести лет прощения и благородства я, наконец, встретила человека, которого не тревожило ни то, ни другое. Человека решительного, твердого, грубого, безнравственного, но такого цельного, что в этом даже было какое-то подобие чистоты и непосредственности. Человека, которого, в конечном счете, нимало не заботило, что надо что-то исправить или забыть. И если бы я сунулась к нему с просьбой о прощении, он бы попросту стукнул меня и бросил бы в уличную канаву. С таким я могла отдохнуть, да, отдохнуть, зная, что, даже брошенная в канаву или избитая до полусмерти, я не буду нуждаться в прощении.

Губернатор. Вам остается только рассказать об убийстве. Что делала Нэнси тринадцатого сентября?

Тэмпл *(собрав последние силы)*. Тринадцатого сентября? Нэнси? Да, да. Она любила меня и все еще любит, я уверена. А особенно она любила моих детей за их невинность. Она знала, что происходит, но ничего не говорила. Она была в курсе всего. Она следила за мной, вкладывая в это все свое любящее сердце. Одно время она надеялась, что я только дам денег Питеру, получу у него письма и обрету покой. Но я хотела другого — бежать, я хотела уехать с Питером, жить в другом мире, подальше от этой светской, респектабельной трусости. Я отправила Гоуена и Бюки, назначила у себя свидание Питеру. Когда Нэнси поняла, что я собираюсь уехать вместе с ребенком, что я готова отдать его во власть такого человека, как Питер, она решила этому помешать. И прежде всего спрятала деньги и драгоценности, которые я приготовила для побега.

Свет начинает гаснуть; занавес опускается позади Тэмпл. Она говорит в темноте.

Это случилось ночью, тринадцатого сентября. Питер был уже у меня, я складывала вещи, Нэнси пыталась что-то предпринять, чтобы удержать меня. Да, да, я уверена, что она стояла в темноте за дверью, подслушивала и, когда увидела, что я готова бежать, отрешившись от всего и от всех, забыв о детях, она и замыслила свое ужасное, безумное свое дело. Да, да, в эту ночь, тринадцатого сентября, подсматривая за нами — за Питером и за мной, Нэнси...

Картина пятая

Занавес медленно поднимается, открывая гостиную Стивенсов. Тринадцатое сентября, 21 час 30 минут. Слева раскрытый шкаф. Одежда разбросана по полу. Видно, что в шкафу рылись с ожесточением; на столе посреди комнаты — шляпа Тэмпл, ее перчатки и сумочка, а также сумка для детских вещей. Два туго набитых, стянутых ремнями чемодана лежат на полу около стола. Тэмпл вот-вот должна уехать, но она все еще что-то ищет. Когда зажигается свет, Питер стоит перед раскрытым шкафом, держа в руках пеньюар. Питеру лет двадцать пять. Он не похож на преступника или гангстера, скорее напоминает удачливого представителя торговой фирмы по продаже автомобилей или холодильников. Одет без особых претензий, ничего кричащего. Однако вид у него победоносный, самоуверенный. Красивый парень того типа, какой обычно нравится женщинам. На нем летний костюм из легкой материи, шляпа сдвинута на затылок. Он роется в карманах пеньюара, быстро и небрежно бросает его на пол, поворачивается и, запутавшись в одежде, разбросанной по полу, отшвыривает ее ногой. Затем останавливается и глядит на весь этот ворох пестрого тряпья с досадой и разочарованием.

Тэмпл стоит на том же месте, где она стояла в конце предыдущей картины. Но на ней легкое пальто нараспашку.

Питер. Итак, где же Нэнси?

Тэмпл. Я звонила ее квартирной хозяйке,— там не видели ее с утра.

Питер. Я мог бы заранее сказать тебе это! *(Смотрит на свои ручные часы.)* Пойдем к ней и подождем.

Тэмпл. Зачем?

Питер. Как-никак речь идет о трехстах долларах. Не говоря уже о драгоценностях! Если Нэнси их взяла, я заставлю ее вернуть, хотя бы пришлось подпалить ей пятки сигаретой. Ну, а что предлагаешь ты? Позвать сыщиков?

Тэмпл. Нет. Не утруждай себя. Беги.

Питер. Бежать?

Тэмпл. Да, удирай, спасайся. Деньги исчезли, ты меня не увез. Тебе ничего другого не остается, как дождаться возвращения моего му-

жа и снова начать свой мелкий шантаж, но уже шантажировать не меня, а его.

Питер. Я хочу получить деньги, драгоценности и тебя в придачу.

Тэмпл. Письма все еще у тебя?

Питер *(вытаскивает из внутреннего кармана пиджака пакет с письмами и бросает его на стол)*. Могу отдать тебе письма, если хочешь.

Тэмпл. Я уже сказала тебе два дня назад, что они мне не нужны!

Питер. Верно, сказала. Но это было два дня назад!

Они смотрят друг на друга. Тэмпл берет пакет с письмами.

Тэмпл. Дай мне зажигалку.

Питер вынимает из кармана зажигалку и, не двигаясь с места, протягивает ее так, что Тэмпл должна сделать несколько шагов, чтобы ее взять. Она идет к камину. Питер молча наблюдает за ней. Она с минуту стоит неподвижно с письмами в одной руке и зажженной зажигалкой в другой. Потом, повернув голову, глядит на Питера. С минуту они пристально смотрят друг на друга.

Питер. Ну, сожги их! Раньше, когда я отдавал тебе эти послания, ты от них отказывалась, чтобы у тебя не было возможности изменить свое решение. Сожги же их! Ведь стоит тебе уничтожить письма, ты избавишься от меня.

Они продолжают смотреть друг на друга.

(Питер смеется.) Подойди!

Она гасит зажигалку, поворачивается, подходит к столу и, положив на него письма и зажигалку, идет к Питеру, который не трогается с места. В это время слева в дверях появляется Нэнси. Они ее не видят.

(Питер обнимает Тэмпл.) Зачем все это нужно, когда нам так хорошо вместе? *(Прижимает ее к себе.)* А, куколка моя?

Тэмпл. Не называй меня так.

Питер. Рыжий делал это хорошо. А я разве хуже его? Нет?

Они целуются. Нэнси неслышно переступает порог, останавливается, наблюдая за ними. На ней легкое пальто нараспашку и платье, какое обычно носят няни, только она без чепчика и без фартука. На голове фетровая помятая, почти бесформенная шляпа, очевидно принадлежавшая мужчине.

(Питер разжимает объятия.) Пойдем выйдем отсюда! *(Смотрит через плечо Тэмпл и, заметив Нэнси, отскакивает.)*

Тэмпл быстро поворачивается и видит Нэнси. Нэнси идет по комнате.

Тэмпл *(к Нэнси)*. Что тебе нужно?

Нэнси. Вот, начинайте. Подпалите мне пятки сигаретой.

Питер. Проклятая негритянка! Может, она принесла деньги? *(Рассматривает Нэнси, та не отвечает.)* А может, не принесла? Ну-ка, зажжем сигарету. *(К Нэнси.)* А, обезьяна? Ты зачем пришла?

Тэмпл *(Питеру)*. Замолчи! Бери чемоданы и иди к машине.

Питер *(не спуская глаз с Нэнси)*. Нет, нет, сначала надо заняться этой обезьяной.

Тэмпл. Выйди! Я сама все улажу. Она все вернет.

Питер еще некоторое время смотрит на Нэнси, она же ни на кого не смотрит, стоит неподвижно, мрачная, сосредоточенная, непроницаемая. Питер пожимает плечами. Он берет чемоданы, доходит до наружной застекленной двери.

Питер. Хорошо. Но смотри отбери у нее деньги. А не то я сам с ней потолкую. *(Идет к столу и, взяв зажигалку, собирается уйти, но останавливается в нерешительности, глядит на пакет с письмами.)* Пожалуй, лучше будет, если ты заберешь их с собой.

Тэмпл. Иди.

Питер *(к Нэнси)*. К твоим услугам, черномазая, всегда готов подпалить тебе копыта, и даже не из-за пятидесяти бумажек, а просто так, для своего удовольствия. *(Берет оба чемодана в руку, открывает дверь, останавливается у порога, оборачивается к Тэмпл.)* Я буду недалеко, если ты изменишь свое решение.

Выходит, и в тот момент, когда дверь уже закрывается, Нэнси кричит.

Нэнси. Подождите!

Питер останавливается, отворяет дверь.

Тэмпл *(быстро Питеру)*. Ради бога, уйди.

Питер выходит и закрывает за собой дверь. Нэнси и Тэмпл смотрят друг на друга.

Нэнси. Зря я спрятала деньги и бриллианты. Хотела помешать вам уехать, но, может, лучше было бы отдать ему деньги, чтобы он без всяких разговоров уехал в Чикаго. Стоит только на него посмотреть, сразу ясно, что за человек.

Тэмпл. Так это ты их украла? Но это все равно ничего не изменит. Воровка!

Нэнси. Кто воровка — вы или я? Хотя бы эти бриллианты. Ведь не вы за них заплатили. А деньги? Вы отъявленная лгунья. Было две тысячи долларов, а вы мне говорили, что двести, а ему — будто пятьдесят. Ничего удивительного, что он не так уж расстроился. Да что там! Если бы даже и две тысячи пропало, он бы тоже не очень беспокоился. Какая ему разница, есть у вас деньги или нет, раз вы сами лезете в машину? Он хорошо знает, что ему достаточно выждать да поприжать вас, и вы добудете все деньги, которые ему нужны, и даже бриллианты вашего мужа или отца. Он это хорошо знает, негодяй!

Тэмпл внезапно подходит и дает Нэнси пощечину. Нэнси отшатывается, от этого резкого движения из кармана ее пальто на пол падают деньги и коробка с драгоценностями. Тэмпл останавливается, смотрит на деньги, на драгоценности. Нэнси продолжает:

Да, вот они, мерзкие деньги. Это они все губят. Когда жена в бриллиантах, а муж держит в карманах по две тысячи долларов — на мелкие расходы,— ничего нет удивительного, что их приходят шантажировать и жулики слетаются к ним, как мухи на тухлое мясо. И этот красавчик — тоже жулик. Можете бить меня, а все равно скажу — это жулик. Не первого жулика вижу, да и вы тоже... Напрасно притворяетесь, будто вы забыли. Нет, вы не забыли. А я таких голубчиков сразу узнаю. Вы прекрасно понимаете, что хоть у него и смазливая морда, но он змей злобный, исчадие ада. Ах, если б только я могла отдать ему ваши подлые деньги, чтоб он убрался отсюда...

Тэмпл. Попробуй! Увидишь!

Нэнси. О, я знаю. Сейчас уже дело не в письмах! Вы хотите вернуться к веселой жизни, вам нужна сила, да что там,— вам нужна грязь. Да, грязь! Она в вас сидит крепко, раз вы способны были писать такие письма, что они и через восемь лет еще могут причинять столько горя, столько несчастья!

Тэмпл. С каких пор ты шпионишь за мной?

Нэнси. С самого начала! Вам не нужны были ни деньги, ни драгоценности для того, чтобы вернуть эти письма. Женщина в этом не нуждается! Ей нужно быть только женщиной, чтобы добиться от мужчины всего, чего она захочет. Нам это хорошо известно. Вы это могли сделать запросто, у себя дома, вам даже не надо было посылать куда-то своего мужа ловить рыбу. Ведь вас всему научили в

Мемфисе, и если бы вы захотели этой наукой воспользоваться, то, поверьте мне, остались бы со своими детьми. Если бы вы только захотели...

Тэмпл. Прекрасная проповедь нравственности, которую читает потаскуха! Разница между нами лишь в том, что я отказываюсь быть потаскухой в доме моего мужа!

Нэнси. Я не думаю о вашем муже. Я даже о вас не думаю. Я думаю о двух маленьких детях.

Тэмпл. И я тоже! Как ты полагаешь, почему я отослала Бюки к бабушке? Только потому, что думала о своих детях, я хотела, чтобы ребенок спокойно вышел из дома, где человеку, которого он всегда звал отцом, могли в любую минуту взбрести на ум обидные слова: «Ты не мой сын». Если ты шпионила за мной, то должна была слышать, как он это говорил...

Нэнси *(перебивая ее)*. Будьте уверены, я слышала! И вас тоже... Слышала, как вы отнекивались... Сердились... Защищались. Возражали! И не ради себя, а ради ребенка! А теперь вы все бросаете, и на всех вам наплевать.

Тэмпл. Бросаю?

Нэнси. Да. Вам же никогда больше не удастся увидеть Бюки, вы это хорошо знаете. Скажите, разве это неправда?

Тэмпл не отвечает.

Вот как все будет «улажено» с Бюки! А кому вы собираетесь оставить девочку?

Тэмпл. Кому ее оставить? Ей всего шесть месяцев. Я беру ее с собой.

Нэнси. Конечно, вы не можете ее оставить. Никому. Даже мне! Но вы не можете взять шестимесячного младенца с собой в путешествие! Вот о чем я хочу сказать. Значит, и ее вы оставляете, бросаете в колыбели! Она немного поплачет, но будьте покойны, она слишком мала, чтобы плакать очень громко. Никто ее не услышит, никто не придет ей на помощь, — ведь дом-то будет заперт на ключ до следующей недели, до того дня, когда вернется мистер Гоуен. Вернется, но к этому времени все будет улажено, ребенок перестанет плакать и вы, наконец, сможете развлекаться.

Тэмпл. Подай мне пальто!

Нэнси *(берет пальто с кресла и подает ей)*. Но еще удобнее взять ее с собой — понятно, для того, чтобы тянуть деньги с мистера Гоуена или с вашего отца. Поверьте мне, это умнее всего... Но если ваш дружок решит, что они недостаточно быстро дают деньги, он выкинет вас вон — и вас и младенца. Тогда почему бы вам не забыть маленькую на пороге какого-нибудь дома? Вы освободитесь. Но вам ничего больше не останется, как идти искать убежища в Мемфисе!

Тэмпл вздрагивает, но тотчас овладевает собой.

Ударьте меня! Ударьте же меня! Или позовите того негодяя, который ждет в автомобиле, и прижгите мне пятки сигаретой. Я вам уже говорила, вам и ему, что я для того и пришла. Вот! *(Она приподнимает ногу.)* Я все испробовала, могу испробовать и это тоже!

Тэмпл. В последний раз говорю: замолчи!

Нэнси. Я молчу. *(Она не двигается, не смотрит на Тэмпл. Слегка меняются ее интонации и жесты, но не сразу становится ясным, что она больше не обращается к Тэмпл.)* Я пыталась. Я пыталась, я сделала все, что могла. Вы же видите!

Тэмпл. Никто с тобой и не спорит. Ты угрожала мне моими детьми, моим мужем. Ты даже украла мои деньги, приготовленные для по-

бега! Да, никто не может сказать, что ты не пыталась удержать меня. Подбери деньги!

Нэнси. Вы же говорили, что не нуждаетесь в них!

Тэмпл. Нет, я в них не нуждаюсь. Подбери их.

Нэнси. Мне они тоже не нужны.

Тэмпл. Не важно, подбери деньги! Ты можешь взять из них свое жалованье за будущую неделю.

Нэнси наклоняется, подбирает деньги, складывает драгоценности в коробку; кладет все это на стол. Тэмпл успокаивается.

Нэнси!

Нэнси поднимает голову и смотрит на нее

Я сожалею — я хочу сказать, очень сожалею,— что ударила тебя. Ты всегда была добра к моим детям и ко мне тоже. Ты долго помогала мне жить. Ты пыталась соединить нас с мужем, хотя любой, кто знал бы нашу историю, сказал бы, что мы не можем жить вместе.

Нэнси. Нет, я так не думаю. Да, впрочем, зачем беспокоиться о вашем супружестве, о приличиях, о вас, обо мне,— хоть я вам и очень благодарна за то, что вы взяли меня в дом, разговаривали со мной...

Тэмпл. Не говори так, Нэнси. Мне было хорошо с тобой.

Нэнси. Важнее всего двое ваших малышей.

Тэмпл. Я тебе запрещаю говорить о них.

Нэнси. Подождите. Я хочу только спросить вас еще раз: вы действительно собираетесь это сделать?

Тэмпл. Я не могу иначе.

Нэнси. Вы знаете, что я совсем невежественная. Скажите мне об этом ясно, скажите так, чтобы я могла понять. Скажите: «Да, я собираюсь это сделать!»

Тэмпл. Ты правильно меня поняла. Да, я собираюсь это сделать!

Нэнси. С деньгами или без денег?

Тэмпл. С деньгами или без денег.

Нэнси. Причиняя зло своим детям?

Тэмпл не отвечает.

Ваш муж уже сомневается, что Бюки его сын. Если вы уедете, он в этом уверится, возненавидит его, и малышу будет плохо. А девочка? Она окажется во власти негодяя, который воспользуется этим и будет шантажировать семью, а когда все вытянет, выбросит ребенка на улицу. Вы хотите, чтобы дети страдали? Или чтобы они умерли? Вы хотите, чтобы они узнали стыд, как мы с вами? Как вы и я? А ведь вы знаете, что такое стыд. Так неужели вы даже и не попытаетесь уберечь от него ваших малышей? Вы еще хуже, чем я, хотя, видит бог, я думала, что хуже меня нет на свете. Нет, вы не знаете того, что знает даже такая грязная женщина, как я,— вы не знаете, что маленькие дети не должны страдать ни от стыда, ни от страха. Только от этого их и надо защищать. Всех. Или тех, кого можно. Даже одного, если нельзя иначе. Но для него надо сделать все, что можно. А вы, вы собираетесь бросить их обоих, толкнуть в грязь, которая нам с вами хорошо известна,— вам и мне. Обоих погубить. И вы не попытаетесь спасти хотя бы одного?

Они пристально смотрят друг на друга.

Неужели вам не совестно поступить так? Скажите!

Тэмпл смотрит на нее. Слышится нетерпеливый автомобильный гудок.

Тэмпл. Да! Я это сделаю, несмотря на детей! А сейчас убирайся! *(Быстро подходит к столу, берет два или три банкнота и протягивает их Нэнси. Собирает оставшиеся деньги, берет со стола сумоч-*

ку, открывает ее. Нэнси спокойно проходит через комнату, направляясь в детскую. С открытой сумочкой в одной руке и деньгами в другой Тэмпл смотрит на нее.) Куда ты идешь?

Нэнси *(продолжая идти)*. Посмотреть, не нужна ли я еще ребенку. *(Она останавливается, поворачивается к Тэмпл и смотрит на нее таким странным взглядом, что Тэмпл, собиравшаяся положить деньги в сумочку, замирает и внимательно смотрит на Нэнси. Когда Нэнси заговорит, тон ее будет таким же, как и прежде, и только позже станет очевидным, что означали ее слова.)* Я все испробовала. Я сделала все, что могла. Вы же видите?

Тэмпл *(повелительным тоном)*. Довольно. Замолчи!

Нэнси *(спокойно)*. Хорошо. Я молчу.

Она входит в детскую. Тэмпл прячет деньги в сумочку, закрывает ее и кладет на стол. Затем поворачивается к чемодану с детскими вещами, проверяет его содержимое, укладывает коробку с драгоценностями в чемодан и закрывает его.

На пороге детской появляется Нэнси, проходит через комнату к противоположной двери. Тэмпл следит за нею глазами

Тэмпл. Нэнси!

Нэнси останавливается, не поворачиваясь.

Не думай обо мне очень плохо! Ты моя сестра, как и прежде.

Нэнси ждет, уставившись в одну точку невидящими глазами.

Если когда-нибудь это всплывет на свет божий, я скажу, что ты сделала все, что могла, все испробовала. Ты права: дело даже не в письмах, дело во мне самой! Я одна в ответе!

Нэнси идет через комнату.

До свидания, моя дорогая!

Нэнси подходит к двери.

У тебя есть ключ. Я оставлю тебе деньги — здесь на столе. Можешь их взять...

Нэнси выходит.

Нэнси!

Никакого ответа. Тэмпл некоторое время смотрит на дверь, потом прячет под пресс-папье деньги, которые оставила для Нэнси, берет со стола одеяло и направляется в детскую. И оттуда доносится ее душераздирающий крик.

Нэнси снова появляется в комнате. Свет начинает мерцать и гаснуть, пока не наступает полная темнота, и в ней слышится долгий крик Тэмпл.

Картина шестая

Двенадцатое марта, 3 часа 9 минут. Кабинет губернатора. Стивенс стоит перед коленопреклоненной Тэмпл.
Гоуен теперь на том месте, где был губернатор.
Тэмпл не знает, что губернатор ушел.

Тэмпл *(на коленях. Вначале она говорит в темноте)*. Вот и все. Пришла полиция. Нэнси сидела в темноте на кухне и говорила: «Да, господи, я это сделала». Я была возле нее; я стояла, она сидела, и в эту ночь мы вместе без слов выли от боли и отчаяния, одинокие, потерянные навсегда. Тогда я делала все, что она мне приказывала. Я позвонила в полицию. Оттуда приехали. «Я это сделала»,— сказала Нэнси. И тогда я решила молчать и молчала до сих пор.

Зажигается свет. Занавес медленно поднимается.

Нэнси увели. Она ушла, не взглянув на меня. И в тюремной камере все твердила: «Я это сделала, я это сделала». Да, она это сделала.

Но в действительности кто же тут преступник, кто убил, если не я, если не я? А вместо меня должна умереть она!

Стивенс наклоняется, трогает ее за плечо, просит встать с колен. Она сопротивляется и не поднимает головы.

Стивенс. Встаньте, Тэмпл!

Он пытается помочь ей, но она отстраняет его руку и встает сама.

Тэмпл. Теперь уже недолго, верно, дядя Гэвин? *(Она не поворачивает головы, не глядит, думая, что говорит с губернатором.)* Теперь вы ее спасете, я уверена. Отвечайте, отвечайте же! Тут и одного слова будет достаточно! *(Поворачивается и видит Гоуена на месте губернатора. И замирает, оцепенев.)*

Гоуен. Какая мерзость!

Тэмпл *(Стивенсу)*. Почему вы каждый раз прибегаете ко лжи? Что вас на это толкает? Справедливость, о которой вы так красиво говорите? А впрочем, почему бы вам и не лгать? Я первая начала, не так ли? *(Гоуену.)* Тебе незачем было прятаться. Я бы и при тебе все сказала.

Гоуен. Нам следовало спрятаться друг от друга гораздо раньше, восемь лет назад. И не в губернаторских кабинетах, а в колодцах заброшенных шахт, в разных концах света. *(Стивенсу.)* Вы удовлетворены, не так ли? Все шло по вашему желанию. Как вы это назвали? Ах, да, истина. *(Смотрит на Тэмпл.)* Она прекрасна, эта истина!

Стивенс. На этот раз прошу тебя помолчать.

Гоуен. Кстати, истины ради скажите, где письма? Надо полагать, этот негодяй теперь попытается продать их мне. Но он просчитается. Дорого за такой хлам я не заплачу. *(Он огибает письменный стол и направляется к двери, через которую вошел.)*

Стивенс. Письма у меня.

Тэмпл, пораженная, смотрит на него. Гоуен останавливается.

Вы же помните, Тэмпл, письма лежали на столе. Нэнси их взяла и позднее отдала мне.

Гоуен начинает смеяться жестко, невесело.

Гоуен. Итак, теперь все в порядке. Грешница признала свою вину, шантажист потерпел неудачу — все отлично уладилось. Правда, мы доверили ребенка сумасшедшей, и она его убила, решив, что таким образом все образуется. Впрочем, у этой идиотки была своя логика — она заплатила ребенком за ребенка. Надо ведь хорошо заплатить за ту радость, которую доставляет жизнь с женщиной, способной наслаждаться только в кровати шантажиста. Словом, спасибо господу богу, спасибо святой Нэнси, решившей убить моего ребенка, чтобы я мог восторгаться добродетелями моей жены. *(Смеется все тем же невеселым смехом.)*

Тэмпл садится и, выпрямившись, глядит куда-то вдаль отсутствующим взглядом.

В самом деле, все отлично уладилось, все прекрасно, господа.

Стивенс. Кое-что еще надо уладить.

Гоуен. Браво! Мы разве не кончили забавляться? Кто еще должен быть убит для нашего развлечения?

Стивенс. Нэнси.

Гоуен. Нэнси? Ну, конечно. Ее повесят, это верно. Надеюсь, что шейные позвонки у нее так и хрустнут! Что ж, из двух проституток хоть одна получит по заслугам. Приличная пропорция. Большего нельзя и просить у милосердного бога. *(Смотрит на Тэмпл с ненавистью и тоской.)* Да, вот еще что: надо бы уладить еще одно дело. Мне бы

хотелось знать, что там такое в этих знаменитых письмах. Раз уж мы решили исповедоваться, должен признаться, что Тэмпл раззадорила меня, рассказывая о них. Думается, там должны быть дьявольски волнующие подробности. А ведь во время нашего веселого брака она говорила со мной совсем другим языком, вполне благопристойным, представьте себе. Я бы сказал даже, церемонным, если только он может быть церемонным в те минуты, когда производят детей.

Стивенс. Замолчи, Гоуен!

Гоуен. А я, естественно, думал, что это результат ее воспитания, воспитания, полученного в двух школах — в колледже и в борделе. И она так старалась забыть вторую школу, что без конца вспоминала первую. Со мной она держала экзамен, а с другим... *(Заметив жест Стивенса.)* Хорошо, хорошо, дорогой мэтр, успокойтесь! Но согласитесь, жаль, что так получилось. По моей вине она очутилась в Мемфисе, и я несу за это должную кару — пожинаю теперь плоды ее блестящего всестороннего образования.

Стивенс. Гоуен, я тебя побью, если ты не перестанешь.

Гоуен. Нет, не перестану. Для меня была только добродетель. Добродетель исключительно для меня! *(Вдруг разражается рыданиями. Повернувшись к Тэмпл.)* А с другими она вела себя, как потаскуха... *(Стивенс бросается на него; Гоуен останавливает его и стискивает ему руки.)* Не утомляйте себя, Гэвин! *(Отбрасывает его.)* После восьми лет воздержания мужество и сила вернулись ко мне. И я воспользуюсь этим, чтобы очистить свою жизнь от всякой мерзости. *(Смотрит на них и говорит глухо.)* Я вас обоих ненавижу. *(Ухмыльнувшись, обращается к Тэмпл.)* Прощай, куколка.

Стивенс. Прежде всего избавься от своего отвратительного самолюбия.

Гоуен. Ну, разумеется, ну, конечно! *(Направляется к двери.)*

Тэмпл *(внезапно вскакивает)*. Куда ты идешь?

Гоуен. Напиться вдрызг. Если только за восемь лет я не разучился. Или у тебя есть другое предложение?

Стивенс. Что ты сделал с Бюки?

Гоуен. Ах, да, с оставшимся в живых? Он у вас дома, с вашей женой. Что, опасно? Ваша жена тоже убивает детей? *(Решительно идет к двери.)*

Тэмпл. Гоуен! Не оставляй меня!

Гоуен не отвечает и выходит

О бог мой!

Стивенс. Пойдемте.

Тэмпл *(не двигаясь)*. Завтра, завтра и еще раз завтра.

Стивенс. Да, завтра надо будет все начинать сначала. Он снова разобьет автомобиль, и надо будет снова прощать ему, прощать в течение восьми лет, пока он еще что-нибудь не разрушит. *(Берет ее за руку.)* Пойдемте, Тэмпл, уже поздно.

Тэмпл *(сопротивляясь)*. Что сказал губернатор?

Стивенс. Он сказал: «Нет».

Тэмпл. Почему он так сказал?

Стивенс. Он не имеет права помиловать.

Тэмпл. Не имеет права? Губернатор штата? Которому закон дает полное право помиловать или отсрочить казнь?

Стивенс. Если бы это зависело только от правосудия, я бы мог в суде защищать ее, как умалишенную, вместо того чтобы заставлять вас приходить сюда.

Тэмпл. Не только меня, но и Гоуена, хотя я еще не могу понять, как это вам удалось. *(Смотрит на него.)* Ах, вот почему сначала была

какая-то неисправность в нашем автомобиле, а потом пришлось остановиться, чтобы сменить колесо. Вы позвонили ему по телефону, и он приехал... И все это ни к чему. Во имя правды, во имя справедливости. Ни к чему, ни к чему. Она все равно должна умереть.

Стивенс. Губернатор не говорил о правосудии. Он говорил о маленьком мальчике и о его будущем, если предположить, что вы с Гоуеном остались бы с ним. Нэнси пожертвовала всем, чтобы спасти его, прибегла к последнему средству, которым располагала. Теперь она опозорена и загублена.

Тэмпл. Я от всего отреклась, все бросила — семью, детей. Нэнси вам говорила?

Стивенс. Нэнси сделала все, чтобы вы больше никогда их не оставляли. Она это докажет в пятницу утром.

Тэмпл. В пятницу! О, это зловещий день, Гэвин! Несчастный день! Никто не отправляется в путь в пятницу! Только в последний путь! Ах, если бы ее помиловали, все было бы кончено. Гоуен мог бы спокойно выкинуть меня на улицу, и я могла бы уехать. Но все кончено. Теперь уже поздно. И надо продолжать жить — завтра и послезавтра, и так всегда...

Стивенс. Пойдемте, Тэмпл, пойдемте...

Тэмпл *(сопротивляясь)*. Скажите мне точно, что он ответил. Сегодня он не говорил, я знаю...

Стивенс. Он дал мне знать неделю тому назад...

Тэмпл. В тот день, когда вы мне телеграфировали? Что он сказал?

Стивенс. Он сказал, что та ничтожная власть, которой он обладает, ничего не в состоянии изменить: он не может отменить то, что Нэнси заслужила своим ужасным поступком, всей своей несчастной жизнью, загубленной и в общем не представляющей большой ценности.

Тэмпл *(растерянно)*. Но ведь она такая добрая, такая любящая. Значит, я пришла сюда в два часа ночи не для того, чтобы спасти ее, а только для того, чтобы при двух чужих людях исповедаться своему мужу, сознаться в том, что я носила в себе все эти годы, стараясь, чтобы он этого не узнал. Привезли меня сюда только для того, чтобы заставить меня страдать.

Стивенс. Да, для этого, Тэмпл. И я прошу прощения, что привел вас сюда. Но это надо было сделать, чтобы Нэнси не осталась в одиночестве. Пусть ее безумный поступок принесет пользу, пусть она из другого, потустороннего мира защитит, спасет маленького Бюки от грозящей ему судьбы. Вот для чего вы сюда пришли.

Тэмпл. Хорошо, я это сделала. Можем мы сейчас вернуться домой?

Стивенс. Да. Но сначала мы поедем навестить Нэнси.

Тэмпл. Мы придем к ней и скажем, что ее повесят?

Стивенс. Она не хочет быть помилованной. Но, может быть, невольно надеется.

Тэмпл. Мы пойдем к ней. Непременно пойдем. *(Пошатываясь и спотыкаясь, направляется к выходу. Стивенс хочет ее поддержать. Но она высвобождает свою руку и продолжает идти. Говорит, не обращаясь ни к кому, словно во сне.)* Мы пойдем к Нэнси, чтобы спасти мою душу... если она у меня есть... если есть бог, который ее спасет... если он только пожелает ее спасти...

Картина седьмая

Двенадцатое марта, 10 часов 30 минут.

Тюрьма. Зал свиданий на первом этаже. Налево дверь с тяжелым засовом ведет в тюремную канцелярию. В глубине единственное окно с решеткой

из толстых прутьев, оно выходит на улицу. Утро солнечного дня. Со скрежетом отворяется в правой стороне дверь, которую отпирают снаружи. Входит Стивенс в сопровождении тюремного надзирателя. Стивенс одет точно так же, как в шестой картине. Надзиратель без пиджака, в рубашке без воротничка. На ноге у него, под коленом, висит огромная связка ключей на железном кольце — подобно тому, как фермеры носят фонарь. Войдя, он закрывает за собой дверь. Стивенс, перешагнув через порог, останавливается. Тюремщик запирает дверь.

М-р Таббс. Ну вот. Сейчас приведу заключенную.

Стивенс. Нет, подождите, пока не придет мистер Гоуен Стивенс. Вы распорядились?

М-р Таббс. Да. Моя супруга покажет ему дорогу. Я могу подождать его в канцелярии.

Стивенс. Не надо. Скажите, как чувствует себя заключенная?

М-р Таббс. Тихая. Смиренная. «Да, мистер», «Нет мистер». Ну разве подумаешь, что такая черномазая, пропащая дрянь могла убить...

Стивенс. Вы сказали ей, чтобы она нас ждала?

М-р Таббс. Нет. Она, по-моему, готовится...

Стивенс. Готовится?

М-р Таббс. Приводит себя в порядок. Завтра утром — под расчет. Короткая операция, а требует размышления. Словом, готовится. Просила священника.

Стивенс. Она вам не говорила о возможном помиловании?

М-р Таббс. Помиловании? Никакой губернатор не осмелится помиловать убийцу, удушившую ребенка. Наши сограждане любят справедливость: они бы подожгли тюрьму. Да ведь вы виделись с ней каждый вечер на этой неделе. Если у нее было что сказать, она обратилась бы к адвокату, а не к тюремному надзирателю. *(С любопытством смотрит на Стивенса.)* Это правда, мэтр, что позавчера вы пели с черномазыми заключенными?

Стивенс. Правда.

М-р Таббс. Вы что же, любите петь?

Стивенс. Нет, но это мне помогает.

М-р Таббс. Это хорошо, мэтр. Наша конституция утверждает, что мы все свободны. Надо думать, что и чернокожие нуждаются в помощи, они не перестают петь по вечерам. Не тюрьма, а прямо оперный класс. И притом все баритоны. Монотонно как-то получается. Не знаю, сходятся ли наши вкусы, мэтр, но мне больше нравятся басы. Надо будет попросить шерифа арестовать какого-нибудь баса, чтобы хор был укомплектован. У вас, мэтр, тоже баритон?

Стивенс. Да.

М-р Таббс. Жаль! Они говорят про вас: «Это хороший белый. Он поет». Плохие белые, видно, никогда не поют. У негров свои понятия, правда, мэтр? У них, конечно, есть основания быть вам признательными. Ведь вы не только защищали негритянку в суде, но защищали ее против ваших близких родственников. К тому же эта негритянка убила вашу внучатую племянницу. Редкостный случай, и я...

Стивенс. У вас здесь только черные?

М-р Таббс. Почти что. Это ясно даже на улице, когда видишь их руки.

Стивенс. Руки?

М-р Таббс. Да. Между прутьев решетки. Самих арестантов не видно. Но черные их руки видны. Руки эти не стучат, не шевелятся, просто лежат между прутьями. Когда я под вечер возвращаюсь из города, то уж обязательно посмотрю на окна, пересчитаю руки и сразу успокоюсь: все арестанты на месте.

Стивенс. Они ведут себя спокойно?

М-р Таббс. Да. Даже Джеф. А сколько он нам причинил беспокойства... Вы помните?

Стивенс. Нет.

М-р Таббс. Тогда у него только что умерла жена. Они были женаты всего две недели. Он ее похоронил. Сначала, чтобы утомить себя и заснуть, он всю ночь бродил по полям. Но это не помогло. Тогда — опять-таки для сна — он напился допьяна. Но и это не помогло. Тогда он полез в драку. Затем в карточной ссоре перерезал бритвой горло одному белому. После этого уснул и сколько-то времени проспал. Шериф так и нашел его спящим на веранде того дома, который он снял, чтобы жениться, жить в нем, состариться и скоротать там свой век. К сожалению, шериф разбудил его и привел сюда. И тут вдруг он взметнулся: шерифу, мне и пятерым чернокожим заключенным едва удалось свалить его и держать, пока его не заковали в ручные и ножные кандалы. Растянули его на полу и не давали подняться,— полдюжины, а то и больше человек навалились на него. И что, вы думаете, он говорил? Он говорил: «Не могу я перестать думать, не могу я перестать думать».

Стивенс. А сейчас?

М-р Таббс. Больше уж не думает. Целый день стоит, ухватившись за решетку, но наружу не смотрит. Смотрит на стену и только время от времени переставляет руки между прутьями.

Стивенс. Он поет?

М-р Таббс. Нет. Такие не поют. Все кончено. С ним можно быть спокойным. Прямо скажу: в тюрьме я люблю больше черных, чем белых. Белые вечно недовольны. Вечно ворчат, что-нибудь критикуют. Черные, наоборот, через день, через два обживутся и чувствуют себя как дома.

Стучат. Входит Гоуен.

Ну вот. Я пойду подожду миссис Стивенс. Пока до свидания.

Выходит.

Гоуен. Зачем вы просили меня прийти?

Стивенс. Сначала я хочу вручить тебе вот это. *(Протягивает ему пакет.)*

Гоуен *(глядит на пакет)*. Что это?

Стивенс. Письма. Меня просили их тебе передать.

Гоуен. Кто просил?

Стивенс. Не все ли равно? Возьми. Надеюсь, ты знаешь, как с ними поступить.

Гоуен. А вы знаете?

Стивенс. Сжечь, не читая.

Гоуен. Читать их! *(Смеется.)* Человеку порядочному, разумеется, не положено читать такие письма. Даже для того, чтобы познакомиться с литературным талантом своей жены. Но порядочный ли я человек?

Стивенс. Ты можешь сейчас это доказать. Прежде всего забудь о том, что ты называешь светом, хорошим обществом, молвой. Вполне достаточно быть просто человеком.

Гоуен. А вам известно, что значит быть человеком? Поздравляю вас. По правде говоря, у меня есть сомнения на этот счет. *(Идет к двери.)* Я ухожу. Не хочу встречаться с Тэмпл.

Стивенс. А я попрошу тебя подождать ее и быть рядом с ней, когда она будет разговаривать с Нэнси.

Гоуен. Ни в коем случае! Я не желаю видеть ни ее, ни Нэнси.

Стивенс. А что, если Нэнси вам поможет?

Гоуен. Неужели? Каким же это образом?

Стивенс. Попросит прощения и сама вас простит.

Гоуен. Вам известно, что такое прощение? Нет, я просто восхищаюсь вами.

Стивенс *(горячо)*. Если после всего, что ты слышал у губернатора, ты все же не понял, что такое горе,— значит, ты последний из людей.

Гоуен *(смотрит на него. На его лице вдруг появляется умоляющее выражение. Он качает головой и говорит глухо, не глядя на Стивенса.)* Если бы я был последним из людей, все было бы спасено. Но нет, я самый обыкновенный человек. *(Резко поворачивается.)* Ах! Я больше ничего уж не понимаю, ничего не понимаю.

Стивенс подходит к нему, берет его за руку.

Я ухожу, Гэвин. Прошу вас простить меня за все.

Стивенс. Иди к Бюки. Сожги письма. Затем ты, может быть, вернешься.

Гоуен колеблется и хочет выйти, но дверь заперта. Он стучит. Слышится звон ключей. Надзиратель открывает.

М-р Таббс. Тысяча извинений, но...

Гоуен отстраняет его и выходит.

(Стивенсу.) Сильный молодой человек! Я запер по привычке. Без всяких подозрений, поверьте.

Стивенс. Верю.

М-р Таббс. А вот молодой человек что-то заподозрил. Должно быть, у него есть основания для подозрительности. Видите ли, у меня был дядя, который потерял жену в автомобильной катастрофе. И вот после этого он стал ко всему относиться с подозрением. Получит, например, письмо, вертит его так и сяк, но все не вскрывает. Слоняется по комнате, потом сядет, смотрит на письмо, нахмурив брови. «Что там еще такое»,— говорит. Короче, он стал подозрительным. Потом он заболел. А лекарства принимать отказывался из-за подозрительности — вот и умер. Честное слово, мэтр, немного доверия как-никак помогает жить.

Стивенс *(с раздражением)*. Мне бы хотелось, чтобы вы пошли встретить миссис Стивенс.

М-р Таббс. Ну, конечно... Бедная дама...

Стучат. Стивенс делает нетерпеливый жест и идет открывать. Входит Тэмпл.

Добрый день, миссис Стивенс. Будьте как дома. То есть я хочу сказать: очень рад вас видеть. Не угодно ли чашечку кофе? Если угодно, моя супруга немедленно принесет.

Тэмпл. Спасибо, мистер Таббс. Нельзя ли сейчас же увидеть Нэнси?

М-р Таббс. Безусловно. Она будет счастлива видеть вас. Я думаю, что она хочет попросить у вас прощения. Нужно, чтобы она была в форме. Для завтрашнего дня.

Выходит.

Тэмпл *(Стивенсу)*. Просить у меня прощения? Как можно говорить подобные вещи? Скажите, как?

Нэнси в сопровождении надзирателя входит через дверь в глубине сцены. Останавливается в двух шагах от двери. Она одета так же, как в первой картине.

М-р Таббс. Вот, мэтр, используйте ваше время.

Стивенс. Мы долго не задержимся.

М-р Таббс выходит. Нэнси безучастно смотрит на своих посетителей.

Тэмпл *(подходит к ней, дотрагивается до нее и останавливается).* Нэнси! Ты здесь, а я, ты видишь, я пришла с воли. Ты останешься здесь, а я, свободная, пойду по улицам.

Нэнси. Так и должно быть. *(Стивенсу.)* Отдали вы письма мистеру Гоуену?

Тэмпл хочет заговорить, но Стивенс прерывает ее.

Стивенс. Да, как вы меня просили.

Тэмпл *(испуганно).* Вы отдали ему письма? Зачем?

Нэнси. Чтобы он их сжег.

Тэмпл. На его месте никто бы не удержался и прочел. Я это знаю. Теперь мне это стало ясно. У меня открылись глаза.

Нэнси. Есть много плохих вещей, на которые мистер Гоуен способен, но он не будет читать письма, которые его жена писала другому мужчине. Он их сжег.

Тэмпл. Ты лжешь. Как ты можешь лгать, когда находишься в тюрьме?

Стивенс. Довольно, Тэмпл. Там, где Нэнси сейчас находится, она, безусловно, заслуживает того, чтобы вы ее выслушали.

Нэнси. Если бы он их прочел, то ушел бы от вас навсегда. Есть такие слова, которые нельзя забыть. Но он сразу же уничтожил письма. И больше он вас не покинет, ни вас, ни Бюки, если только вы сами не уйдете от него.

Тэмпл. Теперь я уже ничего не смогу сделать. Ничего, Нэнси.

Нэнси. Я знаю, где вы были этой ночью, вы и он... *(Указывает на Стивенса.)* Вы ходили к мэру! Что он сказал?

Тэмпл. О боже мой! К мэру? Нет! К самому губернатору, к Джексону. Конечно, ты сразу же догадалась, почему мистер Стивенс не был у тебя вчера вечером, верно? В сущности, ты не можешь знать только одно: что нам сказал губернатор. Но, видишь ли, в разговоре с губернатором мы почти не касались тебя. Оказывается, мы должны были поехать к нему вовсе не для того, чтобы умолять о помиловании или защищать тебя, хотя, думаю, это было мое право, мой долг... Не смотри так на меня!

Нэнси. Я не смотрю на вас. Впрочем, все хорошо. Я знаю, что вам ответил губернатор. Я бы заранее могла сказать, что он ответит, и вам не надо было бы ездить к нему. Мне, конечно, следовало сказать вам, как только я узнала, что вы и он... *(Снова показывает пальцем на Стивенса, едва заметно кивнув головой.)* Да, следовало предупредить вас, уберечь от мучений. Я этого не сделала. Но все хорошо...

Тэмпл. Надо было тебе это сделать, Нэнси, и я бы туда не пошла, не стала бы говорить. Они тебя повесят, Нэнси. Но что же тут можно сделать, раз им обязательно надо тебя повесить? Почему ты ничего им не сказала?

Нэнси. Не знаю. Должно быть, надеялась, несмотря ни на что. Может, на чудо. Но почему для меня должно совершиться чудо? А я все-таки надеялась. Ведь что тяжелей всего преодолеть? Нельзя помешать себе надеяться. Надежда — это последнее, от чего бедный грешник не может отказаться,— наверно, потому, что больше у него ничего не осталось. И уж как он цепляется за свою надежду! А чуда не случилось, вот и нет больше надежды. Так оно лучше. Очень хорошо...

Стивенс. На самом деле лучше, Нэнси?

Нэнси. Да. Теперь нужна одна только вера.

Стивенс и Тэмпл вопрошающе смотрят на нее.

Просто надо верить. Сейчас я знаю, я знаю, что́ вам сказал губернатор. И я довольна. Я уже давно была согласна на это — еще в

суде, у судьи. И даже раньше — вечером, в детской, прежде чем поднять руку...

Тэмпл *(судорожно)*. Замолчи!

Нэнси. Я молчу. Я обо всем договорюсь с братом нашим.

Тэмпл. Каким еще братом?

Нэнси. Братом идущих на виселицу. С тем, которого убили вместе с ними. Я не все понимаю, что он говорил. Но я люблю его, потому что его убили.

Тэмпл. Вероятно, он поможет тебе умереть. Но как он поможет мне жить? Я знаю, что делать, знаю, что мне надо делать. Я тоже поняла это в тот вечер, в детской. Но как это сделать? Не знаю. Умереть мне было бы легче. Но я должна жить. А как?..

Нэнси. Надо верить.

Тэмпл. В кого верить? Посмотри, что с нами сделали, с тобой и со мной. Если ты считаешь, что мне надо перед кем-то унизиться, я готова это сделать. Но только перед тобой одной я хочу встать на колени. *(Неловко становится на колени.)*

Нэнси. Поднимитесь. Нельзя госпоже стоять на коленях перед служанкой. Есть иной господин, и вы должны быть его служанкой.

Тэмпл. Я ему не служанка. Я не могу служить такому господину, который обрек тебя на смерть, потому что я когда-то убежала с Гоуеном.

Нэнси. Вы убежали, потому что вас тянуло к дурному, как и меня. Такие уж мы есть. И он не может помешать нам желать плохого. Но чтобы как-то все сравнять, он придумал страдание и в нем открывает свет грешным и несчастным. Я верю в него.

Стивенс. Вы правы, Нэнси. Вы должны верить.

Нэнси. Спасибо, мистер Стивенс. Вы так говорите, потому что думаете: «Ей это облегчит завтрашние испытания». Но я говорю так не из-за завтрашнего дня, я все равно боюсь, хоть и знаю, что брат наш спасет меня.

Тэмпл *(встает, растерянная)*. Он никогда никого еще не спас. Он даже не спас себя самого. Они придут, схватят тебя, они хотят причинить тебе зло, а ты прощаешь.

Нэнси. Я не прощаю. Но даже убийца может быть прощен. Есть такое место, я в этом уверена. И я хочу пойти туда.

Тэмпл. Ты пойдешь туда. Они простят тебя, когда ты умрешь... простят, когда ты будешь в земле.

Нэнси. Нет, не в земле. Есть такое место, где ваш ребенок ничего не вспомнит, даже мои руки не вспомнит.

Тэмпл. Есть такое место, да, да, есть такое место, где ты найдешь и своего ребенка. Ты ведь говорила, что шесть месяцев носила ребенка под сердцем, а когда пошла развлечься или еще куда-то — не помню, муж ударил тебя ногой в живот, и ты потеряла ребенка. Есть ли такое место в мире, скажи, где наши дети смогут простить нас? Есть ли такое место в мире, где, наконец, люди перестанут терзать друг друга, страдать и умирать?

Нэнси. Да.

Стивенс. Отец ребенка ударил вас ногой в живот, когда вы были беременны?

Нэнси. Я не знаю.

Стивенс. Ударил или не ударил?

Нэнси. Ударил, да. Но я не знаю, был ли это его отец. Отцом мог быть и кто-нибудь другой.

Стивенс. Кто-нибудь другой?

Нэнси. Да, мистер Стивенс. Но мне простится и это.

Все настораживаются, услышав приближающиеся шаги. Слышен скрежет открывающейся двери. Входит надзиратель.

М-р Таббс. Как дела, мэтр?

Стивенс смотрит на Нэнси.

Стивенс. Да, все хорошо. Прощай, Нэнси. Я сделал все, что мог.

Нэнси идет к двери налево.

Тэмпл *(бросается к ней)*. Не оставляй меня одну.

Нэнси. Вы не одни. *(Стоит, устремив вдаль пристальный взгляд, затем глухо.)*

Он цветок, и он скала.
Он омоет и осушит наши раны,
Он избавит нас от муки в смертный час.

Нэнси выходит вслед за надзирателем. Слышно, как скрипит железная дверь и скрежещет в замочной скважине ключ. Затем надзиратель появляется снова, открывает наружную дверь и ждет.

М-р Таббс. Ну вот. Сегодня вечером она вступит на длинную дорогу. И трудную! Я бы предпочел не сопровождать ее. *(Он ждет, держась за створку двери.)*

Тэмпл стоит неподвижно до тех пор, пока Стивенс не трогает ее за руку. Тогда она, опомнившись, делает шаг, но, по-видимому, у нее закружилась голова, она вдруг покачнулась.

(Надзиратель едва успевает подбежать к ней, чтобы поддержать.) Ну вот! Сядьте на скамейку! Я пойду принесу вам стакан воды!

Тэмпл *(приходя в себя)*. Мне лучше.

Она идет твердым шагом к двери. М-р Таббс наблюдает за ней.

М-р Таббс. Вам в самом деле лучше?

Тэмпл *(идет к двери уже более уверенным шагом)*. Извините меня.

М-р Таббс. Ну что вы! Все понятно. Место тут для вас совсем неподходящее.

Тэмпл. О, если бы кто-нибудь мог спасти меня и помочь мне. Все равно кто, лишь бы не быть больше одинокой на этой несчастной земле, лишь бы не было так больно и так пусто в сердце, лишь бы забыться, наконец, сном, забыться сном...

Слышен голос Гоуена.

Гоуен. Тэмпл!

Тэмпл и Стивенс останавливаются. Входит Гоуен. Он идет к Тэмпл, колеблется. Тихо говорит.

Пойдем, Тэмпл. Пора возвращаться.

Тэмпл *(после паузы)*. Возвращаться? С кем?

Гоуен. Со мной. Бюки нас ждет.

Тэмпл. С тобой? Да. Не все ли равно?

Она направляется к двери.

Занавес

Фолкнер и Камю

Нет, кажется, более разных писателей, чем Фолкнер и Камю, но вот сошлись: в одной пьесе, в одной теме, а теперь еще и в русском переводе.

Многое можно спросить по поводу соединения этих имен. Не получается ли здесь, из перевода в перевод, известная тень тени; нет ли в самой идее сочетания писателей какого-то усреднения мысли; не нарушается ли у каждого из этих двух Нобелевских лауреатов его неповторимый в литературу вклад? Но, может быть, это станет понятнее, если мы попытаемся разобраться, зачем они понадобились друг другу.

Всю жизнь Фолкнер писал только варианты. Увлечение и незнание, где остановиться, неудовлетворенность, неукротимое желание переписать все сначала, оборвав едва наметившуюся мысль,— эти его особенности, известные теперь и по русским переводам, сделали его одним из самых неудобочитаемых писателей двадцатого века. Сам он объяснял это желанием втиснуть все, что знает, в одну фразу; другие говорили об отсутствии дисциплины и бесконтрольном бурлении стиля, не знающего обязательств. Как бы то ни было, формальная сторона его сочинений до сих пор ограничивает круг его читателей. За немногими исключениями, подобными «Свету в августе» или «Осквернителю праха» [1], это литература, которая нуждается в посредниках: комментаторах, истолкователях, пересказчиках. Есть несколько введений в фолкнеровский мир; к одной из таких книг, составленной из отрывков — «Читатель Фолкнера»,— он написал предисловие сам.

«Реквием по монахине» — тоже вариант. Фолкнер развил его из «Святилища» (1931), романа, который он набросал когда-то ради коммерческого успеха и к которому вернулся через двадцать лет с обычным намерением доказать свою мысль снова. Мысль у него была одна, и читатель, знакомый хоть с одним фолкнеровским произведением, ее знает: это способность человека перебороть свою судьбу, возвыситься, разбить необходимость. Фолкнер всегда проверял ее на наиболее тяжелых препятствиях, а тут еще и сам роман предлагал вызов, так как был написан в черно-беспросветно-унизительной манере, понравившейся, как он и рассчитывал, критике. Теперь предстояло извлечь его глубинную идею и в известном смысле опровергнуть себя самого. История Тэмпл Дрейк и ее мужа, полная безнадежности (она рассказана в пьесе), должна была обернуться в какой-то прорыв, просвет, и притом реальный.

Насколько можно судить теперь, Фолкнер своего добился. Но все той же ценой: неудержимым нагромождением разных способов рассказа и объясняющих слов. Читатель оригинала может наблюдать его метод — это преследование цели, где главное, чтобы она не ускользнула из виду. Говорится все, в чем есть хоть какая-то возможность к ней приблизиться. Дурно ли, общеизвестно или неожиданно, кратко ли, разбросанно — не в этом дело; лишь бы не потерять ее, маячащую впереди. Погоня продолжается, насколько у автора хватит сил, потом цель отрывается и уходит, пока он не попытается в другом произведении нагнать ее снова. На бумаге остается как бы хвост кометы.

Полной противоположностью этому стилю был Альбер Камю. Писатель четкости и меры, несколько бледной, но строгой красоты понятий, классический в литературе француз, то есть представитель той ясности, о которой еще Стендаль писал, что он часто четверть часа раздумывает, поставить ли глагол после существительного или существительное после глагола, лишь бы быть ясным,— человек очень хорошо знающий, что сказать, и даже говорящий с видимой неохотой, потому что, «что же говорить, когда так оно и есть»... Это такой контраст фолкнеровской форме, какой искусственно не придумать. Можно сказать, что Камю писал ясно — но о тьме. Это верно; и не исключено, что предполагаемая тьма его обманчиво в сторону Фолкнера и потянула,— «рок», как он говорит во вступительном слове, который «со всей беспощадностью» орудует в современном мире. Но, во всяком случае, можно предположить достоверно: что хотя Фолкнер никого в соавторы своей пьесы не приглашал, внутренняя потребность его формы в чем-то подобном Камю была — и оставалась нерешенной до конца его пути. Она, конечно, и не могла быть решена появлением чужого лица. Но всегда сохранялась именно как потребность, движение навстречу цивилизующей силе. Этим и оказался нужен пьесе Камю.

Он сделал немного. Убрал утомительные прологи, которые распространились у Фолкнера каждый в целую повесть (например, перед сценой в заключении подробно расписана история Джефферсоновской тюрьмы), погасил чересчур сильные акценты, кое-что сжал. Но в этом немногом и обнаружился вкус. Пьеса прочистилась и промылась; резче выступили очертания ее идеи и план.

И вот тогда-то открылось, что проблема встречи двух писателей означала совсем не просто сотрудничество или приспособление к французской сцене знаменитого американца, а и конфликт. Глубокий спор внутри одной как будто бы традиции в защите гуманистических ценностей — выходящий за художественные пределы, интересующий каждого жизненно и принципиально. Произошло это вряд ли намеренно; работа Камю была похожа просто на промывание переводной картинки. Но когда от ясности его стиля она вышла вперед, получилось, что этой картинке ему бы следовало ответить, так как она обращалась с прямым вызовом к нему самому. Может быть, он не успел этого сделать; может быть, не признал; может быть, увидел и стал переводить как раз для того, чтобы заполнить образовавшийся в литературе его круга разрыв. Но эта проблема, собственно, и сообщила всему соавторству новый смысл, ради которого стоит теперь познакомиться с пьесой, подписанной Фолкнер-Камю.

Ее, вероятно, можно было разглядеть и раньше, когда Фолкнер в Нобелевской речи (1950) неожиданно напал на всю современную ему литературу (западную, конечно; про современную русскую он только и знал, несколько снобистски однажды заметив, что писатели там «должны быть»). Нападение это прошло безответно, потому что было вы-

[1] См. «Иностранную литературу», №№ 1—2, 1968 г.

сказано вообще и в тоне благородного сопереживания, которое легко разделить, не предполагая, что адрес его указывает прямо на тебя. Тем не менее Фолкнер выражался достаточно определенно. Он говорил:

«Современные... писатели и писательницы забыли о проблемах борющейся души. Но только эти проблемы рождают достойную литературу... Писателю придется учиться заново. Ему нужно понять, что страх — самое низменное из чувств, и, постигнув это, уже навсегда забыть о страхе, убрать из своего творчества все, кроме правды о душе, старых вечных истин — любви, чести, жалости, гордости, сострадания и самопожертвования, без которых любое произведение обречено на скорую гибель. И покуда писатель не сделает этого, над его трудом нависает проклятье. Он пишет не о любви, а о вожделении; о поражениях, в которых никто не теряет чего-либо ценного, о победах без надежды и, что хуже всего, без жалости и сострадания. В его горе нет всем понятного горя, и оно не оставляет глубоких следов. Он пишет не о человеческой душе, а о волнениях тела. И покуда он не поймет этого, он будет писать так, как будто он стоит и наблюдает конец человека и сам участвует в этом конце. Но я отказываюсь принять конец человека...» и т. д.

Фолкнер обращался к изверившимся. Его речь приняли примерно так же, как когда-то речь Достоевского на Пушкинском празднике,— с энтузиазмом и умилением, но в полной уверенности, что никакого отношения к действительности она не имеет,— и, наградив премией, почетно проводили за океан, на провинциальный Юг. Однако слова его остались. И чем полнее проверялся смысл современной ему литературы, тем чаще о них приходилось вспоминать.

Теперь мы видим, что хотя он не называл ни одного имени, там можно было угадать, среди прочих, и Камю. Только что тогда, в послевоенной Европе, взошла его писательская звезда, и он стал лучшим выразителем определенных настроений интеллигенции Запада, продумывавшей недавний опыт.

В самом деле: «писатель... пишет о поражениях, в которых никто не теряет чего-либо ценного, о победах без надежды и, что хуже всего, без жалости и сострадания...» Не напоминает ли это, хоть и не исчерпывая его, понятно, но все-таки — «Чужого»? Однотомник Камю, вышедший теперь на русском, дает возможность это тщательнее взвесить. Или другое: «будет писать так, как будто он стоит и наблюдает конец человека и сам участвует в этом конце...» — разве это не атмосфера «Чумы»?

Разумеется, спешит и напрашивается ответ, что не писали же Камю и близкие ему авторы о мраке ради него самого; для того они тьму и раскрывали, чтобы предупредить о ее глубинах, и вовсе не хотели конца, а только говорили, что он возможен, если... и т. д. и т. п. Но сила возражений Фолкнера в том, что он давно принял и знает эту часть правды. Да, да, словно повторяет он,— но этого недостаточно; больше того, это и есть опущение, потому что вы незаметно уступили, признали превосходство тьмы, встав на путь сопротивления ей без веры и знания, что она обязательно преодолима. Ваша мысль поэтому — и это еще, чтобы не задевать никого, в идеальном ее виде — есть героическое самообольщение. Она позволяет сложить руки там, где нужно было только начинать. Слышно буквально, как он возвышает голос: «Но я отказываюсь принять конец человека...»

Выясняется к тому же следующее. Фолкнер так картинно умеет изобразить эту известную ему «экзистенциальную» сторону правды, что она только и бывает заметна, принимается за точку зрения Фолкнера. «Легко сказать,— говорил он тогда же,— что когда колокол судьбы ударит в последний раз с одинокой скалы, возвещая гибель, и последнее бесполезное эхо его пролетит и затеряется где-нибудь в последнем красном зареве на краю тьмы, даже и тогда будет слышен еще один звук: слабый, но неистощимый голос человека, который будет продолжать говорить. Я отказываюсь принять это. Человек не просто выстоит, он восторжествует». Сила стоического сопротивления обрисована здесь красочно и гордо, но — этого мало; это «легко сказать». Для Фолкнера здесь лишь отправная точка.

Так невидимо встречаются в пьесе две разные правды. Читатель наблюдает их, что придает ее тексту совершенно особый отсвет.

«Реквием по монахине,— пишет Камю,— ...является одной из редких современных трагедий...» Она «позволяет со всей беспощадностью» увидеть судьбу современного человека. «Герои «Реквиема» современны, но их, подобно античным героям, преследует тот же рок, который сокрушил Электру или Ореста...» Как будто так; и он, соглашаясь, передает нам фолкнеровскую мысль. Но — только в первом приближении.

Для Камю смысл «современной трагедии» — действительно «рок»: ее центральное действующее лицо. Словно андреевский «Некто в сером», общипывающий крылышки надежды, как у мух. Конечно, у него эта идея несравненно строже, чище и трезвее, без разнузданностей и со своим философским выводом: «что же, будем стоять... быть может, в этом наше назначенье». Но у Фолкнера во всех подобных обстоятельствах — лишь внешнее условие и начало. Его мысль — это напор, изнутри разламывающий рок, где и смерть не означает никакого конца, а только лишний удар жизни в стену, пробивающий новую брешь. И его героиня Нэнси Мэнниго захвачена этим стремлением.

«Рок сокрушил Электру или Ореста...» Странно, что не пришло сравнение с другим. Скорее уж Медея, в ярости и мести убивающая детей. Но Нэнси убивает не в ярости и мести и не своего ребенка. С невероятной решимостью она

сама сокрушает рок. Это трагедия человека, пожелавшего принять все зло на себя, чтобы остановить, парализовать его разрастание.

Типично фолкнеровское поведение Нэнси в том, что она с бешеной решимостью направляется сама навстречу судьбе и подрывает ее,— примерно так, как останавливают взрывом лесной пожар. Античные герои хотят укрыться от рока, бегут от него, но только выполняют предусмотренный для них план. Новое в трагедии Фолкнера, вернее, в замысле ее, в том, что человек, почувствовав судьбу или даже узнав ее, неожиданно сам предупреждает ее движение. Кажется, все предопределено в животном самораскрытии Тэмпл, она не уйдет от повторения того, что с нею уже было; истерическое бессилие ее мужа тоже в программе, да и Нэнси ее хорошо понимает, потому что сама была такой. Все фигурки расставлены, и рок их спокойно подталкивает к нужным клеткам, чтобы разыграть намеченный финал. Как вдруг Нэнси бросается прямо на далекие последствия всех этих событий — гибель детей. Причем на такие, какие рок-то еще не предусмотрел, «не решил», уверенный, что торопиться некуда. Может быть, вовсе и не предполагалась буквальная гибель ребенка, а скорее, что он будет медленно убит — распадом развратной семьи — и сам когда-нибудь станет источником распада. Мало ли как это случится и когда-то еще скажется. Но вот Нэнси, слыша эту судьбу, которая задумала спокойно посмеяться надо всем, вдруг опережает ее: душит ребенка с е й ч а с. Этот ужасный акт, удар из неизвестности, непредусмотренный, чудовищный, сбивает весь план. Фигурки падают; рок в недоумении. Хоть на конечный в пьесе миг все лица в ней как бы оцепенели, неотвратимо двигавшая их сила надломлена и потому в чем-то преодолена.

Можно возразить, правда, что события пьесы ужасны не без искусственного подведения к ним и нагнетения. Цена, заплаченная Нэнси, невозможна; решение ее выглядит не поступком живого человека, за которым мы следим, поверив в его реальность, но чем-то явившимся со стороны, от писателя, подобно той расправе, которую учинил над актерами Дон Кихот. Принять этой развязки мы не в состоянии, разделить ее идею одинокого сражения с судьбой — тоже. Но не видеть одушевляющего ее стремления означало бы отрезать себя от понимания художника, пробивающегося навстречу «старым вечным истинам — любви, чести, жалости, гордости, сострадания и самопожертвования». И если уж говорить о трагедии, важен и ее замысел, строение, план.

Камю пишет: «...олицетворением своеобразной веры Фолкнера в этой пьесе является негритянка — убийца и проститутка. Этот контраст лишь подчеркивает глубину гуманизма «Реквиема» и всего творчества Фолкнера». Согласимся, несмотря на громкую законченность этих слов. Но ведь и древнейшую профессию можно вводить в литературу по-разному, имея в виду все тот же гуманистический идеал.

Можно взять ее, например, для того, чтобы сказать: все вы проститутки, чего притворяться? Построить так пьесу и убежденно считать это, со своей долей оснований (как Эдвард Олби во «Все в саду»[1]), глубокой и остроумной критикой устоев прогнившего мира. Можно повернуть ее же иначе, в мрачноватый фарс: да, проститутка, но я лучше вас, потому что честнее и веселее. Я тоже умею страдать: у меня хриплый, вороний голос, но им вещает нежная душа, недоступная вам, жирным мещанам; а попробуете тронуть — заплюю, что не отмоетесь. Писатель при этом избирает этот тип для того, чтобы поплевать, когда нужно, вместе с ней; чаще всего это встречается в интеллектуальной среде, например, у Сартра.

Стоит заметить, что цель появления ее в пьесе Фолкнера-Камю ни с каким из подобных вариантов не совпадает. Нэнси — выжженный человек; но и в ней, под пеплом, прячется уголь, готовый разгореться в иную жизнь. Если это на что-нибудь и похоже, то на классический реализм Достоевского и Толстого (Маслова). Близок был к ней и Феллини («Ночи Кабирии»), пока не ушел в самоисследующие комплексы и пробы лент. В звучании имени и в судьбе есть, может быть (если вспомнить об англо-саксонской литературе, в которой вырос Фолкнер), что-то от Нэнси из «Оливера Твиста». Но это все, понятно, условные ориентиры; у Нэнси «Реквиема» своя идея, самостоятельность которой стоит оценить.

Подобно большинству своих произведений, Фолкнер не считал «Реквием» удавшимся или полностью отвечающим тому, что он хотел сказать. Художественного совершенства в нем, очевидно, не найти. Это еще одна причина, почему пьеса могла быть, и с успехом, переработана Камю и почему могли встретиться и пытаться объединиться в ней различные идеи. Состояние поиска и чувство недостаточности было у этих писателей общим. Как художник неровный, Фолкнер вдобавок часто срывался и тратил много сил, чтобы подняться к прежнему уровню.

В предисловии к «Читателю Фолкнера» он рассказывает, что прочел как-то в детстве книгу в шкафу своей бабушки — «Яна Собесского» Сенкевича и, случайно заглянув в предисловие, запомнил слова: «Эта книга была написана с большим трудом — в стремлении возвысить сердце человека, поднять человеческий дух». Потом, одержимый «демоном писания», он забыл их, и только когда стал уставать и демон ему стал нашептывать, «что ты не знаешь ответа и никогда не найдешь его», он вдруг к ним вернулся: «Старый полузабытый поляк знал ответ все время... Поднять человеческий дух — это правило для всех нас: для тех, кто пытается быть художником, для тех, кто старается писать просто развлекательные истории, для тех, кто пишет, чтобы по-

[1] См. «Иностранную литературу» № 1, 1969 г.

трясти и испугать». Правда, оговаривается он, «некоторые из нас имеют странное представление о том, где находится сердце, путают его с другими органами и видами деятельности. Но все мы пишем ради этой цели».

Видно, что и здесь, в облике Нэнси, Фолкнер ничего не спутал и ясно представлял свою цель. Замечание Камю, что сила фолкнеровского гуманизма открывается в способности найти себе основание в «низах», точно указывает на направление его идеи и широту ее демократических привязанностей. Это у обоих писателей также было общим, несмотря на кажущуюся уединенность мысли.

Читая Фолкнера и Камю, мы имеем дело с литературой, которая находится у себя дома. Они сошлись и здесь не для того, чтобы предложить какую-нибудь интересную схему характера или поколения, но для того, можно сказать, чтобы посоветоваться довольно конкретно, как быть. Для западной литературы XX века это серьезное отличие, которое надо уметь видеть. Противоположный тип международного скитальца, представляющего в этом «бездомном» мире страдание вообще, стал за последние десятилетия приниматься с меньшим доверием.

Идеи Фолкнера серьезны в этом отношении тем, что в конечном счете в них сквозит упорный, прочно укорененный народный идеал. В его голосе слышится Америка, к которой можно относиться не одинаково, но в которой не ошибешься и, встретившись, будешь знать, с кем имеешь дело. Такую литературу заменить нечем. Без нее мы будем знать кричащих туристских старух с фотоаппаратами, но не увидим американскую мать, «автора яблочного пирога»; осудим вместе с журналистами, и справедливо, толпу обывателей, на глазах которой безнаказанно стреляют в президента,— и не различим, не поймем человеческих лиц, из тех же обывателей, что стояли с флажками или плакатом «Джонни и Джекки, приезжайте к нам кататься на водных лыжах!», а потом всхлипывали перед объективом: «Вот здесь я стоял с сыном, а там был наш президент, он обернулся и махнул рукой...» Мы не сумеем понять за обезличенными «типами», где же сохраняется простое человеческое тепло и нравственная сила, которая бывает темна, полна предрассудков, постоянно эксплуатируется и попадает в плен к организаторам «мнений», но все-таки проносит сквозь них основной неисчерпаемый запас народных понятий и внутренних ценностей. У Фолкнера они слышатся увереннее, чем у кого бы то ни было в американской литературе XX века. Доносятся они до нас и через ужасную судьбу Нэнси, через желания, срывы и падения, рассуждения (Стивенс) участвующих в этой его трагедии людей.

Серьезность и значительность исканий одного писателя, поддержанного другим, составляют несомненный интерес «Реквиема».

П. ПАЛИЕВСКИЙ

Литературное наследие

АМАДО НЕРВО

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

■

Вступление и перевод с испанского
И. ЧЕЖЕГОВОЙ

В 1905 году Мексику посетил русский поэт-символист Константин Бальмонт. Он объехал чуть ли не всю страну, и его путевые впечатления составили целую книгу, вышедшую спустя пять лет в Петербурге под названием «Змеиные цветы. Путевые письма из Мексики». Очарованный древней мексиканской культурой, Бальмонт, однако, остался равнодушным к Мексике, ему современной. Он читал и переводил поэзию ацтеков, но не проявил ни малейшего интереса к современной мексиканской поэзии, о чем можно только пожалеть, ибо в русской и латиноамериканской поэзии начала века происходили процессы, во многом сходные и любопытные в своих совпадениях.

И все же, сто́ит нам открыть собрание сочинений Амадо Нерво, замечательного мексиканского поэта, современника Бальмонта, и увидеть на фотографии худое, аскетическое лицо, удлиненное, как на портретах Эль Греко, и необычайной выразительности глаза, как вспоминается то же бальмонтовское открытие: «Глаза мексиканцев прикасаются, когда глядят».

Литературный критик и эссеист, публицист, автор смелого и новаторского для своего времени романа и превосходных костумбристских новелл, Амадо Нерво (1870—1919) вошел в историю литератур Латинской Америки прежде всего как лирический поэт, среди других поэтов начала века отмеченный славой «самого нежного и искреннего». «С его смертью Америка потеряла самого глубокого и проникновенного из своих бардов...» «Он выполнил высочайшую миссию: объединил латиноамериканцев духом и языком своей поэзии...» В этих словах, призванных почтить память выдающегося лирика, нет преувеличения: «миссия» Амадо Нерво в латиноамериканской поэзии XX века, действительно, оказалась высокой — прошедшие со дня его смерти полвека это подтвердили.

Рубен Дарио и Амадо Нерво освободили латиноамериканскую поэзию как от холодного академизма, так и от пылкого романтизма устаревшей к тому времени испанской традиции и «слили воедино новый музыкальный аромат с цветами нашего языка» (Бернардо Ортис де Монтельяно). Причем в поэзии Амадо Нерво новые поэтические принципы — импрессионизм и музыкальность — были интерпретированы на редкость тонко и самобытно. Славу законченного мастера, открывшего мелодию стиха, обновившего традиционную метрику и достигшего новых вершин поэтической формы, принесли поэту его книги «Черный жемчуг», «Исход» и «Сады моей души». Патриотические стихи и поэмы Амадо Нерво, по отзывам критики, «столь глубоко прочувствованные и, без сомнения, столь далекие от того, что до сих пор именовалось «патриотической поэзией», такие, как «Героическая лира» или «Дети — мученики Чапультепека» (о юных мексиканских кадетах, героически сражавшихся против американских интервентов в 1847 году), завоевали ему общенациональное признание. Нежностью интонации, предельной искренностью поэтического самовыражения отмечены шедевры любовной лирики Амадо Нерво, лучшие страницы его лирической исповеди — сборники «Вполголоса», «Безмятежность», «Неподвижная возлюбленная».

Поэзия трудно поддается определению. И здесь, вероятно, лучше снова предоставить слово русскому поэту, побывавшему в Мексике: «Известны два красочных символа мексиканской фантазии: «Тиуй!» («Идем!») узывной улетающей колибри, которая повела ацтеков в неизвестность, в путь, приведший их в край Семи пещер, и образ

орла на кактусе, терзающего змею. В этих причудливых символах — столь свойственное мексиканцам смешение жестокости и нежности, красочности и резких рельефов, любви к вещественному миру и таинственного зова — узыва куда-то, в недосказанность, в неопределенность, с зыбкими ускользающими змеиными очертаниями...» («Змеиные цветы»). Этот пассаж не имеет прямого отношения к поэзии: в нем зафиксировано то, что Бальмонт отчасти увидел, а больше вычитал, уловил, угадал, путешествуя по Мексике, изучая и осматривая ее древние памятники, наблюдая нравы и обычаи ее народа. Но в этих впечатлениях содержится во многом очень точное и исчерпывающее представление именно о поэзии и, конкретно,— о поэзии Амадо Нерво. Но то, что для русского поэта так и мелькнуло ослепительной чужестранной экзотикой, для Амадо Нерво являлось смыслом и содержанием его жизни и поэзии. Мексика — его родина, ее история, культура, символы ее былой и настоящей независимости волновали в нем не только поэта, но и патриота. Пантеистическое мироощущение было у него в крови, унаследованное от далеких предков, и всю жизнь он оставался неутомимым певцом родной природы; и даже благоговение перед «Тайной» шло издалека, от древних и необъяснимых верований и легенд.

Отмечая столетие со дня рождения Амадо Нерво, Мексика и вся Латинская Америка чтит в его лице не только талантливого поэта, но и выдающегося просветителя, много сделавшего для развития мексиканской культуры. И в литературно-общественной деятельности «самый искренний и нежный» поэт был также искренен в своих суждениях, пристрастиях, неустанном желании содействовать благу отечества, в своей вере в лучшее будущее Мексики:

...Мой оптимизм
в моей любви
к той Мексике, какой должна
стать родина моя...

(«Моя Мексика»)

ВУЛКАНЫ

Завладеет заря небосводом,
и вулканы встают предо мной
пирамидами роз, мимоходом
возведенными щедрой весной.

В свете солнца, набросившем прямо
на долину лучистую сеть,
куполами священного храма
начинают вулканы гореть.

А когда сумрак вечера ляжет,
проводив отпылавший закат,
словно Мексики вечные стражи,
крепостями вулканы стоят.

■ ■ ■

Я никогда ловить не стану взгляд
тупого и надменного магната,
выпрашивая денег иль наград:
я королевский пурпур видеть рад
лишь на плечах горящего заката.

ДАМЬЯНА

Косы девчонки —
солнцу под стать:
выглянет солнце —
ее не видать!

Чуть заиграет
лучами рассвет,
в лучах его тает
ее силуэт,
розовый, тонкий,
и солнечность дня
прячет девчонку
мою от меня.

Утром Дамьяна
откроет окно,
румянцем зари
разгорится она,
и, как ни смотри,
угадать мудрено:
заря иль Дамьяна
глядит из окна?

Как зорька румяна,
а косы — под стать
солнцу, Дамьяны
моей не видать!

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОСТЬ

Есть проблемы — прозрачней лунного света,
есть другие — апрельского утра ясней...
Свет проблемы моей, пробиваясь, теряется где-то:
и не то что она неясна, просто эта
ясность гораздо сложней.

Эту ясность постигнет лишь острое зренье
проницательных глаз, глаз, умеющих распознавать
то предчувствие света, тот намек на его зарожденье,
что дрожит на востоке, перед тем как начнет рассветать.

ДАВАЙТЕ ЛЮБИТЬ!

Если не знает никто, почему улыбаемся мы,
и не знает никто, отчего мы рыдаем,
если не знает никто, зачем рождаемся мы,
и не знает никто, зачем умираем,
если мы движемся к бездне, где перестанем быть,
если ночь перед нами темна и безгласна...
Давайте, давайте по крайней мере любить!
Быть может, хоть это не будет напрасно.

РОНДО

Скользишь над пропастью моих скорбей
ты, словно луч луны над бездной вод,
мой дух, окостеневший от невзгод,
умащивая нежностью своей.

Ты в жизнь вступаешь, я прощаюсь с ней,
но, времени опровергая ход,
ты, словно луч луны над бездной вод,
скользишь над пропастью моих скорбей.

Так пусть горчит надежд отцветших плод
лишь на губах поэзии моей,—
раз хочет тот, кто создал небосвод,
чтоб ты над пропастью моих скорбей
прошла, как луч луны над бездной вод.

ОСЕНЬ ПРИШЛА

Как я люблю покой
моих непраздных дней
и радости уединенья...
Веселой канарейки все сильней
заливистое пенье!

Как воздух свеж и густо напоен
древесным ароматом! Неба просинь
в окно вливается... Как буен и хмелен
снег тубероз, предчувствующий осень.

Уже посеребрила седина
вершины гор, и в серой дымке зыбкой
все тает. Но, беспечна и нежна,
природа с просветленною улыбкой
свой неизменный завершает круг.
И солнце, нас лучами обещанья
пригрев, бледнеет, словно старый друг
в минуту неизбежного прощанья.

Как прелесть запоздалая грустна
растений и цветов! Они устали.
«Я — осень, осень,— шепчет нам она,—
я преисполнена благой печали...

Сменила лето я. В соблазнах женской плоти
тебе не станет больше мниться рай...
Пришел черед таинственной работе
ума. Теперь молчи и размышляй».

В. ДНЕПРОВ

РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОРАЛЬ БРЕХТА

1

Драмы Брехта обращаются не только к разуму, они тревожат чувство справедливости, они зовут к великому гневу. Они хотят обновить не только понимание, но и нравственное отношение к жизни Это верно, несмотря на то, что Брехт часто говорит о морали иронически, без всякой почтительности и не жалует самоусовершенствования. Формулу, которую благоговейно повторяют моралисты, Брехт вкладывает в уста беспощаднейшего капиталиста Маулера:

Прежде, чем сможет измениться мир,
Другим стать должен человек.

Легко прийти к выводу, что Брехт слишком уж непосредственно отождествляет вопросы социальные и вопросы моральные. В его «Трехгрошовой опере» бандит Мак поет:

Поборник благонравья и добра,
Ханжа и скромник с толстым животом!
Раз навсегда запомнить вам пора:
Сначала хлеб, а нравственность потом.

«Наваристый суп отлично сочетается с гуманизмом». И в другом месте «Разговоров беженцев»: «Нет ничего легче, как выжать из бедняков все что угодно. Из них выжимают даже добродетели».

Подобные и даже более резкие («У слова «добрый» какой-то противный привкус») высказывания попадаются у Брехта на каждом шагу. Они не только составляют необходимый элемент брехтовской поэзии, но входят также одним из слагаемых в брехтовскую интонацию — интонацию, играющую в его искусстве роль немногим меньшую, чем в музыке. Обилие подобных высказываний в какой-то мере объясняется полемическим характером брехтовской морали. Брехт дает не покоящуюся в себе, безотносительную моральную истину, а *истину относительно лжи*, истину в борьбе. Борьба насыщает каждую строку Брехта, это доподлинная стихия его поэзии. И сам Брехт, как человек и художник, с удивительной ясностью представляет тип борца. Он таков, каковы его убеждения, а убеждения его окончательны. Это позволяет ему сохранять внутреннее спокойствие в самых тяжелых и даже невыносимых ситуациях. Он всегда выше ситуации, всегда над нею. Сила врага не подавляет, не сковывает его, он умеет презирать силу и в момент поражения способен не плакать, а смеяться над глупостью совершенных ошибок. Вглядитесь в лицо Брехта — лицо мастерового с улыбкой Вольтера, лицо, освещенное умом и лукавством, любопытством и мужеством, и вам станет очевидно, что Брехт ничего не боится. Поэзия его, проникнутая смелостью, учит разумному бесстрашию.

Нравственность тоже была для Брехта полем битвы. Он с остротой, доступной лишь большому художнику, ощущал постоянное моральное давление богатых на бедных. Он сознавал, чувствовал, что нравственная жизнь, если иметь в виду действительную массу, складывается не сама собою, а благодаря взаимодействию всех классовых сил и идеологий. Эксплуататорам нужно, чтобы эксплуатируемые распространяли на них — эксплуататоров — свою доброту. Именно такую доброту Брехт считал глубоко безнравственной и усматривал в ней духовное воплощение рабства. Господам нужно, чтобы угнетенные морально отвергали насилие,— именно такую кротость Брехт ненавидел всеми силами души.

2

Однако крайность нравственной идеи Брехта объясняется не только открытой или скрытой ее полемичностью. Не в меньшей мере она объясняется своеобразным характером брехтовского реализма.

Брехт — реалист по всему строю отношения к жизни, реалист насквозь, реалист до конца, реалист не только по трезвому бесстрашию разума, но и по эмоциям, чуждым мечтательности. Обладая мощной фантазией и громадным поэтическим темпераментом, он сторонится фантазирования, весь находится в границах реальности и объективной дисциплины, диктуемой реальностью. Его изображение ни на мгновение не отклоняется от сущего в сторону должного. Мы не случайно находим у него песню: «Что есть — то есть». Честное знание — необходимейший составной элемент всякой честности. Боязнь правды — гибель для самых благородных намерений. Брехт с пренебрежительной насмешкой относится к иллюзиям и не скрывает дурного, незрелого, морально искаженного в тех угнетенных классах, на сторону которых стал раз и навсегда. Но вместе с тем он не теряется как художник перед высоким и благородным, видит его глубокие корни в действительности и говорит о нем столь же энергично и внятно, как и о плохом. Смотреть в глаза правде, какова бы она ни была,— один из устоев подлинной морали, и Брехт считает развитое чувство реальности, объективность понимания необходимым свойством революционера. А те западные эстетики, которые выводят творчество Брехта за пределы реализма, игнорируя его стремление воспроизводить реальность, как она есть, говорят попросту неправду.

Однако сказанное имеет больше в виду то, чем Брехт походит на других художников-реалистов, а не то, чем он от них разнится.

Формы искусства отличаются способом соединения присущих искусству противоречий. Идеал и реальность — необходимые полюсы всякого художественного произведения, и без каждого из них оно решительно невозможно. Однако в классицизме и реализме действуют различные принципы связи и объединения этих полюсов. То же относится к познавательному и нормативно-практическому моменту искусства. Тот и другой присутствует в каждом художественном творении, но сочетаются и взаимодействуют они очень по-разному.

Стало уже чуть ли не общим местом рассуждение о способности искусства проникать сквозь кору явления к его сути, сквозь поверхность — к глубочайшим глубинам жизни. Эта истина, полтора столетия назад бывшая новой и поразительной, кажется ныне — при всей своей верности — скучноватой и едва ли не тривиальной. Однако слова Аристотеля: удивление — мать философии, быть может, особенно справедливы в применении к эстетике. Стоит усомниться и спросить себя: а обязателен ли для искусства путь от видимого к существенному, не может ли оно воспользоваться также и обратным путем — от сущности к форме проявления? — и целый ряд установившихся в эстетике решений будет снова поставлен на обсуждение и приобретет новую злободневность. Если бы второй путь — от сути к явлению — с успехом реализовался в художественном творчестве, тогда истина, считавшаяся всеобщей, превратилась бы в частный случай более широкого и объемлющего представления о реализме, а заодно произошло бы расширение эстетической сферы реалистического вкуса.

Как раз на этот, второй путь стал во многих важнейших своих произведениях Брехт.

На протяжении всего «Капитала» Маркс изучает обманчивую видимость как неизбежный побочный продукт капиталистических форм и их развития. В доступных непосредственному наблюдению явлениях действительные отношения не только искажаются, но как бы даже отвергаются и бесследно исчезают. Маркс говорит о царстве ложной видимости, о фетишистском мифе буржуазного сознания, о завороженном мире, где олицетворенные вещи справляют свой шабаш. За сто лет, прошедших от написания «Капитала», туман, окружающий истинное содержание буржуазного общества, еще более сгустился, и в новейших формах капитализм создает даже обманную видимость своей собственной противоположности.

Брехт подходил ко всему этому как художник и чувствовал проблему с драматической остротой. Он почти физически ощущал, как огромной подушкой видимости душат истину, как плотен слой буржуазных предрассудков и навыков, отравляющих рабочих людей, каково тормозящее значение бытовой инерции, каково успокаивающее и обессиливающее действие духовной обыденщины. Мы не должны ни на мгновение забывать о том, что Брехт немецкий художник — именно немецкая жизнь, начиная с мировой войны и Веймарской республики и кончая фашизмом, стала «классической» средой для тех противоречий, которые стоят в центре творчества Брехта.

В Брехте рождалось неудержимое желание изображать, по собственному его выражению, «нагую жизнь», содрать с действительности кожуру быта, содрать обманчивую поверхность, снять покров навязывающейся взору видимости, отбросить кажущееся бытие и обнажить бытие действительное. Пусть зритель имеет прямо перед собой механику сути, движение ее валов и колес, пусть видит открытыми ее подлинные зависимости.

Искусство давно научилось делать внешнюю картину жизни настолько прозрачной, что через нее угадываются глубокие течения и очертания дна, оно так отбирало и группировало явления, что через них скво-

зила сущность. Брехт не отрицает достижений этой формы художественного познания, но сам он хочет другого. Он хочет искусства, которое не только делало бы возможным понимание, но которое вынуждало бы к пониманию. У прежних художников-реалистов явление было дано, а суть задана, у Брехта же суть дана, а явление задано — оно на глазах у зрителя строится из движения существенных сил. Не наличная реальность, а реальность возникающая. Реконструируется не суть, как бывало раньше, реконструируется явление, внешность, поверхность: вот так выглядела бы жизнь, если бы явление не скрывало, а выдавало и открывало суть. В таком случае важное значение получает не только сходство с наблюдаемым бытием: угол несходства измеряет меру обмана, меру объективной лжи, заложенной во внешности жизни. Исчезает различие в освещении: светло и в глубине, светло и на поверхности. И все это не имеет ничего общего с творчеством некой своей, особой действительности, о которой так много и неопределенно толкует Роже Гароди,— нет, это реалистическое воспроизведение жизни, совершающееся в ином порядке, но вполне подчиняющееся реалистическому критерию: соответствию между художественным образом и изображаемым объективным процессом. Это чуть-чуть напоминает ту смену значения далеких и близких планов — взгляд из поверхности в глубину или из глубины к поверхности,— которой пользовался Сезанн и о которой сейчас написано много заслуживающих внимания книг.

В драмах Брехта действуют персонажи, названные «рабочий» или «купец», «священник» или «носильщик», «перекупщик» или «мясозаводчик» и тому подобное. Как тут избежать сравнения с просветительской литературой? И в таком — почти ставшем шаблоном — сравнении есть своя правда: Брехт на самом деле художник-просветитель, сознательный просветитель. Но говорить лишь о сходстве значит остановиться на поверхностной и тщедушной истине. Сходство в действительности скрывает в себе противоположность.

Олицетворения в искусстве XVII—XVIII веков проистекали от неумения справиться с текучей, превращающейся стороной жизни. Моменты движения замирали и ставились рядом. Сущность как нечто постоянное и неизменное отвергала легкомысленную и поверхностную игру явлений.

Напротив, у Брехта олицетворения связаны как раз с желанием наиболее резко выделить историческую природу изображаемой жизни, обнаружить воочию изменяемость, подвижность, временность сущности. С идеей вечночеловеческого Брехт борется яростно и издевательски.

Пусть не говорят, что проявления меняются, а человек остается тем же. Такого рода утверждения вызывают у Брехта лишь саркастическую усмешку. В пьесе «Что тот солдат, что этот», которую в некоторых отношениях можно считать введением в творчество Брехта, изменчивость человека, как таковая, сделалась не только сюжетом, но, если позволено так выразиться, «героем» всего произведения.

Добродушный, обыденно бесхарактерный, не определивший, как миллионы других людей, до конца своей личности грузчик Гэли Гэй в течение буквально нескольких часов становится совсем другим человеком. Не начинает казаться другим, а именно делается другим. Мирный увалень делается существом страшным, жестоким и агрессивным.

Все в драме подчеркивает «буквальность» метафоры. Гэли Гэй поселяется в другую личность, получает другое имя, забывает о том, кем он был. И все в пьесе не «как если бы», а как на самом деле, явление непосредственно воплощает всемирную стихию сущности.

Значение символа принципиально меняется. Символ, по глубокой мысли Гегеля, всегда сравнивает. Здесь же другое. Образ получает характер символа благодаря непосредственности, с которой единичное выражает свое значение: множество последующих звеньев и усложнений опущено. Сама изменчивость человеческой натуры расхаживает в штанах и сапогах.

Пьеса горькая, как полынь или желчь. Писатель страдая, но безжалостно говорит нам: посмотрите, как мало потребовалось, чтобы свершилось превращение: немного грубой лести, немного власти насилия и демагогии, немного обмана, немного искушений для жадности и ничтожного тщеславия — и чудовищное, немыслимое совершилось. Пьеса заговорила о возможности массового ухудшения людей. И мы теперь знаем слишком хорошо, какое пророческое значение содержало в себе предупреждение Брехта.

Но Бертольт Брехт доказал — если очень хотят,
То одного человека превратят
В совершенно другого. Сегодня здесь
Будет человек переделан весь —
Разобран и собран, без лишних затей,
Как машина из старых запасных частей...
Ведь тот, кого так переделать сумели,
Будет средством, пригодным для всякой цели.
Упустим сегодня, забудем о нем,
А завтра он же к нам придет палачом.
Бертольт Брехт очень хочет, чтобы
каждый здесь мог
Почуять, как почва ползет из-под ног,
Чтобы, о грузчике Гэе узнав не напрасно,
Вы постигли, как жизнь на земле опасна.

В годы второй мировой войны лучшие писатели Запада были повергнуты в смятение и духовно раздавлены вопросом: что стало с людьми? Как это могло случиться? Не скрывалось ли изначально зло в основе человека?

А уже в двадцатые годы Брехт ответил на него решительно и ясно: человека можно переделать. Подобно тому, как открытия науки и техники, сами по себе представляющие великое благо, могут стать величайшим бедствием, подобно этому превращаемость человеческой сущности, обещая изумительную личность будущего, может быть сделана источником кошмарного

морального и исторического бедствия. И дело не только в том, что все окружающее тянет и влечет Гэя ко злу, дело еще в том, что Гэй не знает, для чего живет на земле и что должен на ней свершить. Его жизнь раздроблена, лишена внутренней связи, идеи. Гэй отправился купить рыбу к ужину. Но потом встретил женщину, всучившую ему огурец. А потом встретил солдат, попросивших его о небольшой услуге и пообещавших ему кое-что за это. Каждый поступок обнаруживает свой действительный смысл во всем ряду, во всей последовательности, но этот ряд никогда не существует в целом для гэевского сознания. Гэй живет и действует от случая к случаю. Сначала для него нет будущего, а потом нет прошлого.

Сущность, с которой имеет дело Брехт, только в одном похожа на художественные абстракции восемнадцатого века — она выражает всеобщее, массовое. Нравственные вопросы не составляют исключения. Они у Брехта почти всегда касаются процессов, идущих в массе, в толще целых классов. Но в остальном сущность, обнажаемая Брехтом, не имеет ничего общего с отвлеченностью просветительского века: она упруга, динамична, устремлена к конкретности, она торопится к поверхности, как пловец, забравшийся на слишком большую глубину. Поэтому она становится источником своеобразной фантазии, напоминающей своего рода режиссуру действительности, имеющей своей имманентный ход, движущейся на расстоянии от наблюдаемой реальности, но в общем параллельно с ней, образно фиксирующей на своем пути истины нетривиальные, неожиданные и даже бросающие свет на будущее. Ныне — после фашизма — мы особенно чувствуем, как далек от повторения известных истин и свеж монолог, приведенный нами выше и вложенный Брехтом в уста вдовицы Бегбик.

И еще одно важное различие между старыми просветительскими художниками и современным просветителем Брехтом. Первые часто не знали, как относится общий характер, вытекающий из особенности среды, к характеру личному, они не умели соединять вместе эти составные части индивидуальности. Брехт же, отлично усвоив все, чего достигло в этом смысле искусство XIX—XX веков, делает самое отношение между разными слоями человеческой индивидуальности предметом художественного изображения.

Старые просветители не умели соединить, а потому упускали то или другое, а Брехт сознательно разделяет давно соединенное искусством, чтобы выделить и зафиксировать подчинение различных моментов индивидуальности друг другу. Так, в пьесе «Господин Пунтила и его слуга Матти» у хозяина два характера, разделенных даже во времени. Один —когда он пьян, другой— когда трезв, один— личный, другой — олицетворяющий функцию капитала, один — симпатичный, другой — бесчеловечно корыстный.

Оба характера высвобождены из своего переплетения, чтобы проблема выступила в художественно «чистом», существенном виде. Благодаря такому отделению мысль художника вовсе не становится элементарно простой, наоборот, более заметной становится ее сложность.

Есть два Пунтилы — какой из них настоящий? Какое действительное место занимает каждый из двух характеров в том целом, которое называется «Пунтила»? Является ли противоположность двух характеров только кажущейся и мнимой? Не дано ли здесь брехтовское — ироническое и «алгебраическое» решение проблемы «двойника», занимавшей литературу от Гофмана до Достоевского и от Достоевского до Томаса Манна? Не хочет ли здесь Брехт обнажить глубочайшее различие между собственно человеческим и олицетворенным? (Мысль о том, что капиталист — это олицетворение капитала, что мотивы его поведения определяются функциями и формами капитала, принадлежит к важнейшим, буквально сотни раз повторенным мыслям величайшего сочинения Маркса. А что же происходит с, так сказать, человеческим остатком в индивидуальности капиталиста?) Не хочет ли Брехт отметить, что капитализм душит и губит человеческую личность также и в капиталисте, что коммунизм — об этом однажды прекрасно сказал Энгельс,— освобождающий всех людей, освобождает даже и капиталистов? Не говорит ли Брехт, что мы должны относиться с обязательным недоверием к добрым чувствам капиталиста даже и в том случае, если эти чувства вполне искренни? Подобных вопросов можно задать еще немало. Они показывают — и это крайне важно,— что брехтовская обнаженность постановки вопроса вовсе не делает вывод однозначным: в каждой точке скрещивается множество линий, в содержании удерживается момент таинственного, возможного и возможность разнообразных интерпретаций.

Брехт отличается от старой просветительской литературы тем, что его просветительство революционно-коммунистическое. Это знание, которое не разрешается в себе самом и активизирует стремление к переделке бытия, побуждает свести окончательные счеты со своей совестью, делает бремя существующего невыносимым, а пассивность заставляет считать нравственным преступлением.

Итак, два пути реалистического изображения. Каждый из них лучше на своем месте. Один можно условно назвать путем Чехова, другой — путем Брехта. В пьесах Чехова мы все время находимся в сфере непосредственно наблюдаемой реальности, в сфере жизнеявления, а суть дает себя знать косвенно, мы угадываем ее как нечто сокровенное, проступающее через внешность обычного — нечто подспудное, подтекстное. И гений художника — в открытии форм

В. ДНЕПРОВ

РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОРАЛЬ БРЕХТА

этой косвенности, в умении обострить предчувствие невысказанного, пробудить ощущение, что какой-то глубочайший секрет жизни где-то рядом. А Брехт ставит впереди существенное отношение, начинает с точек над «i», относительно невидимое представляет видимым — и именно это в значительной мере определяет тип его образности. В реальной жизни олицетворенная и личная стороны слиты в единстве характера. Но Брехту требуется, чтобы мы увидели заключенные в этом единстве соотношения, и он превращает оба момента в самостоятельные целостности, а затем — в ходе пьесы — мы обнаруживаем, что разрыв не может уничтожить их связь, а лишь позволяет выделить и различить линии этой связи. На пути от существенного к являющемуся меньше заметен присущий искусству элемент мыслящего созерцания, а больше — присущий искусству элемент мыслящего делания, воспроизводящего реальность строительства.

3

Соответственно и постановка нравственных вопросов у Брехта — система очных ставок, беспощадно резких сопоставлений. Не то, что кажется нравственным, а то, что нравственно в последнем счете! Брехт видит, сколь разнообразно зло, но не останавливается на этом подавляющем обилии его проявлений и спрашивает: где первое зло, от которого зависят все остальные, где основа? И отвечает с присущей Брехту безоговорочной решительностью: социальное зло есть основа всякого другого зла.

О капиталистическом зле Брехт говорит не только образами гневно разящими, но также комическими. И это существенная черта всего творчества Брехта. Он умудряется не терять веселости и ясности духа, даже имея дело с ужасными явлениями жизни. Даже в кромешной тьме раздается его звонкий, победоносно-насмешливый голос. Разум, породнившийся с будущим, не может не издеваться над бессмыслицей и убожеством настоящего, сколь бы ни было оно страшно. Нет эмоции, более далекой от Брехта, чем отчаяние. Его веселость — от радости борьбы, от презрения к врагу, от чувства нравственного превосходства, от решимости ни на мгновение не теряться и не потерять себя.

Кому, кроме Брехта, могло прийти в голову представить современный капитализм в комической опере, почти «оперетке» — гениальнейшей из всех когда-либо созданных «опереток»? Мы имеем в виду блещущую разнообразием красок «Трехгрошовую оперу». Ее комизм не только в том, что изображается предприятие, капиталистически эксплуатирующее сострадание, где роль средств производства играют культи, протезы, страшные маски и т. п., комизм еще более в том, что извлекается капиталистическая прибыль из страха капиталистов перед зрелищем ими же содеянного. Вот рассуждение Пичема — истинного знатока социально-нравственной психологии: «Наконец, однако, я сообразил, что люди имущие способны сеять нужду и горе, но глядеть на них не в состоянии. Потому что они такие же слизняки и болваны, как вы. Жратвы им хватит до самой смерти, им ничего не стоит намазать полы у себя в доме сливочным маслом, так что даже крошки, упавшие со стола, и те станут у них сдобными, и все-таки они не могут со спокойной душой глядеть на человека, который падает от голода». Пичем касается темы, образующей основу «Трехгрошовой оперы» и вообще крайне занимающей Брехта, — различия лицемерного и цинического буржуазного сознания. Между этими двумя полюсами — лицемерием и цинизмом — протекает моральная жизнь буржуазного класса.

Брехт не верит капиталистам, разглагольствующим о своем хорошем нравственном самочувствии. Нет, в большинстве своем капиталисты в глубине души знают, что они преступники: они нуждаются в морали не только как норме поведения для угнетенных классов, а также как в способе укрыться от правды о самих себе. Так что рядом с лицемерием — сознательным оружием буржуазной подлости — существует еще и бессознательное, так сказать, искреннее моральное лицемерие, изученное Брехтом во многих его разновидностях. Так возникает живой парадокс и гротеск буржуазной морали: от нечистой совести свободны лишь беззаконные буржуа — преступники, вынужденные оправдывать себя всеобщей преступностью буржуазного строя, наплевавшие на всякую мораль и всякую совесть и громко провозглашающие цинические тайны господствующего зла.

Наступательная энергия Брехта поразительна. Он создает обвинительную формулу против капиталистической безнравственности и нечеловеческого существования людей, сильную, как заклинание или проклятие. Эта поэтическая формула дословно повторена в двух пьесах Брехта, а по частям встречается во многих других:

Мы просим убедительно: признайте,
Что неестественны событья эти!
Ничто естественным не надо звать
Сегодня, в дни кровавого смятенья,
И узаконенного беззаконья,
И предумышленного произвола,
И человеческой бесчеловечности —
Нельзя естественным все это звать,
Чтоб не считать все это неизменным.

Поэтому он с презреньем говорит о надеждах достигнуть нравственного благополучия в пределах капитализма: «Я против установления гармонии в свином хлеву».

Свой взгляд на зло Брехт однажды подытожил коротко и исчерпывающе:

«К а л л е. Получить прибыль можно, только пуская в ход все средства.

Ц и ф ф е л ь. То есть во всем виноват капитализм — это же банальность.

К а л л е. К сожалению, это вовсе не банальность».

4

Не страшась никаких упреков, Брехт ищет не только главное зло, но и главное добро. Он и к добру прилагает свой излюбленный метод: исходить из того, от чего зависит все остальное. Разумеется, Брехт слишком гуманный и слишком проницательный человек, чтобы не заметить различий в постановке вопроса о зле и добре. Зло — проявление «неестественного» социального жизнепорядка. Добро же — нечто в высшей степени естественное и по сути своей противоречащее всеобщей извращенности отношений. Брехт далек от того, чтобы отрицать самоцельное значение добра в личных отношениях людей. Хороший поступок сохраняет свою нравственную человеческую ценность независимо от того, как далеко он простирается; чуждое расчетам чувство справедливости сохраняет ценность независимо от того, на малое или большое оно направлено.

Но такого рода истинами, сколь они ни важны, Брехта с позиции не собьешь. Достаточно перейти от изолированного поступка к линии жизни даже одного-единственного человека — и весь вопрос делается гораздо более запутанным и сложным. Ни один серьезный писатель XX века не мог миновать вопроса о малом и большом кругах морали, об отношении и противоречиях между моралью личной и моралью общественной. Однако Брехт ставит этот вопрос коренным образом, в общей форме, не в масштабе семьи, не в масштабе данной среды, а в масштабе целой эпохи. Он глубоко убежден, что для людей нашей эпохи существует высшая нравственная обязанность, что есть Главное Добро. Оно состоит в готовности человека разрушить безнравственный и «неестественный» миропорядок, в его решимости изменить мир согласно требованиям справедливости и человечности, в его решимости подчинить свою жизнь исполнению этой задачи.

Мораль имеет не только субъективную, а также объективную сторону — она вмешивается в реальный ход дел на земле и всюду соприкасается с потоком действительности. Разве не бывает так, что люди, руководствующиеся искренне хорошими мотивами, на самом деле творят зло? От чего же это зависит?

От чего же это зависит? — как раз брехтовский вопрос.

Добро, как убежден Брехт, не разрешает останавливаться на полдороге, оно требует: иди до конца, оно обладает своей логикой, тесно связанной с логикой жизни. При этом художнику совершенно чужд подход к явлениям жизни и к человеку с точки зрения должного. Он исходит из того, что посетили мы «сей мир в его минуты роковые» и сами обстоятельства умудряются поставить человека перед лицом роковых альтернатив. В жизни, конечно, случается, что человеку удается проскочить мимо рокового выбора, но в пьесах Брехта этого не случается никогда. Как везде, он и здесь ищет завершения, к которому устремлены процессы действительности, точку, в которой они сходятся.

Брехт знает, каким трудным бывает переход из малого нравственного круга в большой и каким необходимым является этот переход в нашу эпоху. В конце концов человек вынужден принять на себя нравственную ответственность за всех, кто живет в нищете и убожестве, невежестве и угнетении. В прежние времена огромные массы таких людей были вне поля зрения, целые народы существовали лишь как названия, своя, местная жизнь могла представляться чем-то замкнутым. А сейчас приходится определить свое нравственное отношение к этим народам и к их борьбе.

Брехта занимает раньше всего не нравственное состояние, а нравственная динамика. Человек имеет нравственную судьбу, определяемую не только мерой его внутренней прочности.

Героиня пьесы «Святая Иоанна скотобоен», девушка высокой души, приходит в конце концов к моральной катастрофе и, умирая, осуждает себя.

На пьесу бросил тень гигантский экономический кризис. Ее вернее всего было бы назвать скорбной издевкой над трагедией. И форма ее, как всегда у Брехта, играет особую роль. Своими сдвигами, парадоксальными сопоставлениями и внутренними перекрещиваниями форма дает чувствовать многоплановость изображаемой сущности; последняя отражается будто в системе зеркал, дающих увидеть богатство ее граней; сущность, как почка, раскрывается в линиях и отношениях формы. Таким образом осуществляется постоянная цель Брехта: снять локальность изображаемого, показать, что социальное расширяется на все протяжение человеческого и охватывает первоосновные нравственные и философские проблемы человеческого бытия. Он везде стремится утвердить первенство социальной точки зрения, но не в роли особой и локальной, а наиболее всеобъемлющей и целостной.

Он выбирает чикагские бойни не в качестве частной сферы жизни, а в качестве соответственного образа бытия, портрета всеобщего. Герой одной из брехтовских баллад говорил, что сначала представлял себе мир в виде скотобойни. Капиталистов Брехт называет в пьесе «убойщиками людей» и «живодерами». Всеми сближающими ассоциациями он ведет зрителя к заветной, идущей через все его творчество мысли: «Голод ничем не лучше смерти».

Брехт хочет чрезвычайным осветить обычное. Чрезвычайное — продолжение обычного и разоблачение его тайны. Капитализм — быстрое или медленное убиение миллионов, и образ скотобойни, бросая свой кровавый отблеск на картину буржуазного общества, создает ассоциации, ведущие в суть дела. И еще один момент ассоциации: чтобы увидеть капитализм в его истине, нужно идти как можно дальше в область низменного.

Низменное — его специфическая сфера, его характеристическая нравственно-эстетическая категория: низменное выражает уродливую сдвинутость отношений — власть экономического мотива над всем содержанием человеческой жизни.

Однако низменное любит говорить на языке возвышенного. И Брехт находит прямую и разительную форму для выражения этого расхождения. В пьесе, где речь идет о самых жестоких, грязных делах капиталистов, персонажи говорят в манере и ритмах высокой трагедии. Персонажи надевают словесные маски. Образ реализуется ощутимым несоответствием между содержанием и формой. Выступает наружу не только гнусность практики, но и омерзительность ходового буржуазного идеализма, идеализма на службе у зла.

Мы чувствуем, какой яркий сценический эффект заключен в противоречии между формой высокого стиха и предельной вульгарностью смысла. Вообще чтение пьес Брехта требует от нас, если можно так выразиться, театрального воображения. Читая пьесы Чехова, мы воображаем их прямо как жизненный процесс, а вот действие пьес Брехта мы не можем вообразить себе, минуя театр. Это и понятно, если учесть, что Брехт по возможности укорачивает и выпрямляет путь, ведущий от сущности к форме, опуская множество реальных опосредствований.

Героиня вовсе не в насмешку получила имя Иоанны Дарк — по сходству с Жанной д'Арк. В ней есть доброта, наивная смелость, сознание высокого предназначения. В ней есть поглощенность единой целью, роднящая ее с исторической Жанной д'Арк, и нет мистической одержимости, совершенно неуместной в безнадежно прозаическом бедствии, с которым Иоанна столкнулась. Она не боится видеть мир «похожим на бойню», она решается узнать суровую правду, чтобы выступить против нее оружием доброты. В ней без всякой карикатуры представлена идея спасителя.

Героиня подлинна, а поход ее оказывается пародией. Вместо спасения — конфуз и нравственный крах героини. Иоанне дан только один путь: моральное обличение, обращение к совести, призыв к человеческому в человеке. И она идет с этим обличением и этим призывом к тому, от которого больше всего зависит,— «к мясному королю» Маулеру.

Она — с полным основанием — ждет увидеть чудовище. Но все же Маулер не только богач, он ведь еще и человек. Неужели он вполне недоступен чувству добра? Иоанна не может допустить этого и потому надеется: она убеждена, что люди и внизу и наверху остаются в каком-то конечном счете людьми, что бог дал им душу, вложив в нее моральный закон, и это где-то обязательно скажется.

Эта вера превращается в ловушку, которой пользуется Маулер, чтобы заставить чистую сердцем Иоанну содействовать его черному делу. Маулер каждый раз выполняет просьбу Иоанны, а на поверку выясняется, что сделал он именно то, что ему самому требовалось. Он скупил по дешевке скот, чтобы спасти Иллинойс и предотвратить гибель фермеров и скотоводов. И Иоанна — не только высокая, но и убогая духом — готова признать, что он при этом руководствовался идеальными побуждениями. «Во имя бога» она благодарит Маулера за то, что на самом деле является приемом взять за горло очередных конкурентов. Иоанна здесь жалка, но она еще не знает, что не только жалким, но и морально губительным станет ее заблуждение. Перед ней впервые забрезжила истина: богачи, пока остаются богачами, всегда руководствуются не человеческими, а капиталистическими мотивами, классовый водораздел есть вместе с тем решающий нравственный водораздел.

Однако трагический конфликт между добротой Иоанны и ее христианской моралью еще не вступил в решающую фазу. Брехт не был бы Брехтом, если бы не показал этот конфликт в его предельном выражении. Ведь Иоанне предстоит изжить коренную нравственную установку христианства: установку на внутреннее преображение и просветление человека, на покаяние грешного.

«Иоанна. Я вижу, деньги их, как раковый гнойник,
Забили уши им, глаза и сердце...
Несчастные калеки!
Но ведь один-то праведник быть должен среди них».

Иоанна говорит словами высокой трагедии, но и ее трагедия оказывается саморазоблачением, а не трагическим подтверждением идеи. Совершенно в духе брехтовской иронии Иоанна ищет праведность в Маулере — в самом коварном и самом опасном из всех. Брехт подводит зрителя к мысли, на которой покоится его творчество: если добрые и человечные хотят утвердить доброту и человечность не только в своей душе, но и в мире, они должны понять этот мир. В личном общении более или менее достаточно одного нравственного чувства, а на просторе социальной жизни его решительно недостаточно. Без помощи разума добро осуждено на поражение — и внешнее и внутреннее. Объединение деятельной справедливости с разумом — вот оплот.

Однако Брехт справедлив к Иоанне. Доброта толкает ее в стан угнетенных, которым Маулер отказался помочь. Тут-то и выясняется самое худшее. Люди, которым она предалась всей душой, оказываются чуждыми ей. Иоанна хотела понести слово любви во главе рабочих толп, а рабочие смотрят на нее как на блаженную. Она хочет поведать им свою правду, а ей самой впору с азов учиться жизненной правде. Она «сошла в бездну» и жаждет действовать в пользу миллионов, осужденных пребывать в бездне, но она совершенно не знает, как именно следует действовать.

«Иоанна. Неужели нет здесь людей, которые бы что-нибудь предприняли?

Рабочий. Есть такие. Коммунисты.

Иоанна. Это не те, что зовут к преступлениям?

Рабочий. Нет».

Иоанна смущена ненавистью и твердостью рабочих, но она всем сердцем за них и предлагает им свои услуги. Тут-то вожаки рабочих совершают ошибку: они верят Иоанне, полагаются на нее и дают ей ответственное поручение. Они исходят из того, что доброта и очевидное благородство Иоанны являются достаточной гарантией: «Ведь она честная?» Ведь не может же честный и добрый человек, вопреки тому, что он есть, совершить предательство? Нравственная субъективность не подведет!

К сожалению, эта уверенность оказалась неосновательной. И причина не только в том, что Иоанна, которой по плечу одноактное самопожертвование, с гораздо большим трудом переносит хроническую «стужу» — регулярное мучение, уготованное обездоленным («Обычный голод, простое замерзание»), не только в том, что она мало приготовлена к непреклонности, обязательной в борьбе с хозяевами. Дело еще в том, в какой мере исключена возможность нравственно обмануться. Рабочие из громадного опыта знают, с кем имеют дело, они знают наверняка, что капиталисты руководствуются выгодой или страхом, а не какими-либо нравственными мотивами. Хор рабочих, ждущих у ворот запертых скотобоен, с полной ясностью высказывает это:

Как бы ни росла нужда.
Они не откроют, пока не возрастет их прибыль.
Если вы ждете ответа,
Будет вам дач ответ
Из пушек и пулеметов.
Никто не поможет нам — только мы сами,
Никто не откликнется —
Только свои.

В этом недоверии — истина столь же простая, сколь и глубокая. Если речь идет об отношениях между классами, а не между лицами, капиталисты не только зло, а даже и добро совершают только из выгоды или из страха. Петля христианской морали захлестнулась и задушила добродетель Иоанны. Тому, кто рассматривает «человеческое» в отделении от «классового», всегда грозит моральное падение. В момент классовой схватки, когда борьба становится высшей — в том числе и нравственно высшей — обязанностью рабочих, Иоанна покидает лагерь угнетенных. Гимн борьбы звучит в ее ушах диссонансом ужаса. «Уйду отсюда. То, что творится насилием, не может быть хорошим». Ее пугает *насилие, порождающее насилие».* (Курсив наш.— *В. Д.*). Рабочий, вступивший в битву, кажется ей одновременно «гонимым и гонителем». В насилии угнетенный «потерял бы себя», и призыв «бейтесь!» возмущает ее: «не насилием, нет, победите разруху». Самая мысль о насилии кажется ей «холодной и страшной».

Так благородная Иоанна становится предательницей и наносит удар в спину людям, которым горячо сочувствовала. Так становится она на деле помощницей насильников. Иоанна бежит сквозь снежную метель, и со всех сторон доносятся к ней голоса нестерпимого горького упрека: «Ты могла порученье исполнить, но могла и предать нас. Что ты сделала?» Иоанна видит, как тащат в тюрьму лучших защитников рабочего дела,— неужели она с теми, кто посылает их в темницу? Теперь она, «потерявшая себя», особенно чувствует моральное величие революционеров, посвятивших себя заботам «о хлебе для чужих людей»,— «до срока погибнут они, их убьют, растопчут и зароют с позором».

Доброта Иоанны — подлинное благо, и весь вопрос именно в том, как до конца остаться верным этой доброте. Путь Иоанны дает ответ на вопрос. Уйдя в стан обездоленных, она оставалась верной себе, и совесть подтверждала это. Но когда из брезгливого отвращения к неизбежному насилию Иоанна отвернулась от угнетенных и их борьбы, она изменила не только им, но также и самой себе, и совесть беспощадно казнила ее. Если речь идет о счастье и несчастье многих, о счастье и несчастье всех, тогда добрым остается лишь то, что согласуется с делом справедливой переделки мира. То же, что этому величайшему из человеческих дел противоречит, становится моральным злом, какими бы прекрасными субъективными мотивами человек ни руководствовался.

Эту аксиому революционной морали Брехт защищает на всем протяжении своего творчества.

5

В пьесе «Добрый человек из Сезуана» Брехт сознательно не доводит до конца синтез художественных форм. Они не сливаются неразличимо, между ними сохраняется как бы зазор, и мы чувствуем также их несоединимость из-за глубокой противоречивости содержания. Сказка, где все возможно, окутывает содержание, уясняющее невозможность всего естественно человеческого. Лирический элемент, соединяясь с эпическим, остается вместе с тем чуждым ему. За локальными, буднично экономическими явлениями открывается широкий философский простор. Трагические вопросы решают люди, а боги представлены фигурами чисто комическими — рядом с драмой людей клоунада бессильных богов. От людей кое-что зависит, и они имеют основания быть серьезными, а от богов не зависит ничего, и им позволено валять дурака. Внутренние трудности доброго дела Шен Те представлены ее раздвоением, и психологически неуловимо, как нежная душа Шен Те могла произвести делового, жесткого Шуи Та. Отношения между замыслом и формой обнажены, как в гоццевских «Капричос». Обычный комплимент: форма так органична, что исчезает ее сделанность,— в данном

случае неуместен. Формальные контрасты и стилевые парадоксы скрывают в себе важные идеи автора, и зритель должен видеть, как сделана вещь, чтобы понимать ее мысль не упрощенно, а во всем богатстве. В способе, каким соединяются формы, высказаны ирония, сарказм, издевка, скорбь и возмущение автора.

Обычно в пьесах истина и наше знание о ней возникают постепенно из слов и поступков действующих лиц. Не то в пьесах Брехта. Автор сразу выступает в качестве знающего и нисколько этим не смущен. Не смущен и зритель, ибо пьеса оказывается не иллюстрацией провозглашенной истины, а ее развитием. Знание выступает как проблема, подлежащая решению, либо в виде более или менее отвлеченного суждения, которое углубляется и проверяется в сложнейшем «эксперименте», именуемом человеческой жизнью. При этом определяются не только новые грани истины, но также ее мера и условия ее применимости — все то, что облегчает ее использование в качестве орудия революционного действия.

В прологе «Доброго человека» третий бог говорит: «Постановление гласило: *мир может оставаться таким, как он есть,* если найдется достаточно людей, достойных звания человека». (Курсив наш.— *В. Д.*). Здесь формулируется своего рода нравственный критерий права на существование: строй человеческой жизни, в котором не может жить добрый и достойный человек, подлежит уничтожению.

Невозможность остаться верным доброте Брехт доказывает со строгостью математической теоремы. Сетование насчет безнравственности бедных и угнетенных, точно также как требование от них морального самопожертвования, Брехт считает выражением буржуазной подлости. Это ясно сказано в чудесном, истинно поэтическом первом разговоре Шен Те с богами: «Остановитесь, мудрейшие, я совсем не уверена, что я добрая. Правда, я хотела бы быть такой, но как же тогда с платой за комнату?»

Конечно, реальная Шен Те вряд ли способна так говорить. Однако здесь лишь переведено на язык сути — с неизбежной примесью брехтовской иронии — то самое, что она могла и должна была бы сказать. Оттого сохраняется живая интонация, интимность в обращении со всеобщей истиной. Этот единственный сдвиг от быта к его осознанию, личный характер общего высказывания составляет необходимую черту брехтовской поэзии — черту, родственную поэзии Горького, выслушавшего так много упреков за философствование его людей из народа.

Боги, прощаясь, желают Шен Те оставаться доброй. Она испугана: «Но я не уверена в себе, мудрейшие! Как мне быть доброй, когда все так дорого?!» Боги в смущении. Им нельзя вмешиваться в стихийный экономический процесс, но в данном случае приходится сделать исключение, чтобы Шен Те могла сохранить доброту и тем самым подтвердить право их мира на существование. Они не слишком расщедрились, но подаренную ими сумму Шен Те никогда не могла бы заработать.

Доброта не выбирает, она откликается на боль и нужду, кому бы они ни принадлежали. Эта терпимость, присущая добру, становится для него опасной в мире, где худшие поспевают раньше лучших. Люди, хотя и несчастные, но быстрее смекающие выгоду, занимают место тех, кто более всего достоин помощи, они эксплуатируют доброту Шен Те, как эксплуатируют рудник, используя еще одну возможность жить за чужой счет. Независимо от воли Шен Те значение ее добрых поступков извращается, получается совсем не то, чего она хотела, а то, что навязано законами и отношениями действительности. Существенно и то, что личная доброта не заключает в себе меры. На каком внутреннем основании может Шен Те отказать следующему голодному и еще следующему? Возникает неизбежное противоречие между принципом доброты и конечностью ее ничтожных материальных ресурсов. Раздать все значит ликвидировать самую возможность накормить голодного. Или не дать? Или быть черствым ради сохранения этой возможности?

Великие художники рассказали нам, как легко наглые дельцы объегоривают совестливых добряков, эксплуатируя их первоначальную склонность доверять людям и уважать их. Однако Брехт хочет пойти дальше этой истины. Он хочет показать, что добрый человек, способный разгадывать обман и действовать целесообразно, все равно гибнет. Разделяя одно лицо на два: Шен Те, послушную лишь голосу безотчетного нравственного чувства, и умеющего считаться с обстоятельствами сухого Шуи Та, Брехт хочет высказать истину более важную, чем та, которая заключается в правдоподобии.

Образ Шен Те выписан Брехтом особенно легко и бережно — блик прекрасного среди безобразной действительности, и Брехт жаждет видеть ее счастливой. Но правда состоит в том, что «спасти» Шен Те может лишь то, что должно в нравственном отношении ее погубить. И неизбежность крушения доброго дела не должна быть затемнена милым легкомыслием и благородной нерасчетливостью Шен Те. Пусть отцепившийся от нее двойник будет, вопреки вероятности, практичен и решителен,— тем очевиднее станет, что положение доброй Шен Те безнадежно, что деловитость на почве злого мироустройства непременно перерождается и вырождается. Шен Те поступает хорошо, Шуи Та — как нужно, и чем дальше, тем больше «хорошо» и «нужно» отодвигаются друг от друга.

Водонос Ванг получит пенсию за израненную руку лишь в том случае, если люди, видевшие избиение, засвидетельствуют то, что было. Они отказываются сделать это: страшно выступать против богатых. И в этот момент доброта Шен Те переходит в возмущение и гнев. Шен Те возмущена не только бесчеловечностью унетателей, но

и кротостью, трусостью, разъединенностью угнетенных.

Насильник ходит меж вами и выбирает жертву,
А вы говорите:
Он пощадит нас,
Потому что мы покорны.
Что это за город? Что вы за люди?
Если городом правят несправедливо — он должен восстать.
А если не восстанет — пусть погибнет в огне
Еще до наступления ночи.

И если тот, кто видел, отказывается свидетельствовать, то засвидетельствует она — невидевшая Шен Те. Лжесвидетельство? Пусть! Только раб может в таком положении отстаивать букву морали.

Брехт говорит нам: есть ариаднина нить добра, и она ведет доброго человека к справедливому возмущению. Наступает такой момент, когда именно доброта толкает человека к борьбе, когда несовместимость доброты с основами существующего мира делается очевидной. Величие добра не только в прекрасной непосредственности его проявлений, но также в верности себе, заставляющей доброго человека доходить до последних решений. Доброта родственна сознательности, ибо в ней прообраз будущих отношений между людьми, и в своем высшем развитии она является не слабостью, а силой угнетенного человека.

В свете этой — кровно брехтовской — идеи становится более ясной роль двойника — Шуи Та. Шуи Та хочет обеспечить успех доброго дела Шен Те на почве существующего злого мира, приспосабливаясь к нему, оставаясь в его моральных границах. Он не только уравновешивает добро Шен Те своим злом, он разрывает ариаднину нить добра и закрывает Шен Те светлую дорогу к восстанию; он не только поправляет Шен Те, он от нее отрекается.

Сцена отречения характерна для искусства Брехта. Выразительность достигается не столько интенсивностью красок, сколько полнотой выявления и фиксирования всех моментов отношения между Шен Те и ее двойником. Вторая половина благородной Шен Те становится подлой!..

То, что было для Шен Те высшим долгом и ради чего она готова была идти на клятвопреступление, Шуи Та отбрасывает в сторону как досадную помеху.

«Полицейский. Ваша кузина, говорят, видела, как цирюльник Шу Фу ударил щипцами водоноса. Вам это известно?

Шуи Та. Я знаю только, что моей кузины *не было на месте,* когда произошло *это маленькое событие*». (Курсив наш.— *В. Д.*)

Вангу остается сослаться на торжественное обещание Шен Те. И тут новый подлый удар Шуи Та: «Я убежден, *вы* не потребуете, чтобы *она все потеряла, дав ложные показания*». (Курсив наш.— *В. Д.*) Но ведь именно Шен Те послала Ванга к судье! Шуи Та: «Разве дело судьи лечить руку?» Тут вмешивается полицейский и разъясняет, что судья мог заставить богатого Шу Фу возместить ущерб. Шуи Та: «Господин Ванг, один из моих принципов — не вмешиваться в споры моих друзей (кланяется господину Шу Фу)». Кланяется тому самому Шу Фу, который искалечил лучшего из людей. Но Брехту и этого мало, ему нужно, чтобы наша боль дошла до предела: он заставляет Шуи Та просить у гнусного Шу Фу извинения за этот инцидент. Вот какой ценой вынужден Шуи Та обеспечивать осуществление благих намерений Шен Те.

Восстать на существующий мир — и тем самым остаться верным добру. Приспособиться к существующему миру — и тем самым изменить добру. Такова, по Брехту, решающая нравственная альтернатива.

6

Мы лучше поймем, как и почему формируется моральный антагонизм внутри Шен Те, если обратимся ко второму сюжету «Доброго человека». В основе этого сюжета лежит вопрос, занимавший Брехта на всем протяжении его творчества.

Неужели истинная мораль велит человеку искоренить в себе естественную жажду счастья, неужели истинная мораль — мораль страдания? Против такого взгляда Брехт протестовал всеми силами души. Христианская мораль страдания доказала свое бессилие и нисколько не потревожила зло в его логове. В ней отразилась эпоха, когда личные интересы громадного большинства людей не могли быть согласованы с задачами исторического прогресса, эпоха, когда добро еще не могло восторжествовать. Зачем, говоря о любви к человеку, исключать любовь к себе? Ведь и в этом случае речь идет о любви к человеку. По-видимому, вся суть в том, мешает ли любовь к себе любить других людей или, напротив, влечет к солидарности, к братской связи с ними. Ведь мораль, пренебрегающая личными интересами, осуждена навсегда оставаться благим пожеланием, если дело идет о превращении добра во всеобщую норму человеческих отношений. И допустимо ли стремление угнетенных к лучшей жизни приравнивать к эгоизму угнетателей?

Говоря об этих взглядах Брехта, невольно думаешь, как органичен его приход к марксизму. Брехт — марксист по призванию. Марксизм у него — насквозь личная точка зрения, вырастающая из активного отношения к жизни, из последовательности реализма, идущего до последних выводов и презирающего самообманы, из потребности к действенной истине и отвращения к ленивой созерцательности, из силы ненависти к господам, из трезвости и глубины сочувствия к угнетенным. Замечательно, что своими художественными путями Брехт приходит к той самой постановке вопроса о личном и общем интересе, которую дал Маркс.

В. ДНЕПРОВ
РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОРАЛЬ БРЕХТА

Ленин писал, что коммунистический труд — «труд, даваемый без расчета на вознаграждение, без условия о вознаграждении, труд по привычке трудиться на общую пользу и по сознательному (перешедшему в привычку) отношению к необходимости труда на общую пользу...»[1] Со своей стороны, общество берет на себя всю полноту заботы о всех без исключения людях, создавая такую меру свободы для всех без исключения личностей, которая не снилась даже самым смелым мечтателям прошлого.

Этого еще нет. Но указания именно на это будущее живут в нашей действительности. У нас впервые объективный закон истории делается помощником совести. Моральное состояние и моральный уровень личности получают непосредственно общественное значение. Любое зло оказывается помехой в развитии всего социального целого. Не отвергать личный интерес, а перевоспитать его — такова одна из великих заповедей коммунистической морали. Не легко подобрать слова, чтобы с должной силой выразить, насколько кровной, своей, близкой сердцу была эта заповедь для Брехта. Она образует сквозной мотив в его творчестве и с особой открытостью высказана в «Разговорах беженцев»— диалоге в манере Дидро.

Привилегированные «любят поговорить о низменности материальных радостей и советуют низшим классам не погрязать в них». Для Брехта, напротив, стремление голодных и обездоленных к жизненным радостям — благородная сила, заслуживающая всяческой поддержки. В знании возможных наслаждений Брехт, со свойственной ему шутливой серьезностью, усматривает своего рода просвещение для угнетенных. «Простое описание различных сортов сыра, составленное наглядно и со знанием дела, или художественно прочувствованное изображение натурального омлета несомненно имело бы *воспитательное воздействие.* Наваристый мясной суп отлично сочетается с гуманизмом». (Курсив наш.— *В. Д.)* Мысль Брехта более тонка и глубока, чем кажется с первого взгляда. В ней резко отмечено антиаскетическое направление брехтовской морали, в ней высказалась мораль, в которой добро соприкасается с полнотою человеческого счастья и удовлетворением. И в ней есть момент, получивший сейчас особо злободневное значение. Можно представить себе, как весело издевался бы Брехт над философами и психологами, усматривающими главную беду нашего времени в чрезмерном потреблении рабочих классов и их чрезмерном стремлении к «потреблению». И с каким презрением говорил бы он о тех, кто готов обменять революционную перспективу и великое будущее трудящихся на дешевый автомобиль, телевизор и квартиру, оплаченные десятилетиями долговой кабалы и вечной тревогой стоящего под угрозой существования. «Потребление» эксплуатируемых становится их омещаниванием лишь тогда, когда идет в ущерб революционности, но оно же становится человеческим прогрессом, если тесно и внутренне связано с революционной борьбой трудящихся.

В своем неудержимом стремлении к правде Брехт и с доброты сдирает позолоту и глянец. И вовсе не потому, что не способен воспринять доброту как поэт. Напротив, в его отношении к «доброму человеку» есть замечательная подлинность. Художник, создавший Шен Те с ее беспечной отзывчивостью и моральной грацией, создавший Груше, героиню «Кавказского мелового круга»,— светлую, надежную, воплощающую ту доброту, которую Брехт ценил превыше всего,— доброту материнскую, создавший немую Катрин, робкую, не знавшую радости и геройски погибшую,— такой художник не заслуживает упрека в моральной суровости или бесчувственности. Но у Брехта на языке всегда горечь мира, и ни о чем — в том числе о доброте — он не умеет говорить безмятежно. Из произведений Брехта легко составить целый сборник на тему: «Доброта доброте рознь, или Критика доброты».

По всей и всяческой справедливости труженики не имеют основания быть добрыми или терпимыми к тем, кто их грабит и убивает.

Брехт не хочет, чтобы продолжал существовать мир, в котором жадные и наглые, подобно голодным волкам, рвут добрых на куски, лакают их кровь, пожирают их силу и жизнь. Он не хочет, чтобы продолжал существовать мир, в котором личная польза миллионов приносится в жертву «общественной пользе».

«К а л л е. ...Лозунг «Общественная польза выше личной» следовало бы изложить так: «Стремясь к пользе для себя, человек не должен использовать для этого другого человека или *всех* людей, наоборот, *все* люди должны использовать...» А теперь потрудитесь сказать, что они должны использовать?

Ц и ф ф е л ь. Да вы, оказывается, логистик и семантик. Берегитесь, это опасно. Будет вполне достаточно, если вы скажете: общество должно быть устроено так, чтобы то, что идет на пользу одному, шло на пользу всем. Тогда не нужно будет больше ругать эгоизм...». Личная польза нравственно правомерна, и ничтожна мораль, подавляющая в угнетенных жажду жизни и ее полноту. Со свойственной ему парадоксальной иронией Брехт выражает это так: «Жажда удовольствий — одна из высших добродетелей. Там, где ей приходится туго или вообще в ней видят порок,— там что-то подгнило».

7

Так что Брехт меньше всего склонен отождествлять доброту с самопожертвованием — он отвергает святость. Добрый человек вовсе не святой, забывающий о себе. К тому же Шен Те стремится к наиболее доб-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 315.

рому счастью — счастью любви. Ей не нужны вещи и удобства, она хочет не брать, а давать, ее счастье—делать счастливым того, кого любит. Ведь для нее, узнавшей пытку проституцией, любовь к мужчине — истинное душевное возрождение. Встреча Шен Те с летчиком Суном — проникновенная лирическая страница мировой поэзии. Исполненное робкой неги воркование Шен Те — познавшей лишь грубую и грязную изнанку страсти — по-настоящему трогательно. Момент зарождения любви не в девичьей душе, не в расцвете прекрасной женственности, а в душе истерзанной и покрытой рубцами. Неужели же бедняжке Шен Те не позволена такая неожиданно чудесная, такая окрыляющая любовь? Неужели же такая любовь должна вступить в противоречие с добротой Шен Те?

По-брехтовски резкая постановка вопроса. Но Брехт идет еще дальше — к такой остроте, которая не дает зацепиться за ненавистные художнику полуистины. Он вовлекает в нравственный конфликт также и материнское чувство.

Любовь мужчины и женщины играет в сочинениях Брехта заметно меньшую роль, чем привязанность матери к своему ребенку. В сфере личного чувства Брехт является по преимуществу поэтом материнской любви. Его свободная переделка «Матери» Горького объясняется не только сознанием исключительной важности этого произведения, но и тем, что Брехту в высшей степени доступна красота материнства, соединяющего воедино природное и человеческое, телесное и духовное, настоящее и будущее. Для него материнство — достойный символ трагического величия нашей эпохи.

Мораль реализуется в индивидуальности, а где индивидуальность — там и случайное. Художник должен уловить равнодействующую случайностей, зацепляющихся друг за друга и действующих совместно. О такой равнодействующей, правда в сфере экономической, говорил Ленин в своих исследованиях, посвященных развитию капитализма. Случайности вроде пожаров, неурожаев, болезней, наводнений содействуют основному историческому процессу: богатый делается еще богаче, бедный — еще беднее. И для нравственной сферы капиталистический уклад жизни создает случайности-ловушки, случайности-подножки, которые заставляют доброго человека спотыкаться и падать, которые в своей совокупности толкают его нравственно подчиниться буржуазным отношениям. Это остается верным и тогда, когда речь идет о счастливых случаях. Разумеется, эти последние больше всего интересуют Брехта — тут уж нет ни малейшей возможности отвертеться от вывода. Поэтому он щедрой рукой вносит благоприятную случайность в историю Шен Те — она может спасти добротой «смелого человека», она полюбила его. Это переворот в душе Шен Те, и она удивительными словами говорит о мире, ставшем вдруг светлым:

«Шен Те (публике). Я никогда еще не видела города ранним утром. В эти часы я лежала всегда, накрытая с головой грязным одеялом, оттягивая ужас пробуждения. Сегодня я шла среди мальчишек-газетчиков, мужчин, поливающих водой асфальт, тележек со свежими овощами из деревень. Я прошла длинный путь от квартала Суна до своего дома, но с каждым шагом мне становилось веселей. Я всегда слыхала, что, когда любят, витают в облаках, но ведь самое чудесное, что идешь по земле, по асфальту. Поверьте мне, дома в ранние утренние часы похожи на зажженные костры из щебня, когда небо уже розовое, но еще прозрачное, потому что нет пыли». Всякий, кому пришлось быть глубоко несчастным и кто познал в это время невыносимую тоску пробуждения, засвидетельствует поэтическую точность монолога Шен Те и оценит все значение ее утверждения: «Сегодня я беспечна».

Брехт сделал для Шен Те все что мог. Он озарил ее жизнь надеждой и любовью. Но он не может освободить ее от необходимости горько расплатиться за это, ибо поведение летчика Суна не выпадает из нравов капиталистического общества.

Суну требуются пятьсот долларов, чтобы добыть место через взяточника. Ради этого Сун не поколеблется ограбить и погубить Шен Те, используя во зло ту самую ее доброту, которая вчера спасла его от петли. Он говорит: «Мне нужны деньги — сейчас или никогда. И девушка не принадлежит к тем, которые долго задумываются, когда нужно что-нибудь отдать». Вот оно: если начинается борьба, тогда доброта — незащищенное место, через которое проникает нож убийцы. А любовь Шен Те — это гибель наверняка.

И тут сам Брехт не может не вмешаться в действие, и мы слышим его голос, похожий на крик боли, сострадания и ярости: «Времена ужасны, этот город — ад, но мы карабкаемся вверх по гладкой стене. И вдруг кого-нибудь из нас постигает несчастье — любовь. Этого достаточно, все погибло. Малейшая слабость — и человека нет... Но скажите, можно ли вечно быть начеку? Что это за мир?»

Сцена свадьбы во всей ее унизительности, нелепости и безобразии должна со всей очевидностью показать условия задачи: сохранить остатки счастья можно, лишь отдав любовь на службу бесчеловечной грязной сделке. Такова цена любви для добрых — по беспощадному брехтовскому прейскуранту.

«Шен Те (публике). Он плохой человек и хочет, чтобы я тоже была плохой». Приходится выбирать между добротой и любовью, и Шен Те выбирает доброту. Она выбирает доброту, но противоестественность отречения от того, что само в себе прекрасно и естественно, надрывает ей душу — лишение громадно, и она уже не та, какой была раньше. Иррациональность противоречия очень ясно определяет водонос Ванг: «Она не нашла счастья в любви, по-

---

тому что следовала заветам о любви к ближнему». Мысль Брехта гораздо сложнее и глубже, чем кажется. Он ведет нас к парадоксу добра в эксплуататорском обществе: здесь быть вполне добрым можно лишь при отказе от себя, лишь за счет своих лишений и страданий. Тем самым доброта включается в отношения злого мира: тот, кто пользуется добротой, пользуется ею за чужой счет. И еще один важный момент брехтовской мысли. До чего же печальна судьба добра, обреченного зависеть от наличия святых!

Наконец, приходит решающее испытание, испытание материнством. «О счастье! Во мне зарождается человек... Мир ожидает его втайне». Взрыв радости, близкой всему доброму и хорошему на свете.

Как соблазнительно быть щедрым!
Как хорошо быть приветливым!
Доброе слово
Вырывается как вздох облегчения.

Но еще через мгновение сияние гаснет, яркий мир внезапно тускнеет, и сила, которая только что вела к добру, направляется ко злу.

Иван Карамазов говорил, что страданий одного невинного ребенка достаточно, чтобы осудить бога. В новом виде этот вопрос стал перед Шен Те: оставаться ли доброй, если из-за этой доброты будет страдать ее детеныш? Она видит голодного ребенка, который шарит в помойном ведре. Показывая на его серый ротик и «потрясенная участью бедняков», Шен Те «клянется никогда не относиться к своему ребенку с такой бессердечностью». Даже если ей ради этого нужно будет пожертвовать своей добротой. Вот какой дьявольской диалектикой опутал злой мир добрую Шен Те. Раньше Шуи Та отрекся от мягкосердечной Шен Те, теперь же сама Шен Те отрекается от себя в пользу жестокого Шуи Та.

Теперь все, кто знал или любил Шен Те, больше не находят ее. Теперь перед ними всегда расчетливый эксплуататор Шуи Та.

Брехт хочет сказать зрителю: живя в капиталистическом обществе, ты не можешь выбрать путь доброго человека. Не потому, что твоя доброта вызывает сомнение, а потому, что путь этот закрыт. Чисто морального выхода не существует даже и для отдельного человека. Конечно, не исключена такая редкая и прямо-таки удивительная возможность, что тебя минует чаша зла и ты обойдешься без постыдных моральных компромиссов и уступок. Но это наверняка случится лишь тогда, когда другие — пусть без твоей воли, но за себя — сполна выпьют чашу и выкупаются в грязи моральных компромиссов и уступок. Неужели же такая форма нравственного благополучия тебя устроит? Твоя доброта — благая сила, бесконечно нужная людям. Но в злом мире доброта имеет единственно естественное продолжение и завершение: возмущение против мироустройства, в котором господствует зло. Лишь возмутившись и вступив в борьбу, ты можешь остаться верным своей доброте.

Достойно внимания, что гибель как судьба доброго человека стала сюжетом у многих художников современного капиталистического общества — разных по таланту, по материалу и подходу к явлениям жизни. Добрый человек по неизбежности гибнет у Грина, у Феллини, у Стейнбека, у Апдайка, у Брехта. Разные страны, разные способы художественного исследования, разные миросозерцания авторов, а результат в чем-то существенном — одинаков. Мы присутствуем здесь не только при рождении особого сюжета с присущими ему движущими коллизиями. Многообразие проверок и художественных путей убедительно свидетельствует, что в этом сюжете отразилась объективная, жизненная закономерность, выделенная и постигнутая искусством с такой же мерой доказательности, какая свойственна подлинно научным истинам.

8

Повторяем: мать стала для Брехта символом трагического величия нашей эпохи. Мать связывает воедино тех, кто борется, с теми, кто ждет. Мог ли Шостакович в своей Седьмой симфонии не сказать о горе матерей? Есть ли подвиг выше, чем подвиг матери, посылающей на справедливую войну своего детеныша? Подвиг горьковской матери, подвиг брехтовской Терезы Каррар, матери Чапека. Сфера материнского чувства настолько расширилась, что в нее вошли острейшие коллизии времени. И вместе с тем материнство для Брехта — последнее испытание моральной силы и моральной ценности. То, что очаровательная Шен Те не могла остаться доброй за счет мучений своего ребенка, является для Брехта исчерпывающим доказательством непосильности ее моральной ноши. А то, что Тереза Каррар сама отдает винтовку сыну,— высшее моральное подтверждение его дела: если мать не примет эту — не имеющую равных — муку, она перестанет быть человеческой матерью.

Вопросы классовой морали Брехт решает в связи с темой материнства. Разумеется, Брехт отлично знает, что и богатые матери могут быть и бывают настоящими матерями, готовыми всем пожертвовать для своего ребенка и вынести ради него все. Однако и в эту священнейшую область он решается войти с классовым критерием. В господской среде — это засвидетельствовано всей мировой литературой — себялюбие и собственничество чаще ограничивают беззаветность материнского чувства, чем в среде трудящихся. Классовое чванство извращает даже привязанность матери к своему ребенку, и угнетенные по самому жизненному положению своему более способны к высокой материнской преданности. Такое сопоставление кажется Брехту существенным для оценки моральных возможностей угнетающих и угнетенных классов — ведь для него испытание материнством является решающим, «предельным» моральным испытанием. Читатель, который ищет поверхностной сложности, может упрекнуть Брехта в на-

ивности за такое сопоставление, однако наивными представляются замыслы Брехта лишь в самом начале, пока художник не приступил к их развитию.

«Кавказский меловой круг» по праву следует назвать эпической поэмой материнского чувства. Здесь форма драмы вплотную приблизилась именно к поэме. Большая эпическая дорога, по которой все дальше уходит Груше, спасающая чужого — ставшего своим — ребенка. Происшествия располагаются на привалах, на ночевках, в различных местах бегущей все дальше эпической дороги. В незабываемой брехтовской постановке «Кавказского мелового круга» вслед за эпизодами, вмещающими события, мы видим опять и опять нескончаемую дорогу с темным силуэтом устало бредущей и непреклонной Груше — это создает не только сценический ритм, но и ту поэтическую непрерывность, которая свойственна эпосу.

За простотой скрывается глубокое, затрагивающее суть дела остроумие. Не только труд и создание всех вещей переложили господа на плечи угнетенных, они нередко перекладывают на них даже и бремя тех человеческих чувств, от которых сами желали бы уклониться. Они вынуждают не только работать за себя, но даже и чувствовать за себя — мысль чисто брехтовская! По убитому губернатору скорбит не его жена (у нее есть имя «Нателла», но Брехт не снисходит до того, чтобы звать ее по имени, и везде пишет «жена губернатора»), а простая женщина, которая гнула на него спину. «Даже оплакивать их мертвецов должны за них другие». Эта фраза дает нить, идущую через внутренние ходы пьесы. Не только оплакивать «их» мертвецов должны за них другие, но случается так, что и любить «их» детей вынуждены «за них» другие.

Раздвоение: сын — наследник и — просто сын. Наследника обожают, а на долю «просто сына» почти ничего уже не остается. И в тот момент, когда не стало больше сына-наследника, а присутствие «просто сына» грозит опасностями, испаряются всякие следы материнской привязанности. «Жена губернатора» отлично умеет избавляться от балласта невыгодных чувств.

И вот знатная и богатая мать подкидывает своего ребенка беднякам. И бедняку, хранящему в своей душе заветы человечности, не остается ничего другого, как принять на себя не только заботы о брошенном княжеском отпрыске, но и все связанные с этим опасности. «Нянька просила меня подержать»,— только с этого все началось, и этого оказалось достаточно: неужели же бросить теплый, живой, прижатый к сердцу комочек? Груше пытается, внимая голосу благоразумия, уйти от ребенка, но из этого ничего не получается: «Страшен соблазн творить добро». Груше осталось лишь полюбить чужого младенца как своего и вынести все, на что обрекает ее эта любовь.

Завершается пьеса стародавней легендой, по-брехтовски перевернутой: настоящая мать оказывается ненастоящей, а ненастоящая — настоящей. Человеческое может стать более «кровным», чем само кровное. «Вечночеловеческое» только кажется неподвижным: его составные моменты остаются теми же, а их отношения, их структура — новые. Отделяя связанные моменты человека (в данном случае моральное и кровное в материнстве) друг от друга, заставляя их жить самостоятельно и даже противопоставляя их друг другу, Брехт как бы раздвигает, укрупняет структуру, дает увидеть ее — обычно неразличимо слитную — невооруженным глазом. Благодаря этой художественной абстракции, разделяющей неразделимое, Брехт дает увидеть то, что в недрах сущности бывает невидимым. Элементарное, как это часто случается у Брехта, граничит с самым глубоким, и это соприкосновение является важной особенностью брехтовской поэзии.

Мы слышим в «Кавказском меловом круге» припев музыкантов:

Да, и в скверные времена
Есть хорошие люди.

Этот факт крайне интересует и волнует Брехта. В неподатливости хорошего человека, в его способности идти до конца Брехт слышит многозначительное обещание для общечеловеческого будущего. Но не меньше его волнует и мера порчи человеческой натуры в «скверные времена». Подобно тому, как высоту добра он измерял материнством, так же материнством он измеряет и то плохое, что случается с человеческой душой.

В пьесе «Мамаша Кураж и ее дети» Брехт критикует не господ, а трудящихся и обремененных. Это не критика, проникнутая ненавистью, а критика, проникнутая одновременно негодованием и сочувствием. Это форма любви, но любви гневной — той самой, что внушила Чернышевскому печальные слова о рабе, сидящем в русском человеке, или Карлу Либкнехту слова о предательстве немецких рабочих. И когда Каутский стал защищать немецкий пролетариат от упреков Либкнехта, Ленин ответил Каутскому так: «Обвинение это выражает *ясное сознание* того, что немецкий пролетариат совершал предательство русской (и международной) революции, когда душил Финляндию, Украину, Латвию, Эстляндию. Обвинение это направляется прежде всего и больше всего не против *массы*, которая всегда забита, а против тех *вождей*, которые, подобно Шейдеманам и Каутским, *не исполняли* своего долга революционной агитации, революционной пропаганды, революционной работы в массах против их косности, которые действовали фактически *наперерез* революционным инстинктам и стремлениям, всегда тлеющим в глубине массы угнетенного класса»[1]. Бывают исторические ситуации, когда революционер обязан выступить с

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 302—303.

В. ДНЕПРОВ
РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОРАЛЬ БРЕХТА

суровыми и открытыми упреками по адресу тех самых угнетенных масс, чьи интересы и чье дело этот революционер защищает. В такой ситуации находился Брехт к моменту создания «Мамаши Кураж».

Можно представить себе, как терзал Брехта вопрос: что стало с немецким рабочим классом? Он лучше, чем кто бы то ни было, чувствовал, до чего замучены немецкие рабочие безработицей, неустойчивостью существования, голодом и нищетой. Он отлично знал виновников этого голода и нищеты, знал мучителей и от всей души ненавидел их. Брехт понимал также, что фашистский террор отрезал немецких рабочих от всех источников революционного просвещения, что террор истребил лучших людей, а остальных утопил в потоке мутной лжи. Но как бы ни было, если рабочий мирится с шовинизмом оттого, что производство оружия создает высокую экономическую конъюнктуру, уничтожающую безработицу и повышающую заработки,— это ужасающее падение, падение классовое, падение моральное, падение человеческое.

Отсюда родилась самая трагическая пьеса Брехта. Дьявольская сделка представлена во всей ее страшной сути. То, что в исторической действительности могло быть разновременным или раздробленным, здесь сжато в одной точке и доведено до предела. Война кормит, война — кормилец. Но война кормится трупами детей — детей тех самых людей, которых она кормит. Нищенская сытость, возможность «дела»— в обмен на труп моего ребенка! И Брехт со свойственным ему бесстрашием идет до конца: сама мать, выносившая детей в своем чреве, родившая их, вырастившая их, живущая ради них, фактически отдает их войне — бессмысленной, чудовищной, безобразной, кровавой войне. Образ поистине шекспировской мощи.

История постаралась обобщить значение этого брехтовского образа, далеко выходящего за рамки специфических немецких условий. «Мамаша Кураж» в неменьшей степени — пьеса о современной Америке. Разве не говорит она об американских рабочих, одобряющих вооружения из-за того, что они повысили «занятость», а затем получающих гробы сыновей из Вьетнама? Разве не делает она наглядным человеческий ужас того, что подготовка к войне стала при современном капитализме условием существования миллионов людей?

Подсчитано, что монополии получают в среднем 2—2,5 миллиарда долларов прибыли за каждый миллион убитых на войне,— будущие историки с содроганием будут рассказывать об этом жутком бизнесе капитализма XX века. Однако капиталисты шлют умирать в первую очередь не своих, а чужих детей. Разумеется, и мамаша Кураж хотела бы обойтись чужими, сохранив своих. «Пусть другие в солдаты идут, а своих не пущу». Не тут-то было. И дело не только в том, что принадлежащая к низам общества матушка Кураж не имеет ни силы, ни власти, ни богатства, чтобы «не пустить». Брехту мало совпадения, ему необходимо, чтобы моральная связь между использованием войны мамашей Кураж и гибелью ее детей стала очевидной и видимой. У любой матери война может отнять детей, но в этом случае отнимет их чужая, насквозь враждебная сила, отнимет смерть, поступившая на службу к господам, отнимет чудовище, трижды проклятое и ненавистное. Каждая мать — естественная союзница коммунизма уже хотя бы потому, что коммунизм навсегда устранит из жизни войны и убийство детей. А для мамаши Кураж война — «золотое времечко»; несмотря на жалкую ничтожность своей выгоды, она за войну и гибель детей своих в ответе. Брехт безжалостен к мамаше Кураж именно потому, что беспредельно ее жалеет. Каждая его фраза — удар, толчок: трудящиеся люди, что с вами сделалось? Очнитесь!

Поэтому Брехту важно, чтобы мамаша Кураж знала, на что идет. Поэтому Брехт обращается к старинному приему трагического нагнетания: мамаша Кураж гадает («Она у нас вещунья»), и всем ее детям выпадает смерть; поэтому уже в первой сцене мамаша произносит страшную фразу: «Видно, не миновать»; поэтому в конце сцены поставлено резюме фельдфебеля: «Да, уж хочешь от войны хлеба — давай ей мяса». (Брехт не боится таких заявлений: их прямолинейный натурализм поглощается огромным трагизмом смысла.) Но, может быть, самое невыносимое в этой сцене: переходы от Кураж-матери к Кураж-торговке и от Кураж-торговки к Кураж-матери. Она проверяет монету — не фальшивая ли — и не замечает, что в этот момент вербовщик уводит ее сына Эйлифа. Эта нравственная ситуация проходит затем через всю пьесу.

Как обычно у Брехта, нам с самого начала открыта суть дела. Но дальнейшее — вовсе не повторение, а распространение этой сути на все новые жизненные отношения и представления, история все большего одичания этой сути. Жизнь «мамаши Кураж», отдавшей войне своих детей, вырастает до грандиозной нравственной трагедии материнства в современном капиталистическом обществе.

9

В заключение скажем несколько слов о превосходной драме Брехта «Жизнь Галилея».

Автор не только сочувствует делу своего героя, но и питает к нему явную склонность. Подобно тому, как все мы питаем симпатию к людям, похожим на нас именно в том, что в нас есть лучшего, Брехта роднит с его Галилеем глубокая вера в разум. Оба — разумопоклонники. Оба уверены, что освобождение и светлое будущее людей начинается с истины. Освобождение мысли — первая фаза всякого действительного освобождения. Тот, кто понял мир, в котором он живет, кто знает, что надо ему делать в этом мире,— тот

шагнул к подлинной свободе. И такого рода знание делает сильным — сила личного стремления перемножается на мощь истины. Возникает особая веселость — веселость человека, духовно бесстрашного, привычного запросто общаться с безднами бытия, увлеченного нескончаемой духовной борьбой, в которой поражения почти столь же необходимы, как победы. «Земля весело катится вокруг Солнца». Возникает ликующая радость — ликование — открытия, восторг узнавания («Да взволнуйся же ты, человече. Ведь то, что ты видишь, еще не видал никто»), изумление оттого, что так оно и есть, как думалось, чувство гармонии между природой и умом человека. Не только бытие как наличие, но и бытие как ожидание, почти физическое, ощущение приходящих новых времен, ощущение выхода на необозримый простор.

Брехта роднит с Галилеем не только «высокая любознательность», но и уважение к сомнению. Не к тому сомнению, которым отмечена дряхлость буржуазного общества, а к тому, в котором запечатлелась его молодость. Сомнение для утверждения разума, а не для его расшатывания. Постоянная готовность спрашивать, а не трусливое уклонение от ответа, стремление к ясности, а не бегство в неопределимое, свободное искание истины, а не искание свободы вместо истины, творческое недовольство собой, а не самодовольство скепсиса.

Брехта роднит с его героем представление о демократизме знаний. Обоим духовный аристократизм глубоко противен. Правда — сила динамическая, направленная ко всем людям земли. «Чтобы все понимали» — вот чего хочет Галилей. Вместе со знанием возникает обязанность: чтобы узнали другие, знание — форма связи между людьми, светлый источник воспитания человека посредством убеждения. Открытие убеждения — самой гуманной и вместе с тем непреодолимо преобразовательной силы — Брехт считает великим успехом галилеевской эпохи, началом пути, идущего к двадцатому столетию. И гений, который он ощущает в себе, Галилей рассматривает не как особую, лишь ему присущую способность, а как выражение способности всех людей. «Я верю в человека и, следовательно, верю в его разум! Без этой веры у меня не было бы сил утром встать с постели». Оптимизм у Галилея, как и у Брехта, не утешительное рассуждение, а органическое мироощущение, неотделимое от самого процесса бытия.

И еще одна, едва ли не важнейшая, линия сходства между Брехтом и его героем. Убеждение, что истина — с чего бы она ни начиналась — в своем последовательном развитии ведет к решающим переменам в человеческой жизни. В брехтовски предельной форме убеждение можно выразить так: к чему бы ни относилась истина, она в конечном счете окажет революционизирующее действие. В «Жизни Галилея» это подробно доказывается в связи с идеей движения Земли вокруг Солнца. Занятно, что социальное значение идеи вначале улавливают реакционеры — страх развивает в них своего рода отрицательное чутье ко всему новому. Люди привыкли жить в маленьком мире, и его внезапное расширение колеблет доверие к привычному, разрушает консерватизм привычки, в течение тысячелетий служивший власть имущим. Представления связаны круговой порукой, и новый взгляд меняет не только отношение к данным явлениям, он меняет подход ко всем явлениям мира. То, что сегодня касается природы, завтра коснется общества.

Маленький монах хочет втолковать это Галилею. Он рассказывает ему о своих родных — бедных крестьянах из Кампаньи. Раньше мир был для них чем-то вроде театра, в котором раз и навсегда определены большие и малые роли. Раньше они связывали свои мучения с некой вселенской необходимостью, с каким-то изначальным нравственным мироустройством. Что бы сказали они, если бы узнали, что каменный комочек, на котором они живут,— незначительная звездочка среди бесчисленных звезд? «К чему после этого терпение, покорность в нужде?.. Значит, мы сами должны заботиться о себе, мы, невежественные, старые, истощенные. Значит, никто не придумал для нас иной роли, кроме этой— земной, жалкой...»

Галилей принимает вызов. Мои открытия лишают людей утешения? Так пусть же они живут без утешения. Мои открытия грозят существующему порядку? Но ведь это дурной порядок, а его необходимость — дурная необходимость. «Вы правы, речь идет не о планетах, а о крестьянах Кампаньи... Добродетели вовсе не сопряжены с нищетой, мой милый. Если бы ваши родные были состоятельны и счастливы, они могли бы развить в себе добродетели, возникающие в благосостоянии и от счастья».

И еще: «Победа разума может быть только победой разумных... Кто станет предполагать, что сумма углов треугольника может противоречить потребностям этих крестьян? Но если они не придут в движение и не научатся думать, то им не помогут и самые лучшие оросительные устройства. К чертям! Я насмотрелся на божественное терпение ваших родных, но где же их божественный гнев?»

Открытия Галилея могли быть с успехом использованы в арсеналах и мореплавании его времени, но рвавшийся из его книг дух свободного постижения будил народ к сознательной жизни. Ослепительно яркое, кипящее радостью Возрождение немыслимо без его массовой подпочвы. В начале своей пьесы Брехт рисует Возрождение в его счастливой недифференцированности. Раннее утро нового мира, полное свежести. Мы непосредственно ощущаем волны свежести, бегущие через

В. ДНЕПРОВ
РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОРАЛЬ БРЕХТА

первые страницы «Жизни Галилея». И ко всему этому еще и великолепная сцена карнавала, дерзкого, насмешливого, победоносно бурного, плебейски демократического. Вывод из Галилеева учения столь же неожидан, сколь и прост.

Отныне станет госпожа
Летать вокруг прислуги.

Брехтовский Галилей чувствует свое единство с теми, кто трудится. Поэтому он не только ученый, а представитель нови в ее широко человеческом смысле. Брехт, ясно сознававший, какая пропасть отделяет его от мыслей современного буржуазного мира и идеологов упадка, тем острее чувствовал свое сходство с Галилеем. Не менее важно другое: лишь в том случае, если Галилей внутренне связан с интересами народа, его поражение выступит во всей своей значительности и во всем своем историческом значении.

Брехт относился к истории практически. Существенна не только правда исторических фактов, существенна также правда исторических уроков. Вожди революции, доказывая правильность современных решений, нередко ссылались на исторический опыт. Вспомним, как Ленин, объясняя возможность и необходимость отступления, говорил об опыте прошлых революций, заходивших дальше своих непосредственных целей. Коренное отличие нашей революции от революции французской не помешало Ленину найти, выбрать, использовать в качестве исторических прецедентов некоторые динамические закономерности последней. Специфичность исторических периодов не отменяет моментов сходства между ними.

Однако художник, который заинтересовался этим сходством, стоит перед трудностью: он не может, подобно политику, обращаться по мере надобности к урокам прошлого в ходе изображения и анализа современной задачи. Он должен воспроизвести былое с его живыми особенностями, но воспроизвести так, чтобы внимание читателя или зрителя не осталось в границах своеобразия данной эпохи, а зафиксировалось на проблемах, общих для прошлого и настоящего. Политик из настоящего обращается к давно прошедшему, а политический художник, каким является Брехт, из давно прошедшего — к настоящему. Для этого он не только выбирает и ставит в центр нарисованной картины ситуации, неизбежно рождающие аналогии с нынешними вопросами, он еще видоизменяет их так, чтобы зритель как бы одновременно видел и прошлое и настоящее, чтобы он их видел, так сказать, двойным, сравнивающим зрением.

Сказанное обретет конкретность, как только мы подойдем к критическому моменту в жизни Галилея: его отречению от убеждений из страха перед пыткой. Пьеса как бы переламывается надвое. Светлое, мажорное звучание заменяется звучанием тусклым и мрачным, бытие на вселенском просторе заменяется тесным бытием — темницей, полет не ведающей границ мысли — трагедией мысли, загнанной в угол. Галилей борющийся и Галилей сломленный. Галилей, заслуженно уважающий себя, и Галилей, заслуженно презирающий себя. Нужно ли говорить, как близка была эта тема Брехту. Он видел фашистов, вынуждающих запугиванием и пытками отказ от истины, он видел крушение людей, не выдерживавших угрозы смертью и болью, отказавшихся от себя и даже превратившихся в служителей зла. И Брехт наверняка, подобно любому из нас, примеривал этот ужас к себе: выдержу ли, если придется, останусь ли человеком, когда железо будет рвать мое тело и огонь будет сжигать мои нервы? Что поможет вынести, что помешает?

Эти вопросы ведут нас в глубину замысла Брехта. Истина — это человеческая истина, она имеет не только свою логику, но и свою этику. Она всегда скрывает в себе отношение ко всему существующему порядку вещей. «К чему новые законы падения, если важны только законы коленопреклонения». Истина требует недовольства собою, творческого сомнения («Наука распространяет знания, добытые с помощью сомнения»), а самовлюбленность и тщеславие ей глубоко противны. Тяга к истине — влечение глубоко социальное, и тот, кто прячет истину от людей,— злодей или ничтожество. «И самое страшное: все, что я знаю, я должен поведать другим. Как влюбленный, как пьяный, как предатель. Это, конечно, порок, и он грозит бедой». Страсть к распространению правды— другая сторона страсти к ее открытию, и Брехт нашел чудесные слова, чтобы рассказать об этой — такой близкой и кровной для него — страсти. «Я говорю вам: тот, кто не знает истины, только глуп. Но кто ее знает и называет ложью, тот преступник».

В своем заключительном монологе Галилей утверждает, что наука требует особого мужества. Оно состоит во внутренней готовности отвергнуть то, что мгновение назад казалось верным и принесло с собой радость открытия и самоутверждения. Этим мужеством Галилей обладает в высшей степени. Однако требуется еще и другое мужество: умение забыть о себе и поставить истину раньше себя. Галилей дает примеры и такого мужества: полный увлеченности, неудержимой страсти к познанию, он и думать не хочет о грозящей чуме, когда речь идет о том, чтобы довести до конца «трехмесячные записи». Он жертвует счастьем своей дочери, когда ее жених становится на сторону гонителей правды.

Брехт очерчивает своего рода нравственный кодекс истины. И, как всегда, открыто формулирует суть: «Новой науке — новая нравственность». Это сказано Галилеем в контексте горько-ироническом. Но в конце пьесы мысль эта возникает в контексте истинно патетическом, не говоря уже о том, что она составляет «сквозной» пафос «Жизни Галилея».

У великана Галилея оказалось слабое

место, и его враги, сильные лишь в постижении дурного, расчетливо и коварно ударили в это слабое место. Крушение из-за личной слабости? Но можем ли мы требовать, чтобы Галилей, обладающий огромными достоинствами, не имел также никаких слабостей, опасных в момент рокового выбора? Можем ли мы требовать, чтобы Галилей был еще и героем, то есть человеком, способным преодолевать страх перед лишениями, пыткой и смертью? Неужели и совершивший великое, он, столь прекрасный, не заслужил, чтобы к нему отнеслись снисходительно? Ответить на эти вопросы Брехту было нелегко, и его внутренние колебания отразились в вариантах пьесы. Тем более что и сам вопрос о героизме казался ему вовсе не простым и ясным.

В тот печальный момент, когда совершилось отречение Галилея, мы слышим два утверждения относительно героизма:

«Андреа (громко). Несчастна та страна, у которой нет героев!

Галилей. Нет! Несчастна та страна, которая нуждается в героях».

Утверждения ударяются друг о друга подобно тому, как звонко ударяются друг о друга медные литавры.

Хорошо известно, с каким презрением относился Брехт к фашистскому культу героизма. В «Разговорах беженцев» он писал: «При надлежащей муштре у вас запросто начнут совершать подвиги даже самые здравомыслящие люди. Человек будет героем чисто автоматически... Пропаганда, угрозы, сила примера способны превратить в героя чуть не каждого, ибо они отнимают у человека собственную волю». Героизм, независимый от собственной воли, героизм послушания, героизм, из которого вытравлена способность к личному решению. Столь же противно Брехту и прославление решимости умирать, прославление способности выносить страдания, без отношения к их цели и смыслу.

Однако ирония Брехта отнюдь не распространяется на героизм революционный, ибо это героизм необходимый, без которого не может обойтись ни одна действительно народная революция и который подчинен величайшей, благороднейшей цели. «Не скрою, однако,— говорил Брехт в конце своего диалога,— что для достижения этой цели потребуется очень многое. А именно: безграничная смелость, глубочайшее свободолюбие, величайшая самоотверженность...» Революционеры бывают героями оттого, что это нужно, и тогда, когда это нужно.

Конечно, несчастна страна, где требуют, чтобы Галилей оказался героем в средневековом застенке, на дыбе, в железных клещах. Но случилось так, что именно от Галилея зависит: уронить ли право свободной мысли и истины или отстоять его. И не только истину Галилей выдаст на поругание, если отречется, а также интересы народа, которому правда и свет правды нужнее хлеба. Галилей обязан стать выше своей личной слабости, ибо то, что он защищает,— бесконечно ценно, и его ответственность громадна. Разумеется, допустимы хитрость, обманы и лукавство в борьбе с врагом, но не для Галилея — гениального и полного выразителя новой истины, стоящего впереди и на виду у целого мира, и не в положении Галилея, когда остался лишь один выбор: позор или геройская борьба. На карту поставлено так много, что Брехт, который относится к Галилею с неменьшей привязанностью, чем ученики Галилея, как и они, предпочел бы видеть его мертвым, но непокорившимся. Тут геройство необходимо, и Брехт готов присоединиться к словам Андреа: «Несчастна та страна, у которой нет героев».

Уважение и любовь Брехта к Галилею выражаются не в унижающей снисходительности, а в том, что самому Галилею Брехт дает бесповоротно осудить себя. И не только осудить, но и высказать самый глубокий нравственный принцип истины: лишь служа угнетенным, истина остается собою, а попадая в руки угнетателей, она в корне извращается и превращается в страшный бич, которым хлещут, терзают и уничтожают человека. «И эти корыстные насильники, жадно присваивающие плоды научных трудов, внезапно ощутили холодный испытующий взгляд науки, направленный на тысячелетнюю, но искусственную нищету... Можем ли мы отступиться от большинства народа и все же оставаться учеными?.. Я полагаю, что единственная цель науки — облегчить трудное человеческое существование».

Мораль Брехта обладает замечательным внутренним единством. Проникая в глубь любого нравственного вопроса, Брехт открывает его необходимую связь с главной задачей человека: создать мир, основанный на законах справедливости и гуманности. И мы можем закончить прекрасными словами поэта, взятыми из сцен «Страх и отчаяние в третьей империи»: «Каждый на своем посту — таков должен быть наш лозунг! Задача наша очень трудна, но нет в мире выше задачи, чем освобождение человечества от ярма угнетателей. Без этого жизнь не имеет цены. Жить стоит только ради этого. Если у нас не будет этой цели, все человечество одичает».

ПУБЛИЦИСТИКА

МАЙК МАКГРЕЙДИ

ГОЛУБЬ ВО ВЬЕТНАМЕ

Известный американский журналист Майк Макгрейди отправился во Вьетнам, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит, на месте удостовериться в справедливости официальных заявлений о необходимости этой войны для народа Южного Вьетнама и для Америки.

Впечатления от своей поездки он изложил в книге репортажей «Голубь во Вьетнаме», с отрывками из которой мы знакомим здесь читателей. И хотя позиция Макгрейди отнюдь не предполагает далеко идущих выводов, хотя войну во Вьетнаме он считает трагичной и нелепой ошибкой, а не логическим следствием политики, сознательно проводимой правящими кругами США, книга его, исполненная горечи, иронии, стыда за свою страну, сохраняет силу честного свидетельства очевидца.

Была весна 1967 года, и над страной кричали ястребы. Была весна, и увешанный орденами генерал Уильям Уэстморленд прибыл домой с полей сражения, скорбя, что его храбрые солдаты «приходят в отчаяние — как и я сам», из-за недавних непатриотичных выступлений у нас здесь, на родине; была весна, и «патриоты», устроившие парад в Нью-Йорке, вымазали дегтем и вываляли в перьях человека, который посмел с ними не согласиться. Это была странная, печальная весна, когда голубям подстригли крылья. И во время этой печальной весны 1967 года громче всех протестовала молодежь. Теперь в стране живет страх, что эта война, четвертая из крупнейших войн в ее истории, окажется самой дорогой из них. И не потому, что она уже оплачена жизнью пятнадцати тысяч американских мальчиков, не потому, что только один ее год обошелся в 30 миллиардов долларов, не потому, что из-за нее засохла на корню программа обеспечения гражданских прав и сошла на нет крупнейшая программа социального обеспечения, когда-либо принимавшаяся в масштабах всей страны.

Но если будет доказано, что эта война не была нужна, что в конечном итоге нас вовсе не заботили интересы народа Южного Вьетнама, вот тогда наше преступление по своей чудовищности превзойдет все другие, которые знает современная история,— кроме одного.

Я поехал во Вьетнам, чтобы найти какое-то объяснение войне, которая издали казалась унылой, грязной, а часто и нелепой. Меня интересовали наши солдаты там — что делают они и что делает с ними война,— и не меньше меня интересовали вьетнамцы — что мы делаем с ними и что мы делаем для них. Возможно, я уезжал во Вьетнам с голубиными иллюзиями, но моя цель была проста: рассказать все как есть.

Сайгон

Впечатления. Первые дни в Сайгоне — ничего, кроме прямых впечатлений. Никаких ответов, только вопросы. Но если есть нить, объединяющая первые впечатления от Вьетнама, то она определяется характером американского присутствия там.

А характер этого присутствия несомненно окрашен насилием. Двадцатилетний Том Чэмпьон, уроженец Сан-Франциско, отсчитывающий последние шестнадцать дней своей службы во Вьетнаме, говорил, сидя в вестибюле «Каравеллы», наименее плохого из сайгонских отелей: «Это грязная война. Если бы кто-нибудь раньше сказал мне, что я буду стрелять в женщин и детей, я назвал бы его лжецом. Но тут в тебя стреляют женщины и дети, так что же делать?»

Чэмпьон — лучший стрелок в своем взводе. Его оружие — М-16. «Можно сделать двадцать выстрелов за полторы секунды, просто держа палец на спусковом крючке. Пули не толстые, но длинные и оставляют порядочные дыры. Иной раз видишь — лежит Чарли с малюсенькой дырочкой в груди, а перевернуть его — рану в спине и каской не закроешь. Один мой приятель как-то стрелял и попал женщине сзади под коленку, так ей почти начисто оторвало ногу.

Да, это грязная война. Главное то, что не знаешь, кто тут враг, а кто друг. Некоторые офицеры говорят просто — валяйте стреляйте, не разбирайтесь. Тут все зависит от того, какой офицер».

Другие впечатления — денежные впечатления, впечатления от экономического присутствия американцев. Сайгон, быть может, первая крупная жертва войны, и причина тому — не бомбы, которые порой бросают террористы, а всемогущая зеленая долларовая бумажка.

Города, который когда-то называли жемчужиной Востока,— этого города больше нет. Остается только труп, в котором копошатся черви в человеческом облике — безногие нищие, еще донашивающие заплатанную форму южновьетнамской армии, детишки, аккуратно вылущивающие вшей из волос дряхлых стариков, беженцы, варящие жидкий суп на тротуарах... В этом городе много улиц, на которых можно продать и купить что угодно.

«Желаете разменять деньги, сэр? Нет? Двести пиастров за доллар? Нет? Не хотите ли порнографическую книжку? Или фотографии — не простые фотографии, а... вроде этих? Нет? Но, может быть, у вас есть аппарат и вы сами хотите поснимать что-нибудь такое? Ах, так вам просто нужна первоклассная девушка?»

А если не девушка, так две девушки... гуталин... флакончик жидкости для зажигалки... сигареты... черные очки... краденые часы... и наконец (последнее предложение) — белая женщина?

Влияние американского доллара приводит не только к инфляции, хотя инфляция колоссальна и продолжает расти. Это влияние приводит еще и к необычной переоценке ценностей. Закон спроса и предложения действует тут так же, как и везде, и американские деньги идут не на жалованье университетским преподавателям, юристам или врачам — кроме, конечно, тех врачей, которые специализируются по венерическим болезням. Эти новые деньги попадают в карманы владельцев баров и публичных домов.

В этой стране продается все, кроме, пожалуй, хорошего отношения людей. В Сайгоне, где большая часть денег попадает в руки немногих, это отсутствие хорошего отношения можно заметить на каждом шагу. Лица прохожих враждебно замкнуты и недоверчивы, каждую ночь происходят драки между нашими солдатами и вьетнамцами, даже жестоко цензурируемые газеты, выходящие на вьетнамском языке, отражают глубочайшие антиамериканские настроения.

И наконец впечатления от деятельности высокого военного начальства. Военные советники и штабисты в Сайгоне днем работают в кабинетах с кондиционированным воздухом, под охраной вооруженных винтовками военных полицейских, которые стоят за вездесущими заграждениями из мешков с песком. По вечерам советников и штабистов можно увидеть в сайгонских ресторанах: они сидят за изящными решетками, которые должны предохранять их от ручных гранат. рисуют на скатертях карты Вьетнама, останавливаются, чтобы показать особенно уязвимые места на севере, а также места, где можно было бы с наибольшим эффектом применить тактическое ядерное оружие, и так далее.

Военные аспекты войны приезжим журналистам объясняли офицеры, которые провели значительное время в районах боевых действий. Полковник Макклюр с седеющими, коротко подстриженными волосами, ветеран военно-морской пехоты с образованием психолога, объяснял ситуацию несколько часов подряд.

Он объяснил, что вьетконговцы — хорошие солдаты. Он объяснил, что вьетконговцы контролируют сельские местности («Они установили по всему Южному Вьетнаму свою власть — в деревнях, селениях, округах, провинциях»). Он объяснил, что у сайгонского правительства не ладится дело с управлением («Этому правительству чрезвычайно трудно хоть что-нибудь наладить»).

Полковник Макклюр объяснил, что несмотря на все это Вьетконгу приходится плохо («Их потери еще никогда не были так велики. За март они составили девять тысяч пятнадцать человек убитыми. В целом с начала войны мы убили свыше ста девяноста тысяч человек»).

Полковника Макклюра спросили, относится ли эта цифра к военным или к гражданским лицам.

— К врагам,— ответил он.— Но нам еще остается много сделать. Враг еще никогда не был так силен.

Он заговорил о проблеме беженцев, возникшей из-за того, что мы ведем военные действия в демилитаризованной зоне:

— Нам пришлось очистить эту зону от населения. Примерно двенадцать тысяч человек превратились в беженцев, но теперь у нас там обстановка, которая нам нужна. Если хоть что-то шелохнется к югу от демилитаризованной зоны, мы сразу стреляем. Да, конечно, слез и воплей много. Эти люди очень привязаны к своей земле, пусть даже к клочку. А кроме того,— мы первые готовы это признать — случаются всякие ошибки, промахи, непреднамеренные удары по деревням. Но принимаются все меры предосторожности, кроме, конечно, прекращения бомбежек.

Большое сражение

Пока еще никаких выводов — только впечатления, первые впечатления, а потому, возможно, обманчивые. Но все они свидетельствуют об одном — мы здесь, и мы здесь в большом числе. Колоссальность американского присутствия во Вьетнаме превзошла все ожидания.

Накануне большого сражения никто как будто не испытывает страха. Но, конечно, многие из ребят патрулировали в этом районе и не обнаружили никаких признаков значительного скопления противника. Они полагают, что вьетконговцы слишком умны, чтобы оставаться здесь и драться со столь превосходящими силами противника, тем более что день за днем на деревни кидали листовки, предупреждая жителей, чтобы они ушли в поле, подальше от своих домов, если не желают угодить под бомбы.

— Вот когда они начнут отстреливаться, тогда будет время бояться,— говорит Шлипф.— Как-то на днях нас начали обстреливать с четырех сторон — со всех четырех сторон! Вот когда бывает страшно по-настоящему.

В девятнадцать лет попадать под обстрел с четырех сторон, в девятнадцать лет месяцами патрулировать по опасным тропам в джунглях — это не может не сказаться на характере человека. Большинство морских пехотинцев носит с собой один предмет, не имеющий явного военного назначения,— фотоаппарат, обычно дешевый и простой в обращении.

— А зачем аппарат?

— Они уставом не запрещены,— ответил Шлипф.— Аппарат с собой брать можно.

— Но зачем таскать лишнюю тяжесть?

— Застрелишь вьетконговца,— говорит он,— и снимешь его.

— А как вы распознаете, кто вьетконговец, а кто нет?

— Все они такие. Буду я еще разбирать!

И в завтрашнем сражении это будет воплощено на практике. Любой вьетнамец, не ушедший в открытое поле, считается законной дичью.

Капрал Том Олсон объяснил правила этой игры:

— Приказ — стрелять во все, что движется.

— А если это будет женщина?

— Будем стрелять.

Около пяти часов утра морская пехота, участвующая в операции «Аризона», погрузилась на бронетранспортеры, и с первыми лучами зари бронетранспортеры форсировали реку. Те, кто сидит наверху, ничем не закрытые, начинают клевать носом, кивая бомбардировщикам и истребителям, которые точно по расписанию начали громить противоположный берег.

Бронетранспортеры остановились у начала узкой долины, поднимающейся между двумя крутыми холмами к третьему — к назначенному исходному рубежу. Склоны долины изрезаны сетью террас с рисовыми полями — ступенями намеченной позиции.

В долине не оказалось снайперов противника, не оказалось мин — не оказалось ничего, что могло бы помешать медленному, уверенному подъему морской пехоты на холм. На вершине солдаты окопались и набросили плащи поверх окопчиков, чтобы укрыться от уже горячего солнца.

Настало время осмотреть район операции — огромную вогнутую чашу земли, протянувшуюся от нашего холма на двадцать миль до гор. Почти всю ее занимают поля — из воды торчат рисовые побеги всевозможных зеленых оттенков, кое-где виднеются рощицы и скопления кровель из пальмовых листьев.

Операция «Аризона», по-видимому, уже в самом разгаре. До этого момента «напалм» был для меня только словом с неприятным значением и ассоциациями. И только. А теперь самолеты пикировали на вершины деревьев, сбрасывая кувыркающиеся в воздухе канистры. Взметнулись гигантские языки оранжевого пламени, черными грибами поднялся дым. Так вот он — напалм. Затем посыпались осколочные бомбы. Затем появились «крузейдерс», стреляя пятидюймовыми ракетами, затем вертолеты с ракетами и пулеметами, затем бомбардировщики с зажигательными и фугасными бомбами.

И только одно обстоятельство омрачало эту демонстрацию мощи — отсутствие противника.

Мы спросили лейтенанта, не могут ли пострадать невинные люди.

— В этом районе,— сказал он,— они все вьетконговцы.

Ну, если они еще не были вьетконговцами утром, то к вечеру, вероятно, уже стали ими. Прочие результаты операции оценить было труднее. Мы уничтожили несколько рисовых полей гусеницами наших танков. Мы сожгли напалмом несколько красивых рощ. Мы бомбили деревни и разнесли в клочья несколько свиней. И не встретили никакого сопротивления. Точно били молотками по золотым рыбкам.

Нелепость всего этого поразила врача, наблюдавшего операцию «Аризона» с самого начала.

— Победа осталась за нами,— сказал он.

Уничтожение листвы

Уничтожение листвы было в шутку определено как «война против враждебной растительности». В идее уничтожения листвы для меня кроется что-то неуловимо гнетущее. Может быть, тот факт, что деревья — даже деревья! — можно делить на «дружеские» и «враждебные». А может быть, и ничего столь философского — а просто как-то не укладывается в голове, что рис поливают отравляющими веществами. Однако в Сайгоне, где уничтожение листвы считается существеннейшей частью наших военных операций, меня попытались успокоить. Мне сказали, что уничтожение листвы не так уж отличается... впрочем, нет, вовсе не отличается от уничтожения сорняков на газоне перед пригородным домом.

К несчастью, я наблюдал операцию уничтожения листвы — и это не совсем то же, что уничтожение сорняков на газоне перед пригородным домом. Мы прилетели в лучах утреннего солнца и убили небольшой лес. Нет, это совсем другое!

Но сначала было объяснение, официальное объяснение уничтожения листвы. Как правило, подобные программы объясняются высокопоставленными офицерами, обладающими личным опытом. Обычно перед этим офицер пониже чином сообщает вам некоторые требования.

— Давайте уточним несколько моментов,— сказал молодой капитан.— Вы можете ссылаться на «осведомленные источники».

— Без фамилий?

— Без фамилий,— сказал он.— Просто «осведомленные источники».

— А могу я написать — «осведомленные источники, тесно связанные с программой уничтожения листвы»?

— Безусловно нет,— сказал он.

— А можно указать, что «осведомленные источники» носят чин полковника?

— Вряд ли,— сказал он.— Но я это уточню.

Такие предосторожности выглядели чуточку странными. Но возможно, что человек, о котором идет речь, этот «осведомленный источник» не хотел, чтобы его имя тесно связывалось с программой уничтожения листвы. Разве можно его за это упрекнуть?

— В этой программе нет ничего особенного,— сказал в диктофон Осведомленный Источник.— Мы используем три сорта гербицидов, и это все коммерческие гербициды, какими вы пользуетесь дома, в Штатах. Они не вредны ни для кого, кроме растений,— растения они убивают, но таково их назначение.

Все это весьма успокаивало, хотя и не вполне соответствовало истине.

Вот несколько предупреждений, которыми компания «Доу кемикл» снабжает те же самые гербициды, когда продает их в Штатах.

«Не загрязняйте ирригационные сооружения и воду, предназначенную для домашнего использования. Предостережение: может вызвать кожную сыпь. Остерегайтесь попадания в глаза, на кожу и на одежду. Запирайте от детей».

«Вызывает раздражение кожи и глаз... При попадании в глаза промывайте их не менее 15 минут и обратитесь к врачу; кожу мойте мылом с большим количеством воды. Одежду снимите и выстирайте».

«Не допускайте соприкосновения... с полезными растениями... следите, чтобы распыляемую взвесь не отнесло к ним, так как даже самое малое количество ее может оказать крайне неблагоприятное воздействие и в период роста, и в период покоя... Распыление с самолета, машинами или вручную должно производиться так, чтобы не возникала опасность относа взвеси... Удойных коров выпускайте на обработанные участки не ранее, чем через семь дней (во избежание порчи молока)».

Осведомленный Источник желал сделать абсолютно ясным одно: уничтожение листвы не было американской программой. Он не мог взять в толк, почему столько людей находится в заблуждении и считает, будто это — американская программа. Летчики — американские, и самолеты — американские, и химикалии куплены на американские деньги и производятся компаниями вроде «Доу кемикл», но не следует думать, будто программа — американская. На самом деле это программа правительства Южного Вьетнама.

Главная цель программы уничтожения листвы, сказал Осведомленный Источник, заключается в увеличении видимости, что затруднит противнику устройство засад и позволит нашим воздушным разведчикам обнаруживать все те силы противника, которые решат остаться в обработанном районе месяца на три, пока листья на деревьях не побуреют и не облетят. Однако этим ее назначение не исчерпывается.

— Нам сообщают,— сказал Осведомленный Источник,— что солдаты в этих обработанных районах, где образуется много сухого подлеска, лучше могут расслышать шаги, чем в районах, обработке не подвергавшихся.

Третья цель (ее поклонники программы обычно не подчеркивают) заключается в уничтожении недружественного риса. По приблизительной оценке, в этом году были сделаны бесплодными 450 000 акров обрабатываемых полей — более пяти процентов всей обрабатываемой земли Южного Вьетнама.

— Но вы должны помнить, что это вьетнамская программа, а не американская. Вы убедитесь, что в тех случаях, когда самолеты вылетают опрыскивать поля, на самолетах вьетнамские опознавательные знаки и в каждом самолете — не менее одного вьетнамца. Обычно при уничтожении листвы мы этого не делаем — например, когда вылетаем покончить с десятком-другим деревьев. Но когда дело идет о полях, ну... это весьма щекотливая программа вьетнамского правительства.

Но довольно официальных объяснений. Небольшой уголок воздушной базы в Бьен-Хоа, в двадцати милях севернее Сайгона, занимают самолеты, снабженные тысячегаллонными баками для гербицидов. За рядами самолетов стоят тысячи бочек с гербицидами. Подполковник Роберт Деннис, как и Осведомленный Источник, поспешил объяснить, что это — вьетнамский проект.

— За перевозку и выгрузку здесь химикалий отвечает вьетнамское правительство. Это нелегкая работа — каждая бочка весит шестьсот сорок фунтов.

Эта склонность снимать с себя ответственность наводит на интригующие вопросы. Если в уничтожении листвы нет ничего сомнительного, то почему мы с таким жаром настаиваем, что явно американская программа на самом деле якобы принадлежит вьетнамскому правительству? Если во всем этом нет ничего постыдного, то почему мы помещаем вьетнамские опознавательные знаки и наблюдателей на самолеты, уничтожающие поля? Непонятно. Непонятно.

Деннис, командир звена и пилот самолета, на котором летим мы, сообщил, что полеты производятся семь раз в неделю. Больше пяти раз подряд никто не летает, но и реже — тоже почти никто.

Пока мы шли к самолету, Деннис сообщил, что вовсе не считает свою деятельность разрушительной. Наоборот. Ему кажется, что в некоем отдаленном и счастливом будущем эта работа даст плоды, весьма благотворные для вьетнамского народа. «Мне нравится думать, как в один прекрасный день окажется, что мы превратили джунгли в готовые для обработки поля. Благодаря гигантским затратам нашего правительства мы облегчили и удешевили для кого-то расчистку всей этой земли. Даже и сейчас мы уже видим некоторые полезные результаты — в некоторых районах, где мы побывали, сухие деревья используются для выжигания древесного угля».

Он сказал одну весьма верную вещь — затраты поистине колоссальны. В апреле 1967 года было сообщено, что гербициды практически исчезли с внутреннего рынка США. Позже сообщалось, что военно-воздушные силы только в этом году закупили гербицидов на 57 690 000 долларов — примерно 6,5 миллионов галлонов.

Взлетели мы не слишком гладко: возможно, из-за груза, прикрепленного снизу к фюзеляжу — сине-черной цистерны с гербицидами весом в одиннадцать тысяч фунтов. Облака вскоре разошлись, и земля внизу выглядела ослепительно и сочно-зеленой. Возможно, при виде ее у наших летчиков начинали чесаться руки. Не знаю.

Деннис изучал местность опытным взглядом человека, живущего близко к природе. Он указал на распаханные поля внизу — скоро начнется сев. Один раз он снизился, чтобы мы могли посмотреть на бой. Подлетали бомбардировщики и сбрасывали бомбы, вертолеты порхали вокруг, как стрекозы.

Затем он начал указывать на работу своих ребят — многомильные бурые пространства джунглей, лишенных листвы. Бывали минуты, когда в поле нашего зрения не оказывалось ничего, кроме тусклой, безжизненной, бурой пустыни.

Размах нашей программы уничтожения листвы поистине колоссален — колоссален и засекречен. Никто не говорит, какие площади джунглей и риса уже уничтожены, и приходится пока ограничиваться примерными оценками.

Над целью самолеты резко нырнули вниз, к самым древесным вершинам, после чего пошли точно по рельефу крон. Приближаясь к холму или к особенно высокому дереву, наш самолет резко взмывал вверх и так же резко уходил вниз, и хотя такой полет продолжался всего четыре минуты, он показался мне куда более долгим. Мысль о вражеских снайперах была совсем вытеснена опасением, что мы можем напороться на какое-нибудь внезапно вставшее перед нами дерево. В этом была бы своего рода высокая справедливость — дерево сбивает самолет, уничтожающий листву.

— Кто-нибудь разбился о дерево?

— Пока еще нет,— сказал Деннис.

Из-под хвоста каждого самолета теперь тянулась полоса голубоватого дымка. Она казалась совсем безобидной, но была достаточно сильной — достаточно сильной

для того, чтобы уже через неделю воздушные разведчики заметили первые признаки осени, сотворенной человеком. А через три месяца здесь образуется сухая хрустящая пустыня.

Все это заняло четыре минуты. Понадобилось ровно четыре минуты, чтобы каждый самолет убил триста акров леса. Ощущения смерти не возникало. Ни стонов, ни воплей, ни взрывов — ничего, кроме бесшумного маслянистого дождя, падающего на ветки и листья внизу...

— А вы никогда не ошибаетесь? — спросили мы у Денниса.— Не бывает случаев, чтобы вы поражали не ту цель?

— Конечно, ошибки случаются,— сказал он.— Но в этих случаях правительство Соединенных Штатов возмещает убытки.

Бернард Фолл сообщил в «Рэмпартс» (декабрь 1965 года) о некоторых из этих ошибок:

«Бен-Кэт, большая плантация вблизи Сайгона, была почти полностью уничтожена из-за несчастной случайности... Деревня Хонай на шоссе № 1 была опрыскана по ошибке. Все фруктовые деревья в ней погибли. Самолеты военно-воздушных сил США уничтожали листву вдоль шоссе № 1, но ветер переменился и понес гербицидную взвесь на деревню. И вот теперь, точно издеваясь, джунгли встают на заднем плане сочной зеленой стеной, а деревни опустошены. Когда я был там, жители рубили свои сады. У них осталась только одна возможность не умереть от голода — продать высохшие фруктовые деревья в Сайгоне на дрова».

Уничтожение листвы — всего лишь второстепенный аспект этой войны, но весьма мало приятный ее аспект. Людей можно убивать прямо, а можно обречь на голодную смерть, если они не уйдут из родных мест, превращенных в пустыню,— результат, грубо говоря, получается один и тот же.

Беженцы

Зубы До Тхи Тин были черными от орехов бетеля, а ее лицо покрывали преждевременные морщины, но в этом лице была сила, а потому в нем была красота.

За юбками тридцатилетней До Тхи Тин пряталось двое детей, а третьего — голого малыша — она держала, прижимая к бедру. Ее муж, исхудалый невысокий человек, больше года не мог найти работы.

До Тхи Тин, одну из двух с лишним миллионов беженок и беженцев в Южном Вьетнаме, спросили, помнит ли она свой дом в округе Дуи Сюэн.

— Она говорит,— сообщил переводчик,— что там были рисовые поля, и огород, и цветы. Цветы были не у всех домов, а потому она их помнит лучше всего остального. Она говорит, что в это время года ночи там были холодными.

— Спросите ее, как она зарабатывает деньги на жизнь.

— Она говорит, что работает прислугой у одной французской дамы.

До этого момента интервью шло в более или менее деловых тонах. Но тут глаза До Тхи Тин стали влажными, лицо сморщилось. Она поглядела на мужа, но тот смотрел в землю, и выражение его лица было скрыто козырьком нелепого спортивного красного кепи.

— Спросите его, что он думает об этой войне.

— Он ничего не думает об этой войне,— сказал переводчик.— Он простой крестьянин. Он говорит, что на его селение бомбы падают каждый день, и это плохо. Он говорит, что там каждый день убивало людей и он пришел сюда, чтобы его детей не убило. А теперь, говорит он, от его хозяйства ничего не осталось. Он уже год ищет работу, все время ищет, но никакой работы нет. А о войне он ничего не думает.

Этот разговор происходил в лагере беженцев, носящем название Донг-Зьянг и находящемся на окраине Дананга. Он представляет собой пространство в три акра, вмещающее 6 057 человек, 7 колодцев, 17 самых примитивных уборных, бесчисленные однокомнатные лачужки и периодически работающую школу, в которой могут обучаться 350 детей из 3 733 живущих тут. Все беженцы постоянно голодны, все они бедны и не могут ничего заработать, все они люди, но в условиях их жизни нет ничего человеческого.

Два миллиона беженцев. В Южном Вьетнаме вот так живет более двух миллионов человек. И некоторые высокопоставленные лица соглашаются, что это еще очень заниженная оценка, что действительная цифра приближается к четырем миллионам, а еще многие, добавляют они, были «реабсорбированы» — поселились у родственников или ушли искать счастья в город. Но хорошо, пусть беженцев только два миллиона. Чтобы понять, что означает эта цифра для страны с таким населением, как во Вьетнаме, представьте себе Соединенные Штаты с двадцатью пятью миллионами беженцев — двадцатью пятью миллионами людей, утративших родной дом и ютящихся в картонных трущобах на окраинах больших городов.

Я посещал лагеря беженцев во всех частях страны. И для этого не требовалось никаких особых усилий. Не увидеть эти лагеря было бы значительно труднее. За время

моего пребывания во Вьетнаме число новых беженцев достигало сорока тысяч в месяц. Во Вьетнаме — надо ли это говорить? — термин «лагеря беженцев» не употребляется. Наш неистощимо энергичный Департамент Обтекаемых Названий наименовал их «переселенческими центрами». Не знаю, начали уже именовать беженцев переселенцами или нет, но этому, без сомнения, придет свой черед.

Возможно, названия не так уж важны, но зато весьма важен тот факт, что не менее одной восьмой части всего населения страны изгнано из родных мест. И мы еще отнюдь не кончили. Собственно говоря, мы только-только начали. «Беженцевый потенциал» Южного Вьетнама далеко не истощен. В течение 1967 года война породила около 450 000 новых беженцев. Но, по правде говоря, могло быть и хуже. В предыдущем году ряды беженцев пополнились 983 тысячами южных вьетнамцев.

Было бы приятно сообщить, что появление беженцев — случайный процесс, одно из печальных, но неизбежных следствий войны. Да, это было бы приятно, но, к сожалению, не соответствовало бы истине. Сознательное создание гигантских контингентов беженцев входит в наш тактический план ведения этой войны. А раз это дело наших рук, то нам следует знать, что происходит и почему.

Одно объяснение предлагается в брошюре, которую вручают в Сайгоне приезжим журналистам: «Но большое число беженцев ищет убежища, едва военные операции дают им возможность спастись от Вьетконга».

Эта фраза, пожалуй, требует перевода на понятный язык. Оказывается, в этой стране есть люди, которые имеют несчастье жить в маленьких селениях, еще не оказавшихся под властью правительства. Точнее говоря, к середине 1967 года 12 500 таких селений из 13 000 еще не находились под властью правительства.

Мы решили, что обитателей этих деревень необходимо спасти от Вьетконга — и, по-видимому, любой ценой. Во многих районах, и особенно в дельте, это чаще всего означает, что жителей приходится спасать от них же самих.

Способ, каким мы спасаем селения от грозного Вьетконга, весьма и весьма сложен. Он включает сбрасывание на них бомб и напалма, а нередко и сжигание их дотла. Но сначала... сначала мы сбрасываем листовки. Листовки объясняют жителям, что именно мы собираемся сделать с их домами. Кроме того, листовки приглашают всех дружественных вьетнамцев смело выступить вперед и пополнить собой ряды беженцев. Наш военный интерес во всем этом исчерпывается созданием «зоны свободного огня», обширных областей, в которых мы могли бы чувствовать себя свободными стрелять по всему, что движется.

Нередко заявляют, что мы ведем самую гуманную войну в истории. Самый факт, что во Вьетнаме у нас столько беженцев — почти два миллиона — живет в неописуемых условиях, некоторые рассматривают, как доказательство нашей гуманности. Ведь что ни говори, а беженцы — это люди, которых мы спасли от Вьетконга и от нашего собственного напалма. Но какую цену они за это заплатили! Пожалуй... пожалуй, генерал Шерман был прав, когда сказал: «Война — жестокая вещь, и ее нельзя облагородить».

В море

На борту «Мортона», эсминца военно-морских сил США, крейсирующего возле побережья демилитаризованной зоны, война... война... как бы это сказать... война кажется чем-то далеким и отвлеченным. Ну, конечно, все время слышно, как бьют наши орудия — они бьют днем и ночью, весь день и всю ночь. Орудия не смолкают ни на минуту — заставляют греметь посуду на столах, вырывают воронки в земле в десяти милях от нас, приносят нам еще несколько УВБ. Что такое УВБ, я объясню вам чуть позже.

Я никак не мог свыкнуться с жизнью на корабле — это было трудно после двух месяцев, проведенных в наблюдениях за войной, в которой противник отвечал на огонь. Внизу, в офицерском салоне (покрытая пластиком мебель, библиотека, телевизор) капитан и старший офицер играют в кости. Кофе и сигары. Благодушный разговор.

— Ну зачем мне понадобилось бросать еще раз, когда у меня была пара? — говорит капитан 3-го ранга Джеймс Маккуллох, старший офицер.— С вашим счастьем вы от меня только мокрое место оставите.

— Это еще как сказать,— отвечает капитан 3-го ранга Карл Макканн.

А салон продолжает дрожать, орудия у нас над головой продолжают стрелять — одно носовое и два кормовых вышвыривают семидесятитрехфунтовые снаряды в людей, находящихся в десяти милях от нас. Ну, не совсем в них, но в их сторону. Не менее ста пятидесяти выстрелов в день, сто пятьдесят выстрелов в день, по сто долларов выстрел.

На палубе тихая ночь, круглая луна сыплет жемчужины на воду, и поперек Китайского моря тянется широкая сверкающая дорожка. А Вьетнам — только низкий черный силуэт в шести милях с правого борта. В небе над ним плывут облака, высокие облака, облака, пронизываемые насквозь вспышками рвущихся снарядов.

— А на что это похоже? — спрашивает вахтенный.

— Что «это»?
— Вьетнам.
— Вам бы сейчас там не понравилось.
— Конечно. Но люди там какие?
— Люди как люди.
— Не хотел бы я быть сегодня на их месте.

Если, не дай бог, мне когда-нибудь придется воевать в такой войне, пусть это будет на борту эсминца «Мортон» (военно-морские силы США), боевого эсминца «Мортон» боевого Седьмого флота. Четыреста восемнадцать футов комфорта и... отстраненности. Без всякого труда можно вообразить, будто ты дома, плывешь по лунной дорожке в спокойных водах пролива Лонг-Айленд, далеко-далеко от запахов войны и зрелища умирающих людей. Да, совсем как дома, только бьют орудия.

Обед в этот первый вечер заслуживает, чтобы его запомнить. Чудесная льняная скатерть, начищенное серебро, кари, приготовленное филиппинским шеф-поваром и поданное вестовыми-филиппинцами в белых куртках. Настоящее кари и еще десяток экзотических яств. На десерт — сюрприз. «Запеченная Аляска» — мороженое в горячем безе. Впрочем, на борту корабля есть машина, изготовляющая мороженое, и тут такой десерт — вещь обычная.

— Да,— сказал старший офицер,— на еду мы не жалуемся. У нас первоклассные повара. В ежегодных флотских конкурсах они всегда занимают призовые места.

Жаловаться? У кого хватило бы духу жаловаться? По поводу чего? После обеда, после кофе и сигар был даже горячий душ — пресная вода, подаваемая установками, перерабатывающими соленую забортную воду. А потом предстояло кино или можно было остаться, отдохнуть в библиотеке среди книг ярко выраженного морского характера.

— А где кегельбан? — спросили мы.

— Какой кегельбан? — удивился молодой офицер.— Откуда на эсминце кегельбан?

Нет кегельбана! Удивительно! На эсминце военно-морских сил США «Мортон» не хватает только кегельбана, ну и, может быть, небольшого поля для гольфа.

В первое утро Джеймс Маккуллох показал мне оборонительное вооружение корабля. Будьте спокойны, «Мортон» готов ко всяким неприятностям: трехдюймовые зенитные орудия и два радиолокатора (один выявляет бомбардировщики, идущие на большой высоте, а другой обнаруживает самолеты, летящие низко), которые заблаговременно предупредят о нападении с воздуха.

— Вы часто подвергаетесь атакам с воздуха?

— Еще ни разу.

На эсминце есть также система обнаружения вражеских подводных лодок.

— А подводные лодки вы часто видите?

— Пока еще нас не атаковала ни одна подлодка,— ответил он.— Думаю, что этого вряд ли можно ожидать.

Война во Вьетнаме оказалась для военно-морского флота истинным подарком. Еще недавно шли разговоры, что военно-морской флот — анахронизм, и говорилось даже, что следовало бы сократить расходы на его содержание. Ну, так военные корабли — это не анахронизм, во всяком случае, во Вьетнаме. Ничего лучше и придумать нельзя, пока у противника нет подводных лодок, самолетов, ракетного оружия, тяжелых орудий или собственных военных кораблей.

Тем не менее даже в спокойных водах у побережья демилитаризованной зоны, обстреливая невидимого противника, который не ведет ответного огня, моряки подвергаются определенной опасности. Маккуллох объяснил мне, почему вахтенные дежурят на палубах круглые сутки.

— За борт упасть вовсе не так трудно, как вы, может быть, думаете. Ну, конечно, в такую погоду это маловероятно, но во время шторма всякое случается.

Об этой опасности я как-то не подумал и теперь решил про себя, что впредь буду осторожен на палубе, на которой по временам бывает тесно от любителей загорать в свободное время.

Единственным напоминанием, что «Мортон» все же воюет, были постоянные «бум!», «бум!», «бум!».

В недрах корабля расположены артиллерийские погреба. Семидесятитрехфунтовые металлические чушки лежат штабелями, как винные бутылки. Одна из самых тяжелых работ на корабле состоит в том, чтобы просто перенести снаряд в соседнее помещение и поместить его в лоток зарядника, который подаст его в орудие. Неподалеку находится центральный артиллерийский пост — помещение, выдержанное в светло-серых и светло-зеленых тонах. В нем соседствуют два разных духа — научный и человеческий. На одной стороне счетно-вычислительных устройств красуются кнопки, циферблаты, рычажки и лампочки, а на другой — богатый набор вкладок из «Плейбоя» с обнаженными красавицами.

На отдельной консоли установлены три круглых экрана радиолокаторов. А перед ними сидит двадцатидвухлетний Ронни Анзалоун из города Индепенденс (штат Луизиана). Он дежурит у локатора, который снабжает счетно-вычислительные устройства сведениями о цели. Кроме того, на Анзалоуна возложена обязанность нажимать на

спуск пятидюймовых орудий — на начищенный медный спусковой крючок, вделанный в черную пистолетную рукоятку.

Большинство тех, кто обслуживает стреляющие орудия, существует в изолированном мирке помещений, где тускло светятся экраны локаторов, в наглухо задраенных орудийных башнях у хитроумных приборных панелей или в самом сердце корабля возле счетно-вычислительных устройств.

— Вот! — сказал Анзалоун, протягивая мне пистолетную рукоятку.— Не хотите ли выстрелить?

Это явно была любезность и честь, предлагаемая гостям корабля — заезжим журналистам или офицерам других родов войск. Отказ мог бы быть истолкован, как осуждение двадцатидвухлетнего мальчика, который по двенадцать часов в сутки (через каждые шесть часов) сидел там, нажимая и нажимая на этот спусковой крючок. К тому же тут в полную меру действовал тот эффект, который, надеюсь, мне удалось в достаточной мере подчеркнуть — эффект отстраненности, ощущения полного разрыва между причиной и следствием, бездны, разделяющей это «бум!» и чью-то смерть.

Несмотря на все доводы в пользу принятия приглашения я отклонил подобную честь.

— Я знал, что вы не согласитесь,— сказал Маккуллох.— Вам бы тогда не было пути назад, домой.

Анзалоун поглядел на меня так, словно я из глупого упрямства лишился большого удовольствия, нажал на крючок («бум!», «бум!», «бум!»), закурил сигарету и выслушал рапорт о результатах попаданий от наблюдателя на суше. Он немедленно сообщил результаты в орудийные башни:

— УВБ и три возможных УВБ. Одно строение уничтожено. Три строения, возможно, уничтожены.

— Что такое «УВБ»? — спросил я.

— «Убит в бою»,— ответил он.

— Но что значит «возможный УВБ»?

— Они увидели только, как он упал,— объяснил Анзалоун.— А УВБ, скорее всего, означает, что они видели, как его разнесло в клочья.

Вот так я упустил случай записать на свой счет первого УВБ. Жаль, жаль. Другого шанса мне уже не представится. И ведь это было бы совсем безболезненно: сидя в помещении с кондиционированным воздухом, отхлебывая кока-колу из бумажного стаканчика, предвкушая горячий душ из пресной воды, мороженое с безе и кинофильм с любимым актером. Здесь, на две палубы ниже орудий, здесь, в десяти милях от места попадания, здесь, в шести милях от невидимой земли, я мог бы убить человека.

Покидая Вьетнам

Уехать от войны оказалось не так-то просто. Путь спасения был выбран с большой тщательностью: остановка в Дананге — на этот раз, чтобы провести день на одном из лучших пляжей мира, затем последняя краткая остановка в Сайгоне, а дальше — Гонолулу, Сан-Франциско, озеро Тахо или любое другое место, где люди радуются жизни.

Трудности начались уже во время полета в Дананг. Мой сосед назвал себя — сержант Пристли из Филадельфии. Он сказал, что служит в морской пехоте в должности гробовщика.

— Но что вы делали в Сайгоне?

— Там была конференция,— сказал он.— Конференция военных гробовщиков. Вы бы поразились, сколько их там было! Но, правда, все больше армейские. Съехались со всей страны.

Сержант Пристли объяснил, что конференция собралась для обсуждения проблем, общих для всех военных гробовщиков, а потом пригласил меня посетить его морг в Дананге.

— Впрочем, может, вы обождете до первого числа,— сказал он.— Для меня строят новый морг — просто чудо. А в настоящее время нам никогда не хватает места в хранилище.

Воды Южно-Китайского моря прозрачны и теплы, солнце над ним печет до самого вечера. Песок данангского пляжа мелкий и белый, как тальк, а дальше высятся зеленые сосны.

Те, кого прислали сюда купаться, успели навидаться войны, и она прячется в их глазах. Таких мертвых глаз, как у людей, присланных сюда купаться, мне не приходилось видеть ни у кого.

Те, кого прислали сюда купаться, были в том возрасте, когда человеку свойственно бездумно буянить и веселиться,— им было по девятнадцать-двадцать лет,—

но между ними и естественными потребностями их возраста пролегла пропасть, и я не знал, поможет ли тут купание в теплой морской воде.

Пока они купались, война продолжалась, но ее можно было не замечать. На холмах вокруг Дананга рвались бомбы, но грохот взрывов не доносился до пляжа. В шести милях в вышине над пляжем тянулись многочисленные белые полоски — следы, оставленные бомбардировщиками «Б-52», базирующимися на Гуане, но они пролегали слишком высоко. Только вертолеты кружили низко над пляжем, высматривая снайперов, но здесь вертолеты привычны, как воробьи, и на них никто не обращал внимания.

— Жаль, что сержанту Мэрони не удалось попасть сюда,— сказал один из пловцов.— У них в Калифорнии все помешаны на плавании.

— А где он?

— Убит...

На пляже был установлен громкоговоритель, и над водой разносились песни Нэнси Синатра и новинки битлзов. Тем, кого прислали сюда купаться, выдавалось пиво — по две жестянки на человека — и бутерброды.

— Ну, не знаю,— сказал кто-то из пловцов,— нам могло бы быть и хуже.

— Это еще как?

— Валялись бы где-нибудь сейчас мертвыми...

Пиво, музыка, солнце и вода понемножку оказывали свое действие: кто-то обдавал кого-то брызгами, кто-то боролся в воде. Потом они разлеглись на песке и уже не говорили о смерти и убитых. Говорили о девушках. Говорили о новых машинах. Говорили о модных песенках. И ненадолго стало казаться, будто от войны можно уйти. Но этому заблуждению был положен конец в пять минут третьего. Среди сосен раздались винтовочные залпы, и один из вертолетов всего в нескольких сотнях ярдов от купающихся тяжело рухнул вниз, точно утка, подстреленная на лету. Появились еще вертолеты... четыре... нет, пять, раздались пулеметные очереди, начали рваться ракеты, и глаза тех, кого прислали сюда купаться, снова стали мертвыми.

И в Сайгоне было немногим легче. Информационное бюро службы обеспечения сообщило:

«Армейский М21-7 — не такая уж хорошая зажигалка, но Чарли он поджаривает неплохо. М21-7 — стандартный армейский ранцевый огнемет, используемый во Вьетнаме. Обеспечение исправного действия огнеметов возложено на пятую роту химической службы армии США, находящейся в Сайгоне...».

В Гонолулу стало как будто полегче. Сначала казалось, что о войне можно будет забыть. По ночам небо озарялось отсветом неоновых реклам, а не осветительными ракетами. Пляжи были заполнены высокими поджарыми юношами, обучавшимися в лучших университетах Калифорнии и Гавай.

Но Гавайи находятся все-таки недостаточно далеко от Вьетнама. Туда присылают на отдых солдат, и их нетрудно распознать среди праздничной толпы — по загару, обрывающемуся у шеи и у локтей, по настороженности, по глазам, по манере говорить.

— Неужели вы не танцуете бугалу? — спрашивала загорелая блондинка.— Откуда вы взялись?

— Ну, это вам будет неинтересно.

Но она объявила, что это ее очень-очень интересует, и он, вместо того чтобы танцевать бугалу, рассказал ей о шести месяцах, проведенных на позициях вблизи камбоджийской границы. Мне особенно запомнилась заключительная часть разговора.

— Я бы очень не хотел, чтобы меня убили во Вьетнаме,— сказал он.

— Ну, я бы вообще не хотела, чтобы меня убили, хоть там, хоть в любом другом месте,— заметила она.

— Нет, тут есть разница,— сказал он.— Под Сайгоном сохранилось французское кладбище. Оно теперь все заросло бурьяном, а на доске там написано: «Под сенью этого доблестного флага покоятся герои, пролившие кровь на вьетнамской земле во славу Франции». Ну, что-то в этом роде.

— Я не понимаю...

— Дело в том, что флага-то там никакого нет.

Только в Сан-Франциско я понял, что вернулся в Америку. Впервые за несколько месяцев люди вокруг говорили не о Вьетнаме. Оказалось, что в жизни существует еще много другого — волнения и уличные беспорядки в крупнейших городах страны, благополучные роды дочери президента, предполагаемое введение десятипроцентного налога: ну, словом, много всякого другого.

И позже в Тахо женщина в ресторане громогласно объясняла:

— Раньше мы всегда ездили отдыхать в Лас-Вегас, но там все еще держат черных — горничные, официанты, ну, вы понимаете... А здесь вас обслуживают белые. Тут никаких беспорядков не будет.

И почему-то от ее слов у меня перед глазами вновь возник труп солдата-негра, убитого в небольшой стычке под Дак-То. Голову ему оторвало снарядом, и о том, что он негр, можно было догадаться только по его рукам.

Так продолжалось неделю. Счет на 28 долларов во французском ресторане почему-то вызывал в памяти лагеря беженцев. Морской курорт в Орегоне, встающий из утреннего тумана, напоминал спаленную напалмом деревню вблизи от демилитаризованной зоны. Леса секвой... уничтожение листвы; благосостояние... нищета; народ, не знающий, что такое война в его стране... народ, уже давно не знающий ничего, кроме войны... Уехать от войны оказалось далеко не так просто, как представлялось вначале.

Дома мне потребовалось две недели, чтобы собраться с мыслями и подвести итоги моей поездки в Южный Вьетнам. Ее результат — эта книга, она может произвести на некоторых людей неприятное впечатление, показаться слишком критичной. Но я считаю, что журналист, не использующий своих критических способностей, не выполняет взятых на себя обязательств.

Еще только отправляясь туда, во Вьетнам, я считал эту войну лишенной каких-либо исторических, практических или нравственных оправданий. Она представлялась мне неимоверно дорогим просчетом, нагромождением больших и малых нелепостей. После поездки во Вьетнам это мое мнение не только не изменилось, но еще сильнее укрепилось. И дальше я позволю себе изложить субъективные умозаключения так называемого голубя, которому удалось побывать в Южном Вьетнаме.

Народ Южного Вьетнама не хочет нашего присутствия там. Антиамериканские чувства распространены от самого крохотного рисового поля до омута коррупции, который носит название Сайгон. Даже те, кто извлекает прямую выгоду из нашего присутствия — сводники, проститутки и политические дельцы,— не питают любви к Америке, не испытывают благодарности за те огромные расходы, которые мы несем якобы ради них. Подавляющее большинство южновьетнамского народа хочет, чтобы нас там не было; они — что вполне понятно — устали от войны, от всякой войны и от этой войны в частности.

Правительство Южного Вьетнама было и остается военной диктатурой, опирающейся на помощь США. Пресса подвергается жесточайшей цензуре уже много лет, и критические голоса полностью заглушаются.

В военном отношении война идет для нас плохо. Солдаты противника, чье оружие и снаряжение заметно хуже, чем у солдат южновьетнамской армии, в моральном отношении стоят заметно выше и куда лучшие бойцы. Они чувствуют, что сражаются за освобождение своей страны. Таким образом, мы сами содействуем подъему национального чувства.

Расходы на войну граничат с безумием. Каждый житель Соединенных Штатов — каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок — заплатил в 1967 году за войну во Вьетнаме в среднем по 150 долларов. Этих денег хватило бы, чтобы подарить каждому жителю Вьетнама — каждому мужчине, каждой женщине, каждому ребенку — по 2 000 долларов, то есть примерно шестилетнюю заработную плату вьетнамского чернорабочего. Полет каждого бомбардировщика «Б-52» с гуамской военно-морской базы обходится в 13 000 долларов; смерть одного солдата противника обходится в 500 000 долларов; в целом эта война обходится нашей стране в настоящее время в 70 миллионов долларов ежедневно, в 30 миллиардов долларов ежегодно.

И несмотря на все это наши военные успехи более чем ничтожны. Если верить сайгонским сообщениям, наши войска не проигрывают ни единого боя. Ричард Гудвин, бывший помощник президента Кеннеди и президента Джонсона, указывает:

«Если взять объявленное нами число убитых солдат противника и прибавить к нему число дезертиров, а также раненых, даже в заметно меньшей пропорции, чем обычно существует между убитыми и ранеными у нас, то получится, что мы каждый год уничтожаем всю северовьетнамскую армию. И если война все-таки продолжается, ничем, кроме чуда, этого объяснить нельзя».

Воздействие войны на вьетнамский народ губительно: мы непосредственно ответственны за парализующую инфляцию, мы ничего не предприняли для борьбы со взяточничеством и коррупцией, мы поддерживаем диктаторов, мы допустили уничтожение элементарных свобод, мы повинны в том, что ежегодно гибнет сто тысяч гражданских лиц, мы уничтожаем леса и пахотную землю, вынуждая сельскохозяйственную страну ввозить продукты питания, мы произвели более двух миллионов беженцев, мы развязали жестокую войну в стране, которая много веков не знала мира.

Труднее оценить воздействие войны на наших солдат, но я стараюсь представить себе этих мальчиков через двадцать лет. Я вижу, как они в ярких фуражках того или иного братства ветеранов призывают новое молодое поколение покрыть себя боевой славой в каких-нибудь новых Священных Войнах, призывают, исходя из смертоносного предрассудка, будто сила может служить ключом к разрешению политических проблем.

Из всего этого я сделал вывод, что мы не должны находиться во Вьетнаме. И в конце концов мы неизбежно уйдем из него. Выиграв войну, проиграв ее или сведя вничью, мы когда-нибудь покинем Вьетнам. И я надеюсь, что мы сделаем это, не покрыв себя окончательно бесславием.

Война у нас дома

Это рассказ о маленьком городке, о далекой стране и о мальчике. Городок, Миллер-Плейс, расположен на северном берегу Лонг-Айленда, в шестидесяти милях прямо на восток от Манхэттена. Страна, расположенная еще примерно на девять тысяч миль восточнее,— это Вьетнам. Мальчика звали Брюс Кернделл.

Я поехал в Миллер-Плейс, чтобы посмотреть, как воздействует Вьетнам на маленькие американские городки. К моему удивлению, между городком Миллер-Плейс и страной Вьетнам обнаружилось не так уж мало связующих звеньев, но бесспорно, самым крепким из них был мальчик Брюс Кернделл, сын мясника, выросший в Миллер-Плейс, лучший бейсболист городка. Он вырос в Миллер-Плейс, он поехал во Вьетнам, он был убит.

Подробности смерти мальчика были изложены в письме, которое армейское начальство прислало его матери. В письме говорилось, что командир расчета Брюс Э. Кернделл, США, 51 586 794, рота А 1-го батальона 27-го пехотного полка, принимал участие в боевом поиске в южновьетнамской провинции Тайнинь вблизи камбоджийской границы. В письме говорилось, что двадцатидвухлетний мальчик был смертельно ранен в бою. В заключение в письме говорилось: «Смерть наступила быстро, и он не испытывал излишних страданий».

За три века существования Миллер-Плейс между этим маленьким американским городком и далекой страной Вьетнам было мало связующих звеньев.

Полвека назад в Миллер-Плейс проживало лишь несколько десятков семей, и еще два года назад на улицах висели надписи, запрещавшие выводить лошадей на тротуары. И даже сейчас Миллер-Плейс присуща тихая провинциальная красота. Посреди города расположен пруд, где летом плещутся утки, а зимой катаются на коньках мальчики.

Теперь в Миллер-Плейс живет 1711 человек. Теперь в городке есть даже дискотека и ночной клуб, предлагающий «Стриптиз с Бурбон-стрит» каждую пятницу. И теперь, разумеется, Миллер-Плейс принимает участие в войне.

Самое оживленное место в городке — почта. С утра и до вечера горожане заходят туда узнать, нет ли для них писем, и перебросится двумя-тремя словами с почтмейстером Чарлзом Гермеком. И там же можно увидеть первые признаки того, что в Миллер-Плейс пришла война. На фасаде почты между американским флагом и большим термометром, рекламирующим слабительное, висят различные объявления. «Корпусу мира» требуются учителя в Африку. Продаются облигации государственного займа США, приносящие купившему 4,15% в год. И, наконец, вербовочная афиша морской пехоты — шеренга юных силачей в синей форме, развевающиеся флаги, сверкающие медали, подпись: «СЛУЖБА В МОРСКОЙ ПЕХОТЕ СОЗДАЕТ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН — ТЕЛО... ДУХ... ВОЛЯ!»

Мать Брюса Кернделла вспоминает:

«Днем у нас тут праздновали день рождения моего внука, а я была на работе. Домой я вернулась в шесть — по дороге я все думала, как они тут празднуют. Смотрю — перед домом стоят две машины. «Ну,— думаю,— кто-то из девочек остался до ужина». А занавески были задернуты неплотно, и я увидела офицера в форме и сразу все поняла, потому что они приезжают только по одной причине. Я вошла, а офицер сказал... я, наверно, никогда этих слов не забуду: «Ваш сын был вчера днем убит в бою». А другой офицер расхаживал по комнате с моим внуком на руках. Они пробыли у нас еще двадцать минут, и я все думала, какая это для них тяжелая обязанность».

Многие обитатели Миллер-Плейс были озабочены возрастающей стоимостью войны. Ведь кому-то приходится оплачивать пребывание почти полумиллиона солдат во Вьетнаме. Кому-то приходится оплачивать 637 000 тонн бомб, сброшенных в прошлом году, 594 сбитых американских самолета и 243 уничтоженных вертолета. Миллер-Плейс выплачивает свою долю стоимости войны, которая обходится нашей стране более чем в два миллиарда долларов в месяц.

И, конечно, городок начинает оплачивать войну монетой и другого рода. В начале этого года во Вьетнаме было убито 6407 американских военнослужащих. К концу 1967 года будет убито не меньше пятнадцати тысяч. И по крайней мере один из убитых окажется уроженцем Миллер-Плейс.

Но, разумеется, существует значительная разница между войной, которую ведет Миллер-Плейс, и войной, которая обрушивается на вьетнамскую деревушку.

Нет-нет, я не собираюсь рассказывать еще одну историю о войне во Вьетнаме. Но мне хотелось бы избавиться от кошмара, который мешает мне мирно спать по ночам в тихом пригороде, где я живу. И дальше последуют всего лишь бредовые видения одного человека, картина того, во что могла бы превратиться жизнь в нашей стране, если бы мы оказались в положении Вьетнама.

Как во всяком приличном кошмаре, нас здесь интересует не политика, а люди. Пожалуй, будет проще, если рассматривать дальнейшее как краткое изложение сценария не слишком оригинального научно-фантастического фильма.

Наши герои — американцы, белые (в большинстве), обеспеченные (относительно),

пользующиеся репутацией трудолюбивых, честных, богобоязненных людей; они славятся чувством юмора и красотой своих женщин. В один прекрасный день в неизвестно каком году они просыпаются и узнают, что повсюду в Соединенных Штатах приземлились значительные силы неведомой нечеловеческой расы, прибывшие сюда из какой-то невидимой галактики. Учитывая размеры Соединенных Штатов, примем, что число пришельцев составляет шесть миллионов — шесть миллионов вооруженных до зубов оккупантов из глубин космоса.

Хотя они обладают некоторым сходством с людьми, но различий еще больше. Например, глаза у них имеют форму не овала, а ромба, отчего они вскоре получают кличку Ромбоглазые. Кожа у них заметно светлее нашей — белая-белая, почти прозрачная, и большинство американцев начинает называть своих непрошеных гостей «прозрачниками».

Но самое пугающее их отличие — это рост. Прозрачники достигают в высоту восьми футов, весят в среднем 260 фунтов и кажутся очень сильными, хотя, может быть, и не такими подвижными, как американцы. И последнее различие — они не способны есть такие традиционные американские блюда, как яичницу с ветчиной, и предпочитают обезвоженные консервы, более подходящие для их несообразно капризной пищеварительной системы.

Влияние вторжения прозрачников на Миллер-Плейс вначале принимает экономический характер. Прозрачники располагают, по-видимому, неограниченными средствами и неутолимой жаждой удовольствий. Поэтому во многих традиционных отраслях деловой жизни — торговле земельными участками, книготорговле и т. д.— наступает резкий спад, зато предприятия, служащие удовлетворению потребностей прозрачников — магазины сувениров, публичные дома, рестораны, отели, дискотеки, кафе-мороженое,— переживают бум и растут, как грибы после дождя. Внезапный приток иностранной валюты вызывает в стране бешено нарастающую инфляцию. Средний обитатель Лонг-Айленда, зарабатывающий в день двадцать пять долларов, вскоре обнаруживает, что ботинки теперь стоят 200 долларов пара, номер в отеле — 750 долларов в день, обед в хорошем ресторане — 150 долларов.

К этому времени большинство американцев мужского пола уже покинуло свои дома и родные города. Некоторые — те, кто богат и пользуется влиянием,— заняли высокие посты в Новой армии Соединенных Штатов (НАСША). Другие, в возрасте от девятнадцати до сорока пяти лет, призваны в НАСША рядовыми, получили форму прозрачников (укороченную и обуженную), проходят обучение под руководством прозрачников, учатся пользоваться оружием прозрачников, а затем отправляются, например, в горы Пенсильвании и болота Флориды воевать с теми американцами, которые решили оказать сопротивление пришельцам из глубокого космоса.

По какой-то причине американцы, призванные в НАСША, оказываются не слишком хорошими бойцами — и уж во всяком случае они куда хуже американцев, которые предпочли сопротивляться. Дезертирство по временам достигает 40%. Офицеры-прозрачники жалуются на слабый моральный дух НАСША, и в конце концов основные военные действия приходится вести армии прозрачников.

Женщины Миллер-Плейс, покинутые мужьями, которых призвали в НАСША, и мужьями, присоединившимися к силам сопротивления, должны искать способа не умереть с голода. Те, кто постарше, становятся прачками, и на веревках от Атлантического океана до Тихого повсюду сохнут кители и брюки прозрачников. Три пивные Миллер-Плейс превратились в тридцать шесть баров, обслуживаемых только американскими девушками.

Эта война будет казаться странно односторонней. Сопротивляющиеся американцы — плохо экипированные, вооруженные тем, что удалось отбить у врага,— воюют под покровом ночи. У них есть только одно преимущество: подвижность. Они ведь не только прекрасно знают местность, но, кроме того, могут рассчитывать на помощь почти любого из земляков. Незаметно передвигаясь от одного городка, вроде Миллер-Плейс, к другому, они минируют главнейшие шоссе, устраивают засады в лесах, а время от времени проводят и крупные операции в густо населенных районах.

Днем в американском небе чертят белые полосы бомбардировщики прозрачников, воды у Лонг-Айленда кишат вражескими кораблями, а по ночам в вышине повисают осветительные ракеты и темнота рассекается вспышками рвущихся снарядов. Сопротивляющиеся американцы, теряя трех человек за каждого убитого вражеского солдата, продолжают сражаться, быть может, вдохновляемые тем патриотизмом, который никогда не выходит из моды.

Начинаются затруднения с продовольствием, и жители Миллер-Плейс впервые в жизни узнают, что такое голод. На фермах некому работать, большие площади обрабатываемой земли изрыты бомбовыми воронками, а кроме того — тут мой кошмар явно сближается с жутчайшими измышлениями научной фантастики,— прозрачники проводят особую операцию под названием «уничтожение листвы».

Прозрачники, уничтожающие листву, сосредоточивают свои усилия на районах, где положение с продовольствием особенно тяжело: сначала они наносят удар по картофельным полям Лонг-Айленда, затем по капустным полям и наконец по основным посадкам, отделяющим одну ферму от другой. Под конец даже живые изгороди

возле домов желтеют и погибают. Но, может быть, это и не так уж важно, если вспомнить, какой непоправимый ущерб наносится лесам секвой в Калифорнии.

По мере усиления сопротивления прозрачники начинают проводить военные операции непосредственно возле Миллер-Плейс. Всем жителям городка предлагается бросить свои дома и перебраться в колоссальные лагеря для беженцев на окраине Чикаго, Нью-Йорка и Питтсбурга. И многие люди, не выдержав, покидают родные места. Число беженцев в Соединенных Штатах достигает тридцати миллионов — седьмая часть всего населения страны ютится в наспех сооруженных лачугах без водопровода, канализации, отопления и электричества.

Те обитатели Миллер-Плейс, которые не пожелали расстаться с родным городом, подвергаются обработке согласно проводимой прозрачниками программе психологической войны. На города сыплются листовки: «Каждый день, каждую неделю, каждый месяц гибнет все больше и больше ваших товарищей, все больше обнаруживается и уничтожается баз и складов. Вас чаще обстреливают. Вас чаще бомбят. СМЕРТЬ близка. Вы слышите самолеты? Вы слышите взрывы бомб? Это СМЕРТЬ. Ваша СМЕРТЬ».

Затем последние обитатели Миллер-Плейс узнают, что их городок объявлен «зоной свободного огня». Это означает, что солдаты прозрачников вольны стрелять по всему, что движется, включая женщин и детей. Число жертв среди гражданского населения быстро растет — на одного убитого солдата сопротивления приходится не меньше трех гражданских лиц. Для всей страны это число достигает полутора миллионов в год.

В этом кошмаре, посетившем некую личность, в этом сценарии научно-фантастического фильма грохочут орудия эсминцев, сметающих пятидюймовыми снарядами деревни на морском берегу, трещат охваченные пламенем дома, которые подожгли солдаты прозрачников, и Миллер-Плейс лежит в развалинах — разбомбленных, сгоревших дотла.

Но едва дым рассеивается, как на пожарище появляются прозрачники-умиротворители. Это совсем молодые люди с громкоговорителями, винтовками и набором инструментов. Их прислали одержать победу в сражении за сердца и умы тех из нас, кто еще уцелел. Их главная задача — отыскать и уничтожить «врагов населения», и приступают они к ее выполнению, предлагая награду доносчикам. Затем каждая семья получает обещание, что ей выдадут сорок пять долларов на семена и сельскохозяйственные орудия, а кроме того, ей вручается чертеж однокомнатной лачуги на пять человек.

На этом мой кошмар кончается. Но, конечно, все это относится к области научной фантастики. У нас ничего подобного произойти не может. Во всяком случае, не в Миллер-Плейс, во всяком случае, не в Соединенных Штатах. Разве что наша страна окажется по-настоящему втянутой в войну типа вьетнамской — так, как в эту войну втянут Вьетнам...

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ

З. ПЫШНОВСКАЯ

Вернер Клемке

Сын столяра, родившийся и выросший на одной из рабочих окраин Берлина, Вернер Клемке мальчишкой пристрастился к книгам и музеям, мечтал по окончании гимназии учиться дальше и стать преподавателем рисования. Но отсутствие средств и институт, в котором было «больше педагогики, чем искусства», привели Клемке на студию мультипликационных фильмов. Потом на долгие годы ненавистная война забросила его в Голландию.

Самый известный сегодня художник книги в Германской Демократической Республике, Клемке, в каком-то смысле, был и ее родоначальником. Это он летом 1945 года в полуразрушенной типографии с помощью друга — профессионального литографа выпустил первую в послевоенной Германии иллюстрированную книгу — «Бременские музыканты» братьев Гримм. На первых порах в день удавалось напечатать не более 15 экземпляров этой книги.

После 1945 года Клемке сотрудничал в «Уленшпигеле», рисовал для газет и журналов. Каждодневная работа в кино и прессе дала остроту видения, точность мышления, ясность и четкость образного языка. В 1948 году профессор Бруно Кайзер ввел Вернера Клемке в издательство «Фольк унд вельт». Художник-самоучка должен был овладеть там всеми пре-

«Декамерон» Дж. Боккаччо (суперобложка). 1958 г.

Иллюстрация к «Шельмуфскому» К. Ройтера. 1954 г.

мудростями технического конструирования и художественного оформления книги. Из этой школы, потребовавшей настойчивости и упорства, Клемке вышел вооруженный знаниями и мастерством. Работая в издательстве, он познакомился со множеством графических и репродукционных техник, испробовав их все и облюбовав для себя прежде всего старинную торцовую гравюру, из которой он сумел извлечь эффекты образной гравюры, гравюры на меди, рисунка тушью или эскиза мелом, добившись таким образом современного звучания техники, считавшейся до того устаревшей. Приобрел вкус и к созданию книги, как предмета настоящего искусства.

В Германии — стране Иоганна Гутенберга — сложились большие и славные традиции в области конструирования книги. Немецких мастеров интересуют не только иллюстрации, как таковые, но и все детали общей конструкции, подчиненные ее содержанию и назначению, — рисунок шрифта, его соотношение с пространством, построение страницы, бумага, формат книги, ее суперобложка, переплет, форзац, титульный лист.

Представителем этой школы стал и Вернер Клемке, который начиная с 1948 года, по его собственному выражению, не иллюстрировал, а «делал» книги. Таких сделанных им книг насчитывается уже не один десяток.

Что касается иллюстраций, как таковых, то один художник входит в литературный сюжет и подчиняется его законам, иллюстрируя уже «предписанный текст», другой — противопоставляет толкованию поэта свой собственный оригинальный вариант. Одному равно доступен искрящийся каскад вольнолюбивого острословия Вольтера и величавая неторопливая поступь стихов Гёте, горький сарказм Салтыкова-Щедрина и пламенное полнозвучие строк Маяковского; другой, пользуясь принципом избирательности, живет в тесном кругу милых его сердцу героев, в определенном эмоциональном и философском ключе.

Библиофил и знаток книги в самом широком смысле этого слова, Клемке отлично улавливает дух той или другой эпохи, характер страны и народа, писателя. Он иллюстрирует Лукиана и Петрония, французских просветителей XVIII века, немецкий «плутовской» роман, средневековый фольклор и книги, увидевшие свет в эпоху Возрождения, произведения немецких романтиков. И наряду с ними — Салтыков-Щедрин, А. Цвейг, Маяковский, Гашек, Леонид Леонов. Однако явное предпочтение Клемке отдает старым мастерам, причем тем из них, чьи произведения отмечены буйством мысли и прихотливой фантазией. Клемке нужны острые сюжетные ситуации, характерные герои; нужна атмосфера сочной грубоватой народной шутки — легкой и жизнеутверждающей, ироничной и скептической, а то и доведенной до трагического звучания. Художник интеллектуального склада, острый и цепкий наблюдатель увлекательнейших и драматичнейших коллизий, он умеет выхватить из текста ту или иную свежую «деталь» и прочитать ее глазами нашего современника.

Воспринимая книгу как единство содержания и формы, Клемке всегда стремится к их органическому сплаву. Для литературных произведений, увидевших свет на заре книгопечатания, Клемке избирает форму старинной итальянской, французской или немецкой книги. Так для сборника шванков — коротких шутливых народных рассказов о Тиле Уленшпигеле, появившихся еще в конце XV века,— Клемке остановился на узком формате готической книги с характерным для нее строем беспокойных, теснящих друг друга литер и взял за образец для иллюстраций лаконичную, угловатую и выразительную немецкую гравюру того времени.

Обратившись к образу пустозвона и хвастуна, бунтаря и критикана «Шельмуфского» Кристиана Ройтера (1696) или к «Гаргантюа» (1575) Иоганна Фишарта, написанному в форме пародии на рыцарский роман, Клемке возрождает традиции немецкого народного лубка с его живыми красками, ясным и определенным рисунком.

В манере итальянского Возрождения конца XV века сконструирован и оформлен «Декамерон» Боккаччо — одна из известнейших работ Клемке. Размеренно, неторопливо на смену ушедшему приходит новый «день», один рассказ сменяется другим, событие следует за событием, и, покорно следуя этому своеобразному ритму, предваряя каждый новый день, все время повторяется гравюра на дереве, изображающая общество в саду. Перед каждой новой занимательной новеллой возникает напечатанный светлой киноварью пересказ ее содержания.

В книге цвет почти отсутствует. И не обращаясь к нему, Клемке поражает воображение меткостью и остроумием характеристик, ловко подмеченным жестом, богатством «вещного» мира. Но Клемке умеет быть и иным. У него есть и элегантнейшие воздушнейшие штриховые рисунки, адекватные по своей лаконичности и остроте саркастическим сентенциям Вольтера.

Чтобы передать атмосферу революционных лет, найти решение, близкое по духу поэтическому строю поэмы «Хорошо!», разрушающей окаменелые поэтические догмы и представления, Клемке использует рисунки самого Маяковского, воспроизводит портрет Ленина, сохраняя газетный растр, имитирует почерк первых советских карикатуристов и создает таким образом отличные графические параллели к поэме Маяковского. Гордо выступают благородные очертания «Авроры»; устремляясь в бой, собираются в группы разметанные по белоснежной равнине разворота фигурки, строятся в ряд красные штыки, открывают и замыкают книгу черные колосья и красный серп и молот.

«Так же, как и для взрослых, только еще лучше» иллюстрирует Клемке книги для детей. «Дети понимают все, кроме того, что наводит на них скуку... Они требуют честности, требуют, чтобы им показали мир таким интересным, каков он и есть на самом деле»,— утверждает художник. Человек, любящий детей и умеющий с ними разговаривать, Клемке отлично понимает особенности детского восприятия, ему хорошо известен круг интересов современного ребенка. Его веселые раскрашенные картинки рассказывают об удивительнейшем мире, в котором на каждом шагу поджидают чудеса. Потому-то и пользуются у детей такой любовью его иллюстрации к «Детским и домашним сказкам» братьев Гримм или к такой, казалось бы, «скучной материи», как школьный учебник для второклассников, за который Клемке был удостоен Национальной премии ГДР. Такой чести, кажется, не досталось ни одному другому художнику.

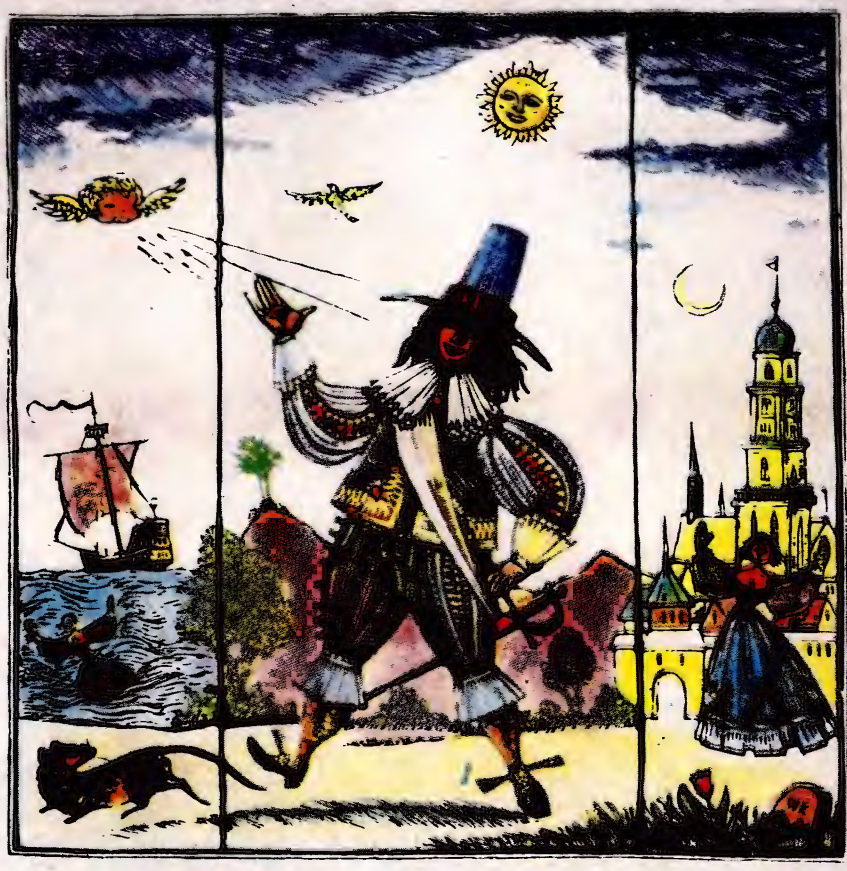
Вернер Клемке остается «книжником» и тогда, когда делает эскизы декораций и театральных костюмов, облекая в плоть и кровь литературных героев, наделяя их соответствующими аксессуарами, воссоздавая привычную для них среду; когда он обращается к театральному либретто, программе, афише и плакату.

Для действительного члена и вице-президента Немецкой академии искусств В. Клемке нет скучных и малых задач в искусстве. В любом своем качестве — «книжника», плакатиста, театрального художника — он обращается к самому широкому кругу зрителей с увлекательными филигранными произведениями, выполненными радостно и любовно.

Иллюстрация к «Чарасю-идеалисту» М. Салтыкова-Щедрина. 1961 г.

CHRISTIAN REUTER · SCHELMUFFSKY

CHRISTIAN REUTER



SCHELMUFFSKYS

Wahrhaftige Kuriöse und sehr gefährliche Reisebeschreibung

zu Wasser und Lande

Обложка. К. Ройтер. «Правдивое описание курьезного и очень опасного путешествия Шельмуфского по воде и суше». 1954 г.

Суперобложка. Полное собрание шванков о Тиле Уленшпигеле. 1955 г.

«Кандид» Вольтера. 1958 г.

Эскиз суперобложки. «Трехгрошовый роман» Б. Брехта. 1960 г.

LEONID SOLOWJOW

LEONID SOLOWJOW · NASREDDIN

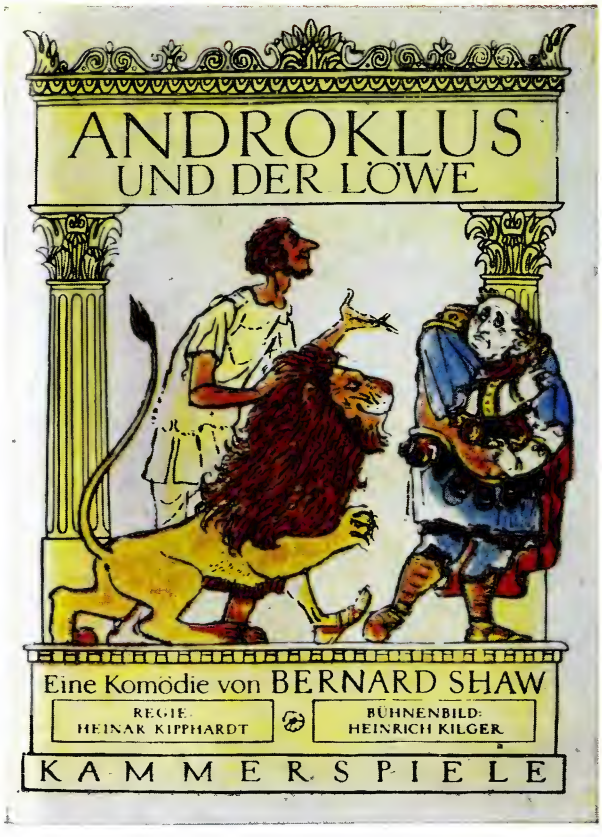
DIE SCHELMENSTREICHE
des NASREDDIN

Суперобложка книги Л. Соловьева «Похождения Насреддина». 1959 г.

Переплет книги Г. К. Лихтенберга «Торговля священными пальцами». 1960 г.

Иллюстрация к сборнику сказок братьев Гримм. 1962 г.

«Дом, где разбиваются сердца». Комедия Б. Шоу в «Каммершпиле». Эскиз театрального плаката. 1962 г.



«Андроклус и лев». Комедия Б. Шоу в «Каммершпиле». Театральный плакат. 1954 г.

Обложка журнала «Магазин». 1963 г.

НАШИ ГОСТИ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ПИСАТЕЛЯ — ЕГО ТВОРЧЕСТВО

ЦИРИЛ КОСМАЧ

ГАНЕ ТОДОРОВСКИЙ

Гостями редакции «Иностранной литературы» были недавно писатели из Югославии: председатель Союза писателей Словении Цирил Космач и председатель Союза писателей Македонии Гане Тодоровский.

Цирил Космач принадлежит к поколению прозаиков-реалистов, чья активная деятельность в литературе Югославии началась еще в предвоенные годы. «С тех пор я написал около 1000 страниц прозы, не считая переводов»,— говорит Цирил Космач. Многое из созданного видным словенским писателем переведено на русский язык. Повесть его «Баллада о трубе и облаке» была опубликована на страницах «Иностранной литературы».

— Здесь, в редакции вашего журнала, я чувствую себя как дома,— говорит писатель.— Я уже был в Советском Союзе несколько лет назад, и мои впечатления еще более благоприятны, чем в прошлый приезд. Ваши города хорошеют, с огромным размахом ведется жилищное строительство.

Разговор переходит на проблемы современной литературы и искусства. Цирил Космач не склонен смягчать острые углы и замалчивать противоречия.

— Я не очень люблю теоретические споры о литературе,— заявляет он.— Предоставим это критикам. Лучшее подтверждение эстетической позиции писателя — его творчество. В этом смысле верно будет сказать, что эстетику создают писатели. Довольно распространенный вопрос журналистов — что вы хотели сказать тем или иным произведением? — попросту бесит меня. Я — писатель. Я пишу то, что льется из моей души. Я прожил на свете почти шестьдесят лет. За это время я сумел ответить на многие вопросы, кроме двух: почему я пишу и почему я люблю одну женщину. Не раз я бился над разгадкой этих двух вещей. Ведь есть другие женщины, гораздо красивее, почему же именно эта? Ответа нет. Точно так же, если я пишу, то потому, что люблю. Что такое творческий процесс? Еще в Библии сказано, что сотворить — значит из ничего создать нечто.

Не жизнь ли, преломленная через внутренний мир художника, является источником творчества?

— Конечно, это самоочевидно. Не всегда хочется говорить очевидные вещи, но все же все мы — продукт своего времени и среды. Ни один художник не может этого избежать. В моей «Балладе о трубе и облаке» отражена не только война — прямая тема повести,— но и эстетические споры пятидесятых годов, когда она писалась. Я просто не мог их не отразить, опосредствованно, конечно.

А вообще говоря, нечто от реальной

действительности мы находим на каждой странице даже у сюрреалистов, как бы они это ни отрицали.

Мое отношение к модернизму? Да легче всего быть модернистом, выбрасывать на поверхность «поток сознания».

Популярность модернистов у читающей публики?

— Я думаю, картина везде приблизительно одинакова: модернистского искусства никто не понимает, но все хвалят его, чтобы не прослыть «отсталыми». А дома — в этом я уверен — все предпочитают слушать старика Баха.

И все же как возникла «Баллада о трубе и облаке»?

— Мой герой, писатель, проводит два месяца в долине — в Тихом доле — и за это время создает повесть о подвиге крестьянина Темникара... На самом деле я провел в Тихом доле более года. Туда меня привел еще неясный замысел, связанный поначалу с историей одного картезианского монастыря. Настоятель его, пользуясь своей независимостью от люблянского епископа, укрывал в годы войны женщин-партизанок, кормил целые бригады партизан. «Еще в 1943 году мне стало ясно, что партизаны победят»,— говорил мне старый прелат. В монастыре мне отвели комнату с высоким окном, через которое был виден лишь кусочек голубого неба. Проходя к себе, я каждый раз видел у привратника висевшую на стене ярко начищенную медную трубу (привратник был капельмейстером местного оркестра). И так несколько дней подряд — небо в окне и иногда — звук трубы. Так созрела идея «трубы и облака», вылившаяся в повесть о подвиге крестьянина... Вот вам и концепция творчества! Вот вам и влияние среды!.. Но вообще о себе я говорю неохотно. Последняя моя книга вышла в 1962 году. Сейчас работаю над небольшим романом. Над каким? Не скажу. Каждый писатель должен иметь хотя бы одну тайну. Еще лучше, если их две.

Мое мнение о современной словенской прозе? Я считаю, что в двадцать два — двадцать три года можно стать большим поэтом, но настоящим прозаиком можно стать лишь после тридцати лет. Прозаик должен иметь определенный жизненный опыт. Настоящими современными прозаиками можно назвать Ивана Потрича, Бено Зупанчича, Павла Зидара. Из более молодых — Андрея Хинга, Шелиго.

Что и как у нас переводят?

В Словении давно сложилась хорошая традиция — большую литературу переводят большие писатели. Прекрасным переводчиком французской и английской поэзии был крупнейший словенский поэт XX века Отон Жупанчич. Русская литература знакома нам по переводам выдающегося современного критика и литературоведа Иосипа Видмара. Многое из современной западной литературы перевел поэт, прозаик и драматург Матей Бор.

В разговор вступает наш второй собеседник, поэт и переводчик Гане Тодоровский.

— У нас, в Македонии, в южной части нашей страны, литературные традиции пока еще не столь богаты. Мы, по существу, заново осваиваем целые области литературного творчества. В македонской литературе уже немало выдающихся имен — крупный романист Славко Яневский, талантливый новеллист Живко Чинго, недавно вошел в литературу со своеобразным жанром поэтической прозы Бранко Варошлия. Есть и другие имена, но еще больше надежд и ожиданий.

Основная область действительности, освоенная нашей литературой,— жизнь деревни. Наши писатели стремятся передать эту жизнь со всей ее простотой и безыскусственностью и в то же время — во всей ее сложности и многообразии. Развивается и историческая проза. У нас много пишут стихов — и маститые писатели, и молодежь. Наша современная поэзия как бы колеблется между привычными, устоявшимися формами и новыми веяниями.

Что сказать о себе как о поэте? В 1970 году должен выйти из печати шестой по счету сборник моих стихотворений. Название его перевести можно приблизительно так: «Горечь того, о чем нельзя умолчать». Мои излюбленные темы? Самому о себе говорить нелегко. Критика обычно подчеркивает в моих стихах склонность к лирической исповеди. Я считаю лучшим своим произведением вариации из сборника 1956 года на тему осины — одинокой, трепещущей на ветру осины. Этот образ навеян нашей народной легендой. В последнее время я много думаю над проблемами поэтического осмысления прошлого — стремление разрушить исторические мифы, депоэтизировать устоявшиеся понятия заставляет вводить в структуру стиха прозаизмы. Я много перевожу. Вместе с писателем Блаже Конеским я перевел на македонский язык Блока. Хочу перевести Марину Цветаеву. У нас вскоре выйдут из печати в моем переводе сборники стихов Булата Окуджавы и Роберта Рождественского.

В македонской литературе создается своя школа поэтического перевода. Большой интерес вызывают достижения советской поэзии в этой области — у нас хорошо известны переводы Пастернака, Маршака, Чуковского. Многое дает нам изучение переводов таких советских поэтов, как Давид Самойлов, Юрий Левитанский, Леонид Мартынов, Борис Слуцкий.

Югославские писатели — частые гости в редакции «Иностранной литературы». Откровенные дружеские беседы, обмен мнениями по творческим вопросам входят в традицию. Разговор с Цирилом Космачем и Гане Тодоровским дал нам возможность ближе почувствовать атмосферу литературных споров в двух республиках социалистической Югославии — в Словении и Македонии, позволил расширить знакомство с югославской литературой.

Н. ВАГАПОВА

Культура и современность

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

В СПОРАХ РОЖДАЕТСЯ...

В последние три-четыре года наблюдается заметное оживление в литературе социалистической Румынии. Расширился ее тематический и жанровый регистр, разнообразнее стала «техника письма», выше — художественный уровень произведений.

Наряду с традиционной для румынской литературы крестьянской темой возродился интерес к городским повестям, политическим и историческим романам-эпопеям. Одной из характерных черт современного литературного процесса в Румынии является «миграция» писателей из одного жанра в другой, разножанровость творчества. Критики пишут романы и стихи, прозаикам не дают покоя лавры поэтов, а поэтов прельщает проза и не пугает критика.

Заметно стремление румынских писателей глубже отражать действительность, психологию строителей нового, социалистического общества в Румынии. Однако вместе с тем наблюдается и формалистическое экспериментирование, явное подражание западным образцам. Все это вызывает незатухающую полемику как среди критиков, так и среди писателей. Теоретические дискуссии, симпозиумы, «круглые столы», анкеты, интервью стали в Румынии каждодневной практикой. Обсуждаются многие, весьма разноплановые проблемы: писатель и общество, литература и читательская аудитория, гражданственность и социальное в литературе, традиции и новаторство, реализм и типическое.

Сегодня по вопросам теории литературы наряду с критиками выступают некоторые ведущие писатели. Так, недавно центром внимания румынской литературной общественности стали теоретические статьи двух известных прозаиков — Титуса Поповича и Марина Преды, публиковавшиеся главным образом на страницах еженедельника «Лучафэрул». Писатели выступают, с одной стороны, против схематизма, иллюстративности — следов недавнего прошлого, все еще неизжитых в литературе; против упрощенного понимания типического и слишком общего толкования реализма. С другой стороны, их беспокоит отход от социальной тематики, отвлеченная символика, литературные абстракции и абсолюты.

Отвечая на вопрос корреспондента «Скынтейи» о соотношении социального и эстетического в литературе, Титус Попович подчеркнул, что эта проблема вызывала и вызывает в последнее время многочисленные споры и дискуссии, не лишенные противоречий и непоследовательности.

Казалось бы, в XX веке, в мире вздыбленном, взорванном, пропаханном смерчем двух мировых войн и освеженном дыханием Октябрьской революции, существование несоциальной литературы возможно только на необитаемом острове. И все же о социальном содержании искусства продолжают спорить, в том числе — в сегодняшней Румынии. По мнению Поповича, в толковании этого вопроса преобладают сейчас две полярно противоположные теории и обе — ошибочны. Одна отрицает социальный смысл литературы, другая фетишизирует его:

> «Существует теория, суть которой в том, что помимо изображения в литературе «социального», то есть отношений между людьми, есть проза, создаваемая в пустом пространстве, ею же сотворенном. Эта мода «опространствования прозы», отторжения содержания от книги, которая якобы творит самое себя и является единственным «объективным» произведением писателя, общеизвестна. Не секрет, что подобная мода находит подражателей и у нас.
>
> Ошибка — и в другом, когда начинают прикрываться софистикой, утверждениями, что проза, независимо от того, какая сторона жизни ее привлекает, поч

каким углом зрения отражается действительность, всегда социальна, и тогда-то соотношение социального и эстетического в литературе, о котором я говорю, благополучно доказано. В абстрактном плане подобную дискуссию можно продолжать до бесконечности с тем же успехом, с каким велась полемика в 1453 году о том, какого пола ангелы, а янычары в это время уже стояли на подступах к Константинополю».

Нельзя не согласиться с обращением и, если угодно, даже с требованием Т. Поповича к румынскому писателю и критику — не улетать в заокеанские литературные дали, не герметизироваться, не гнаться за пальмой первенства в литературиой «моде», а быть ближе к эпохе, своему времени, своей земле.

«Проще, честнее и уж, во всяком случае, важнее,— подчеркивает он,— говорить о румынской прозе наших лет, о том, удается ей или нет отражать социальную действительность нашей родины, независимо от изобразительных средств, которые использует писатель для своего произведения».

К проблеме социального в литературе обращается также крупный прозаик, автор известных советскому читателю романов «Семья Морометов» и «Расточители» Марин Преда, опубликовавший ряд статей на страницах еженедельника «Лучафэрул» под рубрикой: «Каждую неделю М. Преда отвечает на один вопрос».

Он резко осуждает тех своих коллег по перу, которые, словно боязливые улитки, замыкаются в раковине выдуманного ими мира. Мир этот далек от волнений эпохи, от проблем человеческого бытия. М. Преда называет это явление в литературе «эвазионизмом» — бегством от действительности. Говоря об этой «литературной болезни», он с язвительной иронией пародирует состояние писателя-эвазиониста, спуск в «глубины» его писаний, недоступных непосвященным смертным, и показывает, что основной двигатель «эвазионистской» литературы —

«преднамеренное, запрограммированное уклонение от реальных, насущных проблем времени и нашего современного общества, бегство в поток слов и образов, бегство в мир вымысла, бессильного выразить самого писателя-эвазиониста, не говоря о его современниках».

Мнение Титуса Поповича и Марина Преды разделяют и другие видные литераторы Румынии. В выступлении прозаика Николае Бребана на симпозиуме в «Ромыния литерарэ» проскальзывает озабоченность по поводу того, что понятие социального в искусстве многих отпугивает.

«Причина,— пишет Бребан,— в нашей инертности, в ложной стыдливости перед некоторыми терминами, которыми долгое время злоупотребляли. Признаюсь, я не представляю собственной прозы, да и прозы вообще, вне социального. Проза прочно связана с социальным. Писатель — социальный элемент и не может творить вне связи с обществом».

Критик Матей Кэлинеску, участник этого же симпозиума, ограничился афоризмом «Боязнь социального — явление социальное», на который позднее сошлется в одной из статей Титус Попович. Трудно сказать, чего тут больше — афористичности, иронии или горечи. Сказано, во всяком случае, с меткой определенностью.

Как теоретика Т. Поповича заботит также существование и эволюция романа в XX веке. Он не одинок в своих размышлениях. Наш век отмечен значительными социальными коллизиями и переменами, глубокими сдвигами в жизни и сознании личности и целых народов. Все это не могло не сказаться и на литературе. Титус Попович настойчиво и аргументированно спорит с теми, кто провозгласил «угасание», «заход» романа. Не согласен он и с теоретиками «нового романа». В своей статье «Изгнание персонажа», опубликованной в «Лучафэрул», он пишет:

«Вероятно, основой незатихающей борьбы между традицией и новаторством в области романа остается условность: условность как фатальная необходимость или решительный отказ от нее. То, что общепринято называть «новаторским опытом нового романа», заключается прежде всего в отбрасывании «обветшалой» условности... Программа, закрепившая субъективную точку зрения, незамедлительно сама превратилась в условность. И эта условность гораздо более тиранична и, уж во всяком случае, гораздо более ограничительна. Показательно, что теоретики «нового романа» незамедлительно выдвинули программу, и этот «кодекс догм» перекрыл опыт, который тщился прослыть «революционным».

Т. Попович верит в роман и в его читателей:

«И хотя у романа есть реальный конкурент — средства массовой информации,— он будет жить до тех пор, пока у людей будет, грубо говоря, желание читать «истории», сопоставлять свою судьбу с судьбами вымышленными, гипотетическими и стремиться познавать себя сквозь призму многочисленных человеческих характеров и типов».

В чем специфика современного румынского романа? Каким он представляется сегодня? За традиционным или новым романом будущее? Мнения критиков по этим вопросам расходятся. Споры горячи и непримиримы. В центре их — проблема литературного эксперимента. Определенная часть критиков упрекает румынскую литературную молодежь в подражании западным образцам и моделям. Решительно выступил против такого подражательства критик Ш. Чокулеску на симпозиуме в «Ромыния литерарэ»:

«Румынского писателя одолевает стремление быть непременно «европейским». В Европе создают антипоэзию — и румынский писатель создает антипоэзию, появляется антитеатр — и он пишет антипьесы и т. д. Возникает антикритика — и у нас появляются антикритики. Нам очень удаются все «анти», то есть все имитации. Не удается быть самими собой... Румынский писатель думает, что, коли он стал некоммуникабельным, он стал хорошим и «европейским». Это большое заблуждение».

Наряду с критиками, выступающими против формального экспериментирования, имеются и такие, которые не видят в этом ничего ненормального, неестественного. Они считают, что поиски эти чаще всего выражают стремление художественно отобразить действительность, хотя признают, что этот процесс не обходится без издержек, формалистической игры в слова, литературного трюкачества.

Критик О. С. Крохмэлничану на том же симпозиуме в «Ромыния литерарэ» заявил, что причина многих литературных неудач, по его мнению,— не столько в литературном экспериментировании, сколько в боязни правдиво, реалистически отражать острую проблематику эпохи:

«Меня не смущают новаторские эксперименты. Во многих случаях, по-моему, они полезны, как и исследования лабораторные. Однако случается, что они используются в литературе для ухода от проблем, волнующих наших современников. Причина этого явления — все та же боязнь раскрытия реальных противоречий общества, которая встает препятствием на пути не бескрылого, не плоского реализма, а реализма подлинного, острого, ангажированного, стремящегося отражать проблематику нынешнего дня».

В XX век, когда история и политика обретают неоспоримые права в художественной литературе, когда развивается документальный жанр, непросто беллетристическому роману соревноваться, с одной стороны, с детективными и приключенческими повестями, а с другой — с политическими, военными, дипломатическими мемуарами, получившими безоговорочное признание современного читателя. И румынские писатели осознают необходимость создания «земных» исторических, политических романов, прочно связанных с родной землей, социалистической действительностью страны, традициями народа.

Прозаик Константин Цою в статье «Литература и документ», опубликованной в «Лучафэрул», придерживается мнения, что наибольший шанс завоевать симпатию современного румынского читателя —

«у романа, пронизанного политическим пафосом — не декларативным, не идиллическим, не риторическим, а подлинным, гуманистическим по существу, в котором временные провалы и поражения служат испытанием воли и силы характера... Только такой роман может по напряженности интриги, эволюции личностей превзойти литературу факта, столь модную сегодня, но все же лишенную долговечности литературного шедевра».

По мнению Титуса Поповича, богатейший материал для наблюдений, размышлений и теоретических выводов представляет историческая проза. В центре внимания художника — человек как субъект (или объект) истории. Писатель безоговорочно становится на сторону активно действующего, обладающего сознанием и волей человека:

«Меня волнует судьба человека, чье участие в истории осознанно, человека, который выбрал, проголосовал. Правда, наша литература предпочитает анализ этого выбора, жизнеописание героя до того, как сделан выбор, и гораздо меньше, во всяком случае без заметных литературных достижений, склонна к отображению мира, увиденного сквозь другую призму — осознанного действия человека, который верит или знает, что может влиять на ход истории».

Модификация человеческой личности в зависимости от века, эпохи, времени является постоянным предметом для раздумий румынского прозаика. В современной западной прозе бытует анализ отчуждения человеческой личности, некоммуникабельности, «исчезновения героя».

Т. Попович вносит любопытные коррективы:

«Думаю, что правомернее говорить не об исчезновении героя, а о том, что исчерпан определенный тип персонажа, который пассивно относится к истории. Эта драма, проистекающая из безучастной позиции человека в столкновении сил вне его, которое предопределяет человеческое бытие, изображалась сотни раз. Это — жертва судьбы».

Тема эта настолько увлекает Т. Поповича, что он не ограничивается отдельными высказываниями, а возвращается к предыстории вопроса:

«Все мы знаем — и обязаны не закрывать на это глаза,— что был определенный период, когда существовал тип социального детерминизма (вульгарно-материалистический, как я считаю), приведший к невыразимо серому изображению нашей истории, в которой личности, влияющие на ее ход, представали лишь как механические фигуры».

И пытаясь найти корни, причины появления и «отмирания» определенного типа персонажа в исторической прозе, он замечает:

«Самые крупные румынские романы, которые ставили своей целью отразить столкновение *индивидуальных судеб с историей,* изображали по преимуществу определенный тип персонажа. Возможно, он был более близок пониманию и личному опыту авторов; в эволюцию персонажа вписывалась и духовная эволюция автора. Речь идет о персонаже или «герое» (термин столь долго и помпезно использовался, что я его произношу с некоторым стеснением), на которого фатально влияет история. На следующих ступенях история выступает уже как катализатор сознания и, может быть, впервые обязывает человека задумываться над жизнью, по-иному подходить к истории, отказавшись от пассивного, безропотного ей подчинения».

Оглядываясь на прошлое, румынский прозаик подчеркивает:

«Самые бледные образы, созданные (хотя более подходящим здесь мне кажется слово «сфабрикованные») в румынском романе, освещающем период многочисленных и сложных преобразований,— это именно образы людей, взявших власть в свои руки не для разрушения и отчуждения остальных людей, а для воссоздания духовной гармонии человека, искалеченного барьерами собственности, во имя рождения — пусть даже болезненного, как и любое рождение,— высшего типа братства. Окрещенный «положительным», герой был наделен, в соответствии с программой, всеми добродетелями, заботливо и наивно «очеловечивался», освобождался от аскетизма (будто бы не было революционеров-аскетов, скажем, Робеспьера). Герой этот в эпоху стольких перемен и волнений выделялся своей невозмутимостью среди людей мятущихся, переживающих. Казалось, сознательное осуществление власти во имя утверждения нового мировоззрения автоматически наделяло его неким высшим прозрением.

Герой этот был вне описываемых социальных столкновений; в лучшем случае его изображали глазами тех, ради которых он действовал. Недосягаемость, сухость и эстетическая обезличенность образа скрашивались героической смертью, как будто захват власти означал, в первую очередь, бесконечный ряд кровавых жертв».

Титус Попович с горечью отмечает:

«Мало, очень мало написано романов (и не только у нас!), в которых события, конфликты, судьбы рассматривались как бы изнутри, сквозь призму внутреннего мира людей, убежденных в своей исторической правоте, действующих во имя социальной необходимости, во имя человека, чувствующих себя ответственными не только за успех революционного дела, но и за его чистоту, за воспитание революционного сознания масс».

Сегодня в румынских литературных кругах много и серьезно размышляют об общественной, гражданской функции литературы.

«Я не разделяю мысли об особой миссии писателя как «апостола», пророка,— пишет Т. Попович.— Эта идея неоднократно приобретала в истории нежелательную популярность. Однако *профессия,* которую мы добровольно и сознательно избрали для себя, требует от человека особой ответственности. Думаю, что одно из самых значительных достижений социалистической революции в Румынии заключается в том, что она пробудила чувство ответственности во всех людях — и в писателях, в частности,— поставила его на службу высокой цели. Цель эта не бесплотна и иллюзорна, а конкретна и реальна — служение нашей родине, всему нашему народу, который своим трудом и своими успехами, своей неповторимой индивидуальностью пополняет сокровищницу подлинных ценностей человечества» .

Появление теоретических статей писателей Т. Поповича и М. Преды, полемический задор критиков, непрекращающиеся дискуссии в прессе свидетельствуют о том, что разговор о современной румынской прозе не окончен, он плодотворно продолжается и в теории, и в практике литературы.

Л. ДОЛГОШЕВА

КАКОВА ОНА, ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ?

По ком на сей раз звонит колокол? Ради чего поднята тревога? Неужели только ради «среднего заработка среднего писателя»? Но кого может занимать — благоденствует или же бедствует литературный ремесленник? И что вообще значит в литературе «средняя» величина? Подобные вопросы невольно возникают у читателя, взявшего в руки специальный выпуск английского еженедельника «Таймс литерари сапплмент», посвященного теме «Деньги в писательском ремесле» и распространившегося на два номера: один по обыкновению «домашний», английский, а другой — международный. Мнения, считающие саму проблему искусственной, представлены и здесь.

«Это лишь способ уйти от разговора о работе писателя по существу»,— так расценивает молодая писательница Маргарет Драббл «подозрительную и по большей части не очень искреннюю болтовню о договорах, агентах-посредниках, издателях, потиражных деньгах, плате за экранизацию и вообще о гонорарах».

Так же примерно сто лет тому назад рассуждал Золя. «Горе побежденным»,— был его девиз. Иначе говоря, будьте гениальны или хотя бы талантливы — и о заработке горевать не придется. Нет, Золя помнил о «непризнанных гениях», о «неведомых шедеврах» и все-таки был убежден:

«Всякий мало-мальски яркий талант в конце концов себя проявит, и его вынуждены будут признать. Все дело в этом и ни в чем другом».

Помня очерк Золя «Деньги в литературе» и считая его вехой, отмечающей начало проблемы, большинство участников спецвыпуска хотят все же проверить, как с конца прошлого века до наших дней развивались отношения между Музой и Маммоной.

«Возникновение класса профессиональных писателей явление сравнительно недавнее»,— напоминает Ричард Финдлейтер.

Профессионалами в узком смысле, то есть звеном производственного процесса, сделали литераторов условия труда, вызревавшие с конца XVIII столетия. Издательства, начавшие работать с промышленным размахом, и гонорары, сменившие поддержку патронов-благотворителей, превратили людей пишущих в «людей литературы», живущих на литературный заработок. Литературное дело подверглось переустройству, равному перевороту, произведенному некогда изобретением книгопечатания.

Рубежом, с которого начинается профессионализм, большинство авторов спецвыпуска считают письмо Сэмюэля Джонсона лорду Честерфильду, в котором знаменитый английский критик демонстративно отверг вельможное покровительство, заявив, что у него есть способ заработать на жизнь. Так что декларация Джонсона (1775), очерк Золя (1880) и нынешний спецвыпуск «Таймс литерари сапплмент» выдерживают между собой определенную историческую дистанцию, достаточную для того, чтобы проблема заявила о себе, назрела и достигла предельного выражения.

На протяжении XIX столетия в суждениях о стоимости литературного труда нарастает деловитость. К исходу века она становится необычайно откровенной.

«Если хотите знать,— утверждал Золя,— то источник нашего достоинства и всеобщего к нам уважения — деньги».

Известны впечатления одного современника, который мечтал попасть на литературный Олимп, в кружок Флобера, и, очутившись там, был поражен разговорами исключительно о гонорарах. Именно тогда Бернард Шоу заявил, что для «чистого искусства» он не написал ни строчки. Это означало, что работал он как всякий труженик, живущий плодами своего труда. Это означало также, что самым прямым образом Шоу участвовал своими произведениями в жизни общества. Это означало, одним словом, что Шоу был образцовым писателем-профессионалом, характерным для того времени, когда полюса писательского профессионализма, вроде бы друг от друга далекие — писать и зарабатывать,— совместились в одной точке.

В ту пору многие литературные авторитеты смотрели на это в общем оптимистически. Казалось, презренный металл, хотя он и проник в литературу, все-таки не задевает собственно творчества.

«Мы знаем,— рассуждал Стивенсон,— что когда уважаемый писатель говорит о литературе как о способе заработать на жизнь, точно о сапожном ремесле, хотя и не столь выгодном, это значит, что он обсуждает лишь одну сторону вопроса, но при этом ясно сознает, что существуют десятки других, которые более важны сами по себе и более значительны для нашего спора».

«Настоящий писатель, усаживаясь поутру за письменный стол, не думает о том, как бы заработать побольше»,— настаивал Золя.

Оказывается, думает и еще как думает! (Думает ли он о чем-нибудь, кроме этого, уже другой вопрос.) И это не цинизм с его стороны, а неизбежность, перед которой он поставлен положением работника-профессионала.

Правда, кое-кто из авторов выпуска просто не хочет замечать практические проблемы, связанные с творчеством. «Героически-жалкой слепотой» называет эту позицию итальянский романист и критик Эдоардо Сангвинети и напоминает, что еще Бодлер, решая актуальные вопросы своим обычным способом — экспериментируя над собой,— убедился в бесплодности попыток «зарабатывать бескорыстным трудом», и ему пришлось сойти с романтических ходуль.

«Слепой взгляд,— продолжает Сангвинети,— не видит, что в какой-то момент... творческий продукт должен естественным и ощутимым образом стать товаром».

Короче, «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать».

Изготовление рукописи и ее продажа приобретают в XX столетии производственный характер. В специальном выпуске приведено мнение Генриха Бёля:

«Ясно, что мы являемся сотрудниками гигантской индустрии, и это определяет, естественно, оплату нашего труда».

Но дело не только в оплате писательского труда.

«Со вторжением денег в литературу литература изменила самую свою сущность»,— подводит итоги Эдоардо Сангвинети. Он склонен вообще усомниться в преимуществах положения, которое было некогда обозначено символическим письмом Сэмюэля Джонсона. «Ибо,— подчеркивает Сангвинети,— последовательный путь ведет, не прерываясь, через становление буржуазии от Сэмюэля Джонсона к торжеству массовой культуры».

Под знаком упадка рассматривая всю буржуазную культуру, Сангвинети ссылается при этом на марксизм. Марксистская точка зрения сложнее. Но марксизм в самом деле давно заметил свойство буржуазного мира «сводить на деньги» все, в том числе высокие духовные сферы, и сделал далекие выводы:

«Буржуазия лишила ореола святости все роды деятельности, которые до сих пор считались почетными и на которые до сих пор смотрели с благоговейным трепетом. Она превратила врача, юриста, священника, поэта, человека науки в своих платных наемных рабочих».

Это сказано в «Коммунистическом манифесте», однако в то время даже проницательные умы предпочитали не рассматривать слишком пристально щекотливую проблему «продается ли вдохновенье».

Обстоятельство, выглядевшее некогда частным, второстепенным, хотя и смущающим, приводит современных наблюдателей уже не в смущение и не в беспокойство, а просто в панику. Деньги вовсе не остались «лишь одной стороной» и вообще стороной литературного труда, они заняли центр и связали воедино все остальные вопросы творчества, не позволяя им существовать самим по себе.

И вот бескрайним образцово-ремесленным потоком движется «текущая литература», в которой даже наилучшее не превышает известного стандартного уровня. «Не может сформироваться не только гений, но ни один талант, ни даже талантик»,— говорит западногерманский литератор Жан Амери, откликаясь в журнале «Меркюр» на специальный выпуск «Таймс литерари сапплмент». Если в прошлом бывали времена, когда казалось, «нет литературы», хотя имеются большие имена, то теперь положение изменилось: литературы — масса, и нет действительно самобытных имен. Жан Амери признается, что его статью, например, могли бы безусловно написать нисколько не хуже по крайней мере еще двести человек из тех, что ему знакомы лично.

Халлдор Лакснесс подтверждает:

«Успех не означает, что вы хороший писатель, вот в чем зло!.. Если присмотреться внимательнее, то окажется, что книги, расходящиеся в крупных странах наибольшими тиражами, крайне редко принадлежат людям, обладающим в самом деле писательским дарованием. Очень часто эти люди вовсе недостойны называться писателями».

Что цена книги часто не соответствует ее ценности, что гонорар не отражает достоинств писателя,— с этим не спорит, пожалуй, ни один участник специального выпуска.

Вот что, например, рассказывает Жан-Франсуа Ревель, разбирая действующую во Франции систему литературных премий.

«Из года в год,— пишет Ревель,— критики и социологи все в том же недоумении пытаются вскрыть таинственные причины, заставляющие после решения жюри, подбор которого сам по себе тайна, двести или триста тысяч человек приобрести произведение некоего автора, чье имя большинство из этих людей никогда в жизни не слышало и в дальнейшем, быть может, не захочет слышать. Таинство сотворения искусственного бестселлера, нагнетания успеха (часто тут же и обрывающегося) характерно для литературы и с такой очевидностью не

проявляет себя нигде, не исключая даже фальшивых фейерверков кинофестивалей».

Ревель объясняет это тем, что в соревновании за премии писатели оттеснены издательскими империями. Книге, освященной именем Гонкуров, обеспечен тираж до 400 тысяч экземпляров. Стало быть, издателю важно, чтобы, хороший или плохой, но это был его автор.

«Время от времени,— заключает Ревель,— циркулируют неизменные слухи о том, кому из членов жюри сколько «дали», или о менее грубых способах подкупа. Все порицают присуждение премий, и никто не хочет от них отказаться по простой причине, что колесо все-таки вертится и каждый надеется, что рано или поздно придет его очередь».

Итак, колесо вертится, машина работает. Вот тут современные наблюдатели литературного процесса и проявляют, кажется, наиболее глубокий пессимизм, между тем именно в этом пункте был особенно спокоен Золя. Его как раз радовали механически-производственные отношения между автором и издательским аппаратом, сменившим патрона-благотворителя. «Нечто безличное» представлялось Золя все же лучше, чем прихоти какого-нибудь вельможи-мецената или самого короля. В «безличной» власти денег он видел некую гарантию объективности. Между тем нынешние писатели, испытав сполна давление этой объективности, свидетельствуют: безличность есть безличность, ей в конце концов все равно, кого печатать и кому платить, гению или бездарности.

В такой ситуации на авансцену выходит «писатель по положению»— специфический в литературной жизни персонаж, разоблаченный кембриджским профессором Ф. Р. Ливисом еще в 1930-х годах на страницах университетского журнала «Скрютини». Имя Ливиса не случайно мелькает в статьях спецвыпуска, было бы даже естественно видеть среди этих статей два разящих Ливисова памфлета «Мистер Прайс-Джонс, Британский совет и британская культура» и «Кейнс, Спендер и расхожие ценности».

Стивен Спендер, задетый Ливисом,— типичный «писатель по положению» — попробовал отразить удар. «Нам что же, прекратить писать?» — таков был в сущности мотив его полемической книги «Борьба современного человека».

И действительно! Кому-то в конце концов надо писать, даже не столько писать, сколько печататься, только бы не нарушать безостановочно-налаженного процесса капиталистического производства книжной продукции.

В суждениях последнего времени о литературном профессионализме все чаще проскальзывает мысль о том, что писатель перестает быть человеком пишущим. И не только в силу того, что не терзает он бумаги пером, а колотит по ней металлическими молоточками,— нынешний типичный писатель занимается писанием между прочим, поглощенный другими, вероятно, более для него существенными делами.

Анонимный критик «Таймс литерари сапплмент», рецензируя только что вышедший в Нью-Йорке альманах «Литературная жизнь», состоящий почти сплошь из фотографий, иронически вздыхает:

«Прежде писателей принято было читать, а не разглядывать».

Особенность нынешней литературной жизни, видимо, такова, что писатель прежде всего должен фигурировать, как говаривал у Шекспира плотник-профессионал и актер-любитель Пигва.

И снова возникает вопрос, о каких все-таки величинах идет речь, мнимых или действительных? Единственных в своем роде или средних? Нужно ли беспокоиться о «среднем заработке среднего писателя», когда такой писатель действует в массе и сам признает: не он, так еще двести человек сумеют написать не хуже!

Сорок тысяч «писателей» насчитал в Западной Германии один из участников спецвыпуска Рудольф Леонгард, и если это не ошибка, не оговорка, не опечатка, то слово «писатель» в данном случае просится в кавычки.

«Сетования на то, что читателей чересчур мало, не должны затемнять не менее плачевной истины, что писателей слишком много»,—

говорится в редакционной статье спецвыпуска. Но тогда совершенно справедлив другой вопрос, которым задается Ричард Финдлейтер:

«Можем ли мы быть уверены, что выживает достойнейший?.. Низкооплачиваемое большинство писателей,— отмечает он,— включает сотни безусловных, хотя, быть может, и недостаточно броских талантов, чьи книги, выходящие тиражом от 800 до 5000 экземпляров, никогда, возможно, не достигнут массовых тиражей, не получат премий, не будут куплены для экранизации в кино или на телевидении, но в то же время могут оказаться неотъемлемой частью книжного рынка, войти в наше литературное наследие, традицию западной культуры, или как бы там это ни называлось,— то есть лечь в основание пирамиды. Единственно, чего лишены авторы таких книг, это таланта материального преуспевания, и расплата за неудачу становится все более жестокой по мере того, как возрастает возможность успеха».

Конечно, исчисление талантов сотнями, как и дистанция между «книжным рынком» и «культурной традицией», сокращенная Финдлейтером до запятой, выглядит неосновательно. Но существо проблемы ухвачено верно: кто прежде всего страдает от нынешнего положения вещей? кто и как становится писателем? что служит мерилом творчества? что стóит в буквальном и переносном смысле удержаться в положении писателя? «а судьи кто?» и т. п. Спрашивать «достаточно ли современный писатель зарабатывает?» бессмысленно, не установив, что, как и для кого он пишет. Словом, возникает нужда проверить целиком самый механизм литературы, действующий на определенных практических началах уже второе столетие.

В старину писатель, дороживший творческим достоинством, говорил себе и советовал другим: «Если можете не писать, не пишите». Новейшие условия формулируются так: «Коль скоро вы сделались писателем, не писать не сможете». Уже Золя почувствовал: «Приходится писать и писать». Чехов раскрыл это через Тригорина, причем Тригорин толкует импульс «должен идти и писать» еще романтически — как внутреннюю потребность, страсть. Между тем сам Чехов реалистически испытал на себе и поставил в «Правила для начинающих авторов» иронический совет: «Следует помнить, что случайное авторство à propos лучше постоянного писательства. Кондуктору, пишущему стихи, живется лучше, чем стихотворцу, не служащему в кондукторах». Теперь же Халлдор Лакснесс сравнивает прозаика со сторожем в солидном учреждении — по зарплате.

«Если бы я смог продать побольше!» — восклицает Рудольф Леонгард после трех романов, которые принесли ему успех, однако не освободили от необходимости «писать и писать». А что ему теперь писать? Как долго и как много вообще способен человек «писать и писать»? Таков самый болезненный момент в пересечении творчества и профессионализма.

Конечно же, это не проблема для «писателя по положению», «среднего писателя» или для искусственно раздутого «большого имени». Ведь эти не пишут, они — печатаются. Они-то как раз прекрасно выживают в условиях поточного производства литературы. Они, собственно, порождены этими условиями. С этими условиями трудно сжиться истинному писателю, литератору по призванию, которому сегодня, как сто, двести лет или же целую вечность тому назад, по-прежнему

...Дорого творенье,
Пока на пламени труда
Кипит, бурлит воображенье...

Какие заманчивые перспективы открывают на страницах «Таймс литерари саппльмент» издатели Эрик Ролл и Джеймс Прайс! Какие скорости печатания и распространения книг, какие тиражи, какая полиграфия, какие деньги! «Только все это не очень-то подходит для творческого человека»,— между прочим сказано от редакции. И ни один из авторов спецвыпуска не делает вид, будто ему известно, где же выход. Ж.-Ф. Ревель думает только, что классическая фаза существования денежных вознаграждений за литературный труд кончилась. Возможно. Не исключено также, что спецвыпуск «ТЛС» «Деньги в писательском ремесле» обозначит завершение этой фазы, а будущий историк литературы лет через сто рассмотрит его в одном ряду со статьей Золя и демонстративным письмом Сэмюэля Джонсона.

Д. УРНОВ

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ЗИМОЙ СОРОК ПЯТОГО...

Эйвин Болстад. Доброе солнце. Повесть. Перевод с норвежского Л. Брауде, Ф. Золотаревской. Москва, «Прогресс», 1970. 159 стр.

Эта повесть написана на документальной основе и сохраняет многие свойства документа.

Зима 1945 года. К северной Норвегии приближаются советские войска, и гитлеровское командование решает срочно эвакуировать «гражданское население» финмаркского плато — саамов. При этом саамы под страхом смертной казни должны сдать командованию своих оленей с упряжками и запасы продовольствия. Оккупантов нисколько не заботит, разумеется, что этим они обрекают на гибель целый народ. Начинается борьба за жизнь.

В чуме старого Исака первые узнали о приказе. «Ничего не получат убийцы и поджигатели»,— решил Исак. «Вся семья знала, что это решение грозит им смертью, но никто не проронил ни слова».

Напряженность возникает на первых же страницах. Автор не рассказывает о том, что происходит в душах людей. Это понятно по их поступкам и поведению.

Действие разворачивается стремительно. Но ни на пядь не отступая от главной линии, автору удается познакомить читателя с нравами и обычаями саамов, с их самобытной культурой. Эти сведения очень интересны и вызывают желание узнать побольше о своеобразной жизни этого народа. И тогда приходится напоминать себе, что повесть Болстада — не записки путешественника.

«Только чрезвычайное событие может заставить саама отказаться от кофе и трубки»,— говорит Болстад в одном месте. «Доброго пса саам ценит не меньше, чем хорошего человека»,— замечает в другом. Подпольщик доктор Флеминг с сыном укрываются от оккупантов в пещере, и, чтобы отвлечь мальчика от мыслей об опасности, отец рассказывает ему о забавном древнем обычае сватовства у саамов. Братья невесты вовсю хулят подарки жениха и его самого — это-де не подарки, а барахло, а жених и хром, и голова у него не того. Сват, в свою очередь, на чем свет стоит ругает братцев, и когда читателю начинает казаться, что сейчас-то и начнется рукопашная, оказывается, что обряд благополучно завершен и помолвка состоялась.

В повести нет главного героя. Есть несколько действующих лиц, выделенных из массы, чьи характеры обрисованы эскизно, но точно и четко. Вместе же эти люди создают обобщенный образ народа, который, по выражению одного норвежца, живет «во многом по законам железного века». Это нисколько не мешает саамам быть носителями высоких человеческих качеств. В основе саамского характера лежит «немногословие, терпеливость, достоинство». У них очень развито чувство общности, принадлежности к одному целому. Характерно, что эти охотники и оленеводы, почти ничего не знающие о том, что происходит в мире, прекрасно разбираются в создавшейся обстановке и прекрасно понимают, кто им враг, а кто друг. Их ненависть к оккупантам естественна: это ненависть простых людей, которые хотят жить и заниматься своим делом, к темным силам, принявшим на этот раз облик человека в мундире гитлеровской армии.

Саамы не имеют никакого отношения к мировой политике, они живут на краю земли, среди снегов и ледников. В изображении Болстада полупервобытная жизнь саамов несколько идеализирована. Думаю, что это сделано сознательно: автор хотел

подчеркнуть, что неиспорченность саамов буржуазной цивилизацией помогает им сохранить унаследованные от предков понятия о чести и свободе. И когда эти понятия сталкиваются с фашистской системой, особенно отчетливо выступают ее античеловеческая изуверская сущность, с одной стороны, и обреченность, заложенная в ней,— с другой.

Казалось бы, как может горстка «полудиких», с точки зрения немцев, саамов сопротивляться хорошо организованной и оснащенной армии? Но саамам, как сказочным героям, в книге помогает природа, которая не враждебна человеку, знающему и уважающему ее законы. Мощный немецкий бронетранспортер бессилен среди снежной бури, и бессильно мечутся солдаты, укрепляя палатки, которые ветер вот-вот унесет чуть ли не в Финляндию. А старый саам Адья летит сквозь пургу в своих санях. Его олень сам решит, когда ему нужно лечь отдохнуть. Тогда и старик выспится в сугробе. И привезет важные сведения землякам задолго до появления транспортера.

Помогает саамам и неписаный человеческий закон, по которому люди разных национальностей объединяются в борьбе с общим врагом. В повести вместе рискуют жизнью, вместе побеждают русский разведчик Иван, немец Курт Вебер, понявший безумие гитлеровской авантюры, норвежцы — участники Сопротивления, саамские мужчины, женщины, дети, старики.

Но повесть — не сказка. Гибли люди, горели саамские церкви и жилища, «и саамы, которым знаком был в поселке каждый дом и каждый двор, знали, чье жилище поджигают в эту минуту... Внешне они были все так же спокойны, молчаливы и невозмутимы», но теперь они «стали во сто крат опаснее для немцев».

Эвакуацию удалось оттянуть до прихода Красной Армии. И хотя в Финмарке все сожжено и в разгар полярной зимы у людей нет даже крыши над головой, саамы возвращаются домой. Неистребима в людях тяга к родным местам. Неистребимо сознание — надо жить.

Приходит весна 1945 года. Вместе с людьми ликует и природа: теперь самолеты не будут пугать птиц на плато, а скромные заполярные цветы не будут растоптаны фашистским сапогом. Жизнь входит в обычную колею, но все думают об одном и том же: «в каком бы обличье ни явился вновь фашизм, они будут сражаться с ним».

Повесть Болстада рассказывает о тяжелом периоде в жизни саамского народа. В такие времена абстрактные понятия любви, ненависти, чести, свободолюбия воплощаются в конкретных поступках людей, которым приходится отстаивать свои взгляды на деле, рискуя жизнью.

Написана же эта повесть о гордом и мужественном народе сдержанно и лаконично, и оттого книга выглядит особенно привлекательной.

И. БОЧКАРЕВА

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН О СОВРЕМЕННОСТИ

Эрико Вериссимо. Господин посол. Перевод с португальского Ю. Калугина. Предисловие Ю. Елютина. Редактор Л. Борисевич. Москва, «Прогресс», 1969. 423 стр.

Исторический роман — это старый и заслуженный вид литературы, всегда встречающий живой отклик у читателя. Но «исторический роман» — не застывшее понятие, ибо с каждой новой эпохой в характере, построении и стиле его что-либо меняется и порою меняется существенно, занимая (и в то же время преобразуя) каждый раз нечто новое из смежных жанров и разделов литературы. Иногда на первый план стремительно выступает в нем захватывающая интрига приключенческой новеллы, в иные периоды он подчиняется обстоятельной глубине психологического анализа или вдруг оборачивается острой и резкой сатирой нравов. Наш богатый событиями век властно требует совсем новой формы исторического романа — романа, посвященного нашему же веку, анализирующего текущие или недавно протекшие события со всей глубиной исторического взгляда на действительность и вместе с тем рассматривающего события прошлого как историческую традицию, вливающуюся в панораму сегодняшнего дня. Такой тип романа поневоле должен объединить в себе основные особенности и художественные приемы романа исторического, являясь одновременно политическим романом наших дней, анализом нашего сегодня.

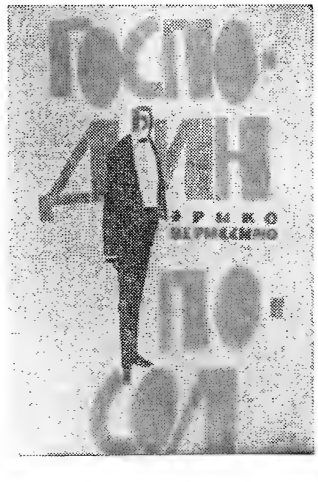
Такого рода роман, основывающийся на силе политической мысли, на философском осмыслении и обобщении эпохи, которой принадлежит сам автор, начисто опровергает столь распространенную уже достаточно давно в разных странах теорию кризиса романа, ибо, отходя в чем-то от классического понятия жанра, несет в себе полностью всю его художественную нагрузку.

Своеобразным примером исторического романа о современности можно считать один из последних романов крупного бразильского писателя Эрико Вериссимо «Господин посол». Книга Эрико Вериссимо — это воплощение жанра политического романа в том художественном выражении, какое является, по-видимому, наиболее действенным. Дело в том, что политика, творимая сейчас. сегодня, история текущей эпохи, не занимает в книге какого-то особого, отдельного места, не повисает где-то над головами персонажей, как дополнение, долженствующее разъяснить основные факторы и движущие силы данного отрезка действительности, не простирается где-то вне действия сухим, монотонным перечнем событий (что случается нередко в произведениях современной прозы разных стран Европы и Америки). По-

литика здесь — это живая сила, властно распоряжающаяся человеческими жизнями, формирующая характеры, приводящая в движение судьбы.

Республика Сакраменто... Страна-символ, страна-типаж, несуществующая страна Латинской Америки, остров, брошенный воображением писателя куда-то в Карибское море. Условное место действия — оно не раз служило в литературе разным целям: обличительной сатире, поэтической туманности элегии, гневному пафосу памфлета. У Эрико Вериссимо оно служит фокусом преломления как бы разных потоков света, каждый из которых несет черты истории одной или нескольких стран Латинской Америки, сливающиеся в книге в широкую панораму проблем, конфликтов и событий, свойственных латиноамериканскому континенту в целом. Условность места действия позволяет писателю углубиться в многовековую, многослойную и многосложную традицию народного мышления Латинской Америки в целом, не разветвляя ее по отдельным странам, составляющим Латинскую Америку, а отбирая наиболее типическое, обобщающее.

Хотя бóльшая часть действия происходит в Вашингтоне, или, если взять у́же, в посольстве Республики Сакраменто в Вашингтоне, хотя почти все действующие лица как-то, прямо или косвенно, связаны с каждодневной жизнью этого посольства и происходящими в его стенах событиями, психологическим и эмоциональным местом действия все время остается Республика Сакраменто, ее политическая жизнь, являющая собою картину политического и исторического пути, характерную для многих стран Латинской Америки и вместе с тем намеренно лишенную каких-либо слишком предметных намеков. Автор уводит нас от ненужных поисков «прототипа» истории. Это — типическое и потому реальное. И реальность этого типического подчеркивается еще и тем, что и сами события Республики Сакраменто происходят на широком фоне современной политической действительности, примерные временны́е вехи которого устанавливаются упоминаемыми в романе политическими событиями реальных стран современного мира. Как на полотнах мастеров живописи глубина картины позволяет расположить фигуры в разных планах приближенности к зрителю, по степени их значимости и роли в сюжете.



Поэтому персонажи романа, каждый из которых — типаж, символ, именно в силу этой своей символичности и собирательности, а не вопреки ей становятся живыми людьми, каждый со своей неповторимой какой-то чертой, тем более характерной, что она не *списана,* а *выведена* из общего целого латиноамериканской действительности силою социальной мысли автора.

Посол Республики Сакраменто Габриэль Элиодоро — сын нищей проститутки-индианки, со своей какой-то даже ритуальной чувственностью, с грубой смелостью и своеобразным понятием долга, заставившим его поддерживать правительство, уже изменившее тем идеалам, с которыми шло к власти, типичный представитель эксплуататорского слоя общества и, однако, внезапно впадающий в странную, бездонную задумчивость и тоску, словно вся многовековая индейская традиция страданий бьется в эту минуту в его крови... Образ непростой, вызывающий, несмотря на всю жестокость, если не сострадание, то живой человеческий интерес.

Аскет доктор Молина, посещаемый тайными видениями, мучимый яростным конфликтом с собственной совестью, принимающей реальный облик его политического противника Леонардо Гриса. «Одна из самых больших моих слабостей, как романиста,— признается Эрико Вериссимо в одном из своих интервью,— в том, что я избегаю слишком интимных встреч со Злом, вернее, испытываю отвращение к психологическим скафандрам и погружению в самые темные глубины человеческой души. При всем уважении к Достоевскому, до которого мне далеко, в этом я являюсь своего рода анти-Достоевским». Мы позволим себе не согласиться с этим утверждением писателя, ибо образ изувера-аскета доктора Молины — это именно интимная встреча со злом, а «совесть», воплощенная в образе Леонардо Гриса, выписана приемами, очень близкими к тем, что воплотили «черта» Ивана Карамазова.

Леонардо Грис, революционер-романтик, напоминающий нам по чистоте юного борца за свободу Бразилии знаменитого поэта Каштру Алвеса, с которым смутно перекликается игрой имен («грис» — серый, «алво» — белый), этот словно выросший и поседевший романтик прошлого века, знающий скорее не политику, а идеал, не сумевший сдержать пыла своей души и поэтому гибнущий...

Латиноамериканский интеллигент нового типа Пабло Ортега, со своими комплексами, колебаниями и сомнениями, приведши-

ми его, однако, хоть и долгим и извилистым путем, в самую гущу вооруженной борьбы за родину, образ, выписанный с какой-то особой, тщательной теплотой...

Сложные характеры революционных вождей Сакраменто, поставленных в сложные ракурсы, отражающие и их личное взаимоборство, и обоснованную целой сетью факторов разность их позиций в борьбе и восстании,— образы, написанные как бы с опаской, с глухой приглядкой, но с полным признанием их огромной силы...

Можно было бы очень далеко продолжать упоминание образов, создающих в романе Эрико Вериссимо галерею типов и характеров большого своеобразия и разнообразия, со всеми их неразрешенными, ждущими разрешения и часто неразрешимыми проблемами.

Было бы напрасным трудом пытаться искать для персонажей романа реальные аналогии в реальных исторических личностях, действовавших и действующих в истории и жизни Латинской Америки. Может быть, и можно их найти, но ненужно. Тем более что для каждого читателя, хоть сколько-нибудь знающего Латинскую Америку, аналогии вполне могут быть различны: вполне возможно, что каждый увидит в образах романа портретные аналогии с теми деятелями и событиями прошлого и настоящего Латинской Америки, которые его более всего занимают и волнуют. Поэтому лучше рассматривать каждый образ романа как своеобразный фокус, в котором преломляется историческая реальность Латинской Америки в разных ее проявлениях. И в этом огромная сила и значимость образов романа Эрико Вериссимо.

Абсолютно невозможно в краткой заметке даже упомянуть все те проблемы, которые Эрико Вериссимо рассматривает в своем романе. Конечно, многие рассуждения и политические идеи бразильского писателя принципиально расходятся с теми концепциями и идеями, которые мы исповедуем и которым научила нас вся история нашей страны и нашей революции, но нельзя не признать, что роман Эрико Вериссимо — это роман мысли, и он пробуждает мысль читателя; с ним можно и часто нужно спорить, но он заставляет думать много и глубоко. Это, на мой взгляд, во многом объясняет тот живой интерес, с каким была встречена нашими читателями такая сложная книга, рассказывающая о реальности, столь отличной от наших представлений, о вещах, столь далеких и во многом столь загадочных для ума и сердца наших людей.

Язык Эрико Вериссимо, тонкий, точный, ясный, сильный и гармонический, с художественной и эмоциальной верностью переданный переводчиком Юрием Калугиным, тоже, на мой взгляд, способствовал успеху романа у нашего читателя.

Своеобразный упрек, который можно бросить художественной цельности романа бразильского писателя,— это то, что Бразилия со своими проблемами, о которых рассуждает на страницах книги единственный персонаж — представитель этой страны, реальная Бразилия, с такой страстью, болью и горькой любовью описанная в рассказах и других произведениях Эрико Вериссимо, как-то бледнеет рядом с сочными красками воображаемой Республики Сакраменто. Словно на нее не хватило красок, словно она отдала все соки своей многовековой традиции мощному образу той республики, которую создало воображение писателя. Может быть, не следовало вводить в ткань повествования реальные события и коллизии Бразилии, ибо весь роман настолько истинно бразильский, и по стилю, и по характеру поставленных проблем, настолько истинно национальный, что это и позволяет ему перерасти в широкое обобщение. Поэтому, когда писатель выводит на сцену Бразилию, получается ощущение, сходное с тем, когда в спектакль из жизни чужой страны вдруг, словно для высшей достоверности, вводится несколько фраз на языке этой страны — тогда иллюзия жизни разрушается и остается только зрелище. Это в некоторой степени и произошло с «образом Бразилии» в романе Эрико Вериссимо. Правда, и здесь мы в первую очередь должны говорить о своеобразии художественной манеры писателя.

ИННА ТЫНЯНОВА

В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ

Тень деревьев. Стихи зарубежных поэтов в переводе Ильи Эренбурга. Составила Л. Зонина. Предисловие Б. Слуцкого. Редакторы выпуска Б. Слуцкий и Е. Блинов. Москва, «Прогресс», 1969. 303 стр.

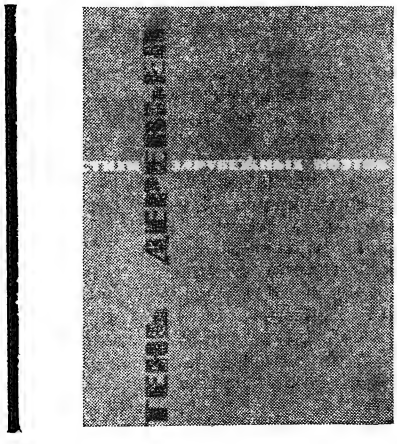
«И где-то возле Лукки я уснул под деревом, усталый, голодный. Меня разбудили дети. Толстая черная крестьянка, мать детей, позвала меня в дом, поставила на стол миску с макаронами, бутыль вина, оплетенную соломой. Я жадно уплетал макароны, а хозяйка шила детское платьице и, поглядывая на меня, вздыхала. «У тебя есть мама?» — неожиданно спросила она. Я сказал, что моя мать далеко — в Москве. Тогда, не оставляя шитья, она запела грустную песенку. Я вышел из ее дома; ночь была южная, черная, и, как мириады звезд, кружились, метались светляки. В Италии я поверил в возможность искусства и в возможность счастья. А начиналась эпоха, когда искусство казалось обреченным, счастье — немыслимым». Так в первой книге «Люди, годы, жизнь» вспоминает Илья Эренбург начала своих начал, юность, когда семнадцатилетний юноша вынужден был покинуть родной дом и родную страну — царскую Россию, чтобы спастись от судебного преследования за участие в революционном движении. Около десяти лет молодой Эренбург прожил в эмиграции, в нужде и бездолье.

И странным образом мне вспомнились эти строки, когда я взяла в руки книгу поэтических переводов Ильи Эренбурга, которая называется «Тень деревьев». И хотя названа она так по одноименному стихотворению Верлена, для меня есть неуловимая связь между тем, что юноша, начинающий свой жизненный путь, засыпает в тени придорожного дерева, и тем, что сборник переводов известного старого, увы, уже покойного писателя называется «Тень деревьев».

Юноша прошел бесчисленное число дорог, дорог вечного труда на благо людям, дорог мира и дорог войны, он рано возмужал и достиг зрелости и, перевалив через вершину жизни своей, спустился по склону ее до конца, но вдоль его дорог всегда росли могучие деревья, отбрасывая щедрую тень, в которой можно было передохнуть и набраться новых сил для того, чтобы идти дальше. Это были могучие деревья мировой культуры, мирового искусства. Благодарный их живительной тени, восхищенный их многошумными кронами, в упорном стремлении понять, откуда они берут силы и соки, писатель остро вглядывался в могучие стволы, вскормленные незримыми глазу глубокими причудливыми корнями. Приобщение к стволам и корням великой мировой культуры почти физически ощутимо, когда читаешь «Тень деревьев».

Сборник вышел в серии «Мастера поэтического перевода», которая каждой новой книгой утверждает, сколь высоко искусство поэтического перевода в нашей стране, как заинтересованно и любовно трудится советская поэзия, открывая своим читателям поэтические сокровища всего человечества.

С юности не то чтобы занимаясь, а скорей увлекаясь переводами поэзии, Эренбург сам определил характер этого увлечения: «Это было страстью, но не профессией». Но в этой страсти он сумел соблюсти глубокую верность, остаться исключительно цельным и сосредоточенным. Ибо если Италия дала ему счастье приобщения к изобразительному искусству, то в области литературы, и прежде всего поэзии, он, едва ли не с отроческих лет бредивший стихами, верный рыцарь своей родной русской поэзии, смолоду полюбил еще один язык, еще одну высокую поэзию, поэзию земли, давшей ему приют в изгнании, поэзию французского языка.



«Это было страстью, но не профессией», и это было также великолепным средством проникновения в природу другого языка, в природу другого народа, великого народа, с которым судьба связала Илью Эренбурга на всю жизнь, с которым ему случилось вместе пережить немало исторических потрясений, немало таких многозначных лет, которые не забываются и не стираются. И страсть эта всегда была неотделима от того, чем жил, чем волновался, что любил молодой литератор, и когда он на склоне лет в рассказе о своей жизни вспоминает о том, что и почему переводил, вы неизбежно видите, сколь органической была для него работа поэта-переводчика, сколь неотделима для него эта работа от всего его существования.

«Я прочитал стихи Франсуа Вийона; он жил в XV веке, был вором и разбойником: «От жажды умираю над ручьем, смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя, куда бы ни пошел, везде мой дом, чужбина мне — страна моя родная...» Перед этим я переводил стихи Малларме, который считался одним из зачинателей новой поэзии. Я понял, что Франсуа Вийон мне куда ближе...» Понял в юности и на всю жизнь, раз уж пятьдесят лет спустя увлеченно переписал свои переводы Вийона.

«Поэт Шарль Пеги писал о Жанне д'Арк и считался католиком. Мне нравились его стихи: он повторял сто раз одно и то же и каждый раз отступал от прежнего, его ритм напоминал бег охотничьей собаки, которая идет туда же, что и ее хозяин, но все время петляет. Мне довелось однажды с ним беседовать... Я думал, что он будет говорить о религии, о Бергсоне, о мессианстве, но он заговорил о России: «Я немного знаю ваших писателей. Может быть, русские первые низвергнут власть денег...»

«Я прочитал книгу поэта Франсиса Жамма; он писал о деревенской жизни, о деревьях, о маленьких пиренейских осликах, о теплоте человеческого тела... Я перевел его стихи и начал ему подражать: пантеизм показался мне выходом. Я вырос в городе, но с отроческих лет всегда томился в лабиринте улиц, чувствовал себя свободным только с глазу на глаз с природой. На короткий срок меня прельстила философия Жамма — он оправдывал и голубя и коршуна. (Я говорю сейчас о птицах, а не о классах общества.) Меня давно мучила мысль: откуда приходит зло?»

«Это было страстью, но не профессией», одним из проявлений страсти, одним из выражений страсти, с которой он полюбил Францию, ее народ, ее историю, ее культуру, ее язык. И может ли быть более убедительное свидетельство и доказательство

этой любви, ее глубины и силы, чем исступленное желание перевести поэзию этого языка на родной язык, на великий русский язык, на язык Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Блока? Илья Эренбург с отрочества знал, как много значит поэзия в жизни русских людей, и ему захотелось, чтобы эти люди узнали еще одно сокровище — поэзию французского языка. Этот великий язык сделал его намного богаче и, в свою очередь, открыл для него второй драгоценный источник — испанский язык, удивительную испанскую поэзию. Эти два языка, две культуры, две поэзии чрезвычайно много определили в судьбе писателя. Эренбургу в долгой его литературной жизни случалось переводить и с других языков, но безусловно правильно, что книга его избранных переводов стала книгой французской и испанской поэзии.

«Тень деревьев» почти полностью воспроизводит выпущенную Эренбургом в 1914 году антологию «Поэты Франции», дополненную другими его юношескими переводами, публиковавшимися в предреволюционные годы в русской и зарубежной периодике и давно уже ставшими библиографической редкостью. Наряду с этим в книгу вошли переводы стихов Франсуа Вийона, к которым Илья Эренбург вернулся в конце своей жизни, многое в них сделав по-новому. Перед любителями поэзии развертывается картина такого масштаба, который трудно сразу охватить, ибо начинается она со стихов безыскусного и бесконечно трогательного Жака де Безье, трувера XIII века, с песен крестовых походов и народных песен XV—XVIII веков. Мастерство Ильи Эренбурга — переводчика открывается при чтении этой книги с самых неожиданных сторон. В собственных стихах чаще всего нарочито суховатый, можно даже сказать, аскетичный, он оказывается и трогательно простодушным, и пронзительно лиричным. Невольно поражаешься, как много и по-разному он может передать, когда вслед за изысканными сонетами Иоахима Дю Белле читаешь «Жан-Нищета» Эжена Потье. А торжественно-классичный «Полдень Фавна» Стефана Малларме сменяют нежные звучания Поля Верлена:

Сердце тихо плачет,
Точно дождик мелкий,
Что же это значит,
Если сердце плачет?
. . . . . .
И ни зла, ни боли!
Все же плачет сердце,
Плачет оттого ли,
Что ни зла, ни боли?

И непосредственно за Верленом — неповторимая жесткость Артюра Рембо, а дальше следует целый музей поэзии Франции конца прошлого и начала нашего века, в котором экспонируются и Реми де Гурмон, и Анри де Ренье, и наконец такая вершина, как Гийом Аполлинер — пожалуй, один из самых интересных поэтов XX века и, пожалуй, один из зачинателей современной не только французской, но и европейской поэзии. (В скобках замечу, что Аполлинер — один из первых поэтов, переставших употреблять в стихах знаки препинания, и в скобках же признаюсь, что при всем желании и при всем уважении не могу понять, чему мешают в истинной поэзии знаки препинания и чему помогает их великолепное отсутствие. И в скобках же поделюсь еще одним субъективным ощущением: я бесконечно рада, что молодые любители поэзии — самые молодые, уже привыкшие к ее так называемым «свободным ритмам», те, что не успели еще оглянуться назад, узнают, сколь разнообразна и многозвучна была когда-то высокая музыка французской поэзии.) И вырвавшись наконец из скобок и вернувшись к тому, сколь разные голоса передает в своей работе Илья Эренбург, не могу не порадоваться встрече с Франсисом Жаммом, очень полно представленным в «Тени деревьев». Мы бы и не знали этого славного и доброго человека, если бы не работа Ильи Эренбурга, который отлично сумел передать его чистоту и простодушие:

Молитвы, как цветы, восходят к богу:
Никто не знает как...

Или:

Когда ты, господи, прикажешь мне идти,
Позволь мне выбрать самому пути;
. . . . . .
Позволь к Тебе прийти среди ослов —
Средь тех, что возят фуры паяцов,
Средь тех, что тащат на спине тюки...

В испанской поэзии Илья Эренбург тоже начинает издалека, переводя отрывки из романсеро первого испанского поэта XIII века Гонсало из Берсео, Хуана Руиса, протоиерея из Ита. И там, в Испании XV века, он находит такое поэтическое чудо, как Хорхе Манрике:

Годы проходят, годы уходят,
Меняется высь, колеблется твердь.
Зри кругом,
Как жизнь проходит,
Как приходит смерть
Тайком,
Как мало мы радости знаем,
Как быстро приходит расплата,
Гляди —
Как мнится нам раем
Все, что было когда-то
Позади.

Хорхе Манрике хотелось бы цитировать долго. Проще отослать к его стихам в книге «Тень деревьев».

Испания и испанский язык открыли Эренбургу новые далекие горизонты, огромный континент — Латинскую Америку. В республиканской Испании, в воюющем Мадриде он встретил никому еще в России не известного поэта из далекого Чили — Пабло Неруду. Написанную в Мадриде книгу Неруды «Испания в сердце» издал Военный комиссариат Восточной армии. «Солдаты Арагонского фронта изготовили тряпичную бумагу, набрали и напечатали книгу»,— вспоминает Эренбург. И если в других случаях несомненно его собственное утверждение о том, что «для совершенного перевода стихотворений необходимо,

чтобы переводчик перестал быть самим собой, перевоплотился, стал автором», то в случае с Нерудой такой нужды не было, Эренбургу не пришлось перевоплощаться для того, чтобы перевести его книгу,— он, так же как и Неруда, носил Испанию глубоко в сердце и не случайно именно там, в окопах республиканцев, он и сам, снова после тринадцатилетнего перерыва начал писать стихи.

Дружба с Нерудой и с другими латиноамериканцами — солдатами республиканской Испании — открыла Эренбургу новые неисчерпаемые источники поэзии. Будь он тогда моложе и не будь на пути у него другого огромного континента — второй мировой войны,— поэтические голоса Латинской Америки громче и разнообразнее раздались бы в книге «Тень деревьев». Сейчас кроме Неруды мы встречаем в ней еще одного — Николаса Гильена, чье обаяние и своеобразие тоже вполне удались его другу и переводчику.

В «Тени деревьев» опубликовано несколько статей Ильи Эренбурга о переводимых им поэтах и о поэтическом переводе вообще. Он убедительно пишет о сложности этого искусства, и я не могу не согласиться с ним в том, что совсем не всякие стихи следует непременно и во что бы то ни стало переводить, ибо бывают случаи полной «непереводимости» иной поэтической индивидуальности, той магии, которая составляет ее драгоценную сущность. Искусство поэтического перевода имеет свой секрет, и открыть его раз навсегда невозможно, ибо в каждом случае этот секрет приходится открывать наново, для каждого случая он другой.

Одно непреложно ясно и применимо ко всем случаям: перевод стихов должен всегда быть истинной поэзией, самостоятельно звучащим в другом языке настоящими стихами, и всякий раз поэту-переводчику приходится искать для этого свои пути. Если глубокие знатоки французской поэзии станут доказывать, что Илья Эренбург в своих переводах совсем не буквален и порой разрешает себе полную свободу, я не стану с ними спорить. Но на их месте я не стала бы спорить и с моим утверждением, что Илья Эренбург, как никто другой, сумел передать в своих переводах истинный дух французской поэзии, и это драгоценно.

Истинный дух и глубокое знание французской и испанской поэзии, глубокое проникновение в них, приобщение к ним дает нам книга «Тень деревьев». Этому помогает также чрезвычайно ценный аппарат, которым снабдили книгу ее составители, связанные годами общей работы, годами дружбы с автором книги, вышедшей, к сожалению, уже без его непосредственного участия. Словно бы благодарный великолепной тени деревьев, которая давала ему всю жизнь приют и отдых от зноя в долгом и нелегком пути, путник возблагодарил и шершавые стволы деревьев, и их глубокие корни. И как истинный художник, щедрый и добрый счастьем, которое он постиг в отдохновенной тени великих деревьев мировой культуры, он охотно и радостно поделился со своим родным народом — самым горячим любителем поэзии во всем мире.

МАРГАРИТА АЛИГЕР

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ОНИ ПРИНАДЛЕЖАТ НАРОДУ

С кръвта си нощите тревожим. Писатели, паднали в бой с фашизма. Подбор: Веселин Андреев. Редакционна колегия: Веселин Андреев, Георгий Свежин, Младен Исаев, Николай Зидаров, т. 1, т. 2. София, Български писател, 1969.

Составители дали этому сборнику поэтичное заглавие: «Наша кровь ночами жжет людей». Уже в самом заглавии мы читаем слово «кровь». А сколько раз слово «кровь» и слово «смерть» встречаются на страницах обоих его томов?.. И все же как ни трагичны биографии писателей, погибших в борьбе с фашизмом, о которых рассказывается в сборнике, каждая страница здесь оптимистична, все здесь говорит не о смерти, а о презрении к ней, говорит о бессмертии.

Во многом схожи биографии, очень схожи и творческие искания каждого из представленных в сборнике авторов. Они писали о безрадостном детстве, о борьбе против социальной несправедливости, против фашизма, о готовности к подвигу. Почти все они поэты-лирики. Они были еще очень молоды и воспринимали действительность эмоционально, чувство у них преобладало над размышлением. Да и профессионального мастерства порой не хватало. И творческий путь каждого из них был недолог: его оборвала смерть. Ранняя и героическая смерть в борьбе с фашизмом — и в этом они похожи, и это объединяет их. Но несмотря на сходство в мыслях и чувствах, в жизни и творчестве, они, естественно, различны были и как люди, и как писатели.

Возьмите первую книгу двухтомника, посмотрите даты жизни тех, кто в нем назван, и вы увидите, какие жертвы в те годы понесла Коммунистическая партия Болгарии, какие жертвы понесла поэзия: Арсений Йовков (1882—1924), Васил Карагьозов (1889—1925), Христо Ясенов (1889—1925), Никола Гинев (1890—1923), Гео Милев (1895—1925), Сергей Румянцев (1896—1925), Георгий Шейтанов (1896—1925). Их деятельность была связана с подъемом революционного движения в Болгарии, наступившим после первой мировой войны и

Великой Октябрьской революции, с Сентябрьским вооруженным восстанием 1923 года и воцарившейся затем монархо-фашистской диктатурой, которая ознаменовалась введением жесточайшей цензуры, закрытием прогрессивных журналов, массовым истреблением коммунистов, рабочих и крестьянских деятелей, преследованием революционных поэтов.

Но ни террор, ни величайшие жертвы не остановили борьбу за свободу, она лишь затихала, готовая в любой момент разгореться с новой силой. Особенно ярко ее пламя вспыхнуло с началом второй мировой войны, с нападением фашистской Германии на Советский Союз. Революционные писатели участвовали в изданин подпольных газет и листков, они создавали стихотворения, в которых писали о борьбе как о патриотическом долге, о самопожертвовании в бою как о служении народу, о традициях Ботева, Левского, Чавдара.

У этих людей, с юношеских лет связавших свою жизнь с коммунистической партией, за плечами были годы активного подполья, арестов, ссылок. Среди них — Никола Вапцаров, крупнейший революционный поэт, один из руководителей военного отдела ЦК Болгарской рабочей партии. Он был схвачен фашистами и приговорен к расстрелу. Он встретил смерть с революционной песней на устах. А за два часа до гибели Никола Вапцаров написал знаменитое стихотворение, в котором раскрыл нам, современникам и потомкам, источник своего мужества:

Борьба так беспощадна и жестока.
Борьба, как говорят еще, эпична.
Я пал. Другой меня сменил и... только —
исчезла лишь какая-то там личность.

Расстрел, а вслед расстрелу — черви,
и все это так просто и логично...
Но знай, народ, с тобой в отрядах первых
пойдем вперед мы в буре необычной!

(Перевод Н. Тихонова)

Известно, что организация подпольных изданий и участие в них было не единственной формой борьбы революционных болгарских писателей: те, что помоложе, уходили в горы, чтобы влиться в армию народных мстителей и воевать против фашистов с винтовкой в руках. По свидетельству болгарского литературоведа Пеньо Русева, «в партизанском движении участвовало много молодых поэтов... Большинство из них были рядовыми партизанами».

Если борьба героев, погибших в 1924—1925 годах, знаменовала собой начало смертельной схватки против фашизма, то партизаны 40-х годов были участниками ее последнего победного этапа. Их имена помнит болгарский народ: Симеон Велчев (1902—1944), Христо Козлев (1910—1944), Христо Кырпачев (1911—1943), Марин Райчев (1912—1944), Кирил Маджаров (1914—1944), Иван Стоянов (1915—1944), Антон Попов (1915—1942), Васил Воденичарский (1918—1944), Цветан Спасов (1919—1944), Иван Нивянин (1919—1944), Атанас Манчев (1921—1944), Марко Ангелов (1921—1944), Стефан Йовчев (1924—1944), Тончо Стаевский (1924—1944).

Как видим, и эти поэты прожили немного, немного они и написали. Но все, что они успели сделать, они обращали к своему народу. Народу, за свободу и счастье которого они погибли.

Особенно богато представлена в сборнике поэзия Христо Ясенова, Гео Милева, Николы Вапцарова. Опубликована, например, не только лирика Христо Ясенова, но и его юмор, в частности, такие стихи, как «Злободневка», «Культура», «Алькасар», «Инвалиды». Что касается лирики Христо Ясенова, то составители опубликовали стихотворения из ряда циклов: «Сказочное царство», «Пробуждающие песни», «Пан», «Свежесть». Разумеется, почетное место заняло здесь и знаменитое стихотворение «Петроград» — первый отклик болгарской поэзии на Октябрьскую революцию.

В этом стихотворении, написанном в ноябре 1917 года, мы читаем:

Ты, вольный Петроград, могуч,
непобедим
в дни яростной борьбы, атак
ожесточенных.
И словно слышу я сквозь твой огонь и
дым
победный клич рабов, навек
освобожденных

Для многих тысяч ты оплотом ныне стал,
оплотом мужества и веры в избавленье,
и не один у стен твоих разбился вал,
коварный, мутный вал враждебного
вторженья.

(Перевод А. Белова)

Если, публикуя стихи Христо Ясенова, составители стремились дать читателю представление о стихотворных циклах, созданных поэтом в различные годы, то, обращаясь к Гео Милеву, они учли противоречивость его творческого пути и выбрали из его наследия самое значительное — в идейном и в художественном смысле. Так, они напечатали замечательную поэму «Сентябрь», которая наиболее глубоко выражает идейно-эстетическую позицию поэта после событий 1923 года, а также неоконченную поэму «День гнева», еще недостаточно широко известную даже в Болгарии. «Пришел последний час, последний день!» — восклицает поэт в этом открытом призыве к революционному действию. Рабочих, крестьян, всех бедных граждан, молодых и старых, зовет поэт забыть рабскую терпеливость и двинуться на штурм «страшной Бастилии».

Обширно представлено в сборнике творчество Николы Вапцарова. Наряду с двумя десятками ставших хрестоматийными стихотворений здесь напечатаны и мало кому знакомые «Впечатления на пароходе «Бургас» — это проза Вапцарова, на редкость поэтичная.

Воссоздать атмосферу времени помогают помещенные в сборнике документальные материалы. Отрывок из письма или статьи, короткое высказывание, фраза из беседы звучат иной раз более непосредственно, более ярко, чем поэма. В двухстроч-

ном тексте записки или в свидетельстве боевых товарищей о последнем предсмертном выкрике заключена потрясающая сила. Эти короткие документы опубликованы рядом со стихами. Веселин Андреев в предисловии к двухтомнику пишет, что «в немногих строчках этих людей и об этих людях звучат их подлинные живые голоса, звучат с новой силой их произведения, присутствуют их мысли, чувства, воздух эпохи».

В сборнике помещено более семидесяти документальных фотографий: портреты погибших героев, их близких и друзей, дома, в которых они родились или работали, митинги, на которых они выступали, статьи из старых газет... Давние фотоснимки, иногда извлеченные из семейных альбомов, иногда переснятые из фронтовых газет военного времени,— они производят незабываемое впечатление.

Вот, например, перед нами огромная площадь, запруженная народом, слушающим оратора. А рядом письмо Николы Гинева отцу от 4 октября 1919 года: «Посылаю тебе фотографию нашего грандиозного митинга, который мы устроили 30 сентября этого года на центральной площади в Пловдиве. На митинге выступить поручили мне. Никогда я не видел такого моря людей. Сперва я сам не думал, что у меня хватит легких, чтобы охватить это море голосом. Однако, к моему удивлению, всеобщий энтузиазм придал моему голосу такую силу, какой я в себе и не предполагал. Я пережил такие насыщенные минуты, какие может пережить только борец-агитатор, когда он ясно чувствует, как его мысль, его душа и удары его сердца соединяются с бурным идейным порывом многих тысяч товарищей, готовых умереть за общее великое дело».

В другом месте внимание читателя привлекает фотография сожженного домишки, в котором после многочасовой перестрелки с окружившей его полицией погиб Атанас Манчев. Это ему, политкомиссару партизанской бригады и одаренному лирику, посвятил одно из лучших своих публицистических произведений крупнейший поэт новой Болгарии Веселин Ханчев: «Писать об Атанасе Манчеве так же волнующе, как и мучительно. Волнующе — потому, что его краткая жизнь похожа на молнию, озарившую все вокруг своим чистым светом. Мучительно — потому, что он был прострелен в самом начале своего полета, еще не успев даже раскрыть по-настоящему крылья...»

А вот дощечка, прибитая к воткнутой в землю среди леса простой палке, увенчанная деревянной пятиконечной звездой. На ней надпись: «Здесь 7.I.1944 г. погиб Христо П. Козлев, поэт, революционер и партизан». Сразу вспоминается умное, улыбающееся со всех своих фотографий лицо молодого человека, автора проникновенных стихов о Ленине, стихотворения «Воспоминание»; положенное на музыку, оно стало популярнейшей песней болгарских политзаключенных, а затем, перелетев через тюремные стены, любимой песней революционной молодежи страны.

Восторженна и, как всегда, бесстрашна,
ты в бой идешь. Сверкают, как всегда, твои глаза —
не опускаешь взор пред злобой вражьей,
и волосы откинуты назад.

(Перевод А. Опульского)

Кажется, какие незамысловатые слова в этих стихах, а что за сила в них заложена. Впрочем, разве не такая же великая сила заложена в короткой фразе Ивана Нивянина, которую он выкрикнул перед смертью: «Товарищи, не бездействуйте!»

Это та сила, которая позволила завоевать победу. Это та сила, которую погибшие герои передали нам.

А. ОПУЛЬСКИЙ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ

Bertha Bulcsu. Tüzgömbök. Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó, 1970. Sipos Gyula. A senki földjén. Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó, 1970.

Издательство художественной литературы в Будапеште провело конкурс на лучшее произведение, посвященное 25-летию освобождения Венгрии. Проведение этого конкурса явилось важнейшим событием в литературной жизни Венгрии.

Роман Булчу Берта «Огненные шары», получивший первую премию, рассказывает о событиях конца второй мировой войны; немцы оккупировали Венгрию, фронт приближался, и вот уже вся Венгрия — арена последних сражений.

Глазами десятилетнего мальчика Амбруша Тали читатель следит за судьбами

СРЕДИ КНИГ

окружающих людей. Мальчика, как и немало других беженцев, отвозят в деревню к деду с бабкой. Мать его с маленькой сестренкой погибают при бомбежке, отец призван в армию. А нашего маленького героя война настигает и в тихой деревне: он видит, как нилашисты убивают летчика-негра, выпрыгнувшего с подбитого американского самолета; через село гонят колонну советских военнопленных, и бабка Амбруша, не обращая внимания на штыки конвоиров, отдает последний хлеб пленным; во двор к Тали падает расстрелянный в воздухе русский летчик.

Автору удается убедительно передать атмосферу того времени. Измученные тяготами войны, люди охвачены ожиданием: вот-вот придут русские, и наступит конец всем этим ужасам. Что будет потом, мало кто ясно себе представляет. Какие они, эти русские? «Такие же люди, как мы, усталые и голодные, надо будет их накормить, как придут». А коммунист Йожеф Зич, раненный, истерзанный фашистами, рискуя жизнью своей и маленькой дочери, проходит через всю Венгрию, организуя подпольные группы, чтобы помешать отступающим фашистам уничтожить народное добро. Коммунистическая партия уже думает о восстановлении заводов и народного хозяйства.

Ощущение напряженного ожидания передается и читателю; к лучшим принадлежат те страницы романа, на которых мы вместе с героями видим, как рождается новая жизнь новой свободной Венгрии. «Подходил солдат, и поступь его определяла строй жизни на ближайшие сто лет, а может, и больше. Определяла направление этой жизни, давая возможность десяткам тысяч... Йожефов Зичей подняться и, в меру своих сил и способностей, повести народ за собой».

Как писал один из критиков, в ту пору люди в Венгрии переживали своеобразное состояние — как бы пребывание «на ничьей земле». Это не только местонахождение человека на территории, разделяющей два фронта, но и подведение итогов прежней жизни в преддверии нового. Роман Дьюлы Шипоша, также удостоенный первой премии, так и называется «На ничьей земле». Действие развертывается в конце 1944 года, когда войска Советской Армии завершили окружение Будапешта. Герои его — венгерские солдаты, «для себя» закончившие войну: они дезертировали из фашистской армии и ждут прихода советских войск.

Мысли и планы венгерских солдат весьма разноречивы: для одних окончание войны — это прежде всего конец кровавым кошмарам и физическое спасение, для других — возврат к «доброму, старому времени», и лишь наиболее прозорливые предвидят все величие перемен. Автор показывает молодежь прогрессивных, левых убеждений; студент-коммунист Ференц Сита и его товарищи понимают неизбежность и историческую необходимость надвигающихся социальных преобразований, они заранее принимают их и готовы, если понадобится, бороться за их осуществление. Идейные споры, рассуждения героев и составляют канву романа.

Эту же тему рождения новой жизни Венгрии, освещая ее с различных сторон, взаимно дополняя друг друга, развивают и остальные книги, получившие признание на конкурсе. Здесь и «Солнцепоклонник» Иштвана Галла, и «Времена года» Арпада Тиери, которым присудили две вторые премии, а также повесть Андраша Мезеи «В начале», удостоенная денежной награды.

Венгерская критика уделила большое внимание конкурсным произведениям, отметив как их значимость, так и слабые стороны. Безусловно права редактор издательства — организатор конкурса Ирэн Вечеи, когда она утверждает, что «возможности заложенные в условиях конкурса, всколыхнули воспоминания и впечатления, которые, пожалуй, не будь его, лежали бы нетронутыми еще какое-то время, а может быть, так и остались бы втуне». События тех лет живы в памяти их участников и свидетелей, и это придает произведениям теплоту и достоверность непосредственно пережитого.

Истекшие двадцать пять лет оказались достаточным сроком, чтобы разобраться в накопленном опыте, отсеять второстепенное, наносное, выделить наиболее существенное и оценить прошлое с высоты четверти века построения социализма в Венгрии.

Т. ВОРОНКИНА

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АНГЛИЯ

ПРИЗНАНИЕ ПИТЕРА КОРТНЕРА

Питер Кортнер — в прошлом преуспевающий режиссер кино и телевидения в США, живущий сейчас в Англии, — выпустил свою первую книгу «Продается Джим». Автор хорошо знаком с нравами Голливуда — он работал там многие годы. Его роман повествует о голливудских приключениях медицинского брата Джима и психически неуравновешенной девушки Сьюзен. Завершает роман сатирический «хэппи-энд» — застигнутый в момент попытки изнасиловать Сьюзен, Джим вынужден жениться на ней...

В интервью журналисту Джону Уокеру из редакции американской газеты «Интернешнел геральд трибюн» Кортнер рассказал:

— Когда я вспоминаю свои телевизионные передачи, все они сливаются для меня в одну, потому что были одинаково глупыми. Но, как вы понимаете, платили за это прекрасно. Если человек согласен писать ради денег — он просто приспособленец, каковым я и был, работая на телевидении. Я честно признаю, что в моем романе слишком много секса, притом сенсационного. Но если бы я написал обычную интеллигентскую книгу об Америке, без «клубнички», по правилам настоящего романа, отшлифовывая каждую страничку, никто бы меня не напечатал... Основная идея книги — продажность секса, как и всего остального. Надеюсь, это звучит достаточно убедительно.

Признаться, с одной стороны, мне хотелось написать разоблачительный роман о США, но в то же время мне было необходимо, чтобы книга быстро разошлась и по ней сняли фильм, а мой издатель не потерял бы ко мне интерес...

В книге нет вымышленных ситуаций, мне пришлось изменить лишь имена, чтобы сузить круг лиц, жаждущих моей смерти,— продолжал Кортнер. — Может быть, однако, я недостаточно умело замаскировал реальность, в следующей книге я постараюсь избежать этой ошибки, а в третьей — собираюсь полностью положиться на воображение, потому что к тому времени я буду крепко стоять на ногах.

В США я не собираюсь возвращаться. Сейчас эта страна представляет серьезную угрозу для мира. За прошедшие десять лет духовная атмосфера в стране стала неблагоприятной — там все боятся говорить правду. И хотя об атмосфере, в которой к власти в Германии пришли фашисты, я могу судить только по книгам, тем не менее напрашиваются невеселые аналогии...

ЭКРАНИЗАЦИЯ РОМАНА ЭМИЛИ БРОНТЕ

«Пустоши, поросшие вереском, первозданная дикость природы, человеческие чувства и судьбы, переплетенные, словно корни вереска»,— так отзывалась Шарлотта Бронте о единственном романе своей сестры Эмили «Холмы бурных ветров» (в русском переводе — «Грозовой перевал»). Именно в такой тональности надеются воспроизвести на экране этот выдающийся памятник английской классической литературы американские и английские кинематографисты; съемки по роману ведутся под руководством английского режиссера Роберта Фьюэста на Йоркширских равнинах (где развертываются события, описанные в «Перевале») в Англии.

Как отмечают критики, это вторая экранизация романа Э. Бронте — произведения, которое У. Сомерсет Моэм отнес к числу десяти «лучших романов мировой литературы». Первый фильм по роману «Холмы бурных ветров» появился в 1939 году. Но в той, черно-белой киноленте, как отметил

обозреватель американской газеты «Крисчен сайенс монитор», не чувствовалось «присутствия торфянистых равнин, дыхание которых, словно ветер, пронизывает все повествование Эмили Бронте».

Президент кинокомпании «Американ интернешнел пикчерз», снимавшей фильм, Джеймс Х. Николсон сказал, что создатели новой киноверсии «Холмов бурных ветров» пытаются воспроизвести «необычайно глубокое смятение человеческого духа, так великолепно переданное автором романа».

Роли главных героев — Кэти и Хитклифа — исполняют талантливые английские актеры Анна Кольдер-Маршалл и Тимонти Дальтон.

БОЛГАРИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

Союз болгарских писателей наградил следующих авторов за лучшие книги 1969 года.

В области поэзии — Владимира Голева за сборник стихов «Мироздание» и Ивана Николова за поэму «Запах полыни».

В области прозы — Димитра Гулева за сборник новелл «Ее удивительные глаза» и Свободу Бычварову за роман «Литургия на Ильин день».

В области литературной критики — Пантелея Зарева за книгу «Преображенная литература», Ефрема Каранфилова за труд «Современность и беллетристика», Васила Колевского за работу «Литература свободы» и Стояна Илиева за «Спор о поэзии и критике».

В области эссе — Серафима Северняка за книгу «Между розой и львом».

В области художественной публицистики — Богомила Райнова за книги «Пути сионизма» и «Художественное мастерство».

В области детской и юношеской литературы — Цветана Ангелова за книгу «Цветушка».

* * *

Редакционная коллегия еженедельника «Литературен фронт» наградила болгарских писателей за лучшие произведения, посвященные 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, которые были опубликованы на страницах еженедельника: Владимира Голева, Лиляну Стефанову и Николая Зидарова — за стихи, Богдана Глогинского — за рассказ, Серафима Северняка — за публицистику и Атанаса Стойкова и Ивана Цветкова — за литературную критику.

ВЕНГРИЯ

К 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ БЕЛЫ БАРТОКА

В сентябре нынешнего года исполняется двадцать пять лет со дня смерти выдающегося венгерского композитора Белы Бартока. Эта дата значится в списке важнейших годовщин, отмечаемых Всемирным Советом Мира в странах всех континентов. ЮНЕСКО организовала в своей штабквартире в Париже выставку, посвященную жизни, музыкальному творчеству и культурно-просветительской деятельности Белы Бартока.

Исключительное музыкальное дарование Белы Бартока проявилось уже в раннем детстве: в девятилетнем возрасте он начал сочинять музыку, а в одиннадцать лет юный пианист впервые с успехом выступил публично. В 1903 году, по завершении полного музыкального образования в будапештской Музыкальной академии Барток давал концерты в Вене и Берлине, которыми началась его блестящая карьера виртуоза-исполнителя.

В этот же период у Бартока пробудился интерес к народному музыкальному творчеству. В сотрудничестве с Золтаном Кодаи в 1906 году он опубликовал первый сборник венгерских народных песен. Это положило начало его многолетней деятельности по собиранию музыкального фольклора Венгрии, Румынии и Северной Африки. В 1911 году вместе с другими передовыми музыкантами Венгрии Барток основал «Новое венгерское музыкальное общество».

Когда над Европой нависла угроза фашизма, Барток, будучи непримиримым его противником, наложил запрет на исполнение своих произведений в Италии и Германии. В 1940 году он вынужден был покинуть родину. Барток эмигрировал в США, где ему суждено было прожить последние годы жизни. Он умер в Нью-Йорке в 1945 году в расцвете славы.

В «Светской кантате», «Музыке для струнных, ударных инструментов и челесты» и других произведениях Барток достиг вершин своего творчества. В них он исчерпывающе использовал все возможности струнного оркестра, обогатив их новыми звучаниями.

В последний период музыкальной деятельности Барток, несмотря на тоску по родине и тяжелую болезнь, создал произведения, полные оптимизма, гармоничного просветления, любви и сострадания к людям, использовав музыкальный фольклор народов Центральной и Восточной Европы.

К годовщине смерти Бартока венгерское телевидение подготовило документальный фильм о композиторе под названием «Только из чистого источника». Фильм снимался режиссером Шандором Руитнером совместно с пражским и братиславским телевидением.

На кинопленке, в частности, запечатлены воспоминания музыкантов, музыковедов, поддерживавших контакты с Бартоком в связи со сбором народных песен. В период между двумя мировыми войнами в Чехословакии хотели издать всю коллекцию собранных Бартоком словацких народных песен. Барток по этому поводу ездил в Прагу, в типографию, он откорректировал первые 50 страниц. Однако сборник тогда не вышел в свет. Сейчас мате-

риал находится в одном из братиславских музеев. 10 лет назад первая часть сборника была выпущена. Вторая и третья части вскоре выйдут, причем они будут печататься в той самой типографии, где когда-то готовил издание Барток.

Деятели искусства Демократической Республики Вьетнам отметили 100-летие со дня рождения В. И. Ленина новыми произведениями, посвященными вождю мирового пролетариата. На снимке: скульптор Нгуен Тхи Ким у барельефа, созданного в честь Ленинского юбилея.

(Еженедельник «Курьер дю Вьетнам»)

ДРВ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРОВ

В течение четырех месяцев в трех городах ДРВ — Вине, Намдине и Хайфоне — проходил фестиваль вьетнамских театров. Фестиваль посвящен трем большим датам, которые страна торжественно отмечает в нынешнем году: 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, сорокалетию Коммунистической партии Вьетнама и 25-летию ДРВ.

Более пятидесяти спектаклей были представлены на суд жюри и публики театральными коллективами демократического Вьетнама. Пьесы, показанные на фестивале, отражали четыре основные традиции вьетнамского театра, уходящие корнями в глубь веков: народного театра (хат хео), в котором диалог, сопровождаемый музыкой, перемежается пением; классического театра (хат туонг), отличающегося изысканной манерой исполнения; нового театра (хат каи луонг), возникшего в 1918 году в результате движения за театральную реформу, и, наконец, разговорного театра, родившегося в 1920 году и ставящего современных национальных и зарубежных драматургов. Этот театр получил признание лишь после революции.

«Известна любовь нашего народа к театру,— пишет автор статьи о фестивале в еженедельнике «Курьер дю Вьетнам».— Был случай, когда в Хайфоне публика, как только кончился многочасовой налет американской авиации, потребовала продолжения прерванного спектакля, а зрители открытых театров не расходятся даже во время проливного дождя. Нет сомнений, что перед театром, пользующимся такой народной любовью, открыты самые широкие перспективы».

ГДР

«МЕЖДУНАРОДНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ К ИСТОРИИ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

В берлинском издательстве «Фольк унд виссен» вышел в свет первый том «Международной библиографии к истории немецкой литературы». Эта ценная и единственная в своем роде книга вобрала в себя труд ученых многих стран, прежде всего литераторов ГДР, Советского Союза, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии. Она создана по инициативе Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР и издательства «Фольк унд виссен».

Первый том содержит информацию как о художественной, так и о научно-исследовательской литературе, относящейся к периоду формирования немецкого искусства слова вплоть до времен Гердера, Виланда, Лессинга. Второй том, который находится в производстве, посвящен литературе XIX века. Третий том, охватывающий литературу и германистику XX века, появит-

ся на наших книжных полках в следующем году.

Сегодня уже ни один специалист в области немецкоязычных литератур не сможет успешно работать без учета сведений, которые принесла эта книга. Начиная с 1680 года немецкоязычная литература Австрии и Швейцарии рассматривается в отдельных разделах тома. В специальные главы выделены также детская и юношеская литература — еще одно новшество в справочниках подобного рода. Широко учтены работы русских и советских германистов. В большом объеме даны сведения об изысканиях ученых Восточной и Юго-Восточной Европы, а также ученых ГДР, изысканиях, которые, как правило, не упоминаются или почти не упоминаются в западноевропейских библиографических справочниках. «Международная библиография» преодолела обычный для буржуазной науки «европоцентризм» и содержит материалы по японской, корейской, южноамериканской, австралийской германистике; представлена германистика ФРГ, США, Франции, скандинавских государств и т. д., документирующая своими продуктивными исследованиями уровень и направление литературоведческих поисков в этих странах.

Писательские персоналии выполнены с тщательностью и полнотой, в лучших издательских традициях. Проверено более 100 тысяч библиографических данных. В результате были исправлены некоторые ошибочные сведения, ранее кочевавшие из одного справочника в другой.

ЮБИЛЕЙ «КУЛЬТУРБУНДА»

Исполнилось 25 лет крупнейшему общественному объединению Германской Демократической Республики — «Культурбунду». Оно было организовано сразу после разгрома фашизма. О его задачах говорило уже само название: «Культурный союз демократического обновления Германии». Почетными президентами «Культурбунда» были старейшие немецкие писатели Герхарт Гауптман и Рихарда Гух, первым его президентом стал Иоганнес Бехер. Активно сотрудничали в «Культурбунде» Бернгард Келлерман, Вилли Бредель, Фридрих Вольф.

Роль «Культурбунда» огромна,— сказал на Пятом конгрессе объединения Иоганнес Бехер.— Он координирует деятельность культурных организаций. Во всех областях культуры, во всех организациях можно найти людей, которых воспитал «Культурбунд», которые были его активными членами. Эти люди продолжают выполнять основную задачу «Культурбунда» — всеми силами способствовать делу строительства новой социалистической культуры».

25-летие «Культурбунда» широко отмечалось в республике. В Дрездене были проведены Дни немецкого «Культурбунда», в которых активно участвовали артисты, художники, ученые, педагоги. Повсеместно состоялись коллоквиумы и собрания. Еженедельник «Зонntаг» опубликовал статьи, воспоминания, тексты выступлений, посвященных юбилейной дате.

«Деревья Вьетнама снова будут зеленеть» — так назвал свою работу из цикла вьетнамских зарисовок известный немецкий художник Герхард Бондзин.

(Еженедельник «Зонntаг»)

ФЕСТИВАЛЬ В РОСТОКЕ

Более 100 золотых медалей присудил президиум Объединения свободных немецких профсоюзов участникам XII фестиваля пролетарского искусства, состоявшегося в Ростоке. Медалями были отмечены литературно-музыкальные программы, произведения народного изобразительного искусства, самодеятельные театры, танцевальные и хоровые ансамбли, оркестры, любительские кинокружки, а также отдельные участники фестиваля.

Фестиваль широко отмечался в прессе ГДР. Газета «Берлинер цейтунг» поместила рецензию на антологию пишущих рабочих, вышедшую к фестивалю. В газете «Нейес Дейчланд» отмечались интересные постановки пьес Гете, Шиллера, показанные во время фестиваля. Появились статьи о выставках народного творчества, о выступлениях музыкальных ансамблей.

В ходе фестиваля состоялись встречи его участников с членами Немецкой академии искусств. Писатели Макс Вальтер Шульц, Гюнтер Дейке, Хорст Заломон, Эдуард Клаудиус читали с

эстрады свои произведения. Альфред Курелла, Гельмут Байерль и Гюнтер Рейш рассказали на встрече с рабочими верфей о том, как они работали над фильмом «На пути к Ленину».

Как всегда, фестиваль посетили гости из других стран. Свое искусство показал ансамбль песни и танца из Польши. С успехом прошла советская фотовыставка.

ИРАК

КНИГИ НА КУРДСКОМ ЯЗЫКЕ

Окончание войны на севере Ирака и начавшееся урегулирование курдского вопроса благоприятно сказываются на культурной жизни иракских курдов. В стране возобновилось издание газет на курдском языке, стало выходить больше курдских книг, а также книг арабских авторов, посвященных истории и культуре курдов.

К столетнему юбилею В. И. Ленина на курдском языке вышла книга о жизни и деятельности основоположника первого в мире социалистического государства. Ее автор — прогрессивный курдский публицист Мухаммед Мулла Абдул Керим.

Народному творчеству курдов посвящена книга «Исследование курдского фольклора» доктора Изз эд-Дина Мустафы Расула, вышедшая также на курдском языке.

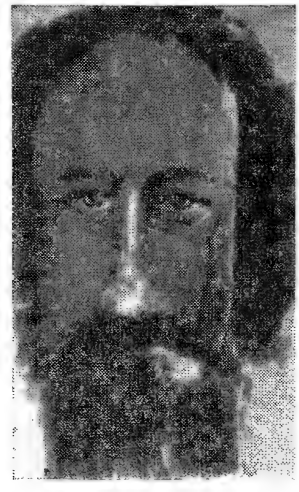
Важным событием в культурной жизни Ирака был состоявшийся недавно Первый съезд Союза курдских писателей. Как сообщает журнал «Ас-Сакафа аль-Джадида», этот союз объединяет в настоящее время свыше 80 курдских писателей и поэтов.

ИНДИЯ

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ТАГОРА

Научный трактат «Наша вселенная» и сборник «Завещание Тагора», куда вошли поэмы, письма, статьи и речи великого индийского писателя, впервые опубликованы в переводе на английский язык бомбейским издательством «Джайко паблишинг хаус».

Обе книги, по мнению критика еженедельника «Линк», удачно дополняют друг друга, перекидывая мост между Тагором-человеком и Тагором-поэтом, Тагором-мыслителем и Тагором-ученым. Произведения, вошедшие в них, «помогают воссоздать многогранный образ писателя, раскрывают его беспредельную любовь к жизни во всех ее проявлениях — будь то человек с его духовным миром, природа с ее красками, ароматами и естественной красотой или необъятная вселенная. Обе книги еще раз подтверждают несомненную современность этого великого художника и философа»,— пишет критик. Он напомнил историю создания книги «Наша вселенная». Тагор всегда мечтал приобщить молодежь к науке уже на первых этапах образования. Серьезную роль он отводил при этом хорошей литературе. С присущим ему чувством ответственности, перечитав не одну сотню научных трактатов, долго и кропотливо отбирал ученый материал для своего сборника. Так родился живой, увлекательно написанный популярный рассказ об окружающем человека мире. К чести переводчицы Инду Датт, следует сказать, резюмирует критик, что ей удалось передать не только дух произведений Тагора, но и в значительной мере красоту стиля поэта.



Р. Тагор (автопортрет).
(Еженедельник «Линк»)

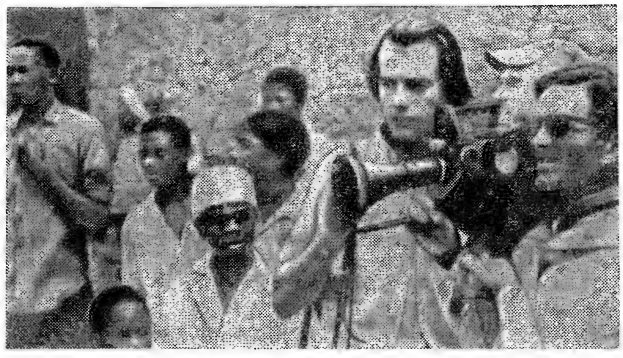
ИТАЛИЯ

«НЕ ВЫЖИДАТЬ, А СРАЖАТЬСЯ»

Журнал «Календарио дель пополо» («Народный календарь»), издаваемый Итальянской коммунистической партией, в одном из своих последних номеров поместил специальную вкладку, воспроизводящую подпольный журнал компартии «Ностра лотта» («Наша борьба»). Это издание выходило в 1943—1945 гг., его редактором был Эудженио Куриэль, убитый гитлеровцами. «Ностра лотта» сыграла важную роль, мобилизуя итальянцев на борьбу против гитлеровских оккупантов и итальянских фашистов на Севере Италии, где марионеточная «социальная республика» Муссолини просуществовала до конца апреля 1945 года — времени победоносного народного вооруженного восстания. Журнал выходил под лозунгом коммунистов: «Не выжидать, а сражаться». Многим этот журнал был обязан своему молодому редактору Куриэлю — страстному коммунисту, широко образованному журналисту. Публикации предпослано предисловие члена руководства ИКП Артуро Коломби.

ПИСАТЕЛИ ЗА КИНОКАМЕРОЙ

Пьер Паоло Пазолини — писатель, поэт и кинорежиссер — закончил свой новый фильм «Заметки для африканской Орестеи», который критика называет «не самым красивым, но самым лучшим» из всех, снятых им до сих пор. Первоначально Пазолини предполагал создать экранизацию «Орестеи» Эсхила. Как и



Пазолини во время съемок в Африке.
(Газета «Унита»)

прежде, в «Царе Эдипе», он хотел найти точки соприкосновения между архаическим миром, античной греческой трагедией и современностью, в данном случае — социальным обновлением стран Черной Африки. Но отснятый материал имеет вполне самостоятельное значение — это взволнованный рассказ о сегодняшней африканской действительности. Пазолини сам вел съемки, сам написал и читает в фильме текст комментария.

Произведение это как бы незаконченно — оно умышленно оставлено автором в виде «материала», пищи для размышлений. Фильм Пазолини должен был демонстрироваться по итальянскому телевидению, но, учитывая резко антиколониалистскую и остросоциальную направленность «Заметок», телевидение под разными предлогами отказывается его показать.

Молодая писательница Дачия Мараини — известность ей принесла первая книга «Возраст недомогания», за которую она получила премию «Форментор», когда ей было немногим больше 20 лет,— также стала режиссером. После опыта театральной режиссуры (Мараини поставила на сцене написанную ею пьесу-монтаж) она обратилась к кинорежиссуре и ставит фильм по роману Альберто Моравиа «Супружеская любовь». Съемки фильма будут вестись на Сицилии, в Багерии, на натуре. Для съемок Мараини использует старинную виллу, принадлежащую ее бабке княгине Аллиата ди Салапарута, а также виллу Палагония, воспетую Гете. Мараини хочет также «использовать» в своем фильме другую «достопримечательн о с т ь» Багерии — места и мотивы, связанные с детством и молодостью художника Ренато Гуттузо, родившегося и начавшего рисовать в этом сицилийском городке. Главную женскую роль в фильме будет исполнять французская актриса Маша Мерилл, с успехом снимавшаяся в картинах Годара.

СМЕРТЬ УНГАРЕТТИ

В возрасте 82 лет в Милане умер Джузеппе Унгаретти — один из виднейших представителей современной итальянской поэзии. Два года назад, когда в Италии широко отмечалось восьмидесятилетие поэта, в поздравительной телеграмме от имени руководства ИКП Луиджи Лонго писал Унгаретти, что его поэзия «представляла и представляет собой вклад, обогащающий не только итальянскую культуру, но и все сферы жизни итальянского общества». Унгаретти был не только поэтом, но и литературным критиком, переводчиком, прозаиком, его литературная деятельность связана также с литературной жизнью Франции. Молодость его была отмечена дружбой с Аполлинером и Бретоном; годы первой мировой войны он провел на фронте, в период фашизма предпочел эмигрировать в Бразилию, где получил университетскую кафедру в Сан-Паулу.

В 1916 году вышел его первый сборник стихов. Затем этот и последующий сборник стихов Унгаретти вошли в книгу «Веселье», появившуюся в 1932 году. Это своего рода дневник солдата, воспоминания и зарисовки военных будней. Позднее были опубликованы книги «Чувство времени», «Боль», «Обетованная земля». Унгаретти считается одним из представителей так называемой «герметической поэзии» — в годы фашизма «герметизм» был формой пассивного протеста многих писателей против окружавшей их действительности. В годы второй мировой войны родились антивоенные стихи Унгаретти «Мертвые над горами», «Не кричите больше». Последние годы своей жизни Унгаретти проявлял все больший интерес к событиям современной жизни. Совсем недавно «Иностранная литература» (№ 7, 1970) сообщила о его встрече с группой молодежи и участии в манифестации протеста против произвола «черных полковников» в Греции, о создании им стихотворения «Греция 1970». За несколько недель до смерти поэта в печати появились рецензии на работу Леоне Пиччони «Жизнь поэта Джузеппе Унгаретти». Незадолго до этого вышла другая работа Пиччони — его вступительная статья к собранию сочинений Унгаретти в одном томе — «Жизнь человека».

Итальянские газеты и журналы поместили статьи и некрологи, посвященные памяти большого поэта, а также его стихотворения.

ОАР

ФИЛЬМ О БОРЬБЕ С ЗАХВАТЧИКАМИ

Как сообщает египетская пресса, «Организация кино» в Каире приступила к работе над фильмом «Любой

ценой». Фильм, сценарий для которого написан известным писателем Сарватом Абазой, повествует о героизме арабских женщин в борьбе с израильскими оккупантами. В главной роли снимается популярная египетская киноактриса Магда.

«БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ» НА АРАБСКОМ

По сообщению журнала «Аль-Адиб», в Каире вышел «Рай» Данте — третья часть его «Божественной комедии». Как и первые две части книги великого итальянского поэта — «Ад» и «Чистилище»,— «Рай» переведен на арабский доктором Хасаном Османом.

ПОЛЬША

СЛОВАРЬ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

По сообщениям печати, вскоре выйдет «Словарь современных польских писателей», подготовленный Леславом Бартельским. В него включено около 1050 биографических справок. Помимо сведений о членах Союза польских писателей, в словарь вошли также справки о видных, ныне покойных польских писателях, таких как Бачинский, Броневский, Домбровская, Налковская. Библиография охватывает все 25 лет Народной Польши, содержит сведения о книгах современных польских писателей.

«НЕТ ВОЗВРАТА, ДЖОННИ»

Выпускник Лодзинского института кинематографии иранец Кавех Пур Рахнама приступил к съемкам в Польше своего первого полнометражного художественного фильма «Нет возврата, Джонни», который рассказывает о войне во Вьетнаме.

...Из экипажа американского патрульного судна, подорвавшегося на мине, спаслось всего два человека: американский сержант Джонни и прикованный к нему цепью военнопленный вьетнамец Гуэ. Американец силен, у него есть пистолет, нож и рация, при помощи которой он поддерживает связь со своими. Ему на помощь выслан вертолет. Безоружный вьетнамец может рассчитывать только на свои силы. Он физически крепок, смекалист, понимает суть борьбы и находится на своей земле.

Гуэ водит американца по топям и болотам, по полям, где расставлены ловушки для вражеских солдат. Он старается держаться подальше от берега, где рыскает высадившийся с вертолета десант. И вот американец и пленный Гуэ схватились, как два смертельных врага. Вьетнамцу удается выбить из рук Джонни пистолет и рацию. Американец бессилен. Они меняются ролями: Гуэ перестает быть пленником...

«В моем фильме война, в которую втянуты сотни тысяч людей, сводится к конфликту между двумя представителями враждующих сторон, — рассказал режиссер.— Однако в этом конфликте кроется глубокий моральный смысл. Вьетнамец понимает, за что борется. Программа народа, которую он представляет, основана не только на стремлении изгнать американцев, но и построить собственное независимое государство, восстановить разрушенные войной города и деревни. Американец вооружен новым совершенным оружием, но то, за что он борется, не имеет моральных устоев».

Кавех Пур Рахнама приехал в Польшу в 1964 году и поступил учиться на режиссерское отделение Лодзинского института кинематографии, которое окончил год назад. Еще в

Кадры из фильма — «Нет возврата, Джонни».

студенческие годы Пур Рахнама снял короткометражный документальный фильм «Вечерняя контрольная работа» и получил за него премию, предназначенную лучшему фильму, снятому в Польше иностранным студентом. В 1968 году Кавех Пур Рахнама создал фильм «Старт». В этой картине режиссер сопоставляет взгляды на действительность и мечты польской молодежи и молодежи «третьего мира».

О ЯЗЫКЕ ИНФОРМАЦИИ И НАРОДНОМ ЯЗЫКЕ

Известный польский актер Войцех Семион наряду с большой творческой работой в профессиональном театре выступает на телевидении с серией передач о народном искусстве. Эти передачи названы «С Кольбергом по стране» и пользуются широкой популярностью. В них рассказывается о народных обрядах, одежде, масках, а также о людях, которые этим интересуются и занимаются. «Во всех уголках страны,— рассказал В. Семион корреспонденту еженедельника «Экран»,— существуют народные исполнители, которых люди знают и любят. В Кракове подошел ко мне парнишка и говорит: «Я вас знаю, вы выступали по телевидению с Яном Лисяком из нашей деревни». Это — знаменательно...

Современная поэзия не может отмежеваться от народного творчества, от того, что является подлинно польским, от своих национальных истоков. Речь идет не только о поэзии, но и о языке и о культуре вообще. Специфический информационный язык телепередач может поглотить живой народный язык со всем его богатством и выразительностью. Язык информации невероятно беден и убог. А как красочно изъясняются народные балагуры, какие у них образные определения! Их выражения остроумны, метки, в них через край бьет фантазия!

Песни, стихи, поговорки, прикладное искусство — все это для людей, живущих в деревне, не только творчество, но и развлечение и средство общения с природой».

Войцех Семион постоянно встречается с народными сказочниками, умельцами. «Я получаю множество писем,— сказал он,— нередко они кладут начало новым творческим замыслам».

Войцех Семион и его коллекция произведений народных умельцев.

(Еженедельник «Экран»)

КОНЧИНА ТАДЕУША БРЕЗЫ

Скончался выдающийся писатель Тадеуш Бреза, пришедший в литературу еще до войны. Его первый роман, «Адам Грывалд», был опубликован в 1936 году.

Сразу же после войны он создает цикл романов — «Стены Иерихона» и «Небо и земля» (в двух томах). По словам обозревателя «Трибуны люду» Р. Шидловского, Бреза насытил эти повести богатым политическим и общественным содержанием; на описываемые события и людей он смотрит сквозь призму победившей социалистической революции, на сторону которой он встал с первых же дней после освобождения Польши.

В эти годы Бреза печатает эссе, пишет театральные рецензии, вместе со Станиславом Дыгатом создает пьесу «Покушение», в которой в остросюжетной форме представлена Варшава времен оккупации, ее подпольная борьба против немецко-фашистских захватчиков.

Затем на несколько лет писатель уезжает в Рим, где занимает пост атташе по вопросам культуры посольства ПНР. Там он создает две наиболее значительные книги: сборник очерков о Ватикане «Бронзовые врата» и повесть «Ведомство», посвященную той же теме. Пожалуй, пишет Р. Шидловский, до сих пор никто так спокойно и объективно, с таким знанием дела и так критически не показал механизм и внутренние отношения, царившие в римской курии во время понтификата Пия XII.

Книги «Бронзовые врата» и «Ведомство» переведены на многие иностранные языки.

Последние годы Бреза работал советником польского посольства в Париже, где занимался не только дипломатической и культурной работой, но и собирал материал для своих новых книг, которые хотел написать по возвращении на родину.

РУМЫНИЯ

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Издательство художественной литературы, носящее имя крупнейшего румынского поэта Михаила Эминеску, выпускает в нынешнем году книги 250 наименований: это проза, поэзия, драматургия, литературная критика.

«Название издательства ко многому обязывает,— заявил его главный редактор поэт Корнелиу Леу в беседе с корреспондентом газеты «Скынтейя».— Около трети всей продукции составляет современная литература. В соответствии с пожеланиями читателей издательство им. Эминеску решило больше внимания уделить роману. Для того чтобы более оперативно откликаться на будни страны, издательство намерено выпускать сборники рассказов, очерков, репортажей — главным образом молодых авторов».

В 1970 году, продолжал издатель, выходят собрания сочинений крупнейших мастеров румынской поэзии — Эминеску, Кошбука, Минулеску, Баковии, Аргези, Благи и других. Наряду с этим печатается около 30 сборников стихов поэтов-дебютантов.

«В ближайшем будущем,— подчеркнул в заключение Леу,— характерным для деятельности издательства им. Эминеску станет быстрое, оперативное отражение литературных явлений наших дней, отражение нашей социалистической действительности».

СНИМАЮТСЯ ФИЛЬМЫ

На киностудиях страны идет работа над новыми художественными фильмами по известным произведениям румынской литературы. Автор романа «Семья Морометов» Марин Преда вместе с режиссером Лучаном Джуркеску работает над экранизацией этого произведения. Главный герой киноповести — партийный работник Николае Моромет.

Аурел Баранга создал сценарий сатирической комедии «Проказница» для киностудии «Букурешть». В фильме рассказывается о женщине, которая непримиримо относится к грубости и самодурству на работе и в быту.

Плакат Пятого международного конкурса и фестиваля имени Джордже Энеску (5—21 сентября 1970 г., Бухарест).

Один из представителей новой румынской литературы — Николае Бребан, автор известного советским читателям романа «Франциска» и других произведений,— выступает в роли сценариста и режиссера фильма, в основу которого положен его последний роман «Больные животные».

Давно и плодотворно работает в кино писатель и ученый Михня Георгиу, автор сценариев крупных картин «Порто-Франко», «Под знаком Девы», «Тудор», известных советскому зрителю. Его новый сценарий описывает приключения человека в поисках рукописи Дмитрия Кантемира, исчезнувшей при таинственных обстоятельствах.

США

ХУДОЖНИКИ НЬЮ-ЙОРКА: «НЕТ ВОЙНЕ!»

Более тысячи художников, сотрудников музеев и других представителей изобразительного искусства Нью-Йорка предприняли, по откликам печати, «беспрецедентную политическую акцию», собравшись на общее заседание, чтобы заявить протест против войны Соединенных Штатов в Индокитае, против разгула расизма и угнетения в самой Америке.

Заседание происходило в студенческом центре «Лэб» при нью-йоркском университете. Присутствовавшие единодушно приняли резолюцию: провести однодневную забастовку — закрыть музеи и картинные галереи города в знак протеста против вьетнамской войны; прекратить всякое сотрудничество с федеральным правительством в сфере искусств; находить способы воздействия на политическое сознание посетителей музеев, выставок; выделять 10% выручки от продажи каждой картины в фонд антивоенной деятельности.

Идея проведения такого заседания, по сообщениям печати, зародилась в нью-йоркской Школе изобразительных искусств. Толчком этому послужили события в Кентском университете (где полиция убила четырех студентов), небывалая волна студенческих демонстраций и забастовок, прокатившихся по всей стране, а также вторжение американских войск в Камбоджу.

Выступивший на этом заседании известный скульптор и теоретик в области изобразительных искусств Роберт Моррис подчеркнул, что теперь настало такое время, когда от занятий исключительно искусством творческим работникам необходимо перейти к единым действиям против усиливающихся репрессий политики войны и расизма в США. В знак протеста против внешней и внутренней политики властей Р. Моррис закрыл свою выставку в музее Уитни.

На заседании выступили также представители «Коалиции студентов, изучающих изобразительное искусство», организации «Художники-женщины в революции», «Коалиции работников изобразительного искусства», ассоциации

«Протестующие художники и писатели» и Студенческого комитета Объединенного союза художников.

«ЕСЛИ ЭТО НЕ ПОРАЖЕНИЕ...»

Дирек Мэйтленд побывал во Вьетнаме в качестве военного корреспондента. Во время одной из военных операций он пережил нервное потрясение и вскоре вернулся домой. Недавно вышел роман Мэйтленда «Единственная война, выпавшая на нашу долю», в котором автор, по его собственным словам, хотел «выразить возмущение вьетнамским конфликтом и страх перед американским военным комплексом».

«Действие романа происходит в районе военных операций,— писал рецензент газеты «Морнинг стар» Эдди Вудс. — Центральные персонажи — генерал, его заместитель и сайгонские марионетки. Образы героев романа, быть может, слегка шаржированы — этим автор стремился подчеркнуть безумие их поступков. Впрочем, безумие это вполне правдоподобное, если вспомнить сообщения, которые мы ежедневно слышим по радио. Американские данные о потерях вьетнамцев, например, заставляют задуматься: остался ли там кто-нибудь в живых? Роман разоблачает закулисную «кухню войны», безответственность офицеров, осуществляющих командование из штаба или с теннисного корта, считающихся лишь с указаниями, поступающими из Вашингтона. Подобная практика обрекает на бессмысленную гибель целые подразделения американских солдат, но кто об этом узнает? В официальной сводке сообщается лишь о том, что во время операции погибло четыре вьетнамца...»

«Официальная сводка упоминала только о четырех убитых вьетнамцах,— говорит один из героев романа, полковник,— но по неофициальным разведданным цифра потерь противника могла бы достигнуть 475, если принять во внимание следы крови, угол обстрела, учесть раненых и т. д.»

«Следовательно, вы не считаете операцию провалившейся?» — спрашивает генерал.

«Думаю, нет, сэр».

«Но если это не поражение, возможно, это победа?»

«Вы правы, сэр».

В конце романа, примерно месяц спустя после описанных событий, полковник говорит генералу:

«Не принимайте все это слишком близко к сердцу. Не такая уж это плохая война, да и потом, она ведь еще не закончена...»

«Действительность превосходит все, что описано в романе Дирека Мэйтленда,— пишет в заключение Эдди Вудс.— Ирония здесь неуместна, но как доказал своим романом Мэйтленд, книги об этой войне могут восприниматься как горькая и беспощадная сатира».

Фи Лан — исполнитель главной роли в фильме «Хоа-Бин».

(Газета «Интернешнел геральд трибюн»)

ФРАНЦИЯ

«ХОА-БИН» — ФИЛЬМ О ВЬЕТНАМЕ

Фильм «Хоа-Бин», первая режиссерская работа Рауля Кутара, «самого блестящего современного французского оператора», по отзывам кинокритиков, получил высокую оценку не только французской, но и зарубежной прессы и был отмечен на фестивале в Канне. Имя Рауля Кутара, оператора многих фильмов Годара, получило особенно широкую известность после того, как он снял фильм «Зет» по одноименному роману Василиса Василикоса. Место действия «Хоа-Бин» — Вьетнам. «Тема войны получила в фильме новую, оригинальную трактовку,— пишет рецензент газеты «Интернешнел геральд трибюн».— «События фильма развертываются в Сайгоне; симпатии автора на стороне Севера, где сражается отец маленького героя фильма, 11-летнего мальчика, оставшегося после смерти матери со своей двухлетней сестренкой. Игра исполнителя главной роли Фи Лана безукоризненна в своей искренности и редкой верности жизненной правде. Отмеченный неподдельным артистизмом, фильм снят в документальной манере, в нем запечатлена графически четкая картина разоренной войной страны...»

В беседе с автором фильма корреспондент газеты «Монд» отметил, что фильм сделан с большой любовью к народу Вьетнама, что политические его симпатии предельно ясны: «Это фильм о людях, которые ни в чем не повинны, истерзаны войной морально и физически. Это фильм о всех детях, о всех женщинах и стариках, раздавленных обрушившейся на них войной...»

Рауль Кутар сказал в беседе с корреспондентом:

«Я намеренно не давал имен героям фильма — это просто дети, женщины, мужчины, я хотел показать бесчеловечность войны, которая для простых людей всегда — несчастье, нищета, ужас».

ПАМЯТИ ЭЛЬЗЫ ТРИОЛЕ

На 74-м году жизни скончалась известная писательница Эльза Триоле. Представители французской общественности и творческой интеллигенции выразили глубокое уважение к памяти умершей.

В письме Центрального Комитета ФКП Луи Арагону, опубликованном в газете «Юманите», говорится: «От нас ушла большая писательница, внесшая значительный вклад во французскую культуру и в современное искусство. Ее творчество отражает нашу эпоху, является эхом тревог и надежд нашего народа... Гуманистическое содержание, оригинальность и мастерство делают творчество Эльзы Триоле неотъемлемой частью французского национального наследия... Она поддерживала развитие молодой поэзии и дух поиска в различных областях художественного творчества.

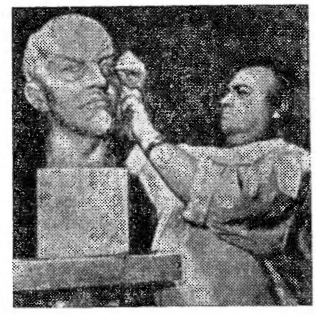
...Эльза участвовала во всех битвах нашего народа, и великие цели человечества были ее личными целями. Во время гитлеровской оккупации она играла важную роль в организации сопротивления интеллигенции нашей страны и с честью служила делу французской литературы.

Она всегда была на стороне трудящихся, участвующих в борьбе за лучшее будущее, за свободу и прогресс, всегда разоблачала бесчеловечность системы, основанной на социальном неравенстве, призывала к созданию более справедливого общества».

В письме отмечается также деятельное участие Эльзы Триоле в выступлениях французской интеллигенции в защиту жертв фашистских диктатур, за солидарность с угнетенными народами, в борьбе за мир.

Писатели Пьер Гамарра, Веркор, Роже Шатонё, Франсуа Мориак, Анри Труайа, Андре Вюрмсер, художник Жан Эффель и многие другие деятели культуры выразили глубокую скорбь в связи с кончиной писательницы.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ



Скульптор Милан Аксман (Брно) работает над бюстом В. И. Ленина.

(Журнал «Чехословакия»)

ШВЕЦИЯ

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК

По сообщениям печати, на острове Готланд начались съемки нового фильма «Побег вместе с Пеппи». Сценарий фильма создан детской писательницей Астрид Линдгрен, по книге которой поставлен фильм «Пеппи Длинный Чулок». Фильм снимает режиссер Улле Хельбум. Роль Пеппи исполняет уже известная миллионам юных зрителей одиннадцатилетняя Ингер Нильсен.

ЮГОСЛАВИЯ

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

В Загребе группа молодых писателей и ученых начала издавать новый журнал «Книжевна смотра» («Литературное обозрение»), посвященный вопросам развития мировой, а также югославской литературы.

Издает журнал, как сообщает бюллетень «Югославские новости», Хорватское философское общество.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖНОЙ КНИГИ

В день рождения Ханса Кристиана Андерсена отмечался Международный день молодежной книги. В течение последних четырех лет этот праздник проводится ежегодно Международным Союзом молодежной литературы. Союз объединяет 32 государства.

В нынешнем году праздник проводился югославской секцией Союза. Традиционное послание детям всего мира написала известная словенская детская писательница Элла Перокци.

ЮНЕСКО

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ «ТЕАТР НАЦИЙ»

В здании ЮНЕСКО в Париже состоялось совещание, в котором приняли участие работники театра, писатели и организаторы международных фестивалей. Они отметили недостаточно высокий уровень многих постановок на сцене «Театра Наций», что неоднократно подчеркивалось как театральной критикой, так и зрителями. Участники совещания обсуждали вопросы, связанные с организацией международного театрального сезона: целесообразно ли «сосуществование» оперы, драмы и балета на сцене «Театра Наций»? Кто должен нести ответственность за подбор участвующих в выступлениях трупп? Нужно ли строить «Международный дом театров»? Должны ли представления происходить в одном месте или в нескольких театрах одновременно?

В ходе дискуссий участники совещания обсудили меры, направленные на улучшение деятельности «Театра Наций».

Авторы этого номера

ПЕТР КАРААНГОВ (род. в 1931 г.).

Болгарский поэт, автор сборников лирических стихов «Следы на дороге» («Следи по пътя», 1957), «Времена года и наша улица» («Сезоните и нашата улица», 1960), «Участие» (1964), «Годовые круги» («Годищни кръгове», 1965) и др.

Напечатанные в номере стихи «Беласица» и «Зимнее воскресенье» взяты из сборника «Зимние воскресенья» (1967), остальные получены от автора в рукописи.

■

ФЕЛИКС ПОЛЛАК — FELIX POLLAK, РОБЕРТ ДЖОЗЕФ ЗИГМУНД — ROBERT JOSEPH SIGMUND, ЭВЕЛИН ТОРН — EVELYN THORNE — американские поэты.

Массовое движение за прекращение агрессивной войны США во Вьетнаме нашло отражение в американской поэзии. Проникнутая духом протеста, объединившим творчество поэтов разных поколений, убеждений и цвета кожи, эта поэзия представлена во многих антологиях.

Стихи молодых американских поэтов взяты из антологий «Где Вьетнам?» («Where is Vietnam?», 1967) и «Надписи на стене» («The Writing on the Wall», 1969), составленных известным американским поэтом Уолтером Лоуэнфелсом, стихи которого неоднократно публиковались на страницах нашего журнала и других советских изданий.

■

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — WILLIAM FAULKNER (1897—1962).

Выдающийся американский писатель, лауреат Нобелевской премии, автор многих романов и рассказов об американском Юге. Произведения У. Фолкнера неоднократно издавались в нашей стране. В русском переводе вышла его трилогия — «Деревня», «Город», «Особняк» (последний роман был напечатан «Иностранной литературой» в 1961 году, №№ 9—11), роман «Солдатская награда». В нашем журнале опубликованы также роман «Осквернитель праха» (№№ 1—2 за 1968 г.) и рассказы «Дым», «Победа», «Поджигатель».

■

АЛЬБЕР КАМЮ — ALBERT CAMUS (1913—1960).

Известный французский писатель, драматург, эссеист, лауреат Нобелевской премии. Родился и провел детство в Алжире. В годы второй мировой войны был участником французского движения Сопротивления. Основные произведения А. Камю переведены на русский язык: роман «Чума», повести «Посторонний» («Иностранная литература», № 9 за 1968 г.), «Падение», рассказы из сборника «Изгнание и царство» и др.

Перу А. Камю принадлежат также пьесы «Калигула» («Caligula», 1944), «Недоразумение» («Le Malentendu», 1944), «Осадное положение» («L'Etat de siège», 1948), «Справедливые» («Les justes», 1950), много новелл и эссе.

В этом номере мы публикуем пьесу А. Камю «Реквием по монахине» («Requiem pour une Nonne», написанную им по одноименной повести У. Фолкнера.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 09035. Сдано в производство 7/VII 1970 г. Подписано к печати 14/VIII 1970 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+2 вкл. Уч.-изд. листов 28,32. Зак. 2319.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

К нашим читателям

В 1971 ГОДУ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ ПО РАЗДЕЛУ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ:

Хосе Висенте Абреу (Венесуэла) — ЧЕТЫРЕ БУКВЫ (роман)
Маник Банерджи (Индия) — МАРИОНЕТКИ (роман)
Томас Вулф (США) — ПАУТИНА ЗЕМЛИ (повесть)
Катарина Лазарова (Чехословакия) — СТРАНСТВИЯ СВ. АННЫ (роман)
Зигфрид Ленц (ФРГ) — УРОК НЕМЕЦКОГО (роман)
Долорес Медио (Испания) — СЕНЬОР ГАРСИА (повесть)
Франсуаза Саган (Франция) — НЕМНОГО СОЛНЦА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ (роман)
Захария Станку (Румыния) — КАК Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ (роман)
Роберт Стоун (США) — КРИВЫЕ ЗЕРКАЛА (роман)
Артур Хейли (США) — АЭРОПОРТ (роман)
Пауль Шаллюк (ФРГ) — ДОН КИХОТ ИЗ КЁЛЬНА (роман)
Эрвин Штриттматтер (ГДР) — МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ (новеллы)

РАССМАТРИВАЮТСЯ НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Марио Бенедетти, Джеймса Болдуина, Томаса Валентина, Юлиана Каваллеца, Камена Калчева, Алехо Карпентьера, Мануэля Лопеса, Хана Мина, Карлоса Фуэнтеса и др.

РЕДАКЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ НОВЫЕ СТИХИ

Ласло Беньямина, Денниса Брутуса, Георгия Джагарова, Вилема Завады, Уильяма Батлера Йитса, Шанкара Курупа, Ивана Скалы, Никиты Стэнеску, Уильяма Карлоса Уильямса, Эриха Фрида, Лилиам Хименес, Имре Чанади, Иштвана Шимона и др.

В РАЗДЕЛЕ «КРИТИКА» ПОМЕЩАЮТСЯ СТАТЬИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ЛИТЕРАТУР И ТВОРЧЕСТВУ ИЗВЕСТНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.

ЧИТАТЕЛЬ НАЙДЕТ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА ОБЗОРЫ, ДИСКУССИИ, ПОЛЕМИЧЕСКИЕ СТАТЬИ. СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПЕЧАТАЮТСЯ РЕЦЕНЗИИ НА НОВЫЕ КНИГИ, КАК ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЗА РУБЕЖОМ, ТАК И ВЫШЕДШИЕ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ.

В РАЗДЕЛЕ «ПУБЛИЦИСТИКА» ПЕЧАТАЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ОЧЕРКИ, СТАТЬИ О ЗАРУБЕЖНОМ ТЕАТРЕ И КИНО, ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКИ И ПИСЬМА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА.

ЖУРНАЛ ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ С НОВЫМИ РАБОТАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ ХУДОЖНИКОВ, ГРАФИКОВ И СКУЛЬПТОРОВ.

В РАЗДЕЛЕ «НАШИ ГОСТИ» РЕГУЛЯРНО ПЕЧАТАЮТСЯ СТАТЬИ, РАССКАЗЫВАЮЩИЕ О ВСТРЕЧАХ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ГОСТЯМИ ЖУРНАЛА.

ШИРОКУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЛИТЕРАТУРНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ЗА РУБЕЖОМ ЧИТАТЕЛЬ НАЙДЕТ В РАЗДЕЛЕ «ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ».

Подписка принимается отделами «Союзпечати», отделениями связи и общественными распространителями печати.

Подписная цена:

на 12 мес.— 9 р. 60 к.
на 6 мес.— 4 р. 80 к.
на 3 мес.— 2 р. 40 к.

Цена одного номера — 80 коп.